
КР 49 4/1

ИСТПАРТ
ОТДЕЛ ЦК ВКП (б)
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и ВКП (б)

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ

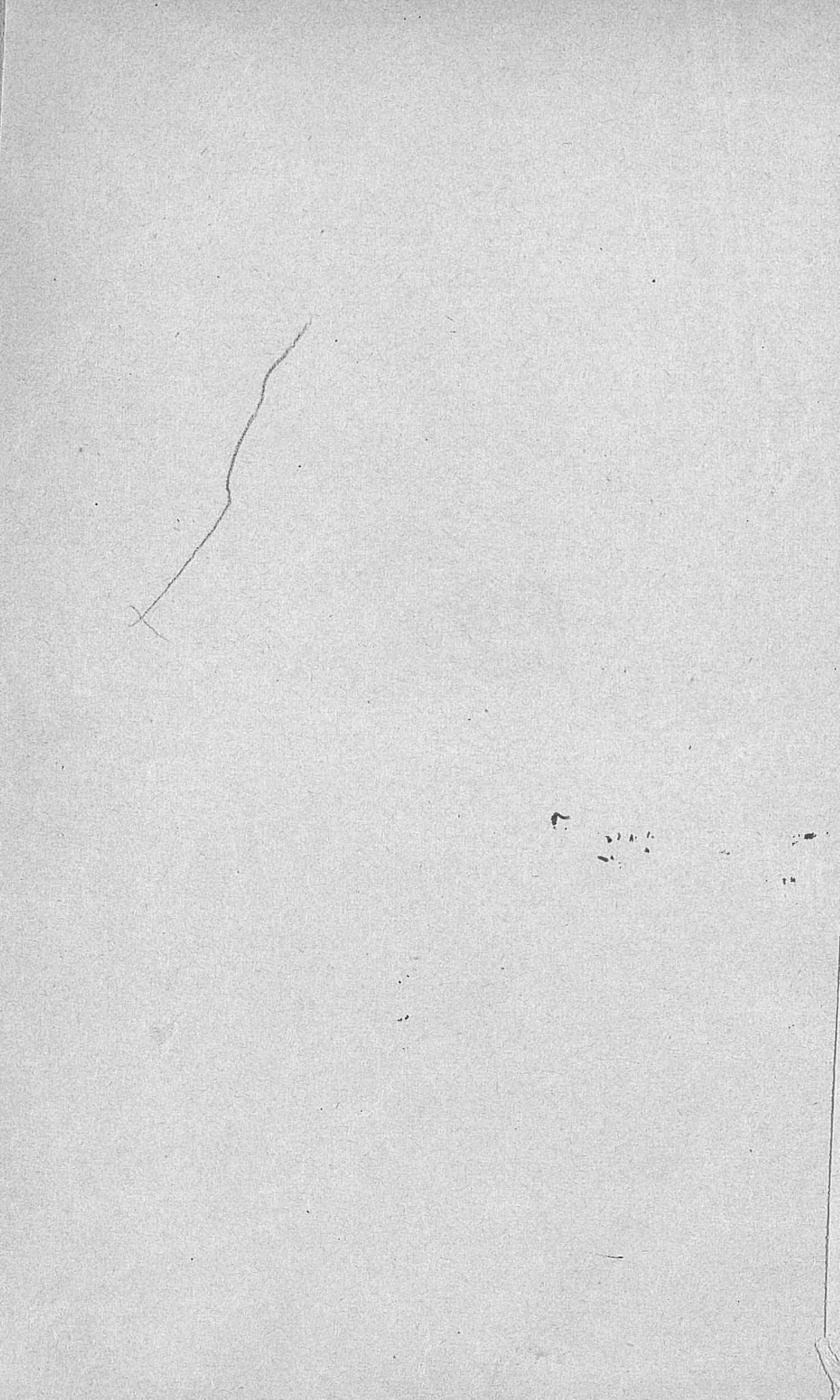
и

ДЕЛО 1 МАРТА 1887 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО / 1927





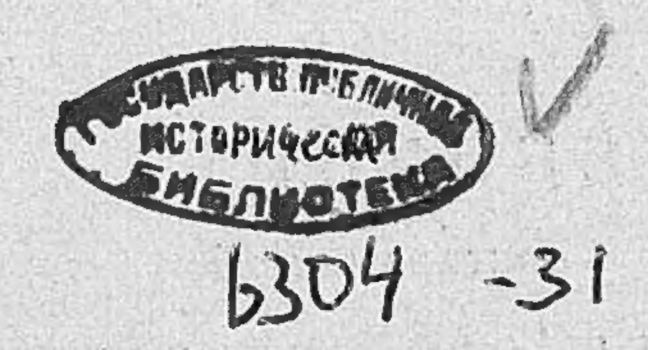
ИСТПАРТ
ОТДЕЛ ЦК ВКП (б)
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и ВКП (б)

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ И ДЕЛО 1 МАРТА 1887 г.

СБОРНИК,
составленный
А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1927 ЛЕНИНГРАД







Гиз № 19428.
Ленинградский Гублит № 35718.
27 л. Тираж 3000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

13 марта исполнилось сорок лет со дня ареста участников покушения на Александра III 1 марта 1887 г. В тяжелую пору самой суровой реакции, нависшей над страной, горстка героической молодежи, — студентов университета, — решила пожертвовать собой, чтобы хотя сколько-нибудь разрядить эту реакционную атмосферу.

Идея самопожертвования носилась тогда в воздухе. Обзор дела и воспоминания участников, помещенные в этом сборнике, говорят нам, что у многих она возникала совершенно самостоятельно. Тов. Ольминский в статье «Давние связи»[1] говорит о 84—85 годах минувшего столетия:

«Наиболее культивировалась готовность к полному отрешению от собственной личности, к самоотверженню до конца и без оглядки... Не наше поколение увидит освобождение народа от ига самодержавия. Лишь в далеком будущем

Настанет блаженное время,
Когда уж из наших костей
Поднимется мститель суровый
И будет он нас посильней.

«Таков был заключительный куплет тогдашней «марсельезы».

...«Было в ходу письмо заключенных Петропавловской крепости — «От мертвых к живым»...» — «И наша мысль постоянно переносилась в тюрьму, где медленной смертью погибали товарищи. Благоговение перед памятью погибших сохранялось на всю жизнь». (Стр. 67—68.)

---

[1] «От группы Благоева к «Союзу Борьбы» (1886—94 гг.)». Комиссия по истории Октябрьской революции. Госиздат, Донское Отделение, 1921 г.

Тов. Ольминский говорил пишущей эти строки, что и у него являлась тогда мысль о необходимости принести себя в жертву актом террора.

Таково было преобладающее настроение наиболее революционной и прямолинейной молодежи в те тяжелые годы, когда всякая общественная деятельность, каждое не рабски звучащее слово были под запретом, а нелегальные пути для проявления их были до-нельзя сужены и сведены на-нет. «Народная Воля» была разбита; движение, возглавляемое ею, клонилось к упадку. Признаки разложения народовольческой партии были, по словам того же т. Ольминского, «еще не так ярки: упадок скорее чувствовался, чем сознавался».

Но всеми нами замечалось тогда, что так называемое «общество», оказывавшее, в лице многих своих членов, широкую поддержку представителям старой «Народной Воли», теперь отшатнулось, относится к революционерам с недоверием. И не только общество, но и часть более осторожной молодежи. Общая крутая реакция и громадные провалы, — особенно, связанные с арестом Лопатина и взятыми у него адресами, — запугали широкие слои сочувствующих.

Революционное настроение молодежи не останавливали, конечно, и эти все преграды: она стремилась пробить себе дорогу среди них. Так, занятия с рабочими не прекращались. Их вели как представители тогдашних социал-демократических, так и народовольческих кружков, при чем разницы определенной между пропагандой тех и других не было. Это явствует как из того, что социал-демократы передавали свои кружки заведомым народовольцам и обратно, так и из того, что различие между этими двумя направлениями еще не выкристаллизовалось с тою определенностью, как несколько лет спустя.[1]

Тогдашним революционерам казалось, что в этой отрасли работы они могут итти нога в ногу. Содержание пропаганды было приблизительно одинаково. Народовольцы напирали больше на политику, а социал-демократы больше на общее развитие, вследствие чего их пропаганда принимала иногда культурнический характер;[2] но и те, и другие должны были поневоле оста-

---

[1] См. по этому поводу указания Бартенева и Пиккера в этом сборнике, а также Ольминского — цитированная статья. *А. Е.*

[2] См. статью Н. Л. Сергиевского в «Историко-револ. сборнике», т. II (ГИЗ, Ленинград, 1924 г.), о марксистских кружках 80-х годов.

навливаться главным образом на разжевывании таких общих понятий, большая часть которых могла бы быть разъяснена легальным путем. Позднее, в девяностых годах, мы наблюдаем это в деятельности воскресных школ, подготовлявших слушателей к чисто партийному воспитанию и производивших выборку учеников для этой цели. В восьмидесятых годах задача общего развития являлась также нелегальной работой, вызывая понятную неудовлетворенность среди более революционной молодежи: кружки в пять-шесть человек, по рабочим квартиркам, при отсутствии массовой поддержки и шире поставленной конспирации; полицейский надзор, тюрьмы и ссылки чуть ли не за обучение грамоте... Казалось более целесообразным итти на крайне революционное дело, но способное, быть может, пробить брешь в стене самодержавия, и, если все равно суждено погибнуть, так хотя за что-нибудь.

Это умонастроение не могло не отразиться и на участниках покушения 1 марта 1887 г., что видно из их показаний и ряда воспоминаний. А. И. Ульянов, И. Д. Лукашевич, Осипанов и др. говорят, что главным средством распространения своих идей они считали и считают устную и письменную агитацию и пропаганду, и только вследствие полной невозможности таковой взялись за террор.

«Я убедился», — говорит Александр Ильич Ульянов в своей речи на суде,—«что единственно правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но... жизнь показывала самым наглядным образом, что при существующих условиях таким путем итти невозможно... Невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная... Те попытки, которые я видел вокруг себя, еще больше убедили меня в том, что жертвы совершенно не окупят достигнутого результата...

«Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, которые ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность...» (Здесь Ульянов был остановлен председателем суда.)

Александр Ильич, как некоторые другие члены его кружка и студенты того времени, вел занятия с рабочими. О кружках, организованных им в Галерной гавани, говорят нам воспоминания Говорухина и Драпцына. Из последних мы видим, что А. И. Ульянов вел лично не один кружок и кроме того направлял пропагандистов в другие кружки. Он считал даже одно время, что имеет связи со всем Васильевским островом.

Но, видя на себе и других, что, при всей малой результатности пропаганды, она пресекается тут же, в корне, революционеры того времени оставляли ее для попыток непосредственной борьбы с тем строем, который замыкал все выходы, — в той форме ее, которая казалась тогда единственно возможной. Судя по недавнему опыту партии с непогасшим еще ореолом, борьба эта могла как будто бы подкапывать и колебать ненавистное самодержавие.

И они брались за оружие террора.

Мало внимания в истории наших революционных движений уделено глухому и тягостному периоду, лежащему между «Народной Волей» и социал-демократией. Эпохи борьбы и натиска на самодержавие представляют, понятно, больше интереса. Между тем без понимания того времени и его настроения трудно представить себе атмосферу, в которой возникло дело 1 марта 1887 г., и психологию его участников. Особенно трудно это для нашей молодежи, отнесенной от этой эпохи не только четырьмя десятилетиями, но и тремя революциями, последняя из которых круто перевернула всю жизнь страны. Для правильной оценки того материала, который мы предлагаем сейчас вниманию читателей, необходимо войти хотя бы до некоторой степени в обстановку того времени. Всего ярче, пожалуй, интересующий нас период охарактеризован в статье Б. Кольцова-Гинзбурга, приложенной к «Истории революционного движения в России» профессора Тупа.[1] О ней в предисловии к книге Тупа отозвался, как «о полезном вкладе в характеристику восьмидесятых годов» и Г. В. Плеханов. И мы сочли правильным включить выдержки из нее в наш сборник.

Статья Кольцова дает, кроме того, краткий очерк тех двух попыток восстановить партию «Народной Воли», которые лежали между старой «Народной Волей» и «террористической фракцией партии Народной Воли», организовавшей покушение на Александра III.[2] И, наконец, автор приходил сам, как видно из статьи, в соприкосновение с одним из руководителей указанной фракции, А. И. Ульяновым, беседовал с ним по принципиальным

---

[1] Изд. «Библиотеки для всех» О. Н. Рутенберг. 1906 г.

[2] Название, которое приняла группа первомартовцев 1887 г.

вопросам и поэтому должен считаться более, чем многие другие, в курсе взглядов как А. И. Ульянова, так и его группы. Автор, член последней из рассматриваемых им групп «Народной Воли», позднее социал-демократ, являет сам очень типичный образчик психологии тогдашней революционной молодежи. Вследствие этого его статья, — в значительной степени описание собственных переживаний далекого прошлого, вдумчивое прослеживание той эволюции, которую вместе с ним проделывала вся идейная молодежь его времени, — дает, по нашему мнению, больше для понимания эпохи, чем могла бы дать самым научным образом составленная статья какого-либо позднейшего исследователя.

Кольцов отмечает и эволюцию идей «Народной Воли», все бо́льшую умеренность их. — «Уже письмо Исполнительного Комитета к Александру III поразило всех своей умеренностью. Но еще умереннее становятся речи подсудимых». И дальше: «...Еще в №№ 8 и 9 своего органа партия «Народной Воли» заявила, что цель ее — захват власти». «В настоящее время и иного народовольца такая задача заставляет улыбаться», — говорит основатель «молодой Народной Воли», Якубович, выпустивший № 10 журнала. — «...Наша формула стала иная: призыв народа с высоты трона, поколебленного ударами революционеров», — говорит он в этом номере.

Это было в 1884 г. В следующей группе — Оржиха, — издавшей №№ 11 и 12 «Народной Воли», «преобладало то мнение, что за политическим освобождением России последует довольно продолжительный период организации и пропаганды в рабочем классе. Таких же, приблизительно, взглядов придерживалась группа, подготовившая покушение на Александра III 1 марта 1887 г.». Таким образом Кольцов подводит читателя к интересующему нас делу.

Отказ от мысли о близости социалистической революции, сконцентрирование сил на политической борьбе заставляли революционеров этого периода обращать больше внимания на «общество», которое не прочь было помечтать о конституции и втайне аплодировало террористам, оказывало им некоторые услуги. И мы видим, что группа первомартовцев 1887 г. после добролюбовской демонстрации, явившейся добавочным толчком к террористическому акту, обратилась прежде всего с воззванием к обществу, руководствуясь, очевидно, теми же соображениями, как некий И. П. в «Вольном Слове», в письме, приведенном Кольцовым:

«если бы общество активно и энергично вступилось за свои права, терроризм группы революционеров не имел бы смысла и исчез бы сам собой». Что касается взглядов социал-демократов, то «безукоризненно прекрасные немецкие теории имеют лишь тот единственный недостаток, что совершенно неприменимы в России», —гласит другое письмо, цитируемое Кольцовым, некоего Добровольского в «Самоуправлении» 1888 г. Этот взгляд, несколько смягченный, нашел отзвук в составленной А. И. Ульяновым программе «террористической фракции партии Народной Воли», которая, впрочем, считает социал-демократов ближайшими товарищами.

И выдержки из письма Благоева, приводимые Кольцовым, и составленная им в 1885 г. программа показывают также, как близки были между собой взгляды тогдашних народовольцев и социал-демократов. Необходимо, впрочем, подчеркнуть, что А. И. Ульянов нигде не называет в своей программе (см. приложение) себя и своих товарищей народовольцами, кроме заглавия: «Программа террористической фракции Народной Воли». Он говорит: «По основным своим убеждениям мы — социалисты». И несколько раз называет партию, к которой принадлежит, «социалистической», подкрепляя это убеждение тем, что «лишь при таком социальном строе, где общественная организация труда даст возможность рабочему пользоваться всем своим продуктом и где экономическая независимость личности обеспечивает ее свободу во всех отношениях, возможны материальное благосостояние личности и ее полное всестороннее развитие». Но он опускает уже слово «народники» (из программы «Народной Воли» 1880 г., в которой говорится: «По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники»).[1]

И дальше, в отличие от «Народной Воли», программа «террористической фракции», в полном соответствии с марксистским мировоззрением, утверждает, что: «К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего

---

[1] Мы цитируем по № журнала «Народной Воли» от 1 января 1880 г., взятому при обыске у Осипанова. Многие места программы подчеркнуты карандашом — о терроре особенно толсто — синим. При бедности экземпляров нелегальных изданий, попадавших в то время в Россию, можно почти с несомненностью сказать, что номер этот побывал в руках не одного Осипанова, а и других членов этого кружка, что по нему велись обсуждения составителями программы.

экономического развития; он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства».

Затем указывается, что «параллельно с экономическим развитием страны идет ее политическая жизнь... Но она возможна только от лица определенной общественной группы...».

Таким образом, хотя говорится еще — неточно — о параллелизме экономического развития и политической жизни, но отмечается уже, что борьба должна вестись от лица определенной общественной группы или класса. Программа Благоева почти совпадает с программой, составленной А. И. Ульяновым. В обеих, как и должно было быть в то время, преобладают политические требования-минимум, как и в программе «Народной Воли», но обе выставляют также пункты о национализации земли и передаче орудий производства в руки трудящихся. Следует подчеркнуть, что в программе «Народной Воли» эти требования выражены очень расплывчато: «принадлежность земли народу», «система мер, имеющих передать в руки рабочих...». В программе Александра Ильича Ульянова основная часть развита более обстоятельно. В ней рассматриваются отношения общественных сил в современной России, чем программа становится более реалистической, в чем мы видим правильно понятое требование марксизма исходить из объективных условий жизни данной страны. Следует отметить, что такого рассмотрения в программе «Народной Воли» нет, так что в программе, записанной Александром Ильичем, мы видим стремление к экономической обоснованности вместо общих революционных выкриков.

На ряду с этим мы можем отметить и бо́льшую степень зрелости политической жизни страны: в программе «террористической фракции» говорится уже об отношении к другим партиям, чего в программе «Народной Воли» нет, да и не могло быть при тогдашнем политическом развитии России.

В этом программа Александра Ильича отмечает уже дальнейший этап развития, и характерным для нее является стремление сжать, уточнить, приблизить к жизни очень расплывчатые и туманные выражения программы «Народной Воли». В ней решительно подчеркнута историческая неизбежность социалистического строя, хотя и указывается возможность более прямого перехода к нему. В ней отмечается еще, что более значительную общественную

группу составляет крестьянство, но со всей силой подчеркивается роль рабочего класса, который должен составить «ядро социалистической партии», вследствие чего «пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии». И это повторяется Ульяновым дважды. — «Но», — говорит он дальше, — «при существующем политическом режиме почти невозможна никакая часть этой деятельности».

«Мы считаем необходимым и полезным немедленное ведение политической борьбы с правительством...». «Мы возлагаем больше надежды на непосредственный переход народного хозяйства в высшую форму...». «Разногласия с социал-демократами кажутся нам очень не существенными и лишь теоретическими». «С либералами мы надеемся действовать за-одно, требуя ограничения самодержавия и гарантии личных прав. Только в дальнейшем будущем нас разведут с ними наши социалистические и демократические убеждения».

Придавая большее, чем социал-демократы, значение интеллигенции, А. И. Ульянов говорит, что вследствие отнятия у нее возможности мирной борьбы за свои идеалы, она вынуждена прибегать к террору. Значение террора отмечается почти в тех же выражениях, что и в программе «Народной Воли»: «поднимает революционный дух народа», «дает непрерывное доказательство революционной борьбы», «подрывает обаяние правительственной силы». «Реакция может усиливаться..., по тем неизбежнее будут становиться террористические акты... Все более и более изолированным будет оказываться правительство..., успех такой борьбы несомненен». И «мы можем утверждать, что... террор прекратится, если правительство гарантирует выполнение следующих условий».

Указываются: 1) политические свободы, 2) созыв народных представителей на основе прямого и всеобщего голосования и 3) амнистия по всем государственным преступлениям прошлого. Мы видим, таким образом, что программа, составленная А. И. Ульяновым, в общем, как бы овеена народовольчеством (придает больше, чем социал-демократы, значения интеллигенции, обещает прекращение террора при даровании минимума гарантий политической свободы, как письмо Исполнительного Комитета Александру III), в то же время уже значительно отходит от этой программы. И Александр Ильич подчеркивает в своем показании, как отмечают и Лукашевич и Говорухин, разницу программы

их группы от народовольческой, разницу в основном, в неверии в самостоятельное значение нашей крестьянской общины. А мы, разбирая ее, видим, что марксистская основа в ней подчеркнута довольно определенно, что держится она за народовольческую, главным образом, признанием общих социалистических убеждений, политических требований - минимум и, прежде всего, признанием террора. Последний является главным звеном, связывающим программу фракции с программой - матерью, как видно из ее названия. В наиболее основных существенных частях программа террористической фракции отпочковалась уже от нее, и, полагаем, лишь спешностью составления ее[1] и большим еще ореолом «Народной Воли» следует объяснить, что новая группа выступила как фракция партии, с которой она уже расходилась в основных воззрениях, и что недолгого времени и небольшой теоретической работы потребовалось бы, чтобы она отошла от нее окончательно.

Одним словом, наиболее революционно настроенные представители тогдашнего молодого поколения, перенимая славное знамя «Народной Воли», не отказываясь ни на шаг от самой трудной и рискованной части ее работы, в то же время как теорией, так и жизнью относились все дальше и дальше от нее. Социал-демократами называли в Шлиссельбурге старые народовольцы привлеченных по процессу 1 марта 1887 г. Лукашевича и Новорусского; социал-демократами стали двое из тогдашней группы «Народной Воли» (Мартынов-Пиккер и Кольцов). А переговоры Кольцова с А. И. Ульяновым о переведенной последним статье К. Маркса из «Deutsch - französische Jahrbücher»,[2] их «частые» беседы, в которых они, как явствует из примечания к статье Кольцова, в общем сходились во взглядах, говорят за большое вероятие того, что Александр Ильич, как его собеседник, как столько других народовольцев, эволюционировал бы окончательно к революционному марксизму. Этому не помешал бы тот отблеск народовольчества, который лежал на нем в его юные годы. Ведь даже составленная Плехановым программа Группы «Осво-

---

[1] Крайнюю спешность составления программы отмечает Лукашевич. А. И. Ульянов говорит: — «Мы не претендуем как на безгрешность выставленных в этой программе положений, так и на безукоризненность ее внешней, литературной обработки.

[2] Немецко-французские ежегодники.

бождение Труда» 1884 г. не освободилась еще от элементов народовольческих взглядов. И она признавала необходимость террористической борьбы против абсолютного правительства,[1] откинув этот пункт окончательно лишь в 1888 г.

Таким образом в интересующий нас период идея о борьбе посредством террора не была еще отброшена ни одной партией. Вера в нее не потускнела еще, и ей отдавали свои силы преданные революционеры, которых не отпугивала ни малая надежда на успех, ни то, что осуществление идеалов приходилось отложить в далекое будущее, — та героическая горстка, для которой, как сказал в своей речи на суде Александр Ильич Ульянов, «не составляет жертвы умереть за свою родину».

Кроме статьи Кольцова, рисующей характер и эволюцию революционного движения восьмидесятых годов, и воспоминаний об Александре Ильиче с детских лет пишущей эти строки, первая часть сборника включает в себя статьи и воспоминания как участников дела 1 марта — Лукашевича, Новорусского, Никонова, Говорухина, так и товарищей-студентов, а равно и других лиц, встречавшихся с Александром Ильичем. Часть эта — как вследствие давности прошедшего с тех пор времени, небольшого числа оставшихся в живых свидетелей его, так и вследствие быстроты, с которой вспыхнула и догорела эта попытка, является по необходимости бледной и носит отрывочный характер.

Затем нами дается в сжатом виде изложение следствия и судопроизводства по делу 1 марта на основании архивных материалов и стенографического отчета процесса. Наиболее характерные, относящиеся к нему, документы, а равно все показания А. И. Ульянова, составленная им программа и заявление принципиального характера Осипанова помещаются в приложении.

Здесь надо иметь в виду, что правительственные документы крайне пристрастны, что, за полным отсутствием принципиальной постановки в речах защитников, они очень односторонни. Речи Генералова и Андреюшкина, как они напечатаны в отчете, ограничиваются почти указанием лично ими руководивших мотивов. Единственная обще-принципиальная речь А. И. Ульянова преры-

---

[1] См. «Революция и Р. К. П. в материалах и документах», т. I, стр. 246. Истпарт.

валась неоднократно председателем как раз на принципиальных местах; да и в том виде, в каком дается нам отчетом, она вряд ли зафиксирована с надлежащей точностью: в этом никто не был заинтересован.

Мы постарались, все же, собрать весь имеющийся материал,— как из архивов, так и отпечатавшийся в памяти уцелевших современников,—надеясь, что весь он в совокупности даст возможность читателю восстановить для себя хотя в самых общих чертах как обстановку и характер этого мало исследованного дела, так и образ его идейного выразителя—Александра Ильича Ульянова.



Ал. Ульяновъ

I

СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Б. А. КОЛЬЦОВ-ГИНЗБУРГ.

КОНЕЦ «НАРОДНОЙ ВОЛИ» И НАЧАЛО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ.

(**Восьмидесятые годы.**)

Наступила мрачная эпоха реакции. Александр III в своем первом манифесте возвестил миру о своем желании восстановить самодержавие, и очень скоро вся Россия почувствовала, куда собственно стремится эта реставрация. Первые шаги, конечно, были робки, неуверенны: делались попытки заигрывания с либерально-народническими элементами, созывались в Петербург сведущие люди из провинции для решения вопроса о понижении выкупных платежей, а также вопросов питейного и переселенческого. В Петербурге была образована так называемая Кохановская комиссия для пересмотра «Положения о земствах». Но очень скоро оказалось, что в этих заигрываниях не было ничего, кроме демагогии, сознательной или бессознательной. Общественное мнение убаюкивалось сладкими речами, а под шумок этих речей «восстановлялось» самодержавие. С выходом в отставку графа Игнатьева и с заменой его в управлении министерством внутренних дел графом Толстым прекратились окончательно сладкие речи, и реакция стала работать на всех парах. Школа, местное самоуправление, печать, суд — ничто не ускользнуло от ее внимания. Из университетов удалены лучшие профессора, и университетский устав изменен; открыты церковно-приходские школы; закрыт лучший журнал этой эпохи — «Отечественные Записки», а из публичных библиотек и общественных читален изъяты произведения очень многих авторов и некоторые журналы. Изданы временные правила о печати, предоставляющие четырем министрам право приостанавливать периодические издания, не

дожидаясь третьего предостережения, или отдавать их под цензуру; наконец введены институт земских начальников и новое положение о земстве, сведшее до минимума самостоятельность местных деятелей и усилившее значение администрации.

Но как ни была жестоко последовательна правительственная реакция, все это было ничто в сравнении с реакцией, шедшей изнутри самого общества. Проповедь малых дел, пропаганда непротивления злу, стремление уйти от общественной жизни и в трудовой жизни искать личного совершенствования — таковы главные литературные мотивы этого времени. Даже писатели, слывшие представителями наиболее передовых идей, умели только жаловаться на безвременье, вздыхать по прежним временам и на все обращаемые к ним со стороны молодежи запросы шептать что-то нескладное или пережевывать старые идеи, мало-по-малу сдававшиеся жизнью в архив.

Земские либералы откликнулись на событие 1 марта несколькими робкими адресами да попыткой создать свою организацию, так называемое «Общество Земского Союза и Самоуправления», ставившее главной целью своей деятельности «достижение свободы самоуправления и открытие широкого пользования правами личности». Но и это общество, поддержкой которого пользовалась издававшаяся за границей газета «Вольное Слово», просуществовала недолго и не может похвалиться своим влиянием на земскую среду . . . .

Скоро земству пришлось отстаивать свое собственное существование, и оно прибегло в этом случае к обыденной тактике либералов — не ставить слишком широких требований, не настаивать на реформах, а стараться сохранить то, что есть.

Само собой разумеется, что новое настроение не осталось без влияния и на молодежь. Тип студента, не интересующегося вовсе общественными вопросами, относится скорее к концу, чем к началу восьмидесятых годов, когда недавние традиции были еще живы в памяти всех. Но чего недоставало этой молодежи, так это энергии в борьбе, в отстаивании хотя бы своих академических интересов. Так называемые университетские истории не прекращаются почти во все продолжение восьмидесятых годов, но в них не чувствуется духа живого протеста: это скорее стон закованного пленника, чем борьба за определенный идеал или хотя бы за корпоративные требования. Первым поводом для студенческих волнений служит изгнание правительством мно-

гих передовых профессоров. В 1882 г. в казанском университете вспыхнули волнения, прелюдией к которым послужила пощечина, данная одним из студентов проректору; эти волнения распространились затем и на харьковский университет. В 1883 г. студенческие беспорядки произошли в Царстве Польском, в ново-александрийском институте сельского хозяйства и в варшавском университете. В следующем году студенческие волнения охватили Москву, а в Киеве, во время празднования пятидесятилетнего юбилея существования университета, студентами было сделано нападение на дом ректора Ренненкампфа, по доносу которого был удален из университета и выселен из Киева профессор Мищенко; после этого университет был закрыт. Характерно, что введение нового университетского устава, превратившего университеты в бюрократические канцелярии, не вызвало никакого движения в студенчестве, как будто так оно и должно было быть. Во второй половине восьмидесятых годов в среде студенчества начинает замечаться некоторый подъем духа: 1886 г. ознаменовался в Петербурге двумя студенческими демонстрациями — 19 февраля по поводу исполнившегося 25-летия освобождения крестьян, празднование которого было запрещено правительством, и 17 ноября по поводу 25-летия со дня смерти Добролюбова; последняя демонстрация кончилась арестом 150 человек (из 500 участников) и высылкой многих студентов на родину. Особенно оживленным оказался 1887 г. после ареста на Большой Морской[1] трех студентов — Генералова, Андреюшкина и Осипанова — с бомбами. Были приняты все меры к очищению университетов от неблагонадежных элементов. Никогда университетская инспекция не вела себя так вызывающе, как в это время. В результате — пощечина инспектору Московского университета, студенческие волнения в Москве, Петербурге, Одессе и Казани, уличная демонстрация в Москве, закрытие многих высших учебных заведений и удаление огромного количества студентов из университетов. Это последнее кровопускание надолго истощило запас энергии студенчества, и до конца описываемого периода о студенческих протестах почти не слышно.

В настроении молодежи в сильной степени отразилось настроение революционной партии, где нерешительность и шатание сказывались на каждом шагу. В самую решительную минуту

[1] Неверно, — на Невском. *Л. Е.*

партия «Народной Воли» оказалась лишенной всякого серьезного влияния на какой-либо слой населения. Попытка некоторых южных групп воспользоваться охватившим весь юг антиеврейским движением окончилась неудачей и вызвала неудовольствие среди руководящих элементов партии. Между тем аресты не прекращались, и один за другим сходили со сцены старые опытные бойцы. Летом 1882 г. уехали за границу Тихомиров и Полонская (псевд.), и только одна Вера Фигнер не пожелала последовать их примеру. Ей удалось еще создать на юге довольно большую военную организацию, но и она была скоро выдана Дегаевым и арестована в феврале 1883 г. Отныне руководство делами партии перешло к неопытной молодежи, которая не могла сделать никакого решительного шага, тем более, что в ее ряды проникло сомнение в правильности тактики партии; с другой стороны, дегаевщина внесла полную дезорганизацию в ее ряды, вселила недоверие к вожакам партии и окончательно подорвала ее внутреннюю силу и способность к борьбе . . . .

Уже в начале 1884 г. всем было ясно, что «Народная Воля» окончательно разбита. Но, конечно, не всем еще могло быть ясно, что «Народную Волю» нельзя уже воскресить. И вот, в первую половину восьмидесятых годов были сделаны попытки воскресить старую партию. Ныне всем известно, что эти попытки не имели успеха. . . . .

У молодежи не было ни революционного опыта, ни соответствующего сочувствия в обществе, ни, что более важно, веры в свое собственное дело.

Дело «Народной Воли» было сделано: необходимость борьбы за политическую свободу теперь признавалась всеми. Но каково отношение социализма к политике? К какому общественному строю должны апеллировать революционеры, чтобы приблизить час политического освобождения?

Так называемая молодая партия «Народной Воли», образовавшаяся около конца 1883 г., находила, что следует одновременно вести пропаганду социалистических идей и политическую борьбу. Под последней понималась непосредственная борьба с правительством — политический террор; для успешности первой требовался также террор — фабричный и аграрный. «Нам казалось и до сих пор кажется, — говорится в заявлении этой партии, напечатанном в № 10 «Народной Воли», — что пришло время внести некоторые серьезные поправки как в строй орга-

низации партии, так и в самую программу ее деятельности, в смысле введения в нее таких террористических фактов, которые, будучи доступны народному пониманию и ближе к насущным нуждам и интересам рабочего люда, нежели террор политический (как-то: факты аграрного и фабричного террора), скорее могли бы произвести необходимое для социального переворота слияние силы народа с сознательностью революционной партии. При этом террору аграрному, как труднее осуществимому в настоящее время, мы отводим в своей программе второстепенную роль, давая ему место лишь в отдельных исключительных случаях выдающегося насилия и поругания народной правды; на террор же фабричный смотрим, главным образом, как на одно из орудий агитации, как на могучий способ сделать пропаганду идей социализма продуктивным и жизненным делом, как на средство установления живой и тесной связи партии с народом, а не как на преимущественное перед политической борьбой средство уничтожения существующего строя,— почему и не могли возвести этот террор в какую-то кровавую систему, которую многие нам приписывали.

10 номер «Народной Воли» помечен 30 сентября 1884 г. В этом номере, в котором молодая партия «Народной Воли» заявляла о прекращении своего самостоятельного существования, так как «при ближайшем ознакомлении со взглядами «Исполнительного Комитета» мы увидели, что расхождение наших теоретических взглядов не привело бы в настоящее время к такому разногласию в практической постановке вопросов, которое делало бы необходимым разрыв организации на две части», — в этом самом номере партия заявляла, что она привела снова в должную организацию свои ряды и скоро возобновит свою террористическую деятельность. Этому обещанию не суждено было исполниться: осенью того же года был арестован Лопатин, затем целый ряд провалов, и организация была совершенно разбита . . . .

Вторая попытка восстановить партию «Народной Воли» связана с именем Оржиха. Ему удалось в сравнительно короткое время создать довольно большую организацию, поставить несколько типографий, издать №№ 11 — 12 «Народной Воли», несколько листков, пару брошюр. Но этот успех был мимолетный и скоропреходящий: Оржиху удалось собрать все, что еще уцелело от прежних разгромов, но, не говоря уже о том, что это

соединение часто разнородных элементов не могло быть долговечным, молодые силы почти совсем уже не притекали в партию. В Петербурге, например, центральная группа составилась из трех человек: А. Гаусмана, впоследствии казненного за участие в Якутской истории, и двух малоопытных молодых студентов, к тому же уже тогда эволюционировавших в сторону социал-демократии. Попытка расширить петербургскую группу [1] не удавалась, и после ареста Гаусмана и добровольного устранения от дела другого члена группы все связи, вся местная деятельность и все сношения остались в руках одного человека. [2]

В реставрированной Оржихом партии преобладало то мнение, что за политическим освобождением России последует довольно продолжительный период организации и пропаганды в рабочем классе. Таких же приблизительно взглядов придерживалась группа, не состоявшая ни в какой организационной связи с «Народной Волей», но продолжавшая некоторым образом ее традиции, —

[1] Кроме названной центральной группы в Петербурге какими-то чудесами сохранилась довольно многочисленная «рабочая» группа, состоявшая из интеллигентов, занимавшаяся пропагандой в рабочей среде и имевшая там некоторые связи. Как это ни покажется странным, но как раз в этой группе сильнее всего сохранились чисто народнические тенденции и преобладали взгляды В. В. на «экономические судьбы России» (см. воспоминания Бартенева и Никонова, объединявших тогдашних марксистов с народниками). *А. Е.*

[2] Очевидно, самого автора — Кольцова. Третьим был Мартынов-Пиккер, как это явствует из его «Воспоминаний революционера» (см. «Пролетарская Революция», № 11 (46) 1926 г.).

«В Питере я вступил в партию «Народной Воли», был членом рабочей и военной организации партии, вел пропаганду среди рабочих и офицеров. Как член рабочей организации «Народной Воли», я сносился также с первой в Питере социал-демократической организацией, с группой Благоева, в которую входили тогда Харитонов, Аршаулов, князь Кугушев и др. Отношения между нами, народовольцами и социал-демократами, были в то время самые дружеские. Грань между нашими организациями часто стиралась. Из народовольцев я и Кольцов (А. Гинзбург), прочитавши «Наши разногласия» Плеханова, «Капитал» и некоторые другие произведения Маркса, в 1885 г. стали теоретически эволюционировать от народничества к марксизму; с другой стороны, члены благоевского социал-демократического кружка, с которыми я сносился, на практике еще не освободились от народнических пережитков. Они, например, признавали аграрный террор, не отказались еще от надежды на военный заговор и вели поэтому пропаганду среди юнкеров; они же собирали весьма оригинальным способом сведения о крестьянских настроениях — в тюрьме у уголовных арестантов из крестьян». *А. Е.*

группа, подготовившая неудавшееся покушение на жизнь Александра III 1 марта 1887 г.[1] (заметим мимоходом, что такие группы и даже одинокие личности, действовавшие за свой риск и страх, без связи с партией, были в это время явлением довольно обычным) . . . .

Близко к «Народной Воле» стояла группа «милитаристов», рассчитывавших совершить политический переворот путем военного восстания или заговора. Никакого влияния эта группа не имела и была уничтожена арестами 1886 г. Та военная молодежь — офицеры и юнкера, которые примыкали к этой группе, — отнюдь не разделяла всех ее упований: некоторые сочувствовали «Народной Воле», а среди других бродили социал-демократические идеи. В 1887 г. состоялся их процесс, кончившийся разжалованием и ссылкой в Среднюю Азию нескольких десятков молодых людей.

Уныние господствовало в обществе. Молодежь искала разрешения проклятых вопросов и находила его в учении Толстого и в метафизике. Рассеянные остатки революционной партии чувствовали собственное бессилие. Многие мирились с настоящим, сживались с существующим порядком, меняли свои убеждения или изменяли им. Наиболее стойкие занялись подыскиванием себе союзников. Издававшийся в 1883—84 г. социалистический журнал «Свободное Слово» предполагал опереться на интеллигентную молодежь, но высказывался против террора. Журнал этот не пользовался никаким влиянием, определенной программы не имел, и его доводы против террора были не столько политического, сколько морального (вернее, морализирующего) характера, в чем сказалось влияние Толстого: журнал советовал всем рус-

[1] При этом уже в то время считали нужным ссылаться на Маркса. Почти накануне 1 марта автор настоящего очерка вел переговоры с одним из членов названной в тексте группы, казненным впоследствии А. И. Ульяновым, об издании социально-революционной библиотеки, для первого выпуска которой Ульяновым был приготовлен перевод статьи Маркса из «Deutsch-französische Jahrbücher» о гегелевской философии. Нам приходилось часто беседовать об этой статье, при чем Ульянов доказывал, что высказанная Марксом в этой статье мысль о том, что Германия идеально пережила то, что другие страны пережили практически, не противоречит, во-первых, позднейшим воззрениям Маркса и, во-вторых, применима и к России. При этом мы оба тогда забывали, что появление у интеллигенции потребности в политической свободе еще ничего не говорит о том, как эту свободу завоевать. Впоследствии мне пришлось слышать от других русских социал-демократов, что и они прошли через этот фазис понимания марксизма.

ским «социальным фракциям» слиться в «одну замкнутую партию, сильную умственным развитием, а не грубой силой».

Особенно популярна была идея об обращении к обществу. Еще в 1882 г. на страницах либеральной газеты «Вольное Слово» появилось очень характерное в этом смысле письмо за подписью И. П., посвященное русским социально-революционным партиям. Письмо это [1] преследует двоякую цель: с одной стороны, оно стремится оправдать в глазах общества революционеров-террористов, а с другой — оно подсказывает самим революционерам новую тактику. — «Когда человек тонет, и собравшаяся толпа только глазеет и вздыхает, — так рассуждает И. П., — то естественно, если какой-нибудь неопытный пловец в порыве глубокого сострадания к утопающему бросится в воду, рискуя не только не спасти его, но и самому погибнуть. И было бы, по меньшей мере, невеликодушно бросать в такого человека упреками за то, что он не отсрочил спасения утопающего впредь до основательного изучения искусства плавания. Гораздо добропорядочнее и целесообразнее обратить свое негодование на эгоистические инстинкты окружающей толпы. Если бы общество активно и энергично вступилось за свои права, терроризм группы революционеров не имел бы смысла и исчез бы сам собою. [2] . . . .

Издававшийся за границей орган «Самоуправление» мечтал об объединении всех революционных сил России... Успеха эта попытка не имела, но результатом подобного желания явилось несколько писем в редакцию, писанных более или менее известными эмигрантами. Из этих писем наиболее характерным для настроения восьмидесятых годов является письмо г. Добровольского.

«Довлеет дневи злоба его», — таково заглавие этого письма. — В конце его автор говорит: . забудем на время, что мы социалисты... проникнемся той истиной, что теперь мы можем быть

[1] «Вольное Слово», № 10.

[2] В этом же номере «Народной Воли» помещен текст договора Исполнительного Комитета с польской партией «Пролетариат». На основании этого договора «Пролетариат» сохранял «полную независимость и ответственность в ведении всех дел своей партии в Польше» и примыкал, как «вспомогательный союзный корпус», к силам русских революционеров для выполнения их «частной задачи» — низвержения русского правительства. Известно, что в 1884—85 г. организация «Пролетариата» была разгромлена, в 1885 г. состоялся в Варшаве процесс 28 пролетариатцев, из которых четверо — Бардовский, Оссовский, Куницкий и Петрусинский — были повешены, а остальные сосланы на каторгу.

только политическими революционерами и смело... поднимем знамя политической свободы...»

В этом выводе, собственно говоря, нет ничего нового: мы уже выше познакомились с другими образчиками подобных рассуждений. Но интересен тот путь, которым автор пришел к своему выводу. Начинает он с утверждения своего социально-революционного credo. Но он недоволен оптимистическими теориями русских социалистов, усматривающих социалистическое содержание в некоторых якобы особенностях русской жизни. Добровольский уверен, что ближайшее будущее России принадлежит буржуазии, которой русская действительность не способна противопоставить никакой более могучей силы. Народолюбивая разночинная интеллигенция не располагает ни материальными средствами, ни общественным положением, ни практическим влиянием, а остальная ее часть сама проникнута буржуазными тенденциями. На индустриальных рабочих «только и полагается, от них только и ждет спасения, и только и делает объектом если не практического воздействия, то, по крайней мере, теоретических разговоров, микроскопическая, — и по численности, и по значению, и по влиянию, — доктринерская группа наших «социал-демократов». Очень добросовестно переведенные с немецкого теории этой группы, рекомендующие нам сосредоточить наше внимание на рабочих, безукоризненно прекрасны сами по себе; в них есть только единственный недостаток, а именно тот, что к современной социально-революционной практике в России они совершенно неприменимы», потому что рабочих у нас сравнительно мало, стоят они на низкой ступени развития, доступ к ним в высшей степени затруднен, так что «ни о какой организационной работе среди них теперь пока что невозможно даже и думать». Остается «народ в тесном смысле слова, т.-е. масса серого деревенского люда». Но и к нему доступ затруднен, он «страшно разрознен, страшно неразвит, невежествен, темен, беспомощен духовно».

В этих рассуждениях почти дословно повторены многие из доводов «доктринерской группы наших социал-демократов» — письмо Добровольского писано в 1888 г., а «доктринерская группа» начала свою издательскую деятельность в 1883 г., — с той только разницей, что Добровольский никак не мог выпутаться из тех противоречий, в которых, как мы видели, путалась мысль революционеров восьмидесятых годов. До сих пор «Народная Воля»

утверждала, что социалистический переворот совпадет или последует непосредственно за политическим. Теперь оказывалось, что и для одной политической революции неоткуда взять сил. Ergo, оставим на время социализм и пойдем в общество, как прежде ходили в народ.

На совершенно другую точку зрения стала та «доктринерская группа наших социал-демократов», над которой так подсмеивался Добровольский. За границей родилась русская социал-демократия, и долго главным объектом ее воздействия была воспитывающаяся в заграничных университетах русская молодежь. И то, и другое, — и заграничное происхождение, и исключительное заграничное распространение, — объясняются условиями реакции восьмидесятых годов, не допускавшей никакого общественно-прогрессивного, а тем паче революционного движения.

Образовавшаяся с 1883 г. за границей группа «Освобождение Труда» в целом ряде брошюр, памфлетов, журнальных статей и т. п. дала блестящее обоснование новой точки зрения. Изложение «немецкой» теории шло тут рядом с критикой и анализом русской действительности, и на основании как этой теории, так и знакомства с действительностью вырабатывалась новая революционная программа. В изданном в 1885 г. «Проекте программы русских социал-демократов» группа «Освобождение Труда» резюмировала результаты своего миросозерцания в применении к России:

«Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижный и развитой, класс этот легче отзывается на призыв революционеров, чем остальное земледельческое население. Между тем как идеал общинника лежит позади, в тех условиях патриархального хозяйства, необходимым политическим дополнением которых было царское самодержавие, участь промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря развитию новейших, более свободных форм общежития. В лице этого класса народ наш впервые попадает в экономические условия, общие всем цивилизованным народам, а потому только через посредство этого класса он и может принять участие в передовых стремлениях цивилизованного человечества. На этом основании русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязанностью образование революционной рабочей партии. Рост и развитие такой партии встретит, однако, в современном русском абсолютизме очень сильное препятствие.

«Поэтому борьба против него обязательна даже для тех рабочих кружков, которые представляют собой теперь зачатки будущей русской рабочей партии. Низвержение абсолютизма должно быть их первой политической задачей». Или, как это выражено в другом месте, «Борьба за политическую свободу должна быть первым фазисом рабочего движения в России». [1]

Уже вскоре после появления первых изданий группы «Освобождение Труда» в России начинают появляться сторонники новых взглядов. Уже выше было упомянуто, что в центральную народовольческую группу в Петербурге входило два лица, эволюционировавших в сторону социал-демократии. Эволюция эта совершалась всецело под влиянием изданий группы «Освобождение Труда». Третий их товарищ входил в упомянутую также рабочую группу и пробовал вести пропаганду среди рабочих в духе нового учения. Около этих трех лиц группировался довольно обширный кружок интеллигентной молодежи, и в этом кружке с успехом велась пропаганда социал-демократических идей. Этот кружок был частью разгромлен после «добролюбовской истории» в 1886 г. и окончательно уничтожен в 1887 г.

В Москве в начале 1884 г. появилось «Письмо к товарищам», автор которого тоже находится под несомненным влиянием новых идей, хотя нельзя отрицать, что в его взглядах есть кое-что, напоминающее экономизм конца девяностых годов. Задачи данного момента и ближайшее будущее рабочего движения автор этого письма определяет следующим образом: сперва он указывает, что необходимо «уметь отличать возможное для осуществления в данную минуту от своих окончательных целей» и «сообразовать свои практические требования с условиями органического развития и собственными наличными силами». Поэтому он советует прежде всего научить основам социализма хоть некоторую часть интеллигенции, которая может содействовать развитию классового сознания городского пролетариата, а последний, в свою очередь, сумеет, может быть, воздействовать в бо́льшей или меньшей степени на некоторую часть крестьянства. В результате этой работы, по мнению автора, получится небольшое ядро рабочей партии, и если это случится до того времени, когда будет совершена политическая реформа России, то эта партия попробует оказать посильное воздействие, но сам автор сильно сомневается,

---

[1] «Социал-Демократ», литературно-политический сборник, стр. 24.

чтобы «в ближайшем к нам общественном движении такая социалистическая партия могла приобрести преобладающее влияние среди народных масс».

Совершенно независимо от группы «Освобождение Труда» образовалась в Петербурге группа, издавшая в 1885 г. два номера газеты «Рабочий». Скоро, однако, группа вступила в непосредственные сношения с группой «Освобождение Труда», и дальнейшее развитие совершалось уже под влиянием последней. По словам Д. Благоева, он попал в Петербург в 1880 г., познакомился со многими чернопередельцами, а после 1 марта 1881 г. и со многими оставшимися на свободе народовольцами. В это время между обеими фракциями шли переговоры о соглашении и совместной деятельности. Благоев бывал на этих собраниях, участвовал также и в кружковых сходках.

«Споры на этих собраниях и сходках, чтение общей литературы по общественным вопросам и специально по революционному движению убедили меня, что ни народовольчество, ни народничество во всех его разновидностях не могут научно быть доказаны... Тогда я обратился к изучению «Капитала» Маркса и сочинений Лассаля. Целый 1883 г. я употребил на штудирование этих произведений... Еще к концу 1883 г. я начал пропаганду нового мировоззрения». «С народовольцами на этой почве ничего нельзя было сделать». «Впрочем, я более близко стоял к народникам и, главным образом, к чернопередельцам». Между ними пропаганда имела успех. В 1884 г. уже можно было организовать социал-демократическую группу, которая и начала работать. В 1885 г. эта группа, выработавши свою программу, приступила к практической деятельности, т.-е. к «пропаганде наших социал-демократических взглядов между рабочими и интеллигенцией, преимущественно в студенческих кружках и даже в «обществе». Социал-демократическая группа в Петербурге тогда состояла из 15 — 16 человек студентов и студенток, одного инженера-архитектора, одного журналиста и двух старых чернопередельцев, нелегальных». «Я занимался главным образом пропагандой между рабочими, преимущественно на сталелитейном заводе и на Васильевском Острове». «До моего ареста пропаганда между рабочими шла прекрасно». С группой «Освобождение Труда» все время велась переписка о программе. Сначала эта переписка велась из Петербурга между уполномоченными от обеих групп.

В марте 1885 г. Благоев был арестован и, в качестве болгарского подданного, изгнан из России. Петербургская группа уполномочила его из Софии продолжать ведение переговоров с группой «Освобождение Труда». — «Насколько помнится, переговоры кончились тем, что приняли программу и взгляды группы «Освобождение Труда». Но скоро после того, в августе или сентябре 1885 г., порвались сношения между мной и петербургской социал-демократический группой. Типография была открыта, арестован был второй из основателей группы, Василий Харитонов, и вместе с ним еще несколько человек. Остатки группы продолжали кое-как местную работу, поддерживали сношения с рабочими, но далее этого пойти не могли и в 1887 г. подверглись общей участи, т.-е. разосланы по разным провинциальным городам».

«Каковы же были первоначальные взгляды группы до окончательного соглашения с группой «Освобождение Труда»? Не может быть никакого сомнения, что наши взгляды и программы чрезвычайно отличались от современных социал-демократических взглядов и программ. Они представили смесь научного социализма с лассальянством и, если хотите, с лавризмом... В основе наших взглядов и программы лежал общий принцип социал-демократии, а именно, рабочий класс России должен выделиться в самостоятельную политическую партию, конечная цель которой должна состоять в преобразовании общества на социалистических началах, на коллективном владении средствами производства, что для приближения к этой цели рабочему классу России необходимо прежде всего добиться конституции и что в России конституционное управление останется мечтой до тех пор, пока не явится сильная рабочая партия с самостоятельными от буржуазии задачами. Поэтому, насколько помнится, в первой передовице № 1 газеты «Рабочий», писанной мной, настаивалось больше всего на том, что рабочим в России необходимо бороться, как за ближайшую задачу, за конституционное управление... Политическую свободу мы считали первым необходимым условием для того, чтобы можно было бороться для социалистического переворота. А этот последний мы представляли себе по Лассалю, т.-е. через рабочие ассоциации, субсидируемые государством». [1]

---

[1] В кавычках приведены места из вышеупомянутого письма Д. Благоева. Одновременно с этим письмом товарищ Благоев прислал мне пере-

Влияние лавризма сказалось, во-первых, в чисто этической точке зрения, на которой стояли члены группы, и, во-вторых, в абстрактно-пропагандистской формуле их деятельности, в отсутствии боевого элемента.

вод одной програмы, по поводу которой он в том же письме пишет следующее: «У меня есть печатный документ в одном болгарском журнале, издававшемся мной в 1885 г... В этом документе... наверное, высказались наши взгляды, т.-е. взгляды тогдашней социал-демократической группы в Питере и ее програма... Однако не могу вам сказать, идентична ли эта програма с програмой петербургской социал-демократической группы или я видоизменил ее в чем-нибудь. Одно только несомненно, что програма, напечатанная мной в упомянутом журнале, написана под влиянием тех взглядов, которые имелись тогда, и под влиянием програмы питерской группы».

В виду интереса, какой может иметь эта програма для знакомства с историей русской социал-демократии, приводим ее целиком:

I. Конечные цели.

1. Передача земли, фабрик, заводов, орудий производства, т.-е. машин и проч., в руки рабочих обществ.

2. Превращение труда, земли, фабрик и заводов в общественную собственность.

3. Передача государственной власти в руки народа.

4. Полная свобода распространения знаний и преподавания, свобода печати, слова и совести.

5. Даровое и для всех доступное образование.

6. Международный союз для поддержания солидарности всех народов.

II. Средства.

1. Широкое избирательное право для лиц обоего пола.

2. Общинное самоуправление.

3. Полная свобода в преподавании наук и искусств, в распространении знания, свобода слова, печати и религии.

4. Уничтожение религиозного воспитания в школах и предоставление его семье.

5. Организация обязательного и дарового образования, основанного на духе общественных и гражданских обязанностей.

6. Уничтожение постоянной армии и организация народной милиции.

7. Сокращение числа чиновников и организация выборной общинной службы.

8. Замена современного суда судом выборных присяжных.

9. Соединение земледельческого труда с промышленным.

10. Централизация кредита в руках государства и его употребление на организацию народного труда и народного производства на коллективных началах.

11. Организация обществ для эксплуатации на коллективных началах общественных земель, горных богатств и орудий производства.

В. В. БАРТЕНЕВ.

ВОСПОМИНАНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦА О ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ.[1]

(Выдержки.)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИКАЛЬНЫХ КРУЖКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ.

Мои студенческие годы протекли в период 1885—1891 гг. в Петербурге. Много пришлось мне потолкаться по различным кружкам, действовавшим в это время. Пора была глухая, выдающихся событий что-то я не припомню. Тем не менее подпольная работа не замирала. Эта работа не носила того бурного и лихорадочного характера, как, например, в конце семидесятых или в самом начале восьмидесятых годов. Многое делалось как-то вяло, будто по обязанности, люди точно старались, чтобы только не совсем погасла искра, которая могла разгореться лишь со временем и в иную, более благоприятную эпоху. Было очень мало самоотверженных деятелей, вполне посвятивших себя делу. Я почти не встречал профессиональных революционеров, не

---

[1] Статья В. В. Бартенева («Минувшие годы» 1908 г.) — младшего на два года современника Александра Ильича по университету — вводит, пожалуй, читателя лучше и полнее, чем какая-либо из встречавшихся нами в литературе, в жизнь молодежи той полосы тяжкого безвременья, в ее психологию.

Так как общественная жизнь молодежи представляет собою ту почву, на которой выросло дело 1 марта 1887 г. и вне которой оно не могло вырасти, — мы сочли правильным включить кое-что из этих воспоминаний в наш сборник.

Кроме того, В. В. Бартенев знал и лично Александра Ильича, одновременно с которым был членом того «экономического» кружка, которому приписывают такое большое значение все его тогдашние участники. *А. Е.*

встречал нелегальных. Громадное большинство деятелей были студенты, занимавшиеся прежде всего своей наукой, уроками и т. п. и свободное время отдававшие политической деятельности. Почти никто не думал, например, бросать университет для того, чтобы итти в народ и вообще вполне отдаться революции. Все имели в виду по возможности кончить курс и потом жить вполне легально. Те, кому это удавалось, в большинстве случаев уезжали в провинцию и часто совершенно сходили со сцены. Но значительная часть попадала, конечно, в руки полиции, и тогда начинались неизбежные скитания по тюрьмам и тундрам. Попавшие в ссылку очень редко бежали оттуда, редко эмигрировали. Большинство отбывало положенный срок и старалось потом как-нибудь пристроиться.

Несмотря на такой вялый темп радикальной деятельности, рассматриваемая эпоха все же прошла не даром.

Работа велась в различных сферах: среди учеников средних учебных заведений, среди военных юнкеров, среди рабочих, но больше всего среди студентов. Работа среди студентов большею частью не носила характера какой-нибудь определенной партийной деятельности, по известному плану и под руководством какой-нибудь правильно организованной группы. Это была просто беготня по кружкам самообразования да по вечеринкам, на которых дебатировались разные вопросы. Кружки среди учащейся молодежи как-то сами собой возникали в начале каждого учебного года. Почвой для знакомства были в значительной степени землячества, из которых самыми крупными были: пермское, сибирское, волжское, подразделявшееся на кружки: костромской, нижегородский, самарский, саратовский и др. Затем знакомились, конечно, в аудиториях и т. д. Собирались и принимались обыкновенно что-нибудь читать: Спенсера, Милля, с примечаниями Чернышевского, вообще какой-нибудь курс политической экономии, например, Иванюкова; сравнительно редко читали в кружках Маркса, в виду его тяжеловесности; в ходу был Лавров. Часто читали какие-нибудь статьи из современных журналов.

Иногда кто-нибудь приготовлял самостоятельный реферат. Помню рефераты по этике, по истории революционного движения в России, изложение теории Маркса, о капитализации кустарной промышленности, об отхожих промыслах, об общинном землевладении, об аграрном движении, о сектантах-рационалистах. Много прений вызывали сочинения Льва Толстого, которые

часто читались целиком, например «Крейцерова соната». Кружки эти обыкновенно были недолговечны: они появлялись и пропадали как мыльные пузыри. Многие из моих знакомых (да и я сам) участвовали одновременно в нескольких кружках, и не успеет один кружок распасться, как уже где-нибудь составился другой. В этой толчее люди знакомились и сближались, и, в конце концов, получался как бы отстой более серьезной части студенчества. Сами собой образовывались группы лиц, решавших, что пора от слов перейти к делу. Делом этим обыкновенно являлось: доставка и распространение заграничной нелегальной литературы, гектографирование этой литературы, организация кружков самообразования и руководство в них, хождение к рабочим, помощь политическим ссыльным и заключенным (участие в Красном Кресте) и т. п.

Большинство таких деятелей в Петербурге были знакомы между собой, что объясняется отчасти их небольшим числом. В среднем их каждый год набиралось человек 40—50, не больше, если считать более солидных. Временами вся эта компания разделялась на группы, различные по своим взглядам. Спорили, расходились, даже порывали друг с другом; но некоторая связь все же сохранялась. Я помню такие выражения: «все друг друга знают», «как трудно откопать совершенно незнакомого деятеля». Более замкнуто и конспиративно держались те, кто занимался пропагандой среди рабочих. Это дело считалось самым серьезным, и пропагандисты старались тщательно скрывать свою деятельность от прочей радикальной молодежи.

В среде упомянутых более зрелых студентов происходила, конечно, и более интенсивная работа политической мысли; тут, как в фокус, собирались все лучи тогдашних взглядов по вопросам текущего момента.

II. СТУДЕНЧЕСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КРУЖКИ.

В рассматриваемый период (вторая половина восьмидесятых годов) до конца 1887 г. в Петербурге не было сколько-нибудь крупной организации, которая объединяла бы действующие радикальные элементы.

Еще в конце 1886 г. существовали остатки одной социал-демократической группы, но они действовали исключительно среди рабочих. С 1885 г. начала свою деятельность военная

группа, провалившаяся в 1887 г., но и это была тоже группа специальная. Сколько-нибудь общий характер имела группа народовольцев, но она была очень малочисленна. Да и вообще в 1885—1887 гг. были затишье и полная дезорганизованность.

Оживление началось, сколько помнится, с конца 1887 г., когда разразились студенческие волнения . . . .

Так, в этом же 1888—1889 г. возникло «Объединенное землячество»,[1] где соединились землячества: волжское, сибирское, пермское, вятское, рязанское и южно-русское. Я тоже принимал участие и в этом центре, быв выбранным (вместе с медиком Шиповым) делегатом от волжского землячества. Задачи этого объединения были формулированы как «материальная и духовная взаимопомощь среди студенчества». Этот коллектив был организован с внешней стороны более определенно и строго, чем другие организации. Тут фундаментом служили такие вполне определенные единицы, как землячества. Центральный орган состоял из выборных баллотировкой по большинству голосов: от каждого землячества по два делегата. Это объединение просуществовало недолго. Прежде всего встретилось затруднение в том, как объединить кассы землячеств: у одних существовал запасный капитал, у других его не было. Затем самая цель объединения представлялась, с одной стороны, слишком узкой, как работа только среди студенчества, с другой стороны, слишком расплывчатой и неопределенной: материальная и духовная взаимопомощь. На собраниях встретились два совершенно несоединимых элемента: типичные работники земляческих касс, погруженные в заботы о материальных средствах своих коллективов, и не менее типичные радикалы, которые попали сюда исключительно из-за политических целей и часто понятия не имели об уставах землячеств. Радикалы думали больше о заведении новых знакомств, для привлечения их хотя бы в организацию кадровиков; «земляки» изводили их техническими соображениями о согласовании различных параграфов устава того или иного землячества. Понятно, толку из этого выйти никакого не могло . . . . . .

Затем возникло в университете, да и в других учебных заведениях, объединение на очень широких началах, курсовое. Пред-

[1] «Объединенное землячество», или «Союз землячеств», существовало уже в 1886—87 г. Так, А. И. Ульянов был его членом (см. воспоминания С. А. Никонова, Говорухина, Чеботарева, А. И. Ульяновой-Елизаровой). *А. Е.*

полагалось организовать каждый курс, который должен был выбирать делегатов в общий центр. Но это было возможно только разве у естественников, где публика была однороднее и порядочнее; на других же факультетах подобное объединение было нелепостью. Курсовое объединение просуществовало совсем недолго . . . .

Но возникали другие кружки и стремились иногда принять характер руководящих центров. При этом я часто замечал такое явление: всего чаще руководящая роль достигалась такими кружками, которые с начала своего основания совсем никакими такими целями не задавались, или кружками, которые если и сразу ставили себе «центральные» задачи, то состоявшие из ядра лиц, пришедших к тому как-то само собой и еще раньше, до формальной организации, постепенно приобретавших значение руководителей. Так, помнится один очень интересный кружок, образовавшийся осенью 1885 г. из студентов.[1] Кроме этой молодежи, был еще значительно старший нас член, игравший до некоторой степени роль руководителя, статистик Алексей Гизетти. К концу существования кружка, в начале 1887 г., присоединились А. И. Ульянов (казнен по делу 1 марта 1887 г.) и Говорухин.[2] Кружок этот сначала не задавался решительно никакими широкими политическими задачами. Кроме стремления к самообразованию, нас влекла в кружок просто жажда общения с хорошими людьми. Занятия состояли в штудировании Милля с примечаниями Чернышевского, при чем дело велось таким образом, что каждый по очереди составлял конспект одной главы. Конспект этот, конечно, вызывал обмен мыслями.

Первоначально, в первый год (1885—86) существования кружка почти не велось никаких чисто политических разговоров; спорили больше на разные научные темы. Но под конец политика властно стала стучаться к нам. Многие вступили членами-руководителями в другие кружки. Так, я и С. А. Никонов попали в кружок гимназистов. Оба брата Никоновы и И. М. Иванов принимали уча-

---

[1] Кроме меня, в него входили: братья Алексей и Сергей Никоновы, Иван Михайлович Иванов, Егор Егорович Гарнак, Н. Э. Ватсон, А. Фойницкий, курсистка А. В. Москопуло, Марк Тимофеевич Елизаров, Иван Николаевич Чеботарев, Николай Федорович Погребов и др. *А. Е.*

[2] А. И. Ульянов вошел в кружок в 1886 г.—см. воспоминания Никонова. *А. Е.*

стие в организации кружков в военно-учебных заведениях.[1] Кое-кто ходил к рабочим. В других студенческих кружках участвовали все. На второй год своего существования, по окончании чтения Милля, появились рефераты собственного изготовления (о капитализации кустарной промышленности А. Н., по этике С. П., о теории Мальтуса А. Г.). Но больше всего мы занимались политикой. Так, весь кружок принял деятельное участие в подготовке демонстрации 17 ноября 1886 г. по случаю 25-летия со дня смерти Добролюбова. В этом же году у нас читал свой проект созыва земского собора А. Г. Штанге. Затем, помню, обсуждали мы проект какой-то программы П. Л. Лаврова...

Отзываясь на все явления тогдашней политической жизни и принимая через своих членов участие во многих других кружках и группах, кружок мог бы современем сыграть довольно заметную руководящую роль. Но этому помешали разногласия во взглядах, разделявшие членов на две почти равные части. Разногласия вышли по вопросу, очень волновавшему тогдашнее общество, — о терроре. Отмечу, кстати, одно любопытное явление: те из нас, которые особенно стояли за террор, в то же время по своим экономическим воззрениям были ярыми марксистами. Сами себя они называли народовольцами, хотя по вопросам о судьбах капитализма в России, о разложении общины, об особенно важной роли рабочего пролетариата, они скорее могли бы быть причислены к социал-демократам.

Нужно сказать вообще, что тогда люди делились больше всего по вопросу: должно ли движение иметь б о е в о й характер, причем почти единственным боевым средством считался политический террор, или движение должно иметь п о д г о т о в и т е л ь н ы й характер, так как наличных сил слишком недостаточно для открытой борьбы, и силы эти надо копить и беречь. Разногласия по всем другим вопросам практического значения не имели: в то время могли совместно работать люди самых разнообразных мнений по всем остальным вопросам. Особенно мало придавали значения в описываемый период вопросу об экономике и политике. Всеми признавалась необходимость политической свободы, и я даже как-то мало встречал людей, которые усматривали бы в конституции нечто, выгодное только для буржуазии. Необходимость

---

[1] Никонов говорит, что в организации военно-учебных заведений участвовал он, Сергей Андреевич, а не его брат. *А. Е.*

прежде всего политического переворота, политического освобождения России признавалась громадным, подавляющим большинством.

Весной 1887 г. один из недавно вступивших членов, А. И. Ульянов, принял самое активное участие в покушении 1 марта. Он, однако, не говорил об этом никому из нас: кажется, даже наши террористы не знали об этом. Ульянов действовал с другой компанией, членов которой (Шевырева, Лукашевича, Генералова, Андреюшкина, Осипанова и др.) никто из нас не знал, если не считать шапочного знакомства по университету. Чтобы не замешать нас, Ульянов заранее вышел из кружка. Как-то случайно он зашел на одно заседание за две недели до 1 марта. Быть может, зашел взглянуть на нас в последний раз и мысленно проститься с нами. Вид его тогда поразил многих. Он весь вечер просидел молча, задумчиво глядя своими большими темными глазами. Я очень живо помню его лицо: матовой белизны, немного широкоскулое, всегда спокойное и серьезное, шапка черных, слегка вьющихся волос на голове. Но в этот вечер его лицо было точно освещено каким-то внутренним светом и казалось преображенным. И не я один обратил на это внимание: многие из нас, после того как его арестовали, вспоминали о выражении его лица, — лица человека, обрекшего себя на смерть.

Около того же времени многие из членов были арестованы по делу о пропаганде в военно-учебных заведениях, и кружок распался после двухлетнего существования за недостатком людей. Этот кружок был замечателен той крепкой нравственной связью, которая объединяла людей, довольно резко расходившихся по вопросам тактики . . . .

Несомненно, этот кружок имел все данные для того, чтобы играть известную центральную роль. Между тем, при его первоначальном основании никто решительно и не думал об этом.

III. ПРОГРАММНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ В РАДИКАЛЬНЫХ КРУЖКАХ.

О чем же говорили, к чему стремились в конце восьмидесятых годов в Петербурге?

Резкого разделения на народников и марксистов еще не было за время 1885—1890 гг. Были, конечно, разговоры на эти темы, но не этим разделялась публика на враждебные лагери. Существовали тогда два течения: одно называло себя народовольцами,

террористами, что тогда было почти синонимом, другое, в сущности, себя никак не называло. Слово «социал-демократ» тогда еще не было в большом ходу. Были, правда, и тогда отдельные лица, называвшие себя так; возникали порой небольшие группы под этим флагом, но назвать этим именем все второе течение, которое резко отделялось от народовольцев, было бы совершенно неосновательно. Я помню, чаще других употреблялось выражение: «подготовительное направление». Но это слишком неопределенный термин, тем более, что известная подготовительная работа отнюдь не исключалась и народовольцами.

Для того, чтобы как-нибудь назвать те две группы, о которых я поведу речь, придется ввести новую номенклатуру. И тут я не могу придумать ничего, что бы лучше характеризовало обе группы, как назвав одних романтиками (народовольцев), других — реалистами. Правда, и эта терминология имеет крупный недостаток: она устанавливает предвзятое сочувствие по отношению к одним (реалистам) в ущерб другим. Для меня, в положении летописца, это еще неудобно и потому, что я сам тогда принадлежал к реалистам, а потому у читателя может сразу явиться сомнение в моей беспристрастности. Но ничего не поделаешь! Ничего лучшего придумать не могу.

Основой разделения был вопрос о тактике, об общем способе и характере борьбы с правительством. Надо сказать, что в то время чувствовалась некоторая, если хотите, усталость общественной мысли в области программных вопросов и в особенности вопросов экономических и социальных, от решения которых зависело принять тот или иной способ действий. Все как-то сходились в ненависти к самодержавию, в признании необходимости добиться прежде всего политической свободы. Для этого необходимо было организовать достаточную материальную силу, которая могла бы померяться с врагом. Принципиальные споры о социальной основе этой борьбы, т.-е. должна ли она вестись на почве интересов рабочего пролетариата, или мелкого самостоятельного производителя, или буржуазии, — подобные споры, конечно, интересовали публику, но интерес этот был больше теоретический. Практического значения не придавалось этим рассуждениям.

Сказать, что общие вопросы перестали интересовать молодежь, было бы несправедливо. Интересоваться-то ими всегда интересовались, но им меньше придавали практического значе-

ния. Если принять деление периодов по Сен-Симону на синтетические и критические, то вторая половина восьмидесятых годов занимала какое-то среднее положение между концом синтетического периода и началом критического. К этому времени был до известной степени переработан некоторый фактический материал, который всегда ложится в основу работы мысли. Пожалуй, будет слишком смело сказать, что он был весь переработан, но во всяком случае над одними и теми же данными слишком долго работали, и их жевали и пережевывали до тошноты. Выводы слишком легковесные откидывались и снимались со счета, работа мысли все более концентрировалась на более спорных и серьезных вопросах, но и тут, при наличности все одного и того же фактического и идеологического материала, быстро достигалось соглашение, и если оставалось разногласие, то оно обусловливалось, главным образом, различием темпераментов.

Огромное влияние оказывало и то, что вся эта работа политической мысли происходила, в сущности, только в одной среде— в среде внеклассовой интеллигенции. Радикальное студенчество, каким бы влияниям оно ни подвергалось и как бы чутко ни относилось к жизни, не могло вполне отразить борьбы действовавших в России общественных сил. Вопросы поневоле должны были ставиться отвлеченно: с точки зрения справедливости вообще. Решение вопроса считалось правильным, если оно соответствовало известному общепризнанному принципу. До известной степени тот же характер политического мышления сохранился и до сих пор, [1] мы и сейчас можем встретить много программ, представляющих целый ряд очень хороших «вечных истин» с логическими выводами из этих истин. Выводы строго логичны, но... вопрос, насколько они вытекают из реальных условий жизни и согласуются с ними?

Классы и массы в то время мало себя проявляли. Никаких «выступлений» тогда не было. Крестьяне, рабочие, буржуазия— все это были мертвые силы, мирно лежавшие под тяжелым ярмом. Приходилось статистикам и другим исследователям народной жизни открывать народные нужды и при этом преодолевать всевозможные препятствия, так как официальная формула гласила: «все обстоит благополучно»... Весьма понятно,

[1] Напоминаем, что статья В. Бартенева была напечатана в 1908 г.
А. Е.

что работа политической мысли вращаясь, как белка в колесе, в кругу одних и тех же данных, в конце концов, приходила к некоторым общепризнанным положениям, и дальше уже начиналось какое-то топтание на месте и варение в собственном соку.

Через несколько лет дело изменилось. С одной стороны, были внесены некоторые свежие факты и соображения, иначе были поставлены вопросы (Струве, Туган-Барановский, Бельтов, Потресов, Владимир Ильин и др.), а с другой стороны пробудились массы и стали выступать на политическую арену. Тогда новые свежие струи проникли в радикальное подполье и оживили его. Но это произошло к середине девяностых годов.



Уже из вышеизложенного ясно, что наиболее серьезные разногласия должны сводиться к вопросам о тактике и об общих способах действий.

По вопросам об общих предпосылках большинство склонялось к среднему, так сказать, эклектическому направлению. Признавали, что, в конце концов, необходима работа во всех слоях, куда только ни забросит данного деятеля судьба. Конечно, нельзя забывать и крестьян, и рабочих, и земства, и студентов. Но когда вопрос ставился практически и нужно было приниматься за работу, а стало быть, примыкать к той или другой группе, то тут на первый план выдвигался вопрос об общем характере действия, и публика разделялась.

Я назвал те два направления, на которые главным образом делилась публика, романтизмом и реализмом. Разногласия между ними сводились главным образом к тому, можно ли было сразу приступать к действиям боевого характера, или надо было ограничиться пока одной лишь подготовительной работой. В частности, публика расходилась по двум вопросам: о терроре и об организации всероссийской революционной партии.

Романтики революционного движения полагали, что при тогдашних силах и внешних условиях возможно было развить такую боевую деятельность, что правительство сдастся и пойдет на серьезные уступки. Единственным средством, по их мнению, был террор. Необходимо сказать, что к концу восьмидесятых годов политический террор как-то выродился. Я, собственно, помню только одну террористическую группу, которая могла быть действительно грозной силой.

Но эта группа организовалась в начале рассматриваемого периода и выступила и погибла 1 марта 1887 г. Это была

группа, главным образом, студентов университета: Ульянов, Лукашевич, Шевырев, Генералов, Осипанов, Андреюшкин и другие. До покушения 1 марта о них мало знали и мало говорили, они не очень-то разглагольствовали о терроре в кружках и на вечеринках. Задумав свое дело, они принялись за его выполнение и, по крайней мере, успели хоть вынести бомбы на Невский. Что касается других террористов, которых я собственно называю «романтиками революции», то у них и этого не было. Были преимущественно разговоры о терроре, что они сами называли пропагандой народовольчества . . . .

По вопросу о терроре деятели реалистического направления рассуждали так: они, признавая нравственное оправдание террористических актов при тогдашних политических условиях, признавали необходимость известных действий как актов непосредственной самозащиты, но относились совершенно отрицательно к террору, как системе. Кроме обычных возражений общего характера, тогда указывали, что террор, как могучий натиск революционной интеллигенции, в то время уже пережил себя и воскресить его не было возможности. Террор — стихийное движение, само собой возникшее в конце семидесятых годов в силу известных условий, а затем время его прошло, и в данный момент были возможны только слабые, неудачные попытки, которые только расстраивали и без того редкие ряды борцов и усиливали репрессии. Действительно, жертвы по поводу тогдашних террористических актов были очень велики. Дело 1 марта 1887 г., кроме гибели около 20 человек, привлеченных по процессу, повлекло за собой массовые исключения из университета и высылки многих, кто хоть сколько-нибудь был близок к главным виновным. К осени 1887 г. был составлен проскрипционный список студентов университета, куда вошло более 100 человек. И надежды на то, что эти репрессии вызовут новый, сильнейший отпор, не было никакой, так как слишком мало было накоплено сил, да и силы-то эти были не те, что годились бы на смертный бой.

Даже из среды сторонников террора (если исключить группу Ульянова и др.) почти не встречалось людей, способных лично совершить террористический акт. Они только говорили об этом, и потому их деятельность невольно устремлялась на пропаганду террора и на организацию групп на почве сочувствия этой идее, которая сама по себе в данное время была уже мертва . . .

Работа в это время велась, главным образом, подготовительная, культурная, в разных формах, легальных и нелегальных, и в различных слоях, преимущественно среди учащейся молодежи и рабочих...

Тогдашние условия требовали возможно большей осторожности, а для этого надо было каждой группе получше законспирироваться и ограничить круг своих сношений пределом крайней необходимости . . . .

IV. ПРОПАГАНДА СРЕДИ РАБОЧИХ.

Я начал ходить к рабочим весной 1887 г. Старый рабочий А. Н. П—сон, уже побывавший в Якутске, как-то предложил познакомить меня с кружком рабочих, и вот мы отправились с ним в Коломну, где на Мясной улице жил рабочий Балтийского завода Иван Васильевич Крутов или «старик Крутов», как его называют теперь в разных мемуарах... Непосредственно передо мной ходил Егор Егорович Гарпак, [1] народоволец по убеждениям, не состоявший, кажется, ни в какой организации...

Систематических занятий не было; начал было я краткий курс русской истории, но так и не удалось довести до конца. Читали отдельные вещи из нелегальной литературы, не разбирая направлений, а больше вели разговоры на разные темы. Правильные и продолжительные занятия установить было довольно трудно: то вдруг случайно зайдет в комнату какой-нибудь посторонний знакомый и, увидя компанию, рассядется и только удивляется, «как это вы, братцы, такие скучные сидите, одним чайком пробавляетесь, не послать ли в трактир за водкой?». То бывало, что не все соберутся, или покажется, что полиция следит и надо пока прекратить собрания . . . .

Разговоры наши носили характер обмена мыслей на всевозможные темы, с преобладанием, конечно, экономических и политических. Много толковали о местных заводских порядках, интересовались жизнью рабочих на Западе. Что меня сначала немного удивляло, это то, что политический гнет чувствовался, пожалуй, даже острее, чем тяжкое экономическое положение. Против правительства и полиции были настроены хуже, чем против представителей капитала. Крутова и его товарищей страшно возму-

[1] Член «экономического» кружка знакомый Ульянова и Чеботарева. *А. Е.*

щало, что каждый городовой мог тащить за шиворот в участок и бить по морде. Мне иногда казалось, что полицейский гнет они чувствовали острее даже, чем мы, студенты, с нашим юмористическим ко всему отношением. Вероятно, это происходило от того, что политический гнет проявлялся относительно рабочих в более грубых формах; с нами, интеллигентами, все-таки стеснялись.

Итак, работа в нашем кружке носила исключительно просветительный характер. Об агитации для устройства забастовки или какой-нибудь демонстрации речи не было. Мы не ставили себе прямой целью создать какую-нибудь обширную организацию или партию. Все члены кружка были настроены, тем не менее, радикально. Все были террористами, и я своими возражениями против террора, кажется, сильно уронил себя в их глазах . . .

Осенью 1890 г. я вступил в рабочую группу, [1] она тогда только-что начала оправляться после арестов весной и летом. Много было арестовано и рабочих, и студентов. Студенты, впрочем, попались не по рабочему делу, а за знакомство с народовольческим кружком, который потерпел полный провал.

К осени из интеллигентов в группе остались только четверо: Василий Голубев, Михаил Бруснев, Леонид Красин и Цивильский...

---

[1] Деятельность этой группы была подробно описана в ст. Вас. Голубева («Былое» 1906 г., № 12). *В. Б.*

А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИЛЬИЧЕ УЛЬЯНОВЕ.

Со сложным чувством выпускаю я в свет свои воспоминания о брате Александре Ильиче.

С одной стороны, я сознаю, что на мне, как на человеке, выросшем с ним с детства, проведшем вместе студенческие годы, привлеченном по одному с ним делу, лежит обязанность записать все, что я знаю о нем и что не может быть восстановлено никем другим. Но, с другой стороны, написанное не только ни в какой мере не удовлетворяет меня, но я сознаю, что и не могу дать вполне удовлетворительной биографии брата. И это по целому ряду причин.

Прежде всего я не могу осветить с достаточной ясностью то, что интересует всего больше в биографии брата: дело, за которое он погиб, подготовку этого дела, так как не только не была участницей, но и не была посвящена в него. И только на основании догадок, сопоставлений того, что высказывалось другими, и разных косвенных указаний могу я восстановить для себя тот путь, которым брат пришел к решению принять участие в террористическом акте.

Поэтому мне осталось собирать разные черточки из жизни и проявлений его с детства, а таковые, как вследствие краткости его жизни, тюремная дверь над которой захлопнулась до его совершеннолетия, до того, как ему стукнул 21 год, так и вследствие исключительной замкнутости и глубины его натуры, крайне скупой на высказывания,—очень малочисленны и беглы. Но так как иная мелочь характеризует порою человека ярче, чем крупные факты, так как мне — близкому лицу, у которого его образ сложился на основании всей совместной жизни, — нельзя указать,

какие именно проявления создали этот образ, то я решила записывать почти все сохранившееся в памяти, как не совсем обычное, все, что в свое время остановило почему-либо мою мысль, затронуло глубже мое чувство. И мне трудно решить, что из этих занесенных на бумагу черточек нужно, важно, помогает читателям восстановить хотя до некоторой степени его образ, и что отложилось особенно прочно на полочку моей памяти по чисто субъективным причинам. А сверить эти воспоминания теперь, когда почти не осталось людей, знавших близко Александра Ильича, мне не с кем. Самые близкие к нему люди — брат Дмитрий и сестра Мария—были к моменту его гибели слишком молоды и мало могут поэтому дать для его характеристики.

Наконец, самый процесс записи и этих отрывочных, часто не связанных одно с другим воспоминаний сильно затруднялся для меня двумя препятствиями: во-первых, брат Александр занимал такое исключительное место в моей жизни, что в течение долгих лет запись воспоминаний, как чересчур бередящая рану, была невозможна для меня. И даже теперь мне трудно было писать эти листки, и если личные переживания придают обычно повествованию живости и наглядности, то, несомненно, что более острое и больное чувство сковывает часто язык, делает рассказ нудным и тягостным. Я убедилась в этом в процессе писания моих воспоминаний. А, во-вторых, я убедилась также и в том, что, кроме других помех, большое значение имело и время.

То, что 30 лет нельзя было записывать искренно свои воспоминания о брате, ибо противно было подумать, что в них станут копаться люди купленные, сыщики всех рангов, не осталось, конечно, без следа: эти годы — особенно последние, революционные, из которых иные равнялись по количеству пережитого десятилетию, — унесли так много из памяти, что один из наиболее близких к Александру Ильичу товарищей, — С. А. Никонов — говорит: «Исчезли почти все конкретные черточки, всего лучше характеризующие человека, и осталось лишь общее впечатление светлого образа». Слыша об этом и от других, отмечая сама этот факт в поступавших ко мне воспоминаниях, я стала заносить все конкретные черточки, уцелевшие в моей памяти, хотя бы и незначительные. Я выписала из своих черновиков, относящихся к 1906 г., когда я составляла биографию брата для «Галлереи шлиссельбургских узников», те мелочи, например, поденную запись о последних перед 1 марта днях, ко-

торые уже сгладились более или менее из моей памяти за прошедшие с тех пор годы.

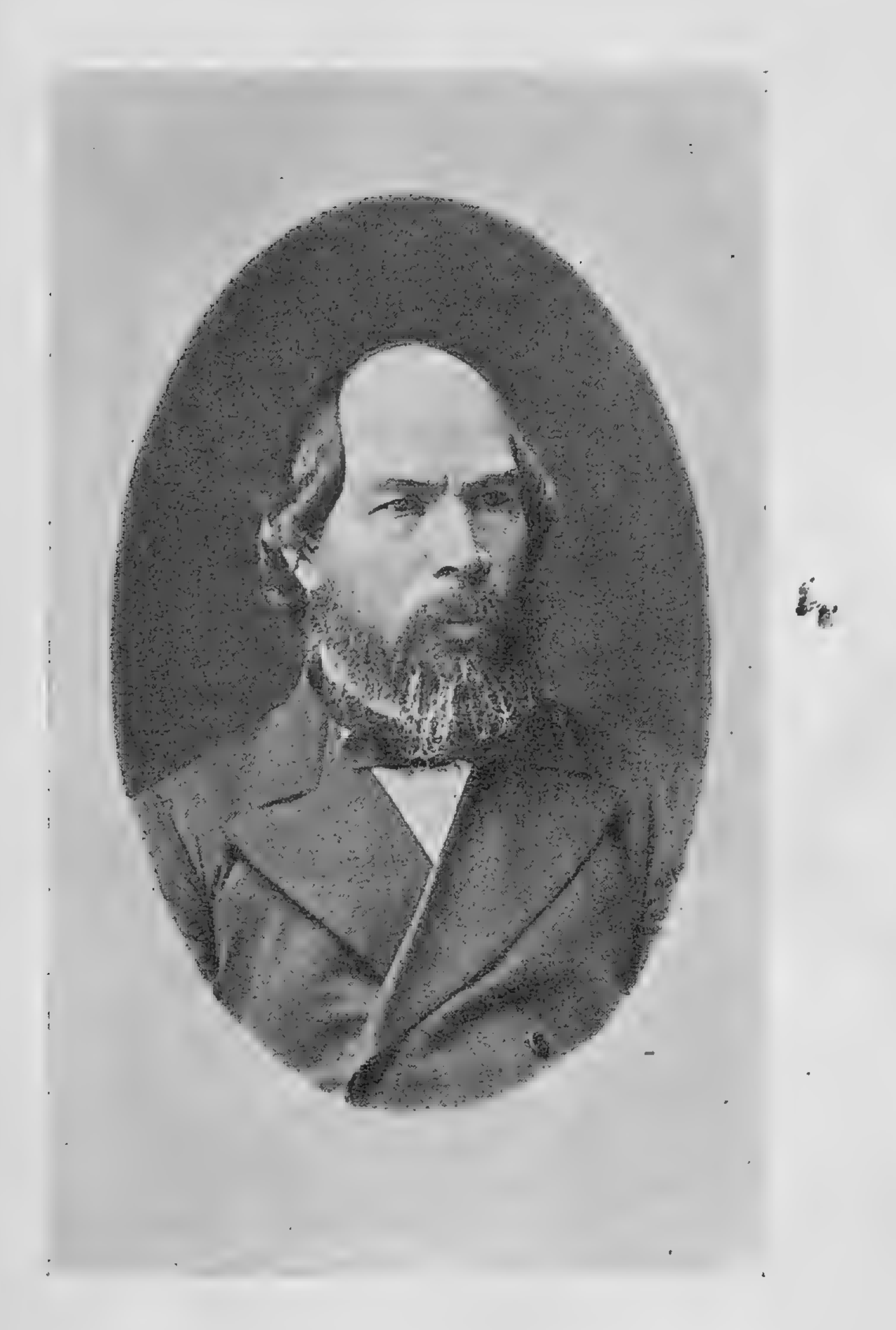
Все это, вместе взятое: истекающий сорокалетний срок со дня гибели брата, исключительная глубина и замкнутость его натуры, моя непосвященность в дело, которому он отдал жизнь; невозможность по причинам внешним запечатлеть эти воспоминания, пока они были вполне ярки и живы в памяти, и трудность по причинам внутренним слишком часто и глубоко ворошить их, — инстинктивное, из чувства самосохранения, старание избежать этого, — все это определяет собою, что мои отрывочные, часто очень мелкие воспоминания не могут восстановить сколько-нибудь полно умственный и нравственный облик брата.

По годам мои записи разбиты на три части: «Детские и школьные годы», «Годы студенческие» и «Последний год жизни Александра Ильича».

I. ДЕТСКИЕ И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА.

Александр Ильич Ульянов родился в Нижнем-Новгороде 31 марта 1866 г. Он был вторым ребенком в семье учителя математики и физики нижегородской гимназии, Ильи Николаевича Ульянова.

Отец Александра Ильича происходил из мещан города Астрахани, из нуждающейся семьи, и семи лет остался сиротою. Образованием своим он обязан старшему брату, Василию Николаевичу, которому пришлось отложить горячие мечты об учении и поступить на службу, чтобы содержать семью. Но он постарался дать брату то, чего ему не удалось достигнуть самому, содержал его в гимназии, а затем поддерживал и в казанском университете, пока Илья Николаевич, с детства привыкший к труду, не стал содержать себя сам уроками. С большой благодарностью вспоминал всегда Илья Николаевич о брате, вполне заменившем ему отца, и детям говорил, как он обязан брату. По окончании университета в 1855 г. Илья Николаевич занял место учителя математики и физики в пензенском дворянском институте. Оттуда в 1863 г. он был переведен на такое же место в нижегородскую гимназию и дворянский институт. Отец любил свою специальность, а кроме того он был педагогом в душе, излагал талантливо



ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ
(снимок 1882 или 1883 года)

и толково свои знания, как о том свидетельствует, между прочим, его ученик, профессор Карякин. [1]

С уважением вспоминали его, как любимого учителя, доктор Жбанков и такие добившиеся степеней известных при старом режиме люди, как сенатор Таганцев и прокурор Неклюдов. [2] Он был снисходителен и терпелив к ученикам, собирал бесплатно отстающих и не могущих иметь репетиторов в гимназии по воскресеньям или в свободные часы и подгонял их.

Но, несмотря на любовь к своему предмету, Илья Николаевич не задумался сменить это более спокойное и до некоторой степени насиженное место — он учительствовал лет 13 — на должность инспектора народных училищ, открывшуюся тогда впервые. Он поехал из Нижнего в глухой по тому времени Симбирск и с увлечением взялся за организацию нового трудного дела. Школ в губернии не было или они были плохи, учителя не соответствовали своему назначению. Илье Николаевичу приходилось много колесить по губернии, насаждая, ревизуя, реформируя школы.

Это стало делом его жизни, в которое он вложил все свои силы и всю энергию, которое выполнял с большой любовью и со свойственной ему настойчивостью. Мало времени мог он отдавать при такой работе детям. Но его личный пример было то самое большое, неизмеримое по воспитательному значению, что получали от него дети. И небольшие его досуги, которые он всего охотнее проводил в семье, давали детям очень много. А затем он и непосредственно руководил занятиями детей, главным образом, двух старших сыновей в первые годы их школьной жизни, приучая их к исполнительности в уроках. Авторитет его в семье и любовь к нему детей были очень велики.

Огромное значение в воспитании детей имела и мать Александра Ильича, — Мария Александровна, урожденная Бланк. Это была удивительно гармоничная и цельная натура. С большой твердостью и силой характера, выказавшимися во весь рост во время перенесенных ею тяжелых испытаний, она соединяла кротость и чуткость, а с глубиной душевных переживаний ровный, приветливый и веселый нрав, покорявший обычно всех, кто с ней сталкивался. Тем больше покоряла она своих детей, в которых

---

[1] См. его воспоминания в издании пензенского метеорологического бюро 1926 г.

[2] Обвинитель Александра Ильича и его товарищей по процессу 1 марта 1887 г.

вкладывала все силы, которых окружала самоотверженной любовью без баловства и потаканья, внимательным и чутким надзором без излишнего стесненья их свободы.

Воспитанная в деревне отцом-врачом, передовым по тому времени человеком, в условиях физического закаливания и труда, она, в свои юные годы, по ее словам, не знала нервности. С умственным развитием дело обстояло хуже: отец не мог приглашать к младшим дочерям учителей, как к старшим, в другой обстановке. Институтское воспитание им не одобрялось. Поэтому Мария Александровна получила лишь домашнее воспитание: изучила под руководством тетки-немки новые языки и музыку и много читала. Ей страстно хотелось учиться больше, и она всю жизнь жалела, что обстоятельства не позволили ей этого.

Большая домоседка, она не интересовалась времяпрепровождением тогдашнего провинциального дамского общества. Любимым отдыхом ее была музыка, которую она страстно любила и очень одухотворенно передавала. Досуг для этого занятия оказывался у нее лишь тогда, когда дети укладывались спать, и они любили засыпать под ее музыку, а когда подрастали, работать под нее.

Если прибавить к этому, что жила семья очень скромно, только на жалованье отца, и лишь при большой экономии матери удавалось свести концы с концами, но все же ни в чем необходимом дети не нуждались, то надо признать семейную обстановку и условия воспитания очень благоприятными для развития ума и характера детей,

---

Александр Ильич как лицом, так и характером походил больше на мать, особенно в детстве. Позднее рисунок губ и бровей стал напоминать отца. Но в общем можно было сказать, что он был в мать. То же редкое соединение чрезвычайной твердости и ровности характера с изумительной чуткостью, нежностью и справедливостью. Но более строгий и сосредоточенный, еще более мужественный характер.

Он рос спокойным, здоровым, как и мать в детстве, ребенком. Его кудрявая белокурая головка с черными бровями и большими черными глазами,—«грезовская головка» по определению его первого учителя, Василия Андреевича Калашникова (см. его воспоминания) была очень красива. Особенно хороши были глаза и их выражение, привлекавшее обычно все сердца и поражавшее

своей недетской глубиной. Он отличался кротким, ровным характером и какой-то особенной чистотой. Характерно, что я, — вспыльчивая и при постоянной хвори довольно капризная в детстве, — не помню ни одной ссоры с ним. Не помню его ссор с другими братьями и сестрами или с товарищами. Он и ссора, стычка, — это как-то не вязалось вместе. Какое-то особенное внимание и чуткость к личности другого было у него с детства.

В противоположность мне Саша мало хворал. Помню одну его опасную болезнь, — воспаление желудка, — в возрасте 4 лет. Помню поразившее меня отчаяние матери: она упала на колени перед образом, шепнув мне: «молись за Сашу»; помню, как она оторвала от груди, перебросив няне, ревущего Володю и кинулась к Саше, которому было тогда, очевидно, плохо. Помню какие-то красивые привезенные ему игрушки, к которым я, ничего не понимая, стала тоже тянуться и которые он с большой кротостью уступил мне. Помню потом просветлевшее лицо матери, когда она водила и поддерживала его, выздоравливающего, — приходилось снова учить его ходить.

Это было уже в Симбирске; воспоминания же раннего детства в Нижнем до осени 1869 года, относящиеся к Саше, у меня очень коротки и отрывочны. Помню нашу казенную квартиру в коридоре здания гимназии из четырех в ряд идущих комнат, при чем лучшей была наша детская; помню кабинет отца с физическими приборами, а также и то, что одной из любимых наших игрушек был магнит и натертая сукном палочка сургуча, на которую мы поднимали мелкие бумажки. Помню площадь перед зданием гимназии с бассейном посредине, с мелькающими над ним деревянными черпалками на длинных ручках и окружающими его бочками водовозов.

Помню нижегородский откос, — аллеи, разведенные по крутому склону к Волге, — с которого Саша упал раз и покатился, напугав мать. Очень ясна перед глазами картина: мать, закрывшая от страха глаза рукой, быстро катящийся вниз по крутому зеленому склону маленький комочек, а там, на нижней дорожке, некий благодетель, поднявший и поставивший на ноги брата, воспрепятствовав ему тем совершить еще один или два рейса, до следующих узеньких дорожек.

Помню зимние вечера, игру матери на фортепиано, которую я любила слушать, сидя на полу подле ее юбки, и ее постоянное общество, ее участие в наших играх, прогулках, во всей

нашей жизни. С тех пор, как я начинаю себя помнить, у нас была одна прислуга, находившаяся больше на кухне, а мы бывали с матерью. Нянек у нас, двоих старших, я не помню. Особенно ясно запечатлелась ее игра с нами в нашем зальце и одновременно столовой, на стульях, изображавших тройку и сани. Брат сидел за кучера, с увлечением помахивая кнутиком, я с мамой сзади, и она оживленно рисовала нам, краткими понятными словами, зимнюю дорогу, лес, дорожные встречи. Мы оба наслаждались. Ясно вставали перед глазами описываемые ею сцены. Мое детское сердчишко было переполнено чувством благодарности к матери за такую чудную игру и восхищения перед ней. Могу с уверенностью сказать, что никакой артист в моей последующей жизни не пробудил в моей душе такого восхищения и не дал таких счастливых, поэтических минут, как эта бесхитростная игра с нами матери. Объяснялось такое впечатление, кроме присущего матери живого воображения, несомненно, еще и тем, что она искренно входила в нашу игру, в наши интересы, умела для того, чтобы доставить нам радость, увлечься и сама, а не снисходила до игры.

Хотя в том же гимназическом здании жили и другие семейные учителя, но память моя сохранила лишь имена некоторых детей, а не их самих, не игры с ними. Очевидно, мы встречались с ними лишь изредка и играли обычно вдвоем с Сашей, с которым были неразлучны.

Читать мы учились по звуковому методу. Меня мать начала, играя, учить с 5 лет, — помню наклеенные на картон буквы, из которых я составляла слова, — брат выучился подле меня самостоятельно, и отец рассказывал потом, как он — четырехлетний — раскладывал на полу газету и читал, лежа на ней.

Помню поездку на пароходе нас двоих старших с матерью из Нижнего в Астрахань, к родным отца. Это было ранней весной, с первыми пароходами, когда мы были в возрасте 3 — 4 лет. Смутно припоминаю маленький домик, старушку бабушку и дядю; припоминаю, что с нами возились, как с желанными гостями, и, как мать находила, баловали нас чересчур. К этим родным мы ездили только раз. Гораздо теснее были связи с родными матери, к которым в Казанскую губ. мы уезжали каждый год на целое лето.

В сентябре 1869 г. мы переехали в Симбирск, куда отец был назначен инспектором народных училищ, и поселились во

флигеле во дворе дома Прибыловского на Стрелецкой улице. В этой квартире 10 апреля 1870 г. родился брат Владимир. Осенью того же 1870 г. семья наша перебралась в верхний этаж дома того же хозяина на улицу, где прожила до 1875 г.

Дом этот был тогда последним по Стрелецкой улице, упиравшейся в площадь с тюрьмой, которая выходила главным фасадом на так называемый «Старый венец», — высокий берег Волги со сбегавшими вниз фруктовыми садами. В противоположность «Новому венцу», — части нагорной набережной в центре города, с бульваром из неизбежной акации, с беседкой и музыкой, по праздникам служившему местом прогулки чистой публики, — «Старый венец» был совершенно дикой окраиной города. Здесь стояла лишь пара скамеек над обрывом к Волге; по праздникам звучала гармоника, земля усердно посыпалась скорлупами подсолнечников и семечками рожков, — любимого тогдашнего лакомства, немало попадалось голов и хвостов воблы, — главной снеди всех волжан. На пасху сюда выходили катать яйца, и «Старый венец» пестрел яркими платьями и красными рубахами местных обывателей. Водружалась карусель, нестройно, перебивая одна другую, звучали гармоники, сновали продавцы рожков, семячек и маковок. И публика веселилась почти непосредственно под завистливыми взорами обитателей тюрьмы. Бледные, обросшие, какие-то дикие лица глядели из-за решеток, слышалось лязганье цепей. Но в праздники мы разве с кем-нибудь из старших проходили по венцу, одних нас мать не пускала. К вечеру оттуда доносились уже пьяные песни, происходили драки, без которых народные празднества и гулянья были в то время немыслимы.

В будни же он был обычным местом наших прогулок. Садика никакого при доме не было, ходить с нами дальше куда-нибудь матери обычно не было времени. В 1871 г. родилась сестра Ольга, в 1873 г. умерший через несколько дней брат Николай, в 1874 г. брат Дмитрий. Няня, поступившая к Володе, была занята всегда с меньшими. А венец был под рукой, и мы, старшие, перебегали туда дорогу одни, рылись в так называемом «песке», т.-е. правильнее в пыли, выискивая камешки, осколки фаянсовой посуды и т. п. сокровища и приносили их домой. Мать пускала нас скрепя сердце туда, по близости тюрьмы, про обитателей которой ходили разные страшные слухи, но гулять больше было негде, и приходилось мириться.

Помню, как угнетало наши детские души это мрачное здание с его мрачными обитателями. Только увлечешься, бывало, чудным видом на Волгу, пением певчих птиц в сбегавших с обрыва фруктовых садах или собиранием «сокровищ», как лязг цепей, грубые окрики или ругань заставляли нас вздрагивать и оглядываться. Вместе со страхом перед этими людьми наши детские души охватывало и чувство глубокой жалости к ним. Помню его отражение в глубоких глазах Саши. И сейчас еще стоит перед моим взором одно худое тонкое лицо с темными глазами, жадно прильнувшее к решетке окна.

Да и со взрослыми гулять в тогдашнем Симбирске детям было негде. Единственным общественным садиком был Карамзинский, вокруг памятника Карамзину. Это был типичный казенный садик того времени, с неизбежными аллейками из акации и сирени, с парой клумбочек. Гулять там надо было чинно, дети были стеснены в своих движениях и обычно, кроме праздников, когда по аллеям его проводили несколько разодетых скучающих детей, он пустовал, а его пыльная, подрезанная сирень кишела шпанскими мухами. Казенный садик был под стать казенным зданиям. На всякое учреждение общественного характера ложилась эта мертвящая рука. Помню еще один садик, — Николаевский, — тоже в центре города, но совсем заброшенный: весь в кочках, грязный, с поломанной загородкой, за которую заходили, возвращаясь с пастбища, коровы. Все же там росла и зелень, и мы — двое старших — ходили туда одно время с девочкой лет 14, Еленой, дочерью нашей кухарки. Никаких сторожей и запретов там не было, и мы бегали там охотно, но раз Елена увидела нас наклонившимися над темно-зеленой, таинственной бездной колодца, ничем решительно не загороженного. В ужасе потащила она нас прочь, не без сопротивления с нашей стороны, ибо загадочная глубь манила. С тех пор этот садик стал для нас под строгим запретом, и для прогулок оставался, кроме улицы перед домом, лишь «Старый венец». Дело шло, правда, лишь о весне и осени, так как на два, на два с половиной месяца мы уезжали ежегодно в деревню Кокушкино.

Чтению и письму, а также начаткам новых языков нас учила мать, но растущая семья, заботы о меньших и хозяйстве все меньше оставляли ей времени на это, и занятия получались, понятно, не регулярные. Вследствие этого отец пригласил с осени 1873 г. заниматься с нами учителя приходского училища Васи

лия Андреевича Калашникова.[1] Это был совсем молодой еще человек, недавно окончивший учрежденные отцом в Симбирске педагогические курсы. Опыта, конечно, у него еще никакого не было, притом он сам в семье директора несколько робел, что я, девчурка, тогда отметила и помню, что пользовалась этим, хотя в его памяти это, очевидно, и сгладилось, потому что в своих воспоминаниях он только хвалит нас за старательность. Возможно, конечно, и то, что имеет он в виду, главным образом, Сашу, с детства очень добросовестно и серьезно относившегося к своим обязанностям. Саше было тогда $7^1/_2$ лет.

Приходил к нам Василий Андреевич только на час, а затем задавал уроки к следующему дню. Кроме того, мать занималась с нами языками, и мы много читали. Отец получал всю новую детскую литературу, которая переживала тогда пору некоторого расцвета, журналы «Детское Чтение», «Семья и Школа» и др. Брали нам также книги в Карамзинской библиотеке, имевшиеся детские и разные школьные хрестоматии. Так, помню сборник Гербеля «Русские поэты», который мы читали и перечитывали, из которого заучивали наизусть отрывки. У нас было в обычае готовить отцу и матери какие-нибудь сюрпризы к именинам и к праздникам. Позднее это были работы, так Саша выпиливал красивые вещи, — в раннем детстве мы могли самостоятельно выучить только стихи, да разве еще переписать их покрасивее и вложить в конверты.

И вот я помню, что к одному из таких случаев Саша заучил по своему выбору «Ивана Сусанина» Рылеева и, мало любивший декламировать, читал с большой силой выражения слова жертвы того времени за благо отчизны, как он понимал тогда это:

«Убейте! замучьте! — Моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит».

«Злодей!» — закричали враги, закипев:
«Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!

. . . .

[1] Воспоминания его помещены в этом сборнике.

Не больше 8 лет было тогда Саше, — это было еще до поступления его в гимназию, и характерно, с какой не детской серьезностью читал он это далеко не детское стихотворение. Помню также, что из сборника Гербеля мы читали с увлечением «Дурочку» Майкова. Читали роман Вальтер-Скотта «Айвенго», — по тогдашнему переводу «Ивангое» — и очень увлекались им. Зато такими сочинениями, как Майн-Рид и Фенимор Купер, Саша совсем не увлекался.

Любил Саша разного рода коллекционирование, при чем отдавался со свойственной ему сдержанной страстностью и целостностью любимому в тот или иной период занятию. Так, в шести-семилетнем возрасте он собирал одно время все театральные афиши и раскладывал их порою на полу. Остался в памяти как раз Володя, всегда шаловливый и резвый; он побежал, несмотря на запрет, на этот ковер, стал топтать афиши, измял и изорвал несколько из них, пока мать не увела его. Саша, глубоко возмущенный, стал постепенно складывать свои сокровища. Я, понятно, разделяла его возмущение.

Описываю этот мелкий факт, так как в нем особенно выпукло проявились свойства характера Саши в раннем детстве. Он был возмущен вторжением в его права, но он не заплакал, — я совсем не помню его в детстве плачущим, — вспоминаю только раз в возрасте девяти лет в слезах во время опасной болезни матери. Он не применил также насилия к младшему, — подобных случаев с ним совсем не бывало; не выругался, — этого мы тоже никогда не слыхали от него. Он испустил лишь возмущенный возглас, да его темные глаза еще больше потемнели.

Так, — и без возгласов уже, совсем молчаливо, — реагировал он обычно и позднее на всякую несправедливость, на всякий осуждаемый им поступок. И сила этого немого неодобрения импонировала в нем уже с детства. Даже такой самоуверенный, резвый и проказливый мальчик, как Володя, лишь в раннем детстве проявлял по отношению к Саше выходки вроде вышеописанной. С наступлением некоторой сознательности — так, лет с 5—6 — старший брат стал для него высшим авторитетом, предметом горячей любви и подражания. О чем бы в те годы ни спросили Володю, он отвечал неизменно одно: «как Саша». Помню, как мы трунили над ним, как ставили его иногда в намеренно неловкое положение, ничто не помогало. И если с годами подражание брату утратило такой смешной характер,

то во всем основном, по мере сил, Володя, как и все мы, старался «равняться по Саше». Его пример и влияние в семье не может быть переоценено.

Помню я один случай, относящийся к более позднему времени, когда Саше было лет 10—11. Отец, уходя куда-то с матерью, за что-то резко побранил меня. Вспыльчивая и несдержанная я, как только дверь захлопнулась за отцом, воскликнула возмущенно: «гадкий папа!». — «Как это можно говорить так, Аня?» — сказал Саша. И я помню, что серьезное огорчение, прозвучавшее в его словах, подействовало на меня сильнее всякого, самого строгого выговора со стороны отца, матери или кого угодно из старших. Вся моя досада разлетелась как дым от этих простых слов, и я была озабочена лишь одним: восстановить себя во мнении брата. — «Я ведь это так, я не думаю этого в самом деле», — говорила я, заглядывая в его глаза, страшась больше всего на свете потерять в его мнении. А между тем Саша был на полтора года моложе меня.

Еще залегло у меня в памяти, что Саша на вопрос: «какие самые худшие пороки?» ответил в эти же приблизительно годы — «Ложь и трусость».

Росли мы в семье по возрастным парам, и я была неразлучна с Сашей.

Наша семья жила очень замкнутой жизнью. В Нижнем-Новгороде, где родители прожили шесть лет, у них составился кружок знакомых из педагогического персонала гимназии, людей, подходящих по социальному положению и развитию, объединенных к тому же коридором гимназического здания, в котором большинство из них имело квартиры. У матери моей, — от природы живого и общительного характера, — были там добрые приятельницы; можно было, уложив детей, собраться почитать, поболтать, помузицировать вместе. Получались там все новые журналы. Отец читал иногда вслух по вечерам, между прочим, печатавшуюся тогда частями «Войну и мир» Толстого. Было там и детское общество. Переезд в Симбирск лишил всего этого. Чуждый, глухой захолустный городок после более оживленного Нижнего-Новгорода, менее культурные жилищные и иные условия, а главное, полное одиночество, — особенно при частых разъездах отца, — очень тягостно ощущались матерью, и она рассказывала потом, что первые годы жизни в Симбирске сильно

тосковала. Чуть не единственной знакомой ее тогда была акушерка Ильина, жившая в том же доме и принимавшая всех меньших.

Помню, как радовалась мать приездам из деревни одной учительницы, молодой девушки из знакомой ей семьи. Симбирские знакомства были мало интересны, ограничивались обычно праздничными визитами. Общество симбирское разделялось тогда на две обособленные части: дворянство, жившее больше по своим поместьям и водившее компанию в своей среде, — Симбирск считался одним из дворянских гнезд того времени, — и чиновничество, поддерживавшее знакомство по ведомствам, строго считаясь с табелью о рангах.

Сослуживцев у отца в первые годы не было. Таковые появились лишь с 1874 г., когда он был назначен директором, а ему в помощь были даны инспектора. С этими помощниками завязались позднее более тесные семейные связи и у меньших были среди их детей приятели. Детство же нас, двоих старших, протекало исключительно замкнуто, и это наложило свой отпечаток на нас обоих, сделало нас более дикими и, несомненно, усилило природную замкнутость и сосредоточенность Саши. За частыми отлучками отца мы проводили время преимущественно с матерью, читали, занимались, мастерили что-нибудь из картона и цветной бумаги для елки.

Так как почти все украшения были продуктом нашего труда под руководством матери, то начинали мы работы задолго до елки, и они заполняли содержанием наши зимние вечера. Таким образом елка была для нас не чуждым, купленными украшениями разубранным деревом, а нашим коллективным созданием; и даже позднее, в школе, не знавшей в то время никаких ручных работ, увлекались мы этим примитивным творчеством. На общем фоне трудовой жизни оно являлось тем радостным, творческим трудом, которому придается такое значение в современном воспитании.

Наша бабушка со стороны матери была немка, и мать воспитывалась в значительной степени в немецких традициях, из которых первой была елка. Это была необходимая принадлежность встречи праздника в каждой мало-мальски состоятельной немецкой семье, даже если она состояла из одних взрослых. Перенесенная в Россию, как детская забава, в странах германских она являлась принадлежностью культа и зажигалась обычно

в канун праздника, в сочельник. Так повелось это и у нас. Ею встречался праздник, дети получали подарки и, со своей стороны, передавали родителям какие-нибудь предметы своего мастерства или читали заученные для них стихотворения. Так как отец мой был религиозен, то он ходил обычно в этот вечер ко всенощной, куда брал позднее с собой и нас, старших, и елка зажигалась уже по возвращении из церкви. В ранние же наши годы она зажигалась, очевидно, до службы. Таким образом, в нашей жизни сталкивались два культа; хотя, конечно, елка выветривалась уже до поэтической встречи праздника в своей семье. Мать моя, как все выросшие не в чисто национальной семье, не была богомольна и одинаково мало посещала как русскую церковь, так и немецкую, в Симбирске также имевшуюся. И для нее уже елка была, очевидно, поэтической традицией детства, — не больше.

Для нас же, в зимнее время, елка была главной радостью. Запечатлелась почему-то особенно ярко в памяти одна елка, когда меньшей в семье была Оля и Саше было лет 6—7. Какое-то особенное чувство тесной и дружной семейной спайки, уюта, безоблачного детского счастья оставил этот праздник. Считаю, что такие переживания детства дают неисчислимо много для энергии, жизнерадостности и тесной семейной спайки на всю последующую жизнь.

На лето мы уезжали в Кокушкино, — деревню Казанской губ., имение деда по матери, к которому съезжались по летам его замужние дочери с детьми. До 1875 г. поездки эти были ежегодными и были огромной радостью для нас. Задолго начинали мы мечтать о них, готовиться к ним. Лучше и красивее Кокушкина, — деревеньки действительно очень живописной, — для нас ничего не было. Впрочем, кроме двух, довольно неудачных поездок, — в имение Симбирской губ., к Назарьеву, и в Ставрополь по Волге, к тете С. А. Лавровой, — мы никуда больше не ездили. Думаю, что любовь к Кокушкину, радость видеть вновь эти места, передались нам и от матери, проведшей там свои лучшие годы. Но, конечно, деревенское приволье и деревенские удовольствия, общество двоюродных братьев и сестер были и сами по себе очень привлекательны для нас. И особенно позднее, после стен нелюбимых нами обоими казенных гимназий, после майской маяты с экзаменами лето в Кокушкине казалось чем-то несравненно красочным и счастливым.

Особенно, кажется мне, любил его Саша, находивший там столько простора для рано проявившейся в нём склонности к естественным наукам. Там занимался он разного рода коллекционированием,—помню особенно прекрасную коллекцию птичьих яиц, собранную им там и пополняемую и в Симбирске. Позднее, в университетские годы, там занимался он препарированием лягушек и другими опытами, и даже на обыске 1 марта 1887 г. в моей квартире, где дотоле жил он, была взята с большими предосторожностями какая-то земля, которая оказалась самой безвредной инфузорной землей, привезенной им для исследования из Кокушкина.

Лодка-душегубка, которой он очень ловко управлял и на которой пропадал подолгу, а позднее далекие странствования с ружьем в поисках дичи были главным его удовольствием. Саша горячо и глубоко любил природу и умел, уже с ранних лет, наслаждаться ею в одиночку.

Раз в детские годы мы поехали с Сашей вдвоем на душегубке. Пошел дождик. Я была простужена, и Саша, всегда чуткий и внимательный, забеспокоился, стал грести сильнее и поторопился причалить к берегу против соседней с Кокушкиным деревни Татарской. Мы побежали к самой близкой избе,— Карпея. Это был наш хороший знакомый. Охотник и рыболов, он часто приходил в Кокушкино, предлагая дичь или рыбу, при чем всегда беседовал на самые разнообразные темы. Отец мой называл его поэтом и философом. И вид у него был поэтический: густые, вьющиеся черные с проседью волосы, черные, красивые и выразительные глаза, стройная, крепкая фигура. Это был талантливый самородок, с речью, блещущей остроумием и меткими сравнениями. Но особенно запомнила я нашу беседу с ним в этот раз, когда мы забежали к нему укрыться от дождя. Он рассказывал нам, как по царскому приказу гнали через Казанскую губернию в Сибирь «жиденят». Этот рассказ очевидно был ярок и произвел на нас сильное впечатление. Позже, в студенческие годы, читая это описание в «Былом и думах» Герцена, мы вспомнили нашего деревенского поэта Карпея.[1]

[1] Герцен, отправляемый в конце тридцатых годов прошлого столетия в ссылку, рассказывает, как он наткнулся на оторванных от родителей еврейских детей (среди них восьмилетних малюток), которых «гнали» пешком в Сибирь, при чем многие падали и умирали дорогой... как он, забившись в свою кибитку, плакал и проклинал Николая I, изобретшего такую жестокость.

А тогда мы возвращались задумчивые и опечаленные к нашей лодке, и я считаю, что для Саши это было одним из фактов, пробуждавших в нем еще в детские годы то смутное недовольство существующим политическим строем, о котором он говорил в своей речи на суде.

Кроме пребывания в Кокушкине, огромной радостью для нас с Сашей было путешествие по Волге. Саша горячо любил Волгу, родную реку. Помню, как ему нравилось стихотворение «Есть на Волге утес» — конечно, за его революционное содержание.

Говоря о Кокушкине, я забежала вперед. Первая часть детства, до начала школьной учебы, кончилась для Саши рано. $8^1/_2$ лет он был отдан в приготовительный класс симбирской классической гимназии.

Отец стоял за раннее определение в школу, чтобы дети, особенно мальчики, привыкали к труду и втягивались в дисциплину, проходя гимназический курс с первых классов. Отличавшийся сам строгим выполнением долга и чрезвычайной исполнительностью, он считал важным привить эти качества и детям. Следя за уроками обоих старших сыновей, он и до гимназии и во время прохождения ими младших классов приучал их к щепетильно точному, отчетливому выполнению всех уроков. Он боялся изнеживающего домашнего баловства, считал полезным поставить мальчиков раньше под мужское влияние. Кроме того, отец и не мог бы, при большой семье, иметь отдельных учителей для нас, даже помещать всех нас в платные школы было бы для него трудно: семья возрастала, а жить приходилось исключительно на небольшое жалованье отца. Я не раз слыхала от него в детстве, что только благодаря исключительному хозяйственному умению и экономии матери мы сводим концы с концами. Министерские гимназии вследствие того, что отец был чиновником мин. нар. просвещения, были бесплатны для его детей. За дочерей в мариинской гимназии приходилось платить. Затем отец, бывший всегда слабого здоровья, не надеялся дослужить до пенсии, и судьба семьи все время очень заботила его. Он внушал нам, старшим, что, окончив гимназический курс, мы должны будем учить, ставить на ноги меньших братьев и сестер.

И вот старший сын был рано запряжен в гимназическую лямку. Восьмилетний ребенок был затянут в узкий мундирчик тогдашнего фасона с подпирающим стоячим воротником, дол-

жен был просиживать до третьего часа в гимназии и исполнять немалое количество заданий дома; а главное, попал в затхлую провинциальную школу, руководимую невежественным, совершенно дореформенным директором Вишневским. Когда брат находился уже в одном из старших классов, Вишневский был смещен и заменен Керенским, но оставлен в качестве директора женской мариинской гимназии. Вскоре он скандально проворовался там и был уличен в этом на одном торжественном праздновании обиженным и подвыпившим учителем рисования, который, поднявшись с места с бокалом вина, вместо тоста провозгласил: «А Иван Васильевич [1] грабил, грабил, грабил».

Если отметить, что этот своеобразный тост был провозглашен в присутствии губернатора и архиерея, то можно себе представить, каким громом среди ясного неба прозвучал он в богоспасаемом городке, какой явился встряской всего застоявшегося болота и какое произвел впечатление на учащуюся молодежь. И наконец-то был окончательно устранен многолетний руководитель просвещения всего юношества в городе Симбирске! При нем царили,— и не могли не царить,— грубость, невежество, лицемерие и лесть. Педагоги подбирались под стать центральному лицу букета. Процветал фамусовский принцип: все больше сестрины, свояченицы детки. Более порядочные учителя, не умевшие вертеть хвостом перед директором, устранялись. Помню, с каким противным подобострастием относились к этому чисто гоголевскому типу начальница и другой педагогический персонал нашей женской гимназии. Лучшим, по крайней мере, очень чистым, как личность, был старик С. М. Чугунов, с которого, как говорят, Гончаров списал Козлова в «Обрыве». Идеалист, совершенно ушедший от жизни в науку, обложенный книгами, он преподавал латинский язык с первого и историю с третьего класса. Ученики широко пользовались его рассеянностью, добротой, глухотой и всячески проводили его. Брат рассказывал, например, что на вопрос, какой падеж по латинской грамматике, они наловчились выкрикивать лишь конец: «и-ительный». А недоверявший своему слуху педагог подтверждал: «да, да, творительный» или «винительный».

Другим ископаемым был учитель немецкого языка, Штейнгауер, обучавший еще моего отца и настолько привыкший к гим-

---

[1] Вишневский.

назии и просидевший там все стулья, что даже во время летнего каката скучал дома и приходил в пустую гимназию пройтись по классам, побеседовать со сторожами. Остальных преподавателей младших классов я не помню. Они менялись часто, и ни об одном из них не слыхала я сочувственного отзыва брата.

Тяжела была Саше гимназическая лямка. Все время прохождения курса он не видел в гимназии ничего положительного, а смотрел на нее только как на необходимый мост в университет. Первые же годы были прямо тягостны для него. Несомненно, что этот девятилетний искус еще больше закалил его и без того твердый характер, но больно подумать, насколько тягостен был он в первые годы для ребенка, выросшего в культурном семейном уголке. Убежденный в необходимости этой лямки, он не жаловался и не заикался о возможности какого-либо иного выхода. Он только еще больше замкнулся в себе, а его всегда грустные глаза стали еще грустнее. Т.-е. он не скрывал, конечно, от домашних, что ему тяжело и все в гимназии не нравится, но он вел себя с самого начала как мужчина.

Не то я, которая годом позже неоднократно с горькими слезами просила мать взять меня из гимназии, уверяя ее, что дома с нею пройду больше, и вымаливала иногда разрешение пропускать посещение школы, усаживаясь тогда с большим рвением за работу. Очень болезненно ощущала я, что отец смотрит на это как на проявление лени. Я чувствовала, что это несправедливо, но объяснить толком не могла, да и не смела говорить об этом с отцом. Мать рассказывала потом, что она не знала, как быть, особенно в виду моих частых головных болей и бессонницы, но отец был решительно против всяких поначек. Меня перевели только через две недели в следующий класс,— из VI в V (т.-е. из II в III по обычному счету), — ибо мне решительно нечего было делать в VI, и я тосковала на уроках. Семья дала нам такое развитие, что мы сильно опередили своих ровесников и кончили поэтому очень рано курс. Принимая во внимание, что тогдашняя школа ехала, главным образом, на домашних заданиях, часто очень бестолковых, но всегда громоздких, это сказалось большой, по возрасту, перегруженностью занятий. Отрицательной стороной был также и более старший возраст товарищей.

Характерно, как для того уровня культурности, который дала нам и поддерживала в нас семья, так и для того, какой уже

сложившейся в моральном отношении личностью был Саша, что на нем не отразилось в дурную сторону, как это обычно бывает и как должно бы естественно отразиться, общество старших по возрасту, менее культурных товарищей. Никаких дурных навыков он не приобрел и в семью не занес. Все это, уже в восьмилетнем возрасте, отскакивало от него. С грустью и возмущением рассказывал он мне иногда о некоторых грубых проделках товарищей, о солдатски грубом и часто несправедливом отношении учителей, но больше мы по его мрачному виду могли догадываться, что в гимназии было опять что-то неприятное. Характерно также, что ни разу за весь девятилетний курс на него не было жалобы в грубом или резком ответе учителю. Он с раннего возраста умел уже сдерживать себя. Правда, он и учился и держался безупречно.

Ко времени поступления в гимназию следующего брата, Саша — ребенок двенадцати лет — заявил с той решительностью, которой отличались все его редкие заявления, что не следует отдавать Володю в приготовительный класс, а надо подготовить его к первому. Брат Владимир начал действительно школу с первого класса; вероятно, отец с матерью и сами убедились, что лучше по возможности миновать хотя приготовительный класс, но заявление Саши имело, несомненно, значение.

Между прочим, по тогдашним гимназическим нравам считалось предосудительным водить компанию с девочками, — это высмеивалось, и я помню, как раз Саша, когда я пошла провожать его в гимназию, попросил меня на одном углу повернуть, озабоченно вглядываясь вдаль, не видно ли кого из насмешников. Мы были очень дружны с Сашей и эта вынужденная необходимость отчуждаться была дика и тягостна для нас.

Отец мой не стоял за классическое образование: он смотрел на него лишь как на необходимый мост к университету. Я слышала, как он говорил кому-то уже позднее, когда стали открываться реальные училища, что ничего не поделаешь, приходится отдавать детей в классическую гимназию, ибо без нее нет доступа в университет и способный мальчик потом может упрекнуть родителей, что они закрыли для него эту дорогу. Особенно был он против обязательности греческого языка, в его время в гимназии был обязательным только латинский. Таким образом при первых шагах отец мог направлять только в латинском, но не в греческом. Да перегруженность самого отца работой, его



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
в возрасте 4 лет



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
в возрасте 8 лет



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
в возрасте 12 лет



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
в возрасте 17 лет

частые разъезды по губернии позволяли ему лишь в самых общих чертах направлять брата. Его личный пример постоянной добросовестной работы воспитывал в этом смысле. Сам чрезвычайно скромный и строгий к себе, считавший, что его напряженная идейная работа есть выполнение долга, не больше, он и нас воспитывал в этом духе. Он был против «захваливанья», как он выражался, считая вредным чересчур высокое мнение о себе.

Теперь, когда я гляжу назад на наше детство, я думаю, что было бы лучше, если бы эта, в общем правильная педагогическая линия не проводилась так неуклонно. Вполне правильной она была только для брата Владимира, большой самоуверенности которого и постоянным отличиям в школе представляла полезный корректив. Ничуть не ослабив его верной самооценки, она, несомненно, сбавила той заносчивости, к которой склонны бывают выдающиеся по способностям захваливаемые дети, и приучила его, несмотря на эти похвалы, упорно трудиться. Для всех нас,— особенно для девочек, страдавших потом от некоторого недоверия к своим силам,— были бы полезны в небольшой дозе и похвалы. Помню, например, что для меня имела большое значение переданная мне Сашей похвала отца моему первому сочинению, отличенному и в школе. Но я́ узнала о ней случайно, отец дал свой отзыв матери в моем отсутствии.

Конечно, Саша не страдал недоверием к своим силам, но в натуре его было и без того много скромности и строгости к себе, чувство долга было и без того превалирующим в его характере,— больше одобрения и всего способного поднять жизнерадостность было бы для него только полезно. Но обычно в семейном воспитании, как в музыкальной мелодии, доминирует одна нота. Равное отношение к детям не позволяет ослаблять ее для некоторых, а перегруженность своей работой не дает возможности с раннего детства определять уклон характера каждого с соответствующим ему особым педагогическим подходом. Но отец разбирал все-таки наши темпераменты. Помню, что он говорил как-то, что у брата Володи темперамент холерический, у Оли — сангвинический, а у меня меланхолический.

Переходя от этого отступления к школьной жизни Саши, я могу сказать, что для него это была бурса,— конечно, с коррективом домашней жизни и семейного влияния. Очень много налегали на зубрежку. Между тем у брата были больше математические и рассудочные способности. Он не схватывал легко

памятью, хотя бы ненадолго, чтобы протрещать бойко урок,— особенно то, что было для него неинтересно, бессмысленно, что ему претило. У него была не специфическая память первого ученика, дающая часто возможность проходить блестяще курс хотя и не знать ничего основательно. Но обдуманное, усвоенное он удерживал в памяти очень прочно и основательно. И вообще уже с детства читал очень продуктивно, составляя обо всем вполне самостоятельное, часто чрезвычайно самобытное мнение. Долбежка латыни, греческого, немецкого была ему противна. Помню особенно, что в одном из младших классов самым тяжелым для него днем была среда, когда, кроме всех других уроков, предстояло еще долбить немецкую басню,— обычно мало понятную, изложенную недоступным детям языком старинную белиберду. Она приводила обычно Сашу на весь вечер в мрачное настроение, которое мать старалась, помню, подсластить палочкой шоколада. Застенчивый и малоразговорчивый, он не умел также бойко протрещать урок по истории, географии и словесности, что, как известно, в школьной учебе ценилось больше, чем основательная углубленная работа. Но самую историю Саша очень любил, охотно читал исторические сочинения, а в IV классе — 12—13 лет — выписал даже на сбереженные им деньги (нам давали иногда вместо подарка) журнал по истории — «Исторический Вестник».

Гимназические сочинения он также не любил: они выходили у него хотя и дельными, с серьезно продуманным планом, но всегда краткими и суховатыми. Очень уж чужды были ему всякая реторика и фраза. Человек дела и глубокого сдержанного чувства, он был как-то щепетильно стыдлив на слова. Даже его письма к близким людям, даже в тот момент, когда он всей душой хотел бы облегчить их состояние, например, к матери после смерти отца, были чрезвычайно скупыми и краткими. Но углубленной работой Саша выделялся с самого начала прохождения гимназического курса и получал ежегодно первые награды при переходе из класса в класс, а по окончании курса был награжден золотой медалью.

Неправильно было бы заключить из всего этого, что серьезное отношение к своим обязанностям делало Сашу в детстве каким-то «книжным человеком». Он был очень цельной натурой и так же цельно, как занятиям, отдавался он ребяческим играм, беготне. Помню, с каким увлечением играли мы, четверо стар-

ших, в «черную палочку» на дворе нашего дома на Московской улице в 1878—1879 гг., когда Саше было 12—13 лет.

Правда, помню я, как запрятанные на чердак, в ожидании Володи, который не мог найти нас, мы беседовали о какой-то только-что прочитанной Сашей книге.

«Как интересны книги для взрослых!»,— сказал он и с увлечением стал излагать мне ее содержание. Героем был какой-то государственный деятель, и Саша говорил мне о таможенной политике, о покровительственных пошлинах, разъясняя, что без них не может развиться промышленность молодой, отсталой страны... А я слушала и удивлялась, какой Саша умный, как он понимает такие вещи. Но послышались шаги и голос Володи и, прервав на середине рассказ, Саша пустился на перепрятыванье, на разные уловки, чтобы выскочить и добежать раньше и тем выиграть игру.

Помню, как мы взлетали с ним, распевая что-нибудь из Некрасова, на подгнивших качелях; с каким жаром играл он в крокет, бегал на гигантских шагах, увлекался плаваньем, лодкой. За шахматами он мог также забываться: помню одну осень, увлечение нас, троих старших и отца, четверными шахматами.

Саша был всегда инициатором наших детских игр, и его участие придавало им наибольший интерес.

Особенно яркое впечатление оставила одна его затея: выпускать еженедельный журнал, редактором которого он взялся быть. Журнал этот получил название «Субботник», потому что должен был появляться по субботам. Скажу мимоходом, что суббота была нашим любимым днем: уроки можно было отложить на воскресенье, а субботний вечер дать себе некоторый отдых в семейном кругу. Каждый из нас должен был за неделю написать что-нибудь на свободно выбранную тему; все эти листки передавались Саше, который вкладывал их без всяких изменений в приготовленную им обложку, добавлял что-нибудь от себя. И вот номер был готов и читался вечером в присутствии отца и матери, принимавших самое живое участие в нашей затее, к которой они отнеслись чрезвычайно сочувственно.

Помню их оживленные, довольные лица; помню какую-то особую атмосферу духовного единения, общего дела, которая обволакивала эти наши собрания. Теперь, когда я гляжу назад, мне кажется, что эти вечера были апогеем коллективной бли-

зости нас, четверых старших, с родителями. Такое светлое и радостное оставили они воспоминание!

Конечно, материал для чтения был самый незатейливый, — да и могло ли быть иначе при возрасте двоих сотрудников от 7—9 лет? Но оба они взялись за дело очень охотно, изобретя себе и литературные псевдонимы: Володя (довольно коренастый в те годы мальчуган) назвался Кубышкиным; Оля, прозванная за проворство и живость обезьянкой, — Обезьянковым. Конечно, меньшие склонны были откладывать задание до последнего дня. Помню особенно Олю, бегущую, после укоризненных напоминаний нас, старших, к себе наверх и скатывающуюся затем с лестницы со сложенным в четвертушку полулистиком бумаги. На нем под крупными, криво идущими карандашными строками, — представлявшими все-таки связный рассказ, — было начертано со свойственной ее возрасту орфографией: Абезяников.

Затем все собирались в столовую для чтения. Младшие были очень заинтересованы внешним видом номера, загадками и шарадами, придуманными Сашей, исполненными им иллюстрациями. Помню, особый интерес и оживление вызвали юмористические изображения в красках обоих меньших. Были взяты курьезные моменты в их жизни, особенно понятные членам семьи. Так, Володя был изображен в кислом виде с опустошенным пакетиком из-под пирожков. Только-что переступивший порог гимназии мальчуган доверчиво протянул товарищу свой пакетик, рассчитывая, что он удовольствуется одним пирожком; но тот забрал со смехом все содержимое, оставив Володю без завтрака. Оля была изображена отчаянно ревущей, а подпись гласила: «Оля, посылаемая спать». Живая девчурка очень не любила вечерний час, когда раздавался возглас: пора спать. Она уверяла, что вообще никогда не спит, а только лежит с закрытыми глазами, и встречала нежеланный приказ ревом, про который мы говорили: «Оля взвыла». Шарады и загадки тоже очень оживляли. Вообще Саша — серьезный и замкнутый Саша — проявлялся в этом журнале как веселый шутник, и его безобидная, ласковая шутка особенно сближала нас и придавала оживление всему предприятию. Он взял себе последний отдел: задач, ребусов и подходящий к юмористике и так не подходящий ему вообще псевдоним — Вральман.

Я находилась в то время в периоде увлечения Белинским и была в твердом убеждении, что без отдела критики не может

существовать ни один порядочный журнал, поэтому я дала разбор произведений прошлого номера, восклицая в конце: «А что же молчит наш почтенный Вральман? Что он ограничивается шутками и загадками?» и т. п. Критика сочинений меньших была, конечно, легкой задачей. Наибольший простор для нее дал мне более длинный рассказ Володи, в котором я подчеркивала разные невероятности и несоответствия, и я помню, с каким сосредоточенным вниманием слушал этот резвый мальчик новый для него род литературного произведения, не выказывая ни тени личной обиды, несмотря на язвительность некоторых словечек (ведь надо было подражать Белинскому).

Заступилась, понятно, за меньших мать, выразившая сомнение, чтобы в нашем журнале следовало помещать такие разборы. Мать опасалась, вероятно, что критика отобьет у меньших охоту писать, и правильно считала, что каждый дает, что может, по возрасту. Но за необходимость критики высказался горячо наш редактор. Поддержал его и отец. Отрицательно отнеслась также мать к моим «стихотворениям». Но Саша так горячо возразил: «ведь, кроме нее, у нас никто стихов не пишет», — что вопрос был решен. В качестве редактора он горячо защищал интересы журнала, в котором должны ведь быть и стихотворения.

Но, несмотря на все его организаторские усилия, журнал после нескольких номеров прекратил существование. Причиной этого были как загруженность работой Саши, так и различие в возрасте двух пар, старшей и младшей, сильно препятствовавшее объединению их в одном деле. Младшие, как водится, стали скучать, игра утратила для них интерес новизны. Помню, что мать выражала сожаление о том, что журнал прекратился, и хранила довольно долго тетрадки его в разрисованной Сашей с фигурно выписанными буквами «Субботник» обложке.

Любимым поэтом Саши в детстве был Пушкин. Помню по этому поводу разногласия и споры между нами, так как я предпочитала Лермонтова. Увлечение Некрасовым началось позднее. У нас была в руках книжечка отца, — ранние стихотворения Некрасова, изд. 1863 года. Помню, что одиннадцатилетним мальчиком, в третьем классе гимназии, Саша обратил мое внимание в этой книжке на «Песню Еремушке» и «Размышления у парадного подъезда». «Мне их папа показал, — сказал он, — и мне они очень понравились». И, не охотник до декламации вообще, Саша эти любимые свои стихотворения читал с большой силой выражения.

Таким образом, отец, одушевленный лучшими идеями конца шестидесятых и начала семидесятых годов, рано направлял в смысле общественных идеалов Сашу, — своего старшего сына, лучшую надежду и несомненного любимца. Да характер его был таков, что его и нельзя было не любить. Со мною отец говорил на такие темы меньше, — я была больше в обществе матери и впитывала в себя лишь то, что слышала от Саши, и то, что было разлито вокруг.

Помню только, что в Кокушкине, во время прогулок по полям отец любил петь положенное на музыку студентами его времени запрещенное стихотворение Рылеева:

...По духу братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.
. . . .
Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется
И, верю, тотчас отзовется
На неподкупный голос мой.

Мы невольно чувствовали, что эту песню отец поет не так, как другие, что в нее он вкладывает всю душу, что для него она что-то в роде «святая святых», и очень любили, когда он пел ее, и просили запеть, подпевая ему. Помню, что раз и по возвращении в Симбирск, на нашем дворике, я напевала ее, — мне было тогда лет 13—14,— и что мать подозвала меня и сказала, что я не должна здесь, в городе, петь эту песню, так как могу повредить отцу, — враги у всех есть, скажут: «вот какие запрещенные песни распеваются на дворе директора народных училищ». Ясно запомнила я эти слова матери: ведь это было первое мое знакомство с запрещенным.

Эта песня и, главное, то, как отец пел ее, показывает, что восхождение по чиновной лестнице не помешало ему сохранить до пожилых лет верность чему-то в роде клятвы, что заключалось в словах: «будем питать до гроба вражду к бичам страны родной». Слыша постоянно о большой, горячей работе в области народных школ, встречая многих лучших представителей учительства в нашем доме, я рано стала мечтать о том, чтобы стать народной учительницей. Особенно пленил меня образ одной сельской учительницы, о которой рассказывала отцу в Кокушкине, во время прогулки по полям, моя двоюродная сестра,

студентка медицинских курсов. Она говорила о своей приятельнице, идейной народнице, которая, очевидно, не ограничивалась преподаванием грамоты ребятам, а собирала по вечерам крестьян, читала, беседовала с ними, сильно подняла их сознательность и вызвала большую любовь среди них к себе. В результате донос, обыск, допросы крестьян и удаление, кажется, даже арест учительницы к общему горю всей деревни.

Помню горячий, возмущенный тон рассказчицы, рисуемый ею идеальный образ учительницы, с подчеркиванием, что ничего антиправительственного в ее деятельности не было; помню отца, — молчаливого, сосредоточенного, с опущенной головой. Помню, что и на мои позднейшие расспросы об этой учительнице он больше отмалчивался. Мне было в то время 13 — 14 лет, это было в конце семидесятых годов, когда движение вступило уже на революционный путь; очевидно, что отец, не бывший никогда революционером, в эти годы, в возрасте за 40 лет, обремененный семьей, хотел уберечь нас, молодежь. Поэтому же, вероятно, следующим детям он никакого подчеркиванья в смысле общественных идеалов не делал. По крайней мере, я не слыхала о них, а думаю, что неизвестным для меня это бы не осталось. Что же касается отношения к террору, то помню его в высшей степени взволнованным, по возвращении из собора, где было объявлено об убийстве Александра II и служилась панихида. Для него, проведшего лучшие молодые годы при Николае I, царствование Александра II, особенно его начало, было светлой полосой, и он был против террора. Он указывал потом с мрачным видом на более суровую реакцию при Александре III,—реакцию, сказавшуюся и на его деле.

Забегая вперед, скажу, что при разговоре отца по возвращении из собора Саша не присутствовал. Припоминаю, что мне не удалось завязать с ним разговор на эту тему, он больше отмалчивался. Но я тогда как-то не остановила на этом своего внимания. Теперь я думаю, что отец, говоривший на эту тему со мной, не мог не говорить с братом, с которым он вообще с детства больше беседовал по общественным вопросам. Тот факт, что я об этой беседе ни от одного из них не слыхала, показывает, что либо Саша определенно не согласился с отцом, либо он о своем, может быть, не вполне сложившемся мнении (ему не минуло еще в то время 15 лет) умолчал. И тогда либо он молчал со мной по той же причине, что и с отцом, либо, не

согласившись с отцом, он молчал об этом по указанию отца, что говорить о своем несогласии ни дома, ни в гимназии не следует. Мог он, конечно, молчать и по собственной инициативе, как вообще его характеру было свойственно. Думаю, что в виду молодости брата вернее то предположение, что он молчал потому, что определенных воззрений им не было еще выработано, а общих ходячих, к которым относились и воззрения семьи, он не разделял.

В возрасте тринадцати и двенадцати лет читали мы с Сашей «Войну и мир». Он отнесся тогда определенно отрицательно к обоим главным типам — князя Андрея и Пьера, — в которых Толстой выводит две стороны своей личности.

Он заявил, что больше всех в романе нравится ему Долохов, очевидно, пленивший его силой и смелостью своего цельного характера.

Кроме нас двоих, во всех таких обсуждениях прочитанного принимала самое близкое участие двоюродная сестра, — самая любимая из всех наших кузин и кузенов. Часто летними вечерами мы уединялись в Кокушкине от других братьев и сестер и подолгу беседовали, — главным образом о прочитанном, — загадывали друг другу строфы стихов,—откуда?—а иногда, конечно, и попросту болтали и шалили. Это было то поэтическое время «детства с двумя-тремя годами юности», о котором Герцен говорит, что это «самая настоящая, самая изящная, самая наша часть жизни». Оно оставило на мне неизгладимое впечатление, тем более, что я находилась тогда все время под обаянием общества Саши. Младший из нас троих, — он был моложе кузины на $3^1/_2$ года,—он не только был всегда вполне самостоятельным в своих мнениях, но очень скоро догнал и перегнал в развитии и ее.

Так и Долохова он защищал стойко, несмотря на то, что мы обе с жаром нападали на этот тип. Нам было странно, что Саша, всегда скромный и застенчивый, хотя решительный и твердый, взял настолько сторону этого бреттера, что выставляет его чуть не идеалом. Когда мы указывали на злобность Долохова, Саша подчеркивал его отношение к матери, показывающее, что он совсем не злой человек. Я находилась тогда под обаянием Андрея Болконского, кузина выделяла Пьера, его доброту, его отношение к людям. Брат относился к обоим этим типам пренебрежительно. Споры наши достигали порой большой страстности, особенно, помню, с моей стороны. Это было летом

1878 г., когда после некоторого совместного пребывания в Кокушкине кузина была отпущена погостить к нам в Симбирск.

Отец купил тем летом дом на Московской улице, в котором мы и жили до 1887 г. При нем был большой зеленый двор и молодой, но довольно обширный садик, большей частью фруктовый. Все место тянулось на целый квартал, и калитка в заборе сада давала возможность выйти на следующую, Покровскую, улицу. Окраинные, заросшие сильно травой улицы, прелестный цветник, которым заведывала мать, изобилие ягод и плодов, а также близость реки Свияги, куда мы ходили ежедневно купаться, делали этот уголок недурным летним пребыванием (конечно, воздух был все же городской, с деревней не могло сравниться). Мы подолгу гуляли в теплые летние вечера или сидели на увитой цветами терраске, а в особенно душные ночи вытаскивали на нее матрацы и спали на ней.

Любимым нашим поэтом был в то время Некрасов. Отец приобрел нам полное посмертное издание, и мы читали и перечитывали его. Особенно увлекались мы тогда «Дедушкой» и «Русскими женщинами», — вообще интерес к декабристам был большой. В следующем уже году, кажется, беседовали мы о Достоевском, его судьбе, его «Записках из Мертвого дома». Помню, что на Сашу они произвели очень сильное впечатление. И вообще всего Достоевского он перечитал с большой вдумчивостью и симпатизировал ему больше, чем я. Читал он также многое из Щедрина.

В последних классах гимназии прочли мы с Сашей от доски до доски всего Писарева, который имел тогда большое влияние на нас. Так, я отказалась брать уроки музыки: ведь Писарев подсмеивался над тем, что каждую барышню учат обязательно игре на фортепиано, хотя бы у ней было больше способности шить башмаки; ведь он говорил очень определенно, что, читая меньше 50 (или 100) страниц в день, никогда не будешь начитанным человеком, — а я с ужасом видела, что не поспеваю выполнить этот минимум. Наконец, он указывал, что каждый молодой человек или девушка должны стремиться встать скорее на свои ноги и не висеть на шее у родителей.

Это последнее требование падало на подготовленную почву: ведь в нашем воспитании никакого барства, с которым боролся Писарев, не было. Наоборот, мы были склонны перегибать

в этом вопросе палку. Так я в первый год самостоятельного заработка не хотела разрешить матери шить мне что-нибудь из костюма не на мои деньги. Припоминаю еще такой факт. Летом 1882 г. в Москве открылась всероссийская выставка, и отец сказал мне, что думает поехать туда со мной и Сашей. И вот я, которая никогда не была в Москве, да и по Волге выше Казани не ездила, которая так любила наши ежегодные путешествия с отцом и с Сашей, вдруг отказалась от этого из ряда вон выходящего удовольствия, заявив решительно: «Нет, нам обоим через год придется в Петербург ехать учиться, сколько это будет стоить; не надо теперь на поездку в Москву тратить». Даже мать сказала мне: «Но если папа сам предлагает». Я стояла на своем. Саша, когда я сказала ему о мотивах отказа, поддержал меня, но мне показалось, что я подметила оттенок сожаления в его глазах. И можно себе представить, как много вынес бы из такой поездки он.

Теперь, когда я вспоминаю об этом случае, мне так досадно, что я лишила такого удовольствия отца, себя и, главное, Сашу, жизнь которого и без того была так коротка и так бедна радостями!

Помню, что Сашу Писарев сильно отвратил от любимого им Пушкина, и он был разочарован, когда родители, памятуя его детскую любовь к Пушкину, подарили полное собрание сочинений его, когда Саше было 15 лет и он был под обаянием Писарева, а я стала стараться насытить свою постоянную потребность в стихах поэзией Гейне, которого Писарев выделял из других поэтов и которого я с увлечением начала изучать и переводить.

Брали мы Писарева, запрещенного в библиотеках, у одного знакомого врача, имевшего полное собрание его сочинений. Это было первое из запрещенных сочинений, прочитанное нами. Мы так увлеклись, что испытали глубокое чувство грусти, когда последний том был дочитан, и мы должны были сказать «прости» нашему любимцу. Мы гуляли с Сашей по саду, и он рассказал мне о судьбе Писарева.

— Говорят, что жандарм, следивший за Писаревым, видел, что он тонет, но намеренно оставил его тонуть, не позвав на помощь.

Я была глубоко возмущена и выражала свое возмущение. Саша шел, как обычно, молча, и только его сосредоточенный и особо мрачный вид показывал, как сильно переживает он это.

Всех русских классиков мы прочли в средних классах гимназии. Отец рано дал их нам в руки, и я считаю, что такое раннее чтение сильно расширило наш горизонт и воспитало наш литературный вкус. Нам стали казаться неинтересными и пошлыми разные романы, которыми зачитывались наши одноклассники. Помню, как я начала «Петербургские трущобы», которыми бредили в моем классе, и бросила скоро, ибо они вызвали во мне лишь скуку и отвращение.

В Тургеневе брат выделял Базарова,— особенно по характеристике, данной ему Писаревым. Помню еще, как он указал мне у Тургенева на повесть «Часы».— «Так, безделка,— сказал он,— но очень симпатичные характеры».

Показательно для Саши в юношеском возрасте его сочувствие цельным, мужественным, проникнутым чувством собственного достоинства натурам, каковыми были Давид и его невеста в повести «Часы».

Его отношение к Нежданову в «Нови» было резко отрицательное. Мне, я помню, Нежданов понравился, и я чуть ли не плакала над ним. А кроме того, мне почудились в нем струны, родственные моей душе. Поэтому отзыв брата огорчил меня.

— А знаешь,— сказала я грустно,— по-моему, я на него похожа.

— Нет, совсем ты на него не похожа,— решительно ответил Саша.

Увлечение брата естественными науками, конечно, нашло себе подкрепление во взглядах Писарева, но началось оно раньше и вполне самостоятельно. Саша начал налаживать себе кустарным способом маленькую лабораторию: выпаивал разного рода стеклянные трубочки на спиртовой лампе, собирал всякие банки, пузырьки, огарки, которые служили ему для гальванопластики. Затем он покупал недорогие приспособления на свои деньги, которые в последних классах стремился увеличить уроками. Каким-то образом находил он время и на уроки! Удивительно умел он использовать время,— ни минуты, кажется, не проходило даром. Исчерпав скудный запас реторт и колбочек, которые он мог найти в Симбирске, Саша стал выписывать простейшие химические приборы из Казани. Еще раньше он пополнил свою лабораторию кое-чем из вещей учителя Чугунова, умершего, когда Саша был в старших классах. Приобрел он немало книг из распродававшейся дешево библиотеки Чугунова. Так, там он

купил и подарил мне ко дню рождения или именин Дрэпера «Умственное развитие Европы».

Прочел он и Бокля. А я, помню, тянулась за ним, но туго читался Бокль в летние жары и плохо усваивался мною. А то, что я ломала все же себя и дочитала-таки весь толстый том, поселило только во мне на всю жизнь отвращение к Боклю.

Увлечение Саши химией, а затем и другими естественными науками начало несколько отдалять нас друг от друга. С той цельностью и жаром, с которыми он отдавался всем своим увлечениям, он старался использовать для любимого предмета всякую свободную минутку; он взял частный урок, чтобы иметь возможность приобретать больше книг и приборов. А старшие классы гимназии давали такую массу работы! Столько приходилось просиживать за ненавистными греческим и латынью. Подстрочников в то время еще не было, да я думаю, что отец, приучивший брата с детства к добросовестной работе, был бы против них. По утрам он приходил пораньше в класс по просьбе товарищей, которые не справлялись дома с заданным и обступали его с просьбой помочь как до уроков, так и в перемены.

— Да что там, — один на весь класс работал, — сказал мне о нем позже, в студенческое уже время, один из его одноклассников, Савушкин.

Я была всю жизнь неисправимой словесницей, химией не интересовалась вовсе и была даже настроена против нее, ибо она отрывала меня от Саши. Потом в последних классах у меня было также немало занятий — я кончила курс $15^1/_2$ лет; на следующий по окончании курса год прохворала большую часть зимы тифом. А следующей осенью, — 17 лет, — поступила помощницей учительницы в одну из симбирских школ, да еще дома занималась с меньшими. Общество гимназических подруг, как ни мало я дорожила им и как ни скоро отошла, общество учителей и учительниц, у которых бывали общие собрания и совместные педагогические обсуждения, — все это направляло меня на другую стезю, чем та, по которой шел Саша. Общего чтения в виду того, что он читал в свободные часы, главным образом, по естественным наукам, также почти не было.

По летам мы проводили больше времени вместе, хотя и тогда Саша бывал все время занят. Летом 1882 г. при переходе его в последний класс гимназии, когда вследствие ремонта в доме мы сгрудились в маленьком флигельке, Саша упросил дать в его

распоряжение отдельную кухоньку при этом флигельке, чтобы использовать ее в качестве лаборатории. И здесь вместо занятий урывками среди гимназических уроков он начал уже систематически проходить химию по Менделееву. Теперь он не боялся портить воздух окружающим. Сам же он и спал, и жил в своей лаборатории. Таков был его отдых после усиленной зимней работы. Родители беспокоились об его здоровьи и всячески старались сами и поручали нам вытаскивать его на прогулки, на игру в крокет. Но это было не так-то легко.

Месяц он провел, правда, в Кокушкине, где бродил на охоту, которую очень любил, и пропадал на речке в маленькой душегубке в поисках за разными образчиками животного царства. Ночуя с двоюродным братом где-нибудь под стогом, чтобы пострелять уток на заре, он играл с ним на воображаемой доске в воображаемые шахматы. Вечером собирались двоюродные братья и сестры, — молодежь и подростки, — которых особенно много съехалось этим летом, гуляли и пели, играли в разные игры и загадки. Но Саша все меньше принимал участие в этих развлечениях, предпочитая или закатиться на весь вечер на охоту, или если уже проводить время за беседой, то втроем, — со мной и кузиной, а в последнее лето — 17 лет — предпочтительнее и с одной кузиной. Я не сразу поняла, что дружба к ней стала принимать в это лето оттенок первой любви, чего-то в роде поэтической дружбы Герцена к его кузине, и очень обижалась, что оказываюсь как-то особняком. Впрочем, когда поняла, то хотя обижаться стала и меньше, но все же ревновала и чувствовала себя несчастной: общество Саши было для меня самым дорогим, и болтовня кого-либо из кузенов ни в какой мере не могла мне заменить его.

Осталась у меня в памяти одна прогулка с Сашей этим летом в лунный вечер по саду. Все домашние разошлись уже на покой, а я, наскучив бродить одиноко по нашему садику, подошла к оконцам Сашиной кухни и стала с жаром упрашивать его погулять со мною. Он уступил. Мы прошлись по улицам, а затем вернулись в сад. Мое настроение, под влиянием какой-то полуребяческой влюбленности, которую я переживала тогда, было в этот вечер особенно восторженным, и я неожиданно для себя вдруг крепко обняла Сашу. Обычно никаких нежностей между нами не было, но тут я не могла уже удержаться. Саша ответил на мой порыв крепким и братским объятием, — таким ласковым,

таким чутким. И так, обнявшись, прошли мы несколько шагов по саду. И вот в этот момент все запело во мне особенно громко. Этот день я вспоминала в последующие годы как праздник, — такое чистое и поэтическое счастье доставило мне это братское объятие.

Какой огромный запас чуткой любви был в его душе ко всем своим и как даже в те короткие минуты, которые он бывал с нами, все мы чувствовали на себе золотые крохи его привязанности, обаятельность общения с его сильной и в то же время такой нежной натурой! Меньшой брат Дмитрий, — младше его на восемь лет, — вспоминает с глубоким чувством некоторые мелкие знаки внимания к нему Саши, вспоминает, как тот считался с его личностью в краткие моменты, когда бывал в общении с ним, и как у него, маленького, появилось тогда такое глубокое чувство благодарности к Саше, что, кажется, в огонь бы за него пошел и в воду.

Младшие дети бывают всегда под влиянием старших, но в нашей семье все мы, не исключая и меня, самой старшей, были под совершенно исключительным влиянием Саши, хотя сам он всего менее проявлял стремление влиять на других.

Следующая за Владимиром сестра Ольга (родилась в 1871 г.) любила Сашу больше, чем других старших, и была с раннего детства его любимицей из младших. У ней и в натуре было много общего с Сашей: глубина и твердость характера при большой ровности и мягкости его, из ряда вон выходящая трудоспособность. Я сказала бы, что у ней, как и у Саши, в характере преобладающим было чувство долга. Пятнадцати с половиной лет окончила она с золотой медалью, блестяще, гимназию. Она изучила затем музыку, английский и даже шведский язык, собиралась поехать для прохождения курса медицины в Гельсингфорс, очень много и очень продуктивно перечитала. К концу первого года пребывания на курсах в 1894 г. она умерла от брюшного тифа, — по странному совпадению в тот же день, что и брат Саша за 4 года перед тем, — 8 мая.

Даже в бурсацкой почти толще тогдашней гимназии с ее бездельем, грубостью и лицемерием, в которой так тяжело было дышать Саше первые годы, он завоевал себе понемногу, — он, самый младший в классе,—положение самого уважаемого и любимого товарища. Его скоро перестали высмеивать как тихоню; его не чуждались, как первого ученика; все шли к нему за советом

и за помощью, на него полагались как на скалу во всех коллективных протестах. Так, в старших классах велась борьба против учителя латинского языка Пятницкого, карьериста и пройдохи, которым возмущались и лучшие из преподавателей. Эта борьба, принявшая очень острый характер, не расцвела ярким цветом лишь потому, что Пятницкий был скоро убран, — это было уже в директорство Керенского.[1] Протест против него дошел до своего конца в другой гимназии, — кажется, саратовской, где он был побит, что сопровождалось, конечно, исключениями и другими карами. Я припоминаю только, что кто-то из более пожилых преподавателей высказал в частном доме свое удивление и неодобрение тому, что Саша принимал участие в протесте. Ему непонятно было, как мог он, лично не заинтересованный, портить таким образом свою карьеру первого ученика.

Постоянно занятый дома, успевающий при всем старании выкраивать слишком мало времени для своего любимого дела, Саша почти не посещал товарищей, — разве забегал ненадолго, по делу. Он не принимал участия в гимназических спектаклях и других увеселениях более общительных юношей. Но к нему в старших классах забегали многие. Некоторые, например, самый близкий его приятель, Валентин Умов, и Страхов, начали также заниматься естественными науками и делились своими наблюдениями с братом. Занимался с Сашей химией также младший его на один класс товарищ, Михаил Щербаков, живший одну зиму у нас пансионером. Прибегали товарищи за книгой по общественному вопросу, поговорить о прочитанном или о гимназических делах во время борьбы с Пятницким. Но подолгу также не засиживались, ибо Саша не был склонен к долгой болтовне. В последние годы он отправлялся иногда с товарищами и на общие прогулки, а по окончании выпускных экзаменов принимал участие в торжественном, с выпивкой, как водилось тогда, праздновании этого события.

Рад он был окончанию гимназии чрезвычайно. Как-то даже просветлел весь, видя перед собой свободу от обязательной учебы и желанный университет, возможность заниматься тем, к чему влекло призвание. Он выбрал петербургский университет, ибо

[1] Федор Михайлович Керенский, назначенный директором симбирской гимназии в 1878 или 1879 году, был отцом А. Ф. Керенского, главы временного правительства в 1917 году.

там естественный факультет был поставлен наилучшим образом и блистал такими светилами, как проф. Бекетов, Бутлеров, Вагнер и другие.

Отец, очень серьезно и бережно относившийся ко всем стремлениям брата, гордившийся им, не возражал, хотя обоим им с матерью было грустно отпускать так далеко его, такого еще юного, хотя они предпочитали бы, если бы он выбрал более близкую Казань, где и родственники были.[1] Но Саша не дал себе много праздновать по окончании курса. Его тяготило быть на шее отца, обремененного семьею, и он принял приглашение поехать на лето 1883 г. на урок в деревню, в семью купца Сачкова. Но мать, которую мысль о разлуке с ним угнетала с самой весны, воспротивилась тому, чтобы он уехал на последнее лето, и отец стал убеждать его, что в состоянии посылать нам обоим и чтобы он просто отдохнул летом дома. Саша уступил настойчивому желанию матери, видимо, против убеждения, ибо несколько дней был угрюм, но уже, раз решив, не поминал об этом больше. Съездил он ненадолго в Кокушкино. Я этим летом, не желая оставить мать перед долгой разлукой, компанию ему не составила.

Забежав на год вперед, остановлюсь на одной мелочи, чрезвычайно характерной для брата. Он говорил отцу, что ему совершенно достаточно 30 руб. в месяц. Отец стал все же посылать нам по 40 руб., несмотря на возражения Саши в письме. Тогда брат замолчал, но стал систематически откладывать по 10 руб. в месяц, без которых, как он заявил отцу, он может обойтись, привез за 8 месяцев, проведенных в Петербурге, 80 руб. и отдал их отцу. Отец с удивлением и восхищением рассказал мне об этом факте, оставшемся для меня неизвестным, так как брат ни словом не проговорился мне за всю зиму в Петербурге, не желая, очевидно, повлиять на меня.

Я рассказываю об этом так подробно потому, что такой факт из обыденной жизни, показывающий уменье брать стойкие ре-

---

[1] Помню разговор отца с кем-то о том, почему Саша выбрал естественный факультет.

— Приложения к жизни никакого нет; кем быть? Только учителем? — заявил собеседник отца.

— Можно профессором, — сказал отец, просто и скромно, как всегда, но гордость сыном светилась в его глазах.

— Да, если так, конечно, — сбавив тон, с видимым уважением ответил тот.



Группа окончивших Симбирскую гимназию в 1883 г. (× — А. И. Ульянов).

шения надолго и проводить их с неуклонностью, говорит о силе характера гораздо больше, чем иные прямо-таки героические решения на момент. Особенно изумительно это в семнадцатилетнем юноше, только-что вылетевшем из семейного гнезда, непрактичном, не то что окруженном соблазнами, — их он просто не замечал, — а долженствующем рассчитывать каждую копейку, каждый лишний кусок, чтобы не выйти из определенного себе бюджета. А он еще болел первую зиму в Петербурге возвратным тифом, после которого нужно усиленное питание, не говоря уже о сопровождающих болезни расходах на врачей и лекарства. Его же питанием, кроме обеда, служил обыкновенно один чай с хлебом. Наконец, сколько книг он охотно приобрел бы для своей работы!

Последние годы в гимназии и первые в университете Саша был уже вполне самостоятельным взрослым человеком, с мнением которого считались, которое импонировало иногда и родителям. И достигнуто это было совершенно спокойно, ровно, как бы незаметно, само собой. Никакой борьбы за это на глазах меньших не было. Это было естественным результатом его силы. Никогда при меньших Саша ничего не оспаривал, не отрицал; но когда отец, бывший всю жизнь искренно религиозным, спрашивал его иногда за обедом: «Ты нынче ко всенощной пойдешь?» — он отвечал кратко и твердо: «нет». И вопросы эти перестали повторяться.

Еще из присущих брату черт я должна отметить большой демократизм. С одинаковым уважением и вниманием относился он к прислуге и к крестьянам, к каждому, кто обращался к нему. И как любили его все! Помню, в первое лето по возвращении Саши из Петербурга его встречу с рассыльным отца. Старик весь просиял, здороваясь с ним, а Саша так дружески просто пожал его руку, что в то время обратило на себя внимание, как мало принятое. Помню также его разговоры с крестьянами. Какой авторитет должен был он сразу снискать среди рабочих, какое доверие и уважение завоевать меж ними!

II. ГОДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ (1883—1887 гг.).

В конце августа 1883 г. Александр Ильич приехал в Петербург. Он ехал Волгой до Нижнего, а затем по железной дороге. Путешествие по железной дороге он совершил тогда в первый

раз в жизни. Поездка в III классе при страшной перегруженности и грязи вагонов показалась ему после парохода очень неказистой, и позднее он сказал мне: «Говорили об удовольствии езды по железной дороге. По-моему, без малого наказание».

Очевидно, он переживал также при этом путешествии «Железную дорогу» Некрасова, своего любимого поэта. Заболев поздней осенью возвратным тифом, он несколько раз просил меня говорить ему наизусть эту поэму.

Остановился он на день проездом в Москве. В письме своем к кузине он говорил, что Петербург понравился ему больше Москвы, что из московских достопримечательностей понравился только Храм Спасителя, а старинные церкви и здания Кремля совсем не понравились.

Остановился Александр Ильич в комнате на Песках, потому что кем-то в Симбирске была указана хозяйка, сдававшая там комнаты. В эту комнату приехала попозже, в сентябре, и я. Но страшная отдаленность от университета заставила Сашу со следующего же месяца переселиться оттуда. Он снял комнату на Петербургской стороне, где селилась обычно самая демократическая часть студенчества (комнаты на Васильевском Острове были дороже), — на Съезжинской ул., в доме № 4, в квартире домовладелицы. Этот, старого типа деревянный дом давно сломан, а на месте его возвышается теперь каменное здание пожарной части. Комната была с ходом прямо из передней. Смежная с ней гостиная, как полагалось, без гостей обычно пустовала, и потому в Сашиной комнатке было тихо и удобно для занятий. Хозяйка оказалась очень добродушной, старозаветной старушкой, каких наверно теперь и в глухих углах где-нибудь не сыщешь. Брат у нее и столовался, и она уделяла ему добросовестно часть своего домашнего обеда, не забывая праздничного пирога не только для него, но и для меня, когда я посещала его. Очень внимательна была она к нему и во время его болезни, — возвратного тифа, перенесенного дома, — и, не требуя вознаграждения, посылала обед и на мою долю в те дни, которые я проводила около него. Я замечала часто с ее стороны чисто материнское отношение к нам, только-что вылетевшим из родного гнезда юнцам. Тишина, добродушие и уютность, вместе с запахом лампадного масла, были разлиты повсюду. Я в центральной части Петербурга видела уже другие типы хозяек, беззастенчиво промышлявших на счет студенческих желудков.

Бестужевские курсы помещались тогда на Сергиевской улице, в доме Боткина, и я взяла поэтому себе комнату тут же поблизости, на Сергиевской. Попала я в плохие условия: очень скучала без Саши и спохватилась уже позднее, что зря послушала общего мнения и убеждения брата, что с Петербургской стороны ходить мне будет слишком далеко, и не поселилась с ним вместе. Но у его доброй старушки другой комнаты не было, а о том, чтобы ему уйти от нее, при всех удобствах и уюте, которые он нашел там, я, конечно, не могла и думать. Мы установили определенные дни свиданий, — помню, среду и воскресенье, — и путешествовали аккуратно один раз я к нему, другой он ко мне, чтобы провести вместе вечер. Это, конечно, кроме кратких забеганий по делу, с письмом из дому и т. п. Путешествовали мы обыкновенно пешком, — он из-за свойственного ему ригоризма и сжимания до-нельзя своих потребностей. В первой части я рассказываю, что он откладывал ежемесячно по 10 руб. из присылаемых ему отцом денег и вернул их по возвращении домой. Саша ел за утренним и вечерним чаем, — ужина он не имел, — один хлеб, — больше весовой, ситный, покупая булки или что-нибудь повкуснее лишь в дни моих визитов, и мерил все расстояния пешком.

В результате питания у своей хозяйки я нажила довольно скоро катарр желудка. С этим у меня связано одно трогательное, рисующее брата, воспоминание. В свое посещение я рассказала ему, что сказал мне врач. Была я, очевидно, кислая, с больным видом. На следующий, внеурочный день брат пришел ко мне специально для того, чтобы убеждать меня вследствие развившегося у меня катарра ехать обратно в Симбирск. Помню его озабоченное лицо, его горячий тон. Помню, что и сам он показался мне особенно бледным и усталым. Оказалось, что он сам был болен, — у него начинался возвратный тиф, — и больной, в отвратительную питерскую погоду, — дождь со снегом, — он пришел с Петербургской стороны пешком, чтобы убеждать меня. Я была с детства самой хворой, мать всегда особенно беспокоилась обо мне; потом брат видел, что я тоскую очень о семье, туго пускаю корни в питерскую жизнь, — но какую серьезную и глубокую, совсем уже не юношескую заботливость выказал при этом он, семнадцатилетний мальчик!

Конечно, я не поехала, а через пару дней врач определил у него возвратный тиф. Бывая у него чаще и ночуя в самое

трудное время, я скинула с себя самое тягостное, — чувство одиночества, а питание у его милой, очень заботливой к нам обоим хозяйки заставило меня забыть на время свой «катарр».

Курсы не удовлетворяли меня обязательностью латыни и тем, что преподавание вращалось в этом году в древнем периоде. Хотелось, как, должно быть, всем, стряхнувшим с себя гимназическую учебу, чего-нибудь более близкого к современности, более свежего и живого. Это был год закрытия «Отечественных Записок», год глухой реакции. Курсы висели на волоске. Администрация стремилась показать, что на них учатся и только учатся. Вероятно, и выбор профессоров определялся до большой степени стремлением сохранить во что бы то ни стало курсы.

Лучший, более живой общественно состав слушательниц был на естественном отделении. Это было время почти поголовного увлечения естествознанием; к тому же петербургский университет славился именно естественным факультетом, на котором читали такие знаменитости, как Сеченов, Менделеев, Боткин и др. На старших курсах, на почве общего участия в студенческой столовой и дежурств на кухне познакомилась и сошлась я с некоторыми естественницами, при чем не замедлила сделать открытие, что это гораздо более живой и общественно интересный элемент курсисток. На первых же курсах я смотрела на них несколько предубежденно из-за их, часто подчеркнутой, нигилистической внешности: красные рубахи, волосы в скобку, мальчишеские жесты и ругательства отталкивали меня, как проявление чего-то напускного, легкомысленного и обезьяньего. Припоминаю, как грубо заявила одна курсистка, доводившая эту игру в нигилизм до особой крайности, по поводу предупреждения заведующей курсами Стасовой о нежелательности ярких косовороток: «Вот еще! Форма, что ли?! Я завтра в красной приду!».

Так же смотрел и Саша. При его серьезном и глубоком отношении к образованию вообще, к женскому в частности, он мог относиться только отрицательно к таким проявлениям, не говоря о том, что все вообще показное, внешнее, крикливое было абсолютно чуждо и противно его натуре. Относительно этой нигилистической внешности были с ним разговоры еще в его гимназическое время, в Казани и в Кокушкине, где мы слышали от двоюродных братьев и сестер о казанском студенчестве. В разговорах о женской эмансипации, которые велись между

нами и кузиной, он определенно отрицательно относился к тому копированию мужчин, которое проявлялось в остриженных волосах, пиджаках, косоворотках и намеренной небрежности к внешности и костюму. И когда мы, девочки, немножко пристрастно придирались к нему и спрашивали, какой костюм и внешний вид он одобряет, он сказал коротко: «вот как у мамы», т.-е. опрятно и в высшей степени скромно. Этот разговор показывает, кроме того, как высоко стоял у нас в семье авторитет матери, каким идеалом являлась она.

Саша приехал в Питер в 1883 г., в августе. Лекции по большей части еще не начались. И он ходил читать в Публичную библиотеку. Помню, что читал Дарвина и др. научные книги по естествознанию. Помню, что я, не знавшая, куда приткнуться в Петербурге, и, с другой стороны, не составившая себе программы чтения, спросила: «А можно ли там новые журналы получать?». И почувствовала себя сконфуженной, когда он сказал: «Думаю, что да, но не знаю. Я их не спрашивал». — Я почувствовала, как всегда чувствовала перед ним, что вот человек знает, что ему надо, не мечется и не ищет, как я, и времени даром не тратит. И, просидев иногда и утро на лекциях или за практическими занятиями, идет и по вечерам читать научные книги.

Не удовлетворенная программой лекций на первый год, туго заводящая знакомых, я страшно скучала по семье, и вечера казались мне бесконечными. Скучала и по школе, в которой работала два года до отъезда в Петербург, по ребятам. Вообще мне всегда свойственно было трудно приниматься на новой почве, одним из моих главных недостатков было жить долго прошлым.

Вечера, проводимые с Сашей, были для меня праздниками. Я выкладывала ему обычно все мои впечатления, мы менялись письмами из дома. Он рассказывал тоже обо всем пережитом, но обычно кратко, сжато. Он также чувствовал себя, конечно, одиноко первый год, но далеко не в такой степени, как я, ибо все часы его были заняты. И в дни наших свиданий, поделившись новостями, мы все чаще сидели каждый со своей книгой, как, впрочем, привыкли делать и дома. Я-то, конечно, болтала бы и слушала охотно и весь вечер, но Саша не любил болтовни. Но так уютно и хорошо проходило время вместе! Моя беспокойная, тоскующая, всегда во внутренних

неладах душа как бы опиралась на его гармоничную, спокойную, уверенную, как бы заражалась этой его, чуждой мне, гармонией. Один из товарищей Саши говорит в своих воспоминаниях, что как-то «прочно, уютно» чувствовалось при нем.[1] Я думаю, что испытывала это ещё в большей мере, так как с детства привыкла к этому уюту подле него.

Обычно я старалась приготовить какое-нибудь угощение к вечернему чаю, конечно, очень незамысловатое, — в роде масла, сыру; моя хозяйка съедала бо́льшую часть моих ресурсов. Помню, что под новый год, который Саша пришел встречать ко мне, я придумала особое угощение: филипповские пирожки, которые разогревала в своей печурке.

Мне казалась, конечно, очень соблазнительной мысль поехать на рождественские каникулы домой, но Саша сказал решительно, что не поедет. Для него это было баловством: надо было пользоваться всем, что давал Питер, достаточно было одного летнего ваката. Да и деньги лишние тратить он был совсем не склонен. Первый год я осталась с ним, но следующие два не выдерживала и уезжала домой.

По праздникам с начала осени мы отправлялись с Сашей осматривать какие-нибудь достопримечательности Питера, особенно в первый месяц, прожитый с ним вместе на Песках. Маршируя пешком, прежде всего познавали, конечно, самое достопримечательное в Питере — громадность его расстояний. Чуть ли не первым нашим впечатлением были похороны привезенного из-за границы тела И. С. Тургенева. Вся погребальная процессия была сжата тесным кольцом казаков. На всем лежал отпечаток угрюмости и подавленности. Ведь опускался в землю прах неодобряемого правительством, «неблагонадежного» писателя. На его трупе это показывалось самодержавием очень ясно. Помню недоуменно тягостное впечатление нас, двух юнцов. На кладбище пропускали немногих, и мы не попали в их число. Потом попавшие рассказывали, какое тяжелое настроение царило там, как наводнено было кладбище полицейскими, перед которыми должны были говорить немногие выступавшие...

Осмотрев город с внешней стороны, мы отправились раз в Эрмитаж. Но никогда не видавшие живописи в провинции,

[1] Егор Егорович Гарнак.

совершенно не подготовленные тогдашней школой к пониманию ее, мы потерялись в больших залах среди чуждых, мало говорящих нам изображений и, перебегая все быстрее испанскую, голландскую и др. школы, ничего не вынесли, кроме усталости и разочарования. Да, кроме того, и общее настроение тогдашней молодежи, враждебное всякому «чистому искусству», не благоприятствовало нашему пониманию его. Особенно, конечно, это имело отношение к Саше. Зато ему очень понравилась и произвела на него большое впечатление выставка картин Верещагина из эпохи войны с Турцией 1877—1878 гг. Для современных читателей скажу, что картины этого художника, цензурные каждая в отдельности, взятые вместе (в ансамбле), были сплошным криком против войны и именно так и были восприняты тогдашним обществом. Панихида священника над бесконечным полем, усеянным трупами; вошедшее в поговорку: «На Шипке все спокойно» (фигура часового, постепенно заметаемого снегом, — в трех видах) и другие оставляли подавляющее впечатление, зажигали протест против войн и их виновников и в тех, кто был далек от такого протеста. Что же сказать о Саше? Как и в детстве, он мало высказывался, но каждый из нас, — я или товарищи, — чувствовали при своих возмущенных излияниях молчаливую поддержку в его сосредоточенно мрачном виде. Впечатление, производимое выставкой на общество, заставило правительство спохватиться и закрыть ее.

Но больше всех из наших осмотров достопримечательностей столицы осталось у меня в памяти посещение в одно из первых воскресений Петропавловской крепости. Тогда это посещение, на которое начальство смотрело как на патриотическое паломничество к могилам русских императоров, было еще разрешено. Пропускали в собор, к гробницам. Но приходилось, конечно, после входа по мостику за тяжелые стены крепости проходить по ее двору, и атмосфера этого тюремного двора, с его зловещим молчанием, нарушаемым лишь бряцанием оружия и окликами часовых, охватила нас. Под подозрительно-пристальными взглядами стражи прошли мы, с немногочисленной другой публикой, в собор. Мы рассеянно побродили между гробницами, слушая объяснения, который из императоров покоится в той или другой из них, а по выходе из собора оглянулись пытливо на мрачные тюремные стены, за которыми сидел четыре года наш недавний кумир Писарев, которые замыкались с тех пор беспощадно над столь-

кими борцами за свободу. Нас неотступно провожал до ворот часовой. После деревенской почти свободы родного городка мы почувствовали себя как бы стиснутыми в одном из бастионов самодержавия, всецело и безнадежно в его власти. Это было первое для нас дуновение тюрьмы, с которой всей нашей семье пришлось затем познакомиться так основательно. Для Саши это было первым, добровольным покуда, посещением крепости, захлопнувшейся за ним безвозвратно $3^1/_2$ года спустя.

Мы вышли из крепостной калитки и оглянулись. За нами стояла эта неприступная твердыня всесильного самодержавия, над нами нависло серое питерское небо. Было часа четыре, сгущались осенние сумерки. Моросящий дождь и резкий ветер с Невы довершали общее безрадостное впечатление. Я пробовала заговаривать о том, где там помещаются заключенные, и еще что-то, но Саша отвечал односложно, и я умолкла тоже. Помню нас, как сейчас, шагающими вдоль решетки Летнего сада (по Марсову полю), помню то состояние тяжелой подавленности, которое, как камнем, сдавило грудь. Помню, что для меня, неспособной на такие глубокие и длительные переживания, это было уже чересчур, и я чувствовала потребность стряхнуть его, заговорить о чем-нибудь другом. Но чувствовалось, что говорить о другом для Саши теперь недопустимо, и я шла, взглядывая на него исподлобья, подавленная с каждым шагом все больше не эвоими непосредственными ощущениями, а тем, как переживал их он. Тоска за его страдания и какая-то неоформленная, но чрезвычайно мучительная жуть за него, как предчувствием, сжала сердце. Я мало помню в своэй жизни таких острых, мучительно гнетущих настроений. Это происходило, вероятно, и потому, что то были первые ощущения юношеской души,—души, не привыкшей еще к страданиям.

Не потому ли запечатлелось так ясно до сих пор выражение лица Саши, такое сосредоточенно-мрачное, как я его никогда дотоле не видала, — так ясно, что я могла бы и теперь передать его, если бы умела рисовать: эти плотно сжатые губы, эти сдвинутые брови, это непередаваемое выражение страдания в глубоких глазах. Точно сразу состарилось его лицо.

Может быть, потому я вижу в этом лице, как оно стоит в моей памяти, некоторое сходство с отцом, — вообще-то брат походил на мать,—в моменты мрачного раздумья, тревоги, страдания.

И этот темный путь мимо огромного пустынного Марсова поля в серый, печальный вечер с редко встречающимися прохожими, с жалобно бьющимися о железную решетку осенними деревьями под моросящим дождем, — это была точно эмблема его пути под безнадежно сковавшим все, обнаглевшим самодержавием, в тиши общей подавленности и апатии, — путь этого юноши с таким обостренным чувством долга и ответственности перед родиной, перед страдающими братьями, короткий и мужественный крестный путь...

Помню я и другое аналогичное проявление Саши в этот первый год, но уже к концу его, в апреле. В этот день у него был первый экзамен по химии, и мы условились, что к вечеру он придет ко мне. Несмотря на серьезную работу весь год, он готовился последние дни усиленно, сдал, конечно, прекрасно и довольный пришел ко мне. Мы оба переживали тогда весеннее настроение и мечтали о поездке домой, на родную Волгу. После нудных потемок бесконечной питерской зимы так ласково засветило нам весеннее солнце, и я помню, в каком счастливом настроении сидели мы за вечерним чаем.

Но... в общественной-то жизни просвета никакого не замечалось. Наоборот, о женских курсах говорили, что они существуют последний год, и, наконец, недавний тяжелый удар, — были только-что закрыты «Отечественные Записки», тогдашний передовой журнал. Опытная рука редактора Щедрина, его изощренность в «эзоповском» языке не спасла журнала. Не помню, от меня ли первой услышал Саша об этом. Но я передала ему также в этот вечер, что на курсах говорили, будто Щедрин арестован. За минуту спокойный и довольный, Саша весь потемнел.

— Это такой наглый деспотизм — лучших людей в тюрьме держать!, — сказал он негромко, но с такой силой возмущения, что мне стало снова жутко за него.

Саша мрачно ушел в себя на остальную часть вечера, который был окончательно испорчен для нас. Ругала я себя, глядя на него, что передала этот слух, — а особенно ругала на следующий день, когда оказалось, что он ложный.

Таковы были минуты отдыха для этого глубоко чувствующего юноши, и теперь я думаю, что более проницательный наблюдатель предсказал бы и тогда его путь...

Уменье ставить перед собой главную цель и неуклонно итти к ее осуществлению, страстная любовь к науке спасали его первое время.

Саша был очень доволен лекциями профессоров, лабораторными занятиями. Это была уже не его кухонька в Симбирске. Перед ним было открыто в области любимой науки все, что могла дать тогдашняя мысль. И он с жадностью набросился на все это. Кроме университетских занятий, в Питере имелись книги, которых не достать было в Симбирске. Он брал их в университетской библиотеке, он записался в частную. Я часто видела, что при моем или кого-либо из товарищей приходе он с сожалением отрывался от книги.

Забегали к Саше и товарищи. Первые годы это были больше свои земляки. Из них довольно часто начал посещать Сашу, а позднее и меня, кончивший годом раньше его симбирскую гимназию И. Н. Чеботарев. Годами он был гораздо, лет на шесть, старше брата. Он предложил Саше, а затем и мне, войти в симбирское землячество. В своих воспоминаниях он говорит, что особого энтузиазма в нас к этому первому общественному шагу не встретил. Особенно верно это относительно меня. Я была в то время очень дикой; к тому же среди земляков у меня не было никого близких. Товарищи Саши не были таковыми в гимназические времена, а из женской молодежи Симбирска я была в те годы единственной попавшей на курсы, и не очень-то одобряло мой почин и родителей, оному потворствовавших, тогдашнее симбирское общество. И дика я была по теперешнему времени прямо-таки невероятно.

С товарками на курсах я сходилась тоже медленно. Досуги свои я посвящала обычно каким-нибудь стихотворным или беллетристическим опытам, которыми тогда увлекалась, мечтая стать писательницей, и читала их обычно Саше при наших свиданиях.

По этому поводу хотела сказать, что не встречала более внимательного, серьезного и в то же время более чуткого критика. С какой-то удивительно чистой, бескорыстной радостью отмечал и приветствовал он проявление всякой способности у другого. Так было и с моими литературными опытами. Более снисходительного судьи для своих виршей, переводов из Гейне, я не встречала. Но он был всегда требователен насчет содержания. Так фантастические и любовные мелочи Гейне (наиболее доступные мне для перевода) оставляли его совершенно равнодушным. Помню, что перевод известного стихотворения Гейне об юноше, вопрошающем море о смысле жизни, вызвал на его уста пренебрежительную улыбку реалиста. Помню, что стихотворение о девушке,

умирающей от чахотки и страстно рвущейся к жизни, к борьбе, к труду, вызвало его одобрение, несмотря на очень дубовый стих «поэта»; но он поинтересовался узнать, откуда взяла я тему, знала ли я такую девушку. И когда я должна была смущенно признаться, что ничего такого в жизни не встречала, что стихотворение вылилось, когда у меня самой была повышенная температура, он отнесся к таким необоснованным фантазиям с явным неодобрением.

Зато, когда я прочла ему маленький рассказик «Из жизни девочки», [1] он вполне одобрил его. Помню, как он спросил меня: «Ну, а тему-то ты откуда взяла?». И когда я сказала: «на улице видела», его одобрительный взгляд был для меня самой ценной наградой.

Еще больше понравилось Саше мое стихотворение «Волга», написанное уже на второй или третий год пребывания в Питере.

— Это, конечно, лучшее из того, что ты написала, — сказал он. — Ты мне дашь переписать его?

Вся внутренне расцветшая от его похвалы, я передала ему тот экземпляр, по которому читала. Похвалил Саша, несомненно, за содержание: буря на Волге претворялась в бурю народную, в революцию, т.-е. за то, что было для него главным, а к дубоватости стиха отнесся очень снисходительно.

Охотно слушал он также стихи одного товарища симбирца, А. А. Тенишева, с большими недочетами по части техники, но касавшегося тоже иногда общественных тем.

И не только литературное, всякое иное уменье, всякую способность отмечал он как-то особенно радостно. Так, например, скучая очень по дому, по меньшим, я выискивала для них какие-нибудь мелкие сюрпризы, которые посылала то в письмах, то в посылках. — «Как это ты умеешь находить?» — говорил он про какую-нибудь безделку, искренно видя какое-то умение там, где было просто внимательное глазение в окна игрушечных или писчебумажных магазинов, вместо сосредоточенной работы мысли.

Вообще чуткость и внимательность к другим, несмотря на все поглощение умственной работой, на внешне суровый вид, были у него удивительные.

Тиф он переносил очень мужественно, больше на ногах. Только несколько дней, кажется, при втором приступе, пролежал в по-

---

[1] Был напечатан в «Работнице» 1914 г.

стели. И, несмотря на полное почти отсутствие ухода, перенес его сравнительно легко. С прежней энергией принялся за занятия. Помогал даже мне нагонять пропущенное по-латыни. Прямо изумительны та трудоспособность и выдержка, та любовь к науке, которую проявил Александр Ильич в 17—18 лет. Помню, как поразило и смутило меня, когда он к весне этого, первого года своей студенческой жизни заявил мне тоном глубокого сожаления:

— Больше 16 часов в сутки я работать не могу!

16 часов напряженной, самостоятельной умственной работы в те годы, когда юноши еще формируются, когда все они более или менее разбрасываются, еще ищут себя! Александру Ильичу этого не надо было: он еще мальчиком нашел себя, нашел свой путь и он уже шел по нему неуклонно и твердо, озабоченный лишь тем, что находится все еще на иждивении отца, у которого и без него большая семья. И он искал уроков.

Помню, как мы с ним были по этому поводу с письмом от кого-то у некоей важной дамы. Как-то особенно ярко осталась в памяти еще юношески угловатая фигура брата, его большие, красные (без перчаток, верно, шел) руки. Помню, как смутилась я и как просто и деловито приступил к делу он, не сознавая или не желая сознавать, каким ярким диссонансом являлась его демократическая фигура и вся его определенная индивидуальность в этой утонченной гостиной. Ничего, конечно, не вышло: кроме таких дичков, как мы, было немало умевших более ловко обделывать свои дела молодых людей. Не вышло, конечно, с пользой для Саши, для его занятий.

В первый год у меня было немного экзаменов, да и те я сдала по большей части неофициально раньше и уехала уже в начале мая домой. Саша приехал неделями двумя позже. Осталась у меня в памяти его встреча с матерью после этого, первого года разлуки. Он уже поздоровался со всеми, его обступили меньшие. Но вот он снова повернулся к матери и крепко, с молчаливым горячим порывом обнял ее. Помню, с какой растроганной радостью отвечала на его объятие мать; ясно помню прекрасное, все какое-то светящееся выражение его лица. А письма его были обычно кратки, сухо деловиты. В письмах он не умел и не любил выражать свои чувства.

По летам — 1884 и следующего 1885 г. — Саша много занимался естественными науками. Колеся как-будто для удоволь-

ствия в душегубке по Свияге, один, с меньшим братом или с кем-нибудь из товарищей, он подбирал себе материал для исследования, с которым возился потом в своей комнатке наверху. Это были черви разных пород, органы которых он изучал, на основании работ над которыми он представил в феврале 1886 г. свою работу об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata, награжденную на университетском акте большой золотой медалью «преуспевшему».[1] Помню, как кратко и просто гласило об этом его письмо к матери: «за свою зоологическую работу о кольчатых червях я получил золотую медаль», и как горько плакала мать, что отец, умерший месяц назад, не может порадоваться этому известию.[2]

Помню, как раз я наклонилась над кишащими, объемом чуть не в нитку, червями, спросив у него: неужели у них все органы дыхания, пищеварения есть? — И он с оживившимся лицом, очевидно, довольный, что любимая им область встречает интерес, ответил: «да!». Но я, к сожалению, не пошла дальше в область естественных наук, поглотивших одно время почти всецело его внимание.

В биографическом очерке брата, помещенном в «Галлерее шлиссельбургских узников», я сказала, что книги по общественным вопросам были забраны Сашей из Петербурга на последнее, проведенное им дома лето 1886 г. Я ошиблась: часть книг — по истории, политической экономии и т. п. — была привезена им весной 1885 г.; мне помнится, что и «Капитал» Маркса появился у него тогда, что я видела его еще в занимаемой им в то лето комнате (в 1886 г., после смерти отца, мы уплотнились, и брат занимал уже другую комнату). Но если я не могу сказать точно относительно «Капитала», то часть книг по истории и политической экономии, из них многие на иностранных языках, я видела у него, несомненно, летом 1885 г.

Ездили мы по летам, как и раньше, в Кокушкино. В 1886 г., после смерти отца, Саша ездил туда ненадолго один.

О следующих двух годах петербургской жизни приходится сказать короче, так как они не давали уже остроты переживаний первого года, а во многом, — занятия, наши свидания друг с дру-

[1] См. приложение к этой статье.
[2] См. приложение.

гом, — повторяли его, и потому отдельные эпизоды не запечатлелись так в памяти. Запечатлелись только наши депутации к Салтыкову-Щедрину в день его имении, — 8 ноября, — в 1885 и 1886 гг.

Мы ощущали очень горестно, что наш любимый писатель вынужденно умолк, что орган его закрыт, но чем могли мы в то время выразить ему сочувствие? Все формы общественного проявления были тогда закрыты; единственно признанным было принесение приветствия в традиционный день имении. И молодежь воспользовалась этой форточкой. 7 ноября 1885 г. ко мне пришел вечером товарищ Саши по гимназии, студент военно-медицинской академии Орловский, с предложением организовать на курсах депутацию к Щедрину, который болен и чувствует себя очень одиноким и всеми забытым. Он сказал, что говорил с Сашей, что такие депутации с письменными приветствиями будут посланы 8-го и от университета, и от нескольких других высших учебных заведений; желательно, чтобы была и от курсов.

Я набросала проект адреса, который был принят на другой день на общекурсовом собрании, и в составе избранной на нем делегации отправилась на квартиру Михаила Евграфовича. Видеть его нам не пришлось: нам сказали, что он очень болен, и мне помнится даже, что я слышала стон из его комнаты. Нас пригласили в гостиную, где было уже несколько посетителей и где дочка писателя, нарядная, как куколка, девочка лет тринадцати, в голубом плиссированном платьице, подвигала нам стулья. Мы перемолвились несколькими словами о здоровьи Михаила Евграфовича с его женой, вручили наш адрес и удалились.

Делегация студентов, в которую входил и Саша, попала в другое время.

На следующий день начальница Высших Женских Курсов, Н. В. Стасова, вызвала меня к себе и, затворившись со мной в пустой аудитории, рассказала, что видела также в день имении Михаила Евграфовича, который выразил ей свое удовольствие по поводу адреса от курсисток, сказав, что он показался ему самым прочувствованным, понравился ему больше всех других, полученных в тот день. Надежда Васильевна добавила: «Мне очень было приятно слышать это; уже второй раз (она назвала еще какого-то писателя или профессора) слышу я, что адрес от курсов признан лучшим. Я всецело сочувствую вам, но вы пони-

маете, конечно, что при теперешнем положении курсов мы не могли бы подать его от них официально».

Когда я рассказала об этом разговоре Саше, он спросил: «Это ты написала адрес?».

На следующий,—1886,—год такой агитации по всем учебным заведениям, не помню уже по какой причине, проведено не было, а 8 ноября на квартиру Щедрина отправилась общая небольшая, человек 8—10, делегация от высших учебных заведений. Кроме нас с Сашей в нее входили: студент Мандельштам, однокурсник брата, курсистка Москопуло (теперь Никонова), остальных не помню. На этот раз Щедрин вышел к нам. Помню, что он был хмурый, худой и желтый, с отросшей бородой, в потертом домашнем костюме. С устным приветствием от общего имени обратился к нему М. Мандельштам. Поблагодарив за него, М. Е. всем нам пожал руки. А. В. Москопуло-Никонова вспоминает, что, когда дошла очередь до Александра Ильича, он так крепко, от всей души пожал руку Щедрину, что тот схватил ее другой рукой и заворчал: «Ой-ой! Нельзя же так сильно. Я старенький, мне больно».—Александр Ильич был страшно смущен, покраснел и стал бормотать какие-то извинения.—«Ну, ничего, ничего»,—сказал тогда добродушно Щедрин.

Я этого не помню, но у меня осталось в памяти, что вся наша делегация чувствовала себя смущенно, держалась угловато; что приветствие Мандельштама вышло скомканным и неумелым, а Саша при выходе выглядел хмуро и недовольно.

Саша так же усердно работал практически в кабинетах и так же много читал дома, но у него появилось больше товарищей, и правильность наших свиданий два раза в неделю была нарушена. При этом чаще мы бывали не вдвоем, а на людях. Оба мы вошли в землячество. Саша-то еще с первого года. На почве земляческих собраний сближались больше с товарищами. Затем, как у него, так и у меня появились знакомцы среди однокурсников. Последних, насколько помнится, я стала встречать у Саши лишь в последние годы. Раньше на дом забегали больше земляки. С осени 1885 г. женские курсы были переведены на Васильевский Остров, в собственный дом, и я поселилась тоже на Петербургской стороне, у его первой хозяйки. Саша взял почему-то другую комнату. Последние два года мы жили с ним совсем близко друг от друга.

В складчину стали мы — члены симбирского и части самарского землячества — выписывать новые журналы, которыми менялись поочереди. Затем мы доставали некоторые неразрешенные тогда книги, — напр., сочинения Герцена, или нелегально выходившие «Сказки» Щедрина и сочинения Л. Н. Толстого: «Исповедь», «Так что же нам делать?», «В чем моя вера», «Деньги».

Помню, что «Исповедь» вызвала в Саше большой интерес; к сочинениям же Толстого, переходившим от критики существующего строя к попыткам наметить свой путь, он относился совершенно отрицательно и очень холодно.

Вообще Саша как раньше в гимназические годы, так и позднее в студенческие, несмотря на углубленные занятия наукой, был в курсе всего, чем жила тогдашняя молодежь, и можно сказать, что для своих лет он был начитанным и самостоятельно усвоившим все прочитанное человеком.

По инициативе его возник среди наших земляков кружок по изучению экономического положения крестьянства. Помню, что мне достался первый реферат — об экономическом положении крестьянства в древней Руси. Ничего-то в намеченных исторических курсах и сочинениях того времени я по этому вопросу не нашла и экономическое положение крестьянства получилось очень проблематическим, а реферат очень бледным. Мы все были еще слишком неопытны, чтобы понять, что для такой темы требовалось изучение источников, что, конечно, было непосильно для нас.

Помню, товарищи в разгоревшейся по поводу реферата дискуссии напали на меня за то, что я мало дала, допытываясь с пристрастием, прочла ли я тот или другой труд. Я отчаянно защищалась, говоря, что сделала выписки из всех намеченных сочинений и не виновата, если в них по указанному вопросу ничего нет.

Наконец, брат встал на мою сторону:

— Ну, если человек говорит, что прочел все исследования, то, значит, действительно, в них нет ничего, — сказал он.

В тоне его было, помню, разочарование. Еще один-два реферата по вопросу об экономическом положении крестьянства были написаны, а потом кружок этот заглох. Кроме разочарования в возможности добыть доступными нам средствами нужный материал, имело значение, конечно, и то, что кружок этот возник уже в последний, 1886, год, и самые активные члены были отвле-

чены более интересными кружками, например, «экономическим», а затем и революционной работой.

Слушали мы с Сашей лекции Семевского по крестьянскому вопросу. Когда курс Семевского был снят в университете и на женских курсах (В. Семевский был тогда на счету крайних левых), мы в числе избранных дослушивали на его квартире.

Стали тогда попадать к нам в руки и некоторые нелегальные издания. Помню в связи с этим, как я понесла брату какую-то прочитанную брошюрку. Жили мы тогда оба на Съезжинской (номера через 3), приходилось только Пушкарскую наискось пересечь, и я, как совершенно неискушенный в конспиративных делах дичок, понесла брошюрку попросту, в открытом виде, как всякую легальную книжку. Помню удивленную усмешку Саши:

— Как, ты ее так, незавернутой даже по улице несла?

— Да ведь тут близко; кто же у меня в руках будет читать, какая она? — оправдывалась я.

— Все же никогда не видал, чтобы нелегальные книжки так носили, — сказал он с той же усмешкой, которая заставила меня, еще не сдававшуюся, намотать на ус, что так не делается.

Бывали изредка земляческие и иные вечеринки. Теперешней молодежи они показались бы, наверное, очень тоскливыми. Да, нудным было в те тяжелые годы и редкое веселье, которое могла себе позволить молодежь! А между тем и на него право получалось обычно не без борьбы. Землячества были неразрешенными организациями, в пользу пополнения их кассы, — действительная цель большинства из них, — открыто нельзя было организовать вечеринку. Тем менее, конечно, можно было устраивать в пользу красного креста политических или с целью активно революционною. Нужна была какая-нибудь вымышленная цель. Чаще всего таковой выставлялось семейное празднество, справлялась, якобы, помолвка и выставлялись фиктивные жених и невеста, которые устраивали, якобы, вечер. Дело обходилось не без возни: нужно было подавать заявление в полицию и неоднократно бегать туда. Поэтому действующими лицами можно было выставлять не находящихся на подозрении полиции, а затем и зеленая молодежь тоже в женихи не годилась. Обыкновенно «женить» старались окончившего университет или кончающего, отъезжающего в провинцию. Таким образом взял раз на себя роль жениха М. Т. Елизаров, окончивший университет и служивший в Питере.

Несомненно, для полиции не было секретом, что помолвки эти фиктивные, и она смотрела лишь, чтобы формальности были соблюдены. Помню, как мы все смеялись рассказу о том, как представитель полиции поймал Елизарова, спросив его врасплох: «как фамилия вашей невесты?». Заспешив, Елизаров не сразу выговорил малоупотребительную фамилию Калайтан: — «Ка-тай... Ка-лай...». — «Как, вы фамилии своей невесты не знаете?» — Но вечеринка была, тем не менее, разрешена.

Посылался всегда представитель полиции, которого обычно зазывали в сторонку и усердно накачивали вином. Молодежь плясала, выпивала, но под сурдинку часть беседовала в какой-нибудь отдельной комнате на политические темы и обделывала некоторые конспиративные дела. Затем публика затягивала хором «Дубинушку» или «Назови мне такую обитель», «Замучен тяжелой неволей». Кое-кто декламировал революционные стихи. Помню, этим искусством отличался один наш земляк, А. Тенишев, декламировавший, кроме своих собственных и некоторых легальных стихотворений, и «На смерть Мезенцева» и произносивший с большой силой выражения: «Именинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату!» — Но это последнее стихотворение декламировалось больше на частных квартирах или под конец вечера, где-нибудь в сторонке, когда напоенный основательно блюститель порядка уже не мог должным образом реагировать на происходящее. Выпивала и молодежь: не было естественного простора ее молодым стремлениям, она была стиснута, а потребность как-то выйти из келейного уединения, как-то встряхнуться и повеселиться неистребима. Чем тщательнее выкуривалось всякое содержание из собраний молодежи, тем более наименее устойчивая и инициативная часть ее склонна была найти веселие хотя бы в винных парах. И немало было таких, которые начинали выпивать еще студентами, чтобы продолжать это чуть не единственное доступное тогда развлечение на казенных местечках в разных более или менее глухих углах.

Помню некоторых студентов, порядком выпивавших. Из них особенно запечатлелся один товарищ брата в последние годы, лесник Державин. Очень симпатичный, хотя и малоинициативный, молодой человек был одарен, между прочим, хорошим голосом, — помню его вместе с товарищем, фельдшером Воеводиным, в качестве запевалы и дуэтиста на наших собраниях.

В трезвом виде он был угрюм и молчалив, и оживлялся только в подвыпитии, что сделалось у него уже не забавой на вечеринке, а довольно частым состоянием.

Этот Державин воскрешает одну сцену с братом, ярко характеризующую последнего. Зашли они как-то оба ко мне. Державин был навеселе и болтал без умолку. Помню, что речь его была сплошным дифирамбом брату, к которому он очень привязался.

— Ты молчишь, ты все молчишь, — говорил он, — а заговоришь, и все перед тобой спасуют.

— Кто? Я спасую? — добродушно подавал ему с пятого на десятое реплики брат.

— Нет, не ты, — другие все спасуют перед тобой.

— А, другие; а я думал: я спасую.

И так дружески деликатно было обращение брата, так чужда была его усмешка всякой насмешки, такое это было чисто братское, идеальное отношение!

— Ну, знаешь, мы с тобой болтаем, а сестре ведь заниматься надо, мы ей мешаем, пожалуй, — сказал он, наконец, уводя с собой расходившегося товарища.

А я думала после их ухода, как правильно, собственно, сказал Державин, что перед Сашей все спасуют. Я вспоминала, как прислушивались обычно все присутствующие к его редким и кратким, но всегда очень определенным суждениям, как смущались болтать перед ним пустяки, оглядывались на него, ждали его мнения. Сам же он, чуждый стремления влиять, молча сидел где-нибудь в сторонке и вдумчиво слушал.

Помню, раза два в комнате брата кто-нибудь из товарищей бегал за бутылочкой, угощал его; помню, как, выпив рюмку-две, брат твердо говорил: «нет, больше не буду».

Сам не обладавший голосом и слухом, брат очень любил музыку и особенно пение. Им заканчивались обычно наши земляческие и иные собрания. Главным певцом был тенор Воеводин. Любимыми нашими песнями были «Полосынька» и песни революционного содержания. Так помню: «Пришла весна, защебетали птицы, а он, бедняк, сидит в стенах темницы»... и некоторые другие в этом роде.

Особенно любил Саша: «Замучен тяжелой неволей». Помню, на последней вечеринке, на которой мы были с ним вместе, в квартире родственника, Песковского, кажется, уже в январе 1887 г., он попросил спеть этот гимн.

*

— Да, ведь это похоронный, — возразил хозяин.

— Да, похоронный, — с ударением и как бы с некоторым вызовом ответил Саша, и гимн запели. Помню, что такое скорбное, почти мученическое выражение было у него при этом, что у меня заскребло на сердце.

Настроение было вообще какое-то гнетущее и тяжелое на этой вечеринке, — точно предчувствие какое-то тяготело надо всеми. Не удалась она.

III. ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА.

В декабре 1885 г., будучи на третьем курсе, я приехала опять на рождественские каникулы домой, в Симбирск. В Сызрани я съехалась с отцом, возвращавшимся с очередной поездки по губернии, и сделала вместе с ним путь на лошадях. Помню, что отец произвел на меня сразу впечатление сильно постаревшего, заметно более слабого, чем осенью, — это было меньше чем за месяц до его смерти. Помню также, что и настроение его было какое-то подавленное, и он с горем рассказывал мне, что у правительства теперь тенденция строить церковно-приходские школы, заменять ими земские. Это означало сведение на смарку дела всей его жизни. Я только позже поняла, как тягостно переживалось это отцом, как ускорило для него роковую развязку.

Конец декабря и начало января были, как всегда, заполнены для него лихорадочной работой по составлению ежегодных отчетов. Около 10 января отец заболел. По мнению врача и его самого, это было только желудочное расстройство. Достаточного внимания на болезнь не было обращено: отец был на ногах, продолжал заниматься, к нему ходили его сотрудники-инспектора. Ночь на 12-е он провел почти без сна. Я находилась при нем, и он поручал мне читать какие-то бумаги; при этом я заметила, что он начинает немного путать и заговариваться, и я убедила его прекратить чтение. 12-го отец не пришел к нам, в столовую, обедать, сославшись на отсутствие аппетита, а только подошел к двери и заглянул на нас («точно проститься приходил», — говорила позднее мать). Лег в своем кабинете на диван, заменявший ему постель, а часу в пятом мать позвала в тревоге меня и Володю. Отец был, очевидно, уже в агонии: содрогнулся пару раз всем телом и затих. Приехавший врач определил кро-

воизлияние в мозг. Несомненно, в болезни его не разобрались: в ней были и мозговые явления, если она не была всецело мозговой. Вскрытия сделано не было. Его смерть и похороны показали, какой популярностью и любовью пользовался он в Симбирске.

Из всей семьи один Саша был не с нами. Он остался, как и в прежние годы, в Петербурге. Мать не захотела послать ему телеграмму, а поручила кому-то, кажется мне, написать двоюродной сестре, женщине-врачу, чтобы она подготовила его. Позднее эта кузина писала и говорила, что удивлялась глубине и серьезности его переживаний. Он чаще, чем прежде, стал заходить и беседовать с ней. Чеботарев, которому я написала, запрашивая о самочувствии брата, ответил, что первые недели после получения тяжелого известия он был «в глаза бросающе» грустным, что весть эта произвела на него сильное, — «я бы сказал даже, — слишком сильное впечатление». Так глубоко переживал брат потерю отца. В письмах же, только более частых и ласковых, он был попрежнему краток и ничего о своих переживаниях не говорил.

Передо мной встала тогда дилемма: ехать продолжать занятия (я была на предпоследнем курсе) или остаться с матерью? И не столько из-за материального положения, — хотя оно и сильно пошатнулось: мать хотела, чтобы я кончила курсы, и надеялась, что сможет содержать нас последние $1^1/_2$ года. Но я считала, что не должна оставлять ее после нашего несчастья. Между тем меня беспокоило, смогу ли я подготовиться в провинции к сдаче экзамена осенью, и некоторые знакомые, как питерские, так и симбирские, советовали ехать. Одна из них, жена помещика Александра Александровна Знаменская, усиленно убеждала меня ехать, предлагая и денег для окончания курса. Твердость и выдержанность матери, которую я видела после тяжелого испытания впервые, ее слова, что для нее я не должна оставаться, смущали также. И вот в своей нерешимости я обратилась, как привыкла делать, к совету Саши. Его ответ гласил, что он будет посылать мне, — как уже делал это, — все нужные книги и лекции, и что при этих условиях, он думает, возможно подготовиться к экзаменам и в Симбирске. Одним словом, он советовал мне больше остаться. Но по свойственной ему деликатности, боязни навязывать свое мнение, покушаться на чужую свободу, он заканчивал свой совет словами: «Конечно, все это не может

иметь большого значения для тебя, потому что главное, — насколько удобно оставить маму, — гораздо виднее тебе».

И вот я, видя мать твердой и мужественной, склонилась, после долгих колебаний, к тому, чего хотелось мне больше: поехала.

Это было уже в марте. Остановилась я в комнате Саши: Съезжинская, 12, а потом поселилась у его прежней хозяйки, — Съезжинская, 4. Но оказалось, что я плохо взвесила свои силы. Оказалось, что не я была необходима для поддержки матери, а мне необходима была близость ее, близость всей семьи для сохранения душевного равновесия. Очутившись одна в комнате за материалом для занятий, я летела мыслью назад, я терзалась, что не выдержала характера, оставив мать, беспокоилась за нее, я переживала в одиночестве острее потерю отца, — первую смерть близкого человека, перед которым я считала себя виноватой недостатком внимания за последнее время. Занятия шли от этого туго, но я ломала и заставляла себя работать, хотя мозг отказывался часто воспринимать. Саше, жившему в другой квартире и усиленно занятому, я не открывала своего состояния, стыдясь его, как малодушия.

Кончилось все это тем, что, сдав наиболее трудные экзамены, которых было много в том году, я сдрейфила перед двумя последними — пустяшными. Я дошла до такого состояния, что не могла читать даже легкие книги, не могла спать, лишилась аппетита. В то же время неуравновешенность моей нервной системы проявлялась в страстных самообвинениях: я не выдержала, так сказать, испытания: раз поехала в Питер для сдачи экзаменов, то должна сдать их. И я всячески принуждала себя взяться за работу. Но все было бесплодно.

В это время Саша, сдавший раньше свои экзамены, собирался ехать домой. В день, назначенный для его отъезда, я пришла к нему утром и рассказала кое-что о своем состоянии. «Ты больна, поедем вместе домой», — сказал он. И так как мне нельзя было по курсовым делам выехать в тот день, отложил отъезд на следующий. Подсчитали наши капиталы: оказалось, на дорогу хватит.

Я и довольна была таким решением, ибо при моем состоянии меня брала неоформленная жуть оставаться одной в Питере, и в то же время мучилась, что проявляю недопустимую слабость, убегая от двух легких экзаменов. Состояние мое было настолько острое, что в курсовой канцелярии, где я говорила об отпускном билете и отложении двух экзаменов на осень, мне почудилось

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА К СЕСТРЕ
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 1886 ГОДА

18 февр.

Дорогая Аня!

Вчера получил твое пись-
мо и спешу ответить.
Что касается до твоего
приезда сюда, то об
этом и думать нечего.
Если тебе и очень же-
лательно присутство-
сороковой панихиде мамочки[?]
и если ты думаешь, что
со стороны курсов не бу-
дет препятствия [illegible]

магазины, так много про-
шествия что мне кажет-
ся, что тебе лучше бы
оставаться подальше от
толпы. Я думаю это
понятно, что, присутств[...]
им меньше дня, тебе ед[...]
ли будет особенно важн[...]
да и удобно дослушивать
2 или 3 недели последни[...]
театры (вроде после Пас[...]
у нас встречаются театры и [...]
другое); если же было б[...]
так, что в Петерб. про-
было занимательно, то ед[...]
ли (сущую [illegible] мне после)

...то - преимущество тих вилла.
Книги и музыку, если нет еще
...ила их - шедевр понадобятся,
... ее удовлетворительно буду
доставать и посылать
тебе.
Конечно, все это, что я говорю,
не может иметь большого
значения для тебя, потому что
главное, что надо знать,
когда случится, и насколько
удобно тебе будет оставаться
дому, - гораздо виднее тебе.
До свидания. Милая моя,
целую тебя и совершенно
... и нежно любящий тебя
[illegible] Иван А. М.

выражение насмешки и недоверия: струсила, мол. Помню удивленное выражение кое-кого из товарищей, заходивших в эти дни ко мне или к брату, его объяснение: «она больна».

С отъездом из Питера настроение мое не улучшилось. Я как будто еще больше стала терзаться неправильностью своего поступка. Я стала порываться вернуться назад, каяться брату, что совсем не больна, а просто от лени бросила экзамены. Помню, что на одной большой станции я взволнованно бегала по платформе, прося брата отпустить меня назад, заявляя даже с возмущением: «Разве ты можешь не пускать меня?». И помню его бледное, взволнованное лицо, его ответ: «Я не могу не пускать тебя, но я говорю только, что поеду тогда вместе с тобой».

Недопустимость подвергать его этому сознавалась еще мною, и я ехала дальше, а потом уже видела, что и денег на обратный путь у меня недостало бы. Но состояние мое было настолько отвратительным, что меня даже броситься с поезда и с парохода тянуло и, кажется, только сознание того, какое горе я ему причиню, удерживало меня. Помню его чуткое внимание, предложение купить мне апютиных глазок где-то на станции. «Ты, кажется, любишь их?». А я ответила: «Мне теперь не до них». Ночью на пароходе у меня были какие-то кошмары, и я приехала мрачной, больной. Помню, как всплеснула руками при виде меня мать, а Саша взглянул, как мне показалось, укоризненно, что в том моем состоянии равнялось для меня удару хлыстом.

И все лето я была мрачной, дикой. Я мучилась самобичеваниями, ходила на могилу отца, болела какими-то странными, потрясающими лихорадками, повторявшимися регулярно недели через три.

Писарев говорит где-то, что молодежи, не перенесшей никаких испытаний, свойственно слишком высокое мнение о себе: кажется, что и горы сдвинешь; но вот какое-либо испытание спускает с высот, показывает истинный удельный вес, и это столкновение с действительностью может быть настолько сильным, переживания настолько болезненными, что грозят рассудку. Несомненно, что я в то время переживала нечто подобное, и психическое мое состояние было далеко не нормальным.

Я остановилась на этом своем проклятом состоянии отчасти потому, что оно оттеняет силу и выдержанность Саши, несмотря на глубину его переживаний, а также твердость и чуткость, которую он проявил по отношению ко мне. Он явился для меня

действительной опорой; не знаю, что бы со мной было, если бы я осталась тогда одна в Питере. Ровно через год, день в день, также 19 мая, выехала я с матерью из Петербурга, уже после его смерти, точно для того, чтобы ярче встало в памяти путешествие с ним, его чуткое внимание и то, как я его мучила.

А затем это мое состояние отдалило меня в последний год от Саши. Ему, сильному, выдержанному, должна была показаться жалкой расхлябанностью моя тогдашняя нервность, и я настолько стыдилась ее, считала себя настолько упавшей в его глазах, что пряталась в свою скорлупу и избегала его еще больше, чем других. Саша шел гигантскими шагами вперед и массу работал, а я копалась в себе, глядела назад, нервничала, хирела... И это было как раз то последнее лето, когда он ушел главным образом в общественные науки,— то лето, которое было так важно для его складывающегося политического мировоззрения! Я смотрела иногда с завистью на его книги, но читать я в то лето почти не могла, а это сознание делало меня еще ничтожнее в моих глазах.

Эта бóльшая, по сравнению с прежним, отдаленность продолжалась, несомненно, и по водворении нас обоих в Питере на последний год занятий. Опасение вводить меня в круг своих идей, брать на себя ответственность за меня перед матерью, могло только углубляться доказательством неустойчивости моей нервной системы. Этим объясняется, вероятно, также, что, затеяв на этот год поселиться вместе с Чеботаревым, Саша отклонил предложение последнего взять в компанию и меня. Он так и сказал Чеботареву,— о чем я узнала уже после его смерти,— что я не выказываю стремления к общественной деятельности, а приходящие к нему знакомые могут скомпрометировать меня. Мне же Саша сказал только, что лучше для меня поселиться в его прошлогодней комнате, у хорошей, испытанной хозяйки, чем итти на неизвестное, что он будет жить на той же Петербургской стороне, и видаться мы сможем часто. Но меня это не успокоило, я подумала: «Не хочет теперь Саша вместе селиться!» — и горестно сжалась в себе. Мнение Саши было для меня самым ценным с детства, и вот я сама поколебала его.

Мне пришлось усиленно заниматься на курсах, чтобы нагнать пропущенное, чтобы не сдрейфить опять в последний год. Я взяла факультетскую работу по истории, которую должна была читать в конце ноября, и много сидела за ней дома и в библиоте-

ках; писала я и упомянутый реферат для нашего земляческого исторического кружка. «Экономический» кружок, о котором с увлечением рассказывали Чеботарев и Елизаров, и разговоры о котором поддерживал с бо́льшим, чем обычно, оживлением и брат, пленял меня очень, но я, не читавшая еще ничего по политической экономии, не решалась и проситься в такой умный кружок.

Помню, как в эту последнюю осень я спросила раз брата:

— Скажи, какие у меня главные недостатки?

— Отсутствие определенных общественных убеждений, — сказал он тотчас, не задумываясь, — и некоторая неровность характера. А потом... да нет, больше ничего.

— Ну нет, скажи! Ты ведь хотел еще что-то сказать, Саша! — просила я, пораженная, что он нашел у меня так мало недостатков.

— Нет, больше ничего, — сказал решительно брат, — неровность характера.

И так он и не сказал мне, что имел в виду, — должно быть, какую-нибудь более неприятную черту, которую он, чтобы не быть резким, включил в понятие неровности характера. Он так боялся всегда быть слишком требовательным, суровым к другим!

В письме с характеристикой к кузине он просит последнюю простить ему резкость суждения, приписывая его своему дурному характеру, своей способности видеть, якобы, прежде всего дурное в людях. Характерно для Саши, как хотелось услышать его мнение, как просто и легко было обратиться к нему! Свойственное каждому чувство самолюбия или охраны своей индивидуальности совершенно умолкало при этом.

Мы приводим письмо к кузине потому, что оно единственное с изложением принципиальных воззрений, которое дошло до нас. Саша, вообще говоря, не любил писать, не любил никаких излияний на бумаге, и письма его к родным очень кратки и имеют характер вестей, которыми он перекидывался. О революционной работе он не писал, конечно, по конспиративным соображениям. Характеристика же, данная им в приводимом письме, в возрасте двадцати лет, не только очень правильно и глубоко разбирает характер этого лица, указывает тот уклон, в то время еще только намечавшийся, по которому он пошел в действительности; она еще более, чем объект характеристики, характеризует ее автора, — его способность к глубокому анализу, строго

логическому, не останавливающемуся перед тягостными выводами,—«я нисколько не скрываю от себя того влияния, которое должно оказать это письмо на наши отношения». А, как известно уже, Александр Ильич дорожил этими отношениями.

И в то же время, как чутко, как деликатно проявляется этот неумолимый критик! Не только его разбор характера и указание недостатков чужды самомалейшего сознания своего превосходства, в молодом человеке более чем естественного, но он склонен приписать всю резкость и неблагоприятность критики своему «резкому, скверному» характеру. Правдивость разбора (Александр Ильич исполнял данное обещание) совмещается с такой дружеской чуткостью. Человек, идущий гигантскими шагами вперед, не только не кичится этим, а с печальной лаской, больше всего боясь оскорбить, просит простить его за резкость.

Это сжатое, решительное по выводам и мягкое по тону письмо так характерно для индивидуальности Александра Ильича, что мы сочли правильным поместить его в приложении к этой статье.

В эту же последнюю осень спросила я и о Володе. Зимой 1885—86 г. я много гуляла и разговаривала с Володей. Бывало это и последним летом, к концу, когда я стала понемногу оправляться от своей болезни и становилась способной слушать веселые шутки, остроты, развлекаться ими, принимать в них участие.

Беседы наши носили именно такой характер. Володя переживал тогда переходный возраст, когда мальчики становятся особенно резки и задирчивы. В нем, всегда очень бойком и самоуверенном, это проявлялось особенно заметно, тем более тогда, после смерти отца, присутствие которого действует всегда сдерживающе на мальчиков. Помню, что эта резкость суждений и проявлений Володи смущала порой и меня. Обратила я также внимание, что Саша не поддерживал нашей болтовни, а пару раз, как мне показалось, неодобрительно поглядел на нас. Всегда очень считавшаяся с его мнением, я в то лето особенно болезненно чувствовала всякое его неодобрение. И вот осенью я задала вопрос и о Володе. Помню даже форму вопроса: «Как тебе нравится наш Володя?» И он ответил: «Несомненно, человек очень способный, но мы с ним не сходимся» (или даже: «совсем не сходимся»,—этого оттенка я уже точно не помню, но помню, что сказано было решительно и определенно).

— Почему?—спросила я, конечно.

Но Саша не пожелал объяснить. «Так», — сказал он только, предоставив мне догадываться самой. Я объяснила это себе тем, что Саше не нравились те черты характера Володи, которые резали, но, очевидно, слабее, и меня: его большая насмешливость, дерзость, заносчивость, — главным образом, когда они проявлялись по отношению к матери, которой он также стал отвечать порой так резко, как не позволял себе при отце. Помню неодобрительные взгляды Саши при таких ответах. Так глубоко и сильно переживавший смерть отца, так болевший за мать (см. об этом и воспоминания Кашкадамовой), сам всегда такой сдержанный и внимательный, Саша должен был очень реагировать на всякую резкость по отношению к матери. Объяснение это еще подтвердилось рассказом матери следующим летом, уже после смерти Саши. А именно, она рассказала мне, что раз, когда Володя с Сашей сидели за шахматами, она напомнила Володе какое-то требование, которое он не исполнил. Володя отвечал небрежно и не спешил исполнить. Мать, очевидно, раздраженная, настаивала... Володя ответил опять какой-то небрежной шуточкой, не двигаясь с места.

— Володя, или ты сейчас же пойдешь и сделаешь, что мама тебе говорит, или я с тобой больше не играю, — сказал тогда Саша спокойно, но так твердо, что Володя тотчас встал и исполнил требуемое. Помню, с каким растроганным видом рассказывала мне об этом проявлении Саши мать.

Сопоставление этого рассказа с моими личными впечатлениями, а также и с тем, как проявлялся тогда и чем интересовался Володя, сложило во мне прочное убеждение, что именно эти черты его характера имел в виду Саша, когда высказал свое суждение о нем. Из воспоминаний о Саше, как моих, так и некоторых из товарищей, видно, что всякая насмешка, поддразниванье были абсолютно чужды его натуре. Не только сам он никогда не подсмеивался, но даже реагировал как-то болезненно, когда слышал такие насмешки от других (см. воспоминания Говорухина). Володе насмешка была свойственна вообще, а в этот переходный возраст особенно. А Саша, в это лето после потери отца, когда в нем созревала, очевидно, решимость стать революционером (см. его указание как в письме к кузине, так и в ответе мне, что отсутствие политических убеждений является главным недостатком человека), был в настроении особом, даже для него, далеком от всякого легкого, с кондачка, отношения.

Я этим объясняю такое решительное заявление Саши, поразившее меня, хотя различие натур обоих братьев выделялось уже с детства, и близкими друг другу они никогда не были, несмотря на безграничное уважение и подражание Саше со стороны Володи с ранних лет. Гораздо бóльшей симпатией Саши пользовалась из меньших Оля, в характере которой было много сходства с ним.

Я знаю, что такое суждение старшего брата, — участника террористического акта, — о младшем — социал-демократе—вызовет во многих искушение дать всего легче напрашивающееся объяснение: братья не сошлись в политических убеждениях. Но такое, как будто бы самое естественное, объяснение было бы самым неверным. Володе в последнее лето, проведенное им со старшим братом, было только 16 лет. В то время молодежь, особенно в глухой, чуждой общественной жизни провинции, не определялась так рано политически. Зимой этого года, когда я много гуляла и говорила с Володей, он был настроен очень оппозиционно к гимназическому начальству, к гимназической учебе, к религии также, был не прочь зло подтрунить над учителями (кое в каких подобных шутках и я принимала участие),— одним словом, был, так сказать, в периоде сбрасыванья авторитетов, в периоде первого, отрицательного, что ли, формирования личности. Но вне такого отрицательного отношения к окружающему, — для него, главным образом, к гимназии, — ничего определенно политического в наших разговорах не было, а я убеждена, что при наших тогдашних отношениях Володя не скрывал бы от меня таких интересов, расспрашивал бы меня о питерской жизни с этой стороны. Во всю свою жизнь он очень цельно отдавался всегда своим преобладающим стремлениям, — не в его натуре было таить что-нибудь в себе. Летом, я помню, мы отмечали оба с Сашей, удивляясь этому, что Володя может по нескольку раз перечитывать Тургенева, — лежит бывало на своей койке и читает и перечитывает снова, — и это в те месяцы, когда он жил в одной комнате с Сашей, усердно сидевшим за Марксом и другой политико-экономической литературой, которой была тесно заставлена книжная полка над его столом.

Следующей осенью, уже после отъезда Саши, если верить воспоминаниям одного из товарищей Володи, [1] они начали вдвоем

[1] Кузнецова.

переводить с немецкого «Капитал» Маркса. Работа эта прекратилась на первых же страницах, чего и следовало ожидать: где же было зеленым гимназистам выполнить такое предприятие? Стремление подражать брату, искание путей, конечно, было, — но не больше. Читать Маркса Володя начал уже в 1888—89 г., в Казани, по-русски.

Итак, определенных политических взглядов у Володи в то время не было.

С другой стороны, Саша, как видно из ряда воспоминаний, — моих и других товарищей, — не принадлежал ни к какой партии летом 1886 г. Несомненно, что путь революционера был уже намечен им для себя, но он только знакомился тем летом с «Капиталом» Маркса, изучал русскую действительность.[1] На суде он говорил, что считает самой правильной борьбу путем пропаганды и агитации; на следствии,[2] что набиравшаяся им в квартире Пилсудского общая часть программы представляла проект объединения партии «Народной Воли» с социал-демократической. А в восстановленной им по памяти программе террористической фракции партии «Народной Воли» отмечал, что к социал-демократам их фракция относится не враждебно, а как к ближайшим товарищам.

Следовательно, «не сходиться» с человеком, клонящимся к социал-демократии, у него основания не было.

А затем, Саша был замкнутым, выдержанным человеком. Если он протестовал против привлечения молодых, не определившихся людей в спешке подготовления террористического акта[3] и был против нравственного и умственного давления на них; если по той же причине держал в неведении меня и отклонил поселение со мной на одной квартире, — то тем больше не стал бы он говорить на эту тему с младшим братом, гимназистом, особенно в год потери отца, когда ответственность за младших перед матерью он ощущал особенно остро. И, как я уже указывала, он был противником какого-либо давления на личность, предоставляя каждому вырабатываться самостоятельно. Да и Володя, много говоривший со мной о партиях и своих убеждениях в по-

---

[1] См. воспоминания Чеботарева и Говорухина о его изучении вопроса о русской общине и критике В. В.

[2] См. показание от 21 марта.

[3] См. воспоминания Говорухина о тактике Шевырева, осуждаемой Александром Ильичем.

следующие годы, рассказал бы мне, несомненно, если бы были какие-либо разговоры с Сашей на эту тему.

Небезынтересно также сопоставить с этим рассказ И. Х. Лалаянца о том, как на вопрос его о деле Александра Ильича Владимир Ильич сказал: «Для всех нас его участие в террористическом акте было совершенно неожиданно. Может быть, сестра (имел в виду меня) знала что-нибудь, — я ничего не знал!».

Таким образом предположение, что суждение Саши о брате было вызвано политическими разногласиями, должно отпасть совершенно. В корне его могло лежать одно несходство характеров, особенно проявившееся, по указанным причинам, в последнее лето, — несходство, осознанное и формулированное одним Сашей, — никогда ни одного намека на таковое от Володи я не слыхала. Очевидно, что при своей огромной выдержке Саша ничего младшему брату не высказывал. После же смерти Саши я, понятно, не стала говорить Володе об этом его мнении: я понимала, что нанесу ему только лишнюю боль, не сумев даже дать точное объяснение, какое несходство имел в виду Саша. Потеря его, — такого любимого и уважаемого всеми нами, — ощущалась и без того слишком остро, чтобы я могла причинить лишнее огорчение тем мнением Саши, которое Володя все равно не мог уже изменить. По-моему, все мы держались после нашего несчастья тем, что щадили друг друга. А потом я совсем не могла первые годы говорить о Саше, разве только с матерью. И, наконец, я считала, что мнение Саши основывалось как раз на той несколько крайней мальчишеской резкости, которая заметно уменьшилась после нашего несчастья, а с годами, я видела, сглаживалась все больше и больше.

Но, конечно, старший брат погиб слишком рано, чтобы можно было сказать, как сложились бы отношения между обоими ими позднее. Это были, несомненно, очень яркие, каждая в своем роде, но совершенно различные индивидуальности. Обе они горели сильным революционным пламенем. Гибель старшего, любимого брата несомненно разожгла его ярче в душе младшего. А старший шел по дороге к революционному марксизму, который пытался еще примирить с народовольчеством, как большинство революционеров того времени, но к которому пришел бы окончательно. Кроме дальнейшей теоретической работы его привела бы к нему развивающаяся в этом направлении жизнь. За это

говорят как его программа, так и отзывы товарищей, рассыпанные отдельными черточками в этом сборнике.

С осени 1886 г. я заметила, что Саша стал вести более общественную жизнь. Они сняли вместе с Чеботаревым (математиком, только-что окончившим курс), членом симбирского землячества, две комнаты на Александровском проспекте Петербургской стороны, д. № 25, с отдельным ходом. Это был деревянный двухэтажный дом обычного провинциального образца. Сняты были две комнаты на улицу, соответствующие зале и кабинету; в меньших, на двор, ютились хозяева-ремесленники. В узком кабинете, в одно окно, стояли в ряд две кровати, а противоположная стена была занята книжными полками до полу; кроме личных книг обоих жильцов, на них помещалась библиотека симбирского землячества. Здесь можно было обычно достать выходившие тогда нелегально «Сказки» Щедрина или сочинения Л. Толстого: «В чем моя вера», «Так что же нам делать?», «Что такое деньги?», «Исповедь». Первая, зала, была приемной. Тот из двоих, кто желал заниматься, уединялся в спальне.

Уже самый характер такой, семейного типа, квартиры показывал на желание жить общественной жизнью. Просторная приемная, библиотека землячества должны были, конечно, сделать эту квартиру центральной для земляков; а затем бо̀льший простор привлекал вообще молодежь из тесных, с тонкими перегородками к хозяевам, комнаток. Не знаю, чьей инициативой было поселение в такой квартире, — кажется, что инициативой Чеботарева; но во всяком случае одно согласие Саши поселиться вдвоем, иметь общую приемную указывает, что определенного намерения заняться подготовкой к террору у него тогда не было: при подобном намерении таких квартир не снимают. И в январе, когда решение это было окончательно принято, Саша предложил Чеботареву переменить квартиру: «Участие мое в одном серьезном деле может вас скомпрометировать». И Саша стал подыскивать себе другую, меньшую квартиру, — вследствие чего дал мой адрес для посылки телеграммы из Вильно, — но за всей занятостью последнего времени не успел выполнить этого до 1 марта.

Но если не о терроре, то о бо̀льшем общении с людьми, о революционной работе, о выяснении своих взглядов на эту работу, несомненно, уже более определенно думал Саша, — он как раз по этому мотиву отклонил поселение вместе со мной.

*

И посетителей я стал встречать у него гораздо больше, чем в первые годы; при этом земляки отходили заметно на задний план; зачастил главным образом, чуть не ежедневно, Говорухин. В первый раз я встретилась с ним у Саши весной 1886 г. Он произвел на меня сразу очень неприятное — как редко кто в жизни — впечатление. Я верю своему первому впечатлению, и в жизни мне не раз приходилось убеждаться в правильности его. По мере знакомства впечатление это только укреплялось. Это был рыжеватый блондин, здорового вида, флегматичный, с характерным говорком на «о» и растягиванием кубанцев. Он казался малоинтересным. Суждения его были грубоваты, небрежны. Он способен был сидеть подолгу, развалившись на диване или на кровати, давая лишь односложные реплики. Как-то непонятно было, для чего он сидит, как будто ждет, когда я уйду. «И никогда не догадается выйти в другую комнату, оставить меня одну с Сашей хоть ненадолго», — думала я. А если заговорит, то так неискренно, посматривая на меня таким взглядом себе на уме. Я не могла понять, что находит в нем Саша.

— Хитрый вы, Макарыч! — сказала я ему раз, не выдержав (у донцов и кубанцев была привычка называть друг друга по отчеству).

— Я-то хитрый?! Что вы?!. Спросите Ильича! — ответил он.

— Нет, он не хитрый, — сказал с убеждением Саша, ходивший взад и вперед по комнате.

Мнение Саши было для меня всегда очень авторитетным, и я сжалась, умолкла. Я старалась переломить себя, подметить, что находил хорошего в Говорухине брат, но подавить своей антипатии все-таки не могла. Как обычно бывает в таких случаях, она была, очевидно, взаимной.

Пришла как-то при мне познакомиться с Сашей слушательница акушерских курсов Шмидова, которая жила в одной квартире с Говорухиным. Помню, что сначала она прошла с ним во вторую комнату, — может-быть, у нее было какое-нибудь поручение, — а потом сидела вместе с нами за чаем. Саша держался сдержанно, вслушивался и приглядывался; она болтала, не умолкая. Впечатление от нее получилось у меня менее определенное, чем от Говорухина, но скорее не в ее пользу: она показалась мне мало развитой, мало содержательной. Она стала тоже довольно часто забегать к брату, а потом и ко мне, но наши

с нею отношения не стали ближе; я к ней совсем не ходила. Она посещала тогда, в качестве невесты, одного заключенного в предварилке, и мы организовали иногда совместно передачи ему. Стала я встречать у Саши кое-кого из его однокурсников. Помню из них Мандельштама и Туган-Барановского, позднее профессора политической экономии, на книгах которого учились в девяностых годах молодые социал-демократы. Оба стали легальными марксистами типа Струве, в революционной работе ни один из них участия не принимал.

Самым ярким воспоминанием от зимы этого года является для меня добролюбовская демонстрация. Это была первая демонстрация, в которой я принимала участие, и запомнилась она мне очень живо. Первые годы — 1883 — 1886 — никаких демонстраций не было; февральская 1886 г. произошла в мое отсутствие. Хотя обе они устраивались студентами, но были чисто политическими демонстрациями: студенческие требования отсутствовали в них вовсе. Первая из них напоминала о самой основной из реформ минувшего царствования, которые современное нам стремилось понемногу брать назад. Вторая имела в виду чествовать писателя-революционера, одного из лучших сыновей родины. Услыхала ли я о том, что демонстрация предполагается, от Саши или от кого другого, — я сказать сейчас не могу, но я была на ней все время с Сашей.

Демонстранты приезжали группами на конке прямо к Волкову кладбищу, — помню, по крайней мере, относительно нас. Мы застали там порядочную толпу, которая все возрастала. Налево, против кладбища, обращало на себя внимание изрядное количество городовых, еще больше их было, очевидно, спрятано во дворе, откуда они осторожно выглядывали. Ворота кладбища оказались запертыми. Все демонстранты — среди них депутаты с венками — остановились перед кладбищем. Представители пошли переговаривать с кем-то из полиции, звонившим из участка градоначальнику Грессеру. Торговались долго. Но удалось получить разрешение на пропуск только делегатов с венками, около тридцати человек. С пением «вечной памяти» двинулись они на кладбище. Мы, все остальные, продолжали стоять перед воротами.

Когда депутация вернулась, все пошли обратно. Настроение было подъемное, крайне возмущенное; демонстрация двигалась сплоченно. И тут, при одном из поворотов, — если память

мне не изменяет, при первом, с Расстанной улицы на Лиговку, — появился на коне сам Грессер и вступил в переговоры с демонстрантами. Помню его слащавый тон и гарцующего под ним коня. Мы с братом оказались совсем близко от него. Помню, что Саша произнес какую-то краткую, возмущенную реплику на его убеждения и, махнув рукой, пошел вперед вместе с более решительной частью толпы.

— Куда мы идем, Саша? — спросила я через некоторое время.

— Да вот, хотели пройти по Гороховой, но, очевидно, на Невский уже идем, — ответил он, и по его тону я вывела заключение, что он стоял за более мирное направление — по Гороховой.

Недалеко от Невского, у здания участка, направо, мы увидели скачущих на нас с шашками наголо казаков. Остановившись, они преградили нам путь. Толпа стала. В то время Лиговский канал не был еще засыпан, и налево от нас была решотка канала, спереди и сзади путь преграждали казаки, направо был двор участка, огромный, растянувшийся, с низким и длинным, старинного типа, зданием. Выход оставался один: в ворота участка.

Был сырой ноябрьский день с пронизывающим туманом. Толпа, конечно, уже поредела: той сплоченности, которую мы наблюдаем при позднейших демонстрациях, в то время, понятно, еще не было. Топчась по грязи, демонстранты собирались кучками, совещались. Ко мне, стоявшей под-руку с братом, подошла моя однокурсница Винберг с молодым кандидатом в профессора Клейбером.

— Что же теперь делать? — спросили они, указывая на живую цепь казаков.

— Итти вперед! — сказал брат, и его нахмуренное лицо приняло выражение какой-то железной решимости, жутью прошедшей по моим жилам. Насилие страшно возмутило его.

— Но куда же вперед? На казаков, на шашки? — отвечал Клейбер, и оба они с недоумением глядели на брата.

Он ничего не ответил и отошел вместе со мною.

— Какой ваш брат ужасно энергичный! — сказала мне на другой день Винберг, видевшая его впервые.

Пока мы стояли и толкались, оцепленные, на Лиговке — несколько часов, — происходили, конечно, и другие встречи, обмен мнениями, шутки. Помню подошедшего к нам с Сашей М. Т. Елизарова. Всегда уравновешенный, жизнерадостный, веселый,

он с комичной серьезностью заявил: «Позвольте представиться: М. Т. Елизаров». Помню, как сочувственно засмеялся, пожимая ему руку, за секунду перед тем нахмуренный брат, и как оба мы почувствовали облегчение при этой, несколько разрядившей атмосферу, невинной шутке.

Оцепленная молодежь частью возмущалась: кое-кого, более шумного или подававшего возбужденные реплики, отводили в участок и задерживали там; в другой, менее боевой части росла с усталостью апатия. Парами или маленькими группами стали через промежутки выпускать желающих.

По другую сторону канала собиралась сначала толпа, заинтересованная необычным зрелищем. Расспрашивали, в чем дело. Помню, Саша с оживлением передавал слова кого-то из этих зрителей:

— По профессору своему панихиду служить хотели... За это! Эдак, если я по родителям захочу, меня тоже в участок?

Так хотелось тогда общественного понимания, сочувствия, так тянуло, по самомалейшему признаку, верить ему! Ведь демонстрации организовались с целью встряхнуть общество, зажечь в нем хотя слабый отблеск того протеста, которым дышал самый революционный слой того времени.

Были случаи переброски через канал и булок в проголодавшуюся толпу.

Между тем отведенные в участок демонстранты, среди них Сашины однокурсники Мандельштам и Туган-Барановский, не возвращались. Очевидно, они были арестованы. Надо было подумать об очистке их квартир.

Вечер надвигался все больше, все сильнее редела толпа, и уже по-темному, когда народу оставалось совсем немного, вышли из-за живой ограды и мы с Сашей. Помню тут какие-то переговоры с Говорухиным, кажется, об очистке квартир. Он пошел отдельно от нас. Саша был молчалив и сосредоточенно мрачен; по возвращении на Петербургскую сторону побежал на квартиры арестованных товарищей.

Все мы были чересчур взбудоражены, чтобы сидеть спокойно по домам в этот вечер, и поэтому я, перекусив и обогревшись, побежала к Саше, где застала уже кое-кого из товарищей и куда приходили затем и другие знакомые из демонстрантов. Говорилось о том, кто арестован; сообщалось о благополучной очистке их квартир; в речах звучали возмущение и тревога: ожидались

дальнейшие аресты и обыски. Делились впечатлениями: как всегда в подобных случаях, на народе было легче. Сообщалось, по какому поводу тот или иной был арестован.

Первая часть вечера протекала в озабоченном, подавленном настроении. Но вот явился Мандельштам, а затем Барановский, как оказывается, освобожденные, стали говорить, что и остальных арестованных выпустили, — и все мы заликовали. Посыпались вопросы: за что брали? Помню Туган-Барановского, который со своим всегдашним флегматичным видом заверял, что он не понимает, за что, — что он ничего не говорил.

— Да ведь ты, говорят, сказал Грессеру: . . . . — Саша привел очень резкую реплику, которая улетучилась из моей памяти.

— Нет, не говорил, — решительно возразил Барановский.

Сообщившие этот слух стали настаивать:

— Да как же! Сказал!

— Нет же! По-моему, я не говорил... Кажется... — начал сдавать Туган-Барановский.

Саша рассмеялся.

— Очевидно, человек был в таком состоянии, что сам не помнит хорошенько, сказал ли что-нибудь, — заметил он.

Все повеселели, слышались шутки, передавались любопытные эпизоды. Так, рассказывали при общем большом одобрении об ответе, данном Грессеру одним остроумным парнем из арестованных. А именно, когда при нем, сидящем в участке, туда вошел Грессер и заявил, ни к кому не обращаясь: «Ух, умаялся!» — то этот студент заметил подчеркнуто почтительным тоном: «Да, ваше превосходительство, должность незавидная».

После тревог и переживаний дня у всех создалось какое-то особенно счастливое, умиротворенное настроение: нам хорошо было сидеть кучкой, вместе; на душе было легко, и не хотелось расходиться, хотя уже как будто все переговорили. В один из таких моментов молчания М. Т. Елизаров хорошо сформулировал наше настроение, заявив со счастливой улыбкой: «Какое у нас единение душ, господа!» (слова «товарищ» в то время в обиходе еще не было: студенты в аудиториях обращались со словом: «господа»!). Кое-кто слабо усмехнулся; другие постеснились бы так прямо сказать, но не протестовал никто, ибо настроение было схвачено верно. Я не смогу перечислить всех присутствовавших; были здесь — кроме «героев вечера», Барановского

и Мандельштама — Чеботарев, Елизаров, Говорухин, кажется, Шмидова; было и еще несколько человек. Но настроение того вечера, — какое-то счастливое, праздничное и братское, — живо запечатлелось в памяти. Это было, в микроскопической миниатюре, то же настроение, которое испытывается массами после напряженной борьбы и победы, — пусть только кажущейся: отдых после борьбы в тесном кругу своих, особое ощущение спайки, подъема, не омраченное никакими жертвами, — те, кто считался вырванным, оказались снова в рядах...

Но, как после стольких революций, ощущение победы в нашем маленьком кружке оказалось преждевременным: в течение ближайших же дней посыпались кары, — были обысканы и высланы на родину как забранные в участок во время демонстрации, так и некоторые другие, состоявшие на примете, всего человек сорок из всех высших учебных заведений. Высылки эти, которыми правительство хотело припугнуть остальных и остановить движение среди них, казались, как всегда, нелепыми, несправедливыми и возмутительными и, как таковые, оскорбляли нравственное чувство оставшихся тем больнее, чем обостреннее оно было. «За что тех? Мы, другие, также виноваты! Какая возмутительная несправедливость!» — говорили или думали они, стараясь подвести под общие нормы поведение властей, которые в своих поступках руководствовались совсем не теми или иными нормами, а только чувством самосохранения.

Праздничное настроение сменилось мрачным, подавленным или возмущенным, в зависимости от индивидуальности. Помню, как сейчас, такое подавленное, прямо трагическое выражение лица у курсистки Разумовской, члена самарского землячества, после высылки ее сожительницы Долговой. Мне оно уже и тогда показалось не соответствующим причине. Это был, очевидно, человек с сильно расшатанной нервной системой, — года через два после того она покончила самоубийством. В более активных натурах расправа властей вызвала горячий протест, стремление к отмщению, стремление показать правительству, что не все склоняют так покорно выи, что нельзя так безнаказанно оскорблять чувство человеческого достоинства, что этому будет, должен быть положен предел, чего бы это ни стоило, — что если нужны жертвы, найдутся и жертвы...

Такой натурой был брат, Александр Ильич.

Как я, так и многие другие, знавшие брата, писавшие о нем (см. также воспоминания, помещенные в этом сборнике), считают добролюбовскую демонстрацию с ее результатами сильным толчком, подвинувшим его на террор.

В наше время может показаться диким по несоответствию: разогнанная студенческая демонстрация толкает на самоубийство, на террор. Нам трудно перенестись за 40 лет назад, в психологию того «проклятого богом», по выражению Якубовича, поколения восьмидесятых годов. Но прежде всего неверно, чтобы это была студенческая демонстрация. Не студенческие, а общеполитические мотивы вызывали ее. Студенчество было только тем единственным слоем, в котором проявлялось иногда общеполитическое недовольство. Так смотрели тогда на эти манифестации и в обществе. А что касается несоответствия причины со следствием, то надо только не забывать известной аллегории о последней капле, которая переполняет всякую, далеко не мелкую только чашу. Разве не эта капля играет всегда решающую роль во всех восстаниях, революциях, во всех тюремных бунтах? Вспомним особенно, какие ничтожные мелочи вызывают эти последние. Не потому ли, что в тюрьме, где личность и без того придавлена свыше всякой меры, всякое лишнее, как-будто мелочно ничтожное давление является уже непереносным, ощущается, как величайшее оскорбление, вызывает как бы несоответственно страстный протест. Точно так же было и в той всероссийской тюрьме, которой являлась общественная жизнь восьмидесятых годов.

Попробовала как-будто молодежь приоткрыть малюсенький клапан в нестерпимо душном воздухе тогдашней общественности, но и он захлопнулся по-самодурски грубо, вырвал жертвы, для многих такие близкие...

На редкость хороший товарищ, брат переживал эту несправедливость по отношению к некоторым из них так остро, как не пережил бы, вероятно, свою собственную высылку. Помню, какой мрачно-сосредоточенный вид был у него при известии о высылаемых, как чутко отзывался он, не любивший писать, на их письма, как спешил исполнить их поручения. Помню особенно письма М. И. Туган-Барановского, его ламентации... Высланным представлялось, очевидно, что их положение — верх несчастья.

Затем я вспоминаю себя в первые после добролюбовской демонстрации дни на квартире Саши, за круглым столом в боль-

шой комнате. Вместе с несколькими товарищами (не осталось в памяти, с кем именно) я надписывала адреса на конвертах для воззвания к обществу по поводу демонстрации 17 ноября, вкладывала гектографированные листки и в числе других понесла кипку таких конвертов по почтовым ящикам. Я не знала тогда, что воззвание это составлено братом, но видела, что он был одним из инициаторов. Помню предупреждение: не бросать нескольких конвертов в один ящик; помню также, что мне это показалось преувеличенной осторожностью и что под конец я, утомленная, бросила-таки в один ящик несколько штук.

С этого времени я стала чаще встречать у Саши Говорухина. Помню раз, — около рождественских праздников как-будто бы, — что тотчас по моем приходе Саша взял какой-то длинный и узкий предмет, нечто вроде ружья по форме, завернутый тщательно в бумагу, и пошел относить его куда-то, сказав мне, что вернется скоро, чтобы я подождала. Говорухин, находившийся тут же, был, очевидно, в курсе дела, но, оставшись со мною, ничего не пожелал объяснить. Помню, что меня охватило смутное чувство беспокойства: что за странный предмет? Обычно я видела брата только с книгами. Что за поспешность и таинственность с передачей его куда-то? А вместе с тем неопределенное чувство досады на Говорухина, что он остался, а пошел Саша, что я должна сидеть и ожидать брата. А главное, что это за предмет? Не рискует ли Саша? Помнится, я что-то спросила Говорухина, он ответил односложно и уклончиво, и я уткнулась в книжку, дожидаясь, как тогда мне показалось, бесконечно долго возвращения Саши. Помню, была надежда, что я пересижу Говорухина, но она не сбылась, и я, недовольная и встревоженная, ушла вскоре по возвращении Саши. Этот эпизод, объяснения которого я не получила, должен бы был, казалось, натолкнуть меня на то, что̀ готовилось, но спокойствие Саши, его усиленные занятия, а также мои собственные дела и делишки отвлекли меня. Да и очень уж далека была я, как и другие непосвященные товарищи Саши, от мысли о том, что готовится террористический акт. Так, заскребла за сердце в этот вечер какая-то тревога смутная, да и потонула в других впечатлениях.

Помню еще из этих последних месяцев, что Саша принес мне перевод статьи Маркса о религии в «Deutsch-französische Jahrbücher», сделанный частью им, частью Говорухиным, с просьбой исправить его, — я считалась бо́льшим знатоком немецкого

языка. Помню, что я была очень польщена такой задачей и усердно сидела за работой; помню, что указывала Саше на большие недочеты, особенно в части, сделанной Говорухиным. Можно себе представить, как я исполнила эту работу, первую по редактированию, не имея знакомства с Марксом! За исправленным переводом, вместе с книгой, одолженной братом, как выяснилось потом, у В. В. Водовозова, зашел ко мне Говорухин. Это было, кажется, уже незадолго до его отъезда, чуть ли не последний раз, как я его видела.[1]

Думаю, что этот перевод, как образчик спокойной литературной работы, которой занимались Говорухин с Сашей, был одним из впечатлений, заставивших меня позабыть про страшный случай с длинным предметом.

На рождественские праздники в 1886 г. я осталась в Петербурге: нельзя было позволить себе лишних трат с поездкой домой. А потом и работы в этот последний год было больше. Эти праздники проходили для меня очень нудно: с прекращением очередных лекций и занятий было больше простора для воспоминаний, переживалась острее оторванность от семьи. Одиночество ощущалось тягостнее, общества Саши я жаждала больше, чем когда-либо, тоскливее было, что я только урывками вижу его.

Остался в памяти канун нового (1887) года. Брат, отправляясь на новогоднюю вечеринку, зашел ко мне, но не один, а с Говорухиным. Они звали и меня, — помнится, больше Говорухин, чем брат, — но я, вообще большая домоседка, была в своем настроении траура не расположена итти на веселье, да к тому же и публика там должна была, кажется, быть мало знакомая. Помня, что брат первый год нашей питерской жизни приходил ко мне встречать вместе новый год (две следующие зимы я проводила праздники в Симбирске), зная, что он вообще не сторонник большого веселья, глядя, очевидно, чересчур сквозь призму своего настроения, я просила его остаться у меня. Но он стремился настойчиво, как ему не было свойственно в таких случаях, когда он видел причиняемое отказом серьезное огорчение, уйти на вечеринку. Даже когда Говорухин, вероятно, разленившийся итти, к моему большому удивлению, вдруг тоже поддержал меня, предложив брату остаться, он не уступил. Я опять-таки, изба-

---

[1] Говорухин рассказывает, с каким огромным увлечением читал Саша Маркса, как светилось при этом его лицо.

лованная его чуткостью и внимательностью с детства, приписала это изменившемуся отношению ко мне. Конечно, оставшись одна, я горько проревела, чувствуя, как никогда, и потерю отца, и одиночество, и горе матери.

Уже в тюрьме, продумывая подробно все поведение брата за последнее время, я поняла, что при состоявшемся решении принять участие в террористическом акте, что скрывалось от меня, ему — такому правдивому, что он мог только уклониться от ответа, а не солгать, так глубоко любящему мать и семью, что он должен был очень болезненно переживать подготовляемое ей горе, — было просто не в моготу остаться в этот вечер со мною, с мыслями о семье. Надо было уйти от них, если не окунуться целиком (на вечеринке были далеко не только участники дела), то хотя найти отзвуки того, во что он вошел уже так сильно.

На следующий день (первый день нового 1887 года) я сидела вечером у Саши. Чеботарев отсутствовал, мы были одни в первой, большой комнате, и оба сидели за книгами. Пришел Шевырев. Не помню, чтобы у него с братом был какой-нибудь конспиративный разговор; помню только, что он подсел к нашему чайному столу и затрещал по обыкновению. Брат был, видимо, не рад его приходу и отвечал односложно, а потом совсем умолк, уткнувшись в книгу. Тогда Шевырев стал обращаться ко мне. Не заинтересованная разговором, видя, что он мешает брату, я стала тоже замедлять свои реплики. Наконец, Шевырев понял, что не ко двору, и ушел. А брат выразил досаду, что он помешал ему заниматься.

Вообще, если Александр Ильич работал напряженно до последнего времени, то незанятость Говорухина и особенно Шевырева бросалась в глаза.

В последних числах января я услыхала от Елизарова или Чеботарева об аресте С. Никонова, о котором я слышала как об одном из самых симпатичных членов «экономического» кружка, куда входил и брат. И я отметила себе более печальное выражение лица Саши, отметила, что Саша очень сокрушен этим арестом.

Еще раньше узнала я, что Чеботарев переезжает от Саши, и приискивает себе другую, меньшую квартиру. Мотива этого переезда ни один из них мне не указал, и я объяснила его себе по-иному, связав с другим моментом.

Помню, что Шмидова сказала мне как-то:

— А Александр Ильич скучает без Ивана Николаевича. Я спросила его как-то: скучно вам теперь одному? И он сознался, что скучно.

И действительно: большая, опустевшая квартира с сараеобразной первой комнатой, посетителей в которой стало гораздо меньше, производила какое-то унылое впечатление. Саша говорил, что заявил хозяевам об уходе и доживет только месяц, но мне казалось, что он проявлял тут мало энергии, чего я не понимала, ибо квартира была для него одного дорога, а конец месяца приближался. Да и вследствие слежки считалось, что ее лучше переменить. Помню, что и я ходила, искала квартиру Саше, но подходящего не видела, да и не могла решить без него, а он все был занят где-то, не имел времени посмотреть. Так и пришлось ему остаться еще на месяц, внеся плату вперед, что было в моих глазах верхом нерасчетливости.

Но на ряду с этим, около первых чисел февраля, Саша засел опять основательно в зоологический кабинет университета, где стал проводить все утра. Он начал новую самостоятельную работу по изучению органа зрения у какого-то вида червей. Нервная беготня последнего времени как-будто бы прекратилась или, во всяком случае, приостановилась. И я почувствовала большое облегчение: аресты миновали для него благополучно, засел опять за научную работу, — так приблизительно умозаключила я.

Правда, незадолго перед этим Саша предупреждал меня, что на мой адрес может быть получена для него телеграмма за подписью «Петров», и раза два заходил справляться о ней. Ожидание этой загадочной телеграммы подержало меня пару дней в нервном возбуждении; но она не приходила, и я перестала думать о ней.

Однако, раз ночью я была разбужена звонком, повергшим в тревогу мою хозяйку, и телеграммой, заставившей меня прежде всего всполошиться, не дома ли что случилось? И хотя под телеграммой стояла чуждая мне подпись «Петров», и подана она была из Вильны, где у меня ни души знакомой не было, но ее непонятный текст: «сестра опасно больна» и самый факт ее получения сильно взволновали меня, и я долго не могла заснуть. На утро я понесла ее брату в университет, где, как я знала, он занимался, чтобы не откладывать до его возвращения домой.

Помню, как сейчас, его спокойный, все еще погруженный в интенсивную научную работу взор, когда он вышел ко мне; помню сменивший это выражение проблеск тревоги и напряженное, углубленное чтение телеграммы. Мне оно показалось страшно долгим для трех коротких слов, составлявших ее содержание: меня поразила та значительность, которой слова эти отобразились на его лице, та перемена взгляда и всего настроения, — точно человек отрывается от одного берега и плывет к другому. Такой смены настроений я на его спокойном лице ни разу — ни раньше, ни позже — не видала.

Я не выдержала:

— Что это значит? Это что-нибудь очень плохое, Саша? — спросила я.

— Нет, — ответил он спокойно, засовывая телеграмму в боковой карман и, точно вынули лампу из резного фонаря, точно спугнутый моим вопросом, ушел глубже внутрь тот свет, который освещал за минуту его лицо, и оно стало вновь суровым, непроницаемым, вновь появилось в нем что-то чуждое и неумолимое, что разделяло нас последнее время. И еще раз, подойдя почти вплотную к разгадке, я ничего не разгадала.

— Я сразу же, с утра, понесла ее к тебе; хорошо я сделала или нет?

— Да, спасибо!

Но я ушла с мучительным чувством раздвоенной психики: с одной стороны, я исполнила поручение, как меня просили, и, может быть, всеми принятыми мерами предосторожности отвлекла что-нибудь дурное, — это говорил мне рассудок; с другой — в глубине души, в подсознательной, так сказать, области, что-то мучительно ныло, как бы предчувствием принесенного мною несчастья. Неизвестность мучила меня, и когда я вскоре после этого увидала брата у себя, в домашней обстановке, я спросила его опять о загадочной телеграмме. Он снова умолк и ушел в себя. Тогда, испуганная тем, что он из-за моих расспросов ничего доверять мне не будет, представлявшая себе, вероятно, вследствие полного незнакомства с конспирацией, что нами дело было обставлено очень конспиративно, я сказала:

— Ну, хорошо все же, что ты мой адрес дал, а не свой, — это осторожнее.

— Нет, — ответил брат, — я не потому его дал, но я ведь собирался тогда менять квартиру и не мог дать свой.

И опять я ничего большего не узнала.

Очень характерно для брата, что не стремление выгородить себя, а только отсутствие своего постоянного адреса заставило его дать адрес близкого лица. Не допускавший возможности выдачи со стороны одного из участников, он не счел рискованной для меня такую замену на один раз. А потом, на суде,[1] он говорил, что было ошибкой с его стороны дать адрес мой, — человека совсем непричастного.

Затем я вспоминаю масленицу. В среду или в четверг на этой неделе я, не застав дома Саши, узнала от его хозяев, что он не ночевал дома. Это встревожило меня: во-первых, он никогда доселе не уходил куда-либо с ночлегом, а во-вторых, и не предупредил меня. Я забежала и на другой день. Тот же ответ. Тогда, крайне взволнованная, я отправилась за справкой к Говорухину. Там я застала Шевырева. Оба они были, видимо также встревожены. Шевырев нервно бегал из угла в угол по комнате. Говорухин сидел насупленный. Он сказал мне, что брат выехал недалеко из Петербурга, не одобрил его, что он не предупредил меня, указал мне на неудобство ходить на квартиру за справками и старался успокоить меня. Но ни его тон, ни вид их обоих меня нисколько не успокаивали. Наоборот, тревога в моей душе усилилась. В то утро завеса на происходящее приоткрылась как будто бы всего больше передо мною, и теперь для меня непонятно, как я не додумала тогда всего до конца. Тем более, что на мой вопрос, зачем поехал брат, Говорухин сказал, что для печатания или гектографирования чего-то, что это не опасно, что он скоро приедет. Между тем брат ни разу не говорил мне, что он самолично что-нибудь печатает или гектографирует, и я понимала, конечно, что это в большой степени рискованная вещь, и что оба успокаивающие меня товарища брата предпочли все же не ехать на это «малорискованное» дело, а сидеть, так сказать, «в бесте». Помню, я ушла в глухо враждебном настроении к ним обоим, получив обещание, что буду извещена тотчас же, как брат вернется.

И теперь в воспоминании меня охватывает та сгущенная атмосфера тревоги, которая царила в этой маленькой комнате; и так ясно, как немногое, рисуется мне и взбудораженный, как никогда, вид Шевырева, и Говорухин, хоть и старающийся под-

---

[1] См. главу: Судопроизводство.

держать свою всегдашнюю невозмутимость, но видимо обеспокоенный. Только большой неопытностью и недоверием к себе, к своим непосредственным ощущениям могу я объяснить, как я дала так легко успокоить себя и фактом возвращения брата, и его всегдашним спокойным видом. Сначала я нашла оставленную мне в мое отсутствие записку, извещавшую, что он зайдет опять тогда-то; потом увидела его.

Помню также, что в его лице меня остановило какое-то особенное выражение, но вероятно я так перемучилась за последние дни, что больше по молодости лет и непривычке к испытаниям хваталась за то, что было успокоительного, — его присутствие, его спокойные слова, — чем за то, что было тревожного во всем этом. Помню, что я попеняла ему, что не предупредил меня об отъезде, и он признал свою вину в этом; помню, что спросила его, что он печатал, и высказала свое беспокойство относительно рискованности этого.

— Ты ведь печатал что-то?

— Нет, — ответил брат.

— А Говорухин сказал, что ты печатал.

Брат промолчал.

Очень характерной для него чертой было то, что он не умел лгать. Если он не хотел говорить чего-нибудь, он молчал. Это свойство его проявилось так ярко на суде. И вот при всех моих — немногих — расспросах я наталкивалась всегда, как на скалу, на это его твердое молчание. С одной стороны, оно, как я указала выше, обижало меня, я видела в этом недоверие, — и это я и высказывала и показывала ему, но встречала все ту же непоколебимую замкнутость. Помню, как один раз, — не осталось уже в памяти, в какое время и по какому поводу, — моя обидчивость вырвалась наружу, и я воскликнула: «Ты не любишь и не уважаешь меня!». Но я тотчас же была пристыжена его глубоким огорченным тоном: «Ты очень хорошо знаешь, что я тебя и люблю и уважаю». У него это вышло непререкаемо. После этих слов, после сопровождавшего их взгляда, оставалось только нравственно подобраться.

С другой стороны, я инстинктивно чувствовала, что тут есть что-то более глубокое и серьезное, что импонировало мне, и я не решалась настаивать. Отчасти же его более внимательное отношение, несколько ласковых слов, а главное его спокойствие, совершенно непостижимое для моей натуры при сколько-нибудь вол-

нующих обстоятельствах, быстро успокаивали мою недальновидность. Так было и в это короткое посещение его после Парголова. Кроме того, я боялась быть навязчивой, расспрашивая его, боялась, что он тогда еще меньше станет говорить мне.

В один из последних дней масленицы я поехала по приглашению сестер Шевырева — моих однокурсниц — на блины в Лесное, где они проводили праздник у старшего брата, профессора Лесного Института. Петра Яковлевича я там не застала. И сестры, и особенно брат выражали неудовольствие, что он не уезжает в Крым, как ему необходимо по состоянию здоровья, что он много бегает, рискует... Я поняла при этом, что беспокоит их не столько его физическое здоровье, как то, чтобы он не влетел. И тревога за Сашу, к которому он бегает, с которым о чем-то шепчется, прошла ножом по сердцу...

Отметила я при этом, что семейные Петра Яковлевича относились к нему несколько пренебрежительно. Позднее Чеботарев рассказывал мне, что, когда он встретился во время суда в свидетельской комнате с Шевыревым-профессором, тот определенно высказывался с пренебрежением о своем брате, удивляясь, как могли серьезные люди принять его в свою организацию. Конечно, это можно объяснить до некоторой степени тем, что профессор был далек от революционных взглядов, но ведь сила — всегда сила, и ум — всегда ум. Люди обычно признают и то и другое, и считаются с ними, хотя бы и не соглашались с их направлением.

В одно из воскресений на масленице, кажется, в последнее, я отправилась с братом обедать в организованную Шевыревым столовую — где-то на Петербургской стороне. Она кишела народом. Встретили мы там и Шевырева, и мне бросилась в глаза его особенная суетливость. Обменявшись кивком или полунамеком с братом, он подсел ко мне и затрещал какие-то пустяки. Так как у меня с ним было лишь поверхностное знакомство, и к такому тону болтовни с барышней я совсем не привыкла, я слушала его со скукой, торопясь окончить обед, а брат смотрел совсем хмуро. И вот у меня, человека совершенно неопытного в каких-либо конспиративных делах, зародилось смутное, но тем не менее очень тягостное подозрение, что меня стараются отвлечь, провести, что болтовня вся идет для того, чтобы замазать что-то. И когда мы вышли с братом, на губах у меня вертелось предостережение, я хотела сказать: «Шевырев старается замазать

что-то. Это так заметно. Остерегайся его!». Но недостаточная уверенность в себе и сосредоточенный вид брата не дали мне высказать свое мнение, и я промолчала.

Это мое впечатление показывает, что суетливость и нервный ажиотаж, в котором находился Шевырев, бросался в глаза даже непосвященным, даже таким неопытным людям, какой была в то время я.

В своем состоянии неопределенной, но не менее от того жгучей, тревоги за брата, я помышляла в последнюю пару недель перед 1-м марта о том, чтобы обратиться к кому-нибудь, кто мог бы воздействовать на Сашу в смысле проявления им большей осторожности. Мысль моя останавливалась при этом лишь на одном, на отце моей курсовой подруги, Л. В. Винберг, в семье которой я бывала. Владимир Карлович Винберг был передовым человеком, очень развитым и симпатичным. В то глухое время. непосредственно после убийства Александра II, когда в адресах всех земств новому царю выражалось одно лишь раболепие, только он, председатель симферопольской губернской земской управы, да председатель самарской, А. Н. Хардин, рискнули, в осторожных, понятно, выражениях, указать, как на главную задачу нового царствования, па необходимость увеличения крестьянских земельных наделов. Оба были смещены за эту дерзость, а Винберг выслан даже из Крыма. У него были и непосредственные связи с революционерами: так, он укрывал, как я узнала впоследствии, в своем имении видных террористов. Это не было обнаружено, но, может быть, некоторые подозрения у правительства на близость его к революционерам имелись. Владимир Карлович выбрал Дерпт, чтобы быть ближе к переселившейся в Питер семье своей, к которой наезжал и нелегально; а через два—три года ему было разрешено поселиться и в самом Петербурге.

Живой, отзывчивый, молодой духом, Винберг очень чутко относился к молодежи, которая охотно тянулась к нему. На его журфиксах бывало обычно очень оживленно, и я любила бывать на них. Пробовала я затащить Сашу туда, но это не удавалось мне. На то, чтобы поговорить с Винбергом откровеннее о тревогах относительно Саши, натолкнуло меня одно его предупреждение. А именно, — в последнее время, если не ошибаюсь, уже в феврале, — я показала ему раз листок со штемпелем «Красного Креста», предлагая пожертвовать в пользу заключенных. Он сказал мне:

— Денег я вам дам, но листок этот лучше порвите и обращайтесь без него к знакомым, которым вы доверяете. Эти листки и записи ведут только к провалам: тот, кто доверяет вам, и без них даст вам денег.

Я последовала этому совету в одной его половине: ни к кому больше с листком не обращалась, но не уничтожила его до обыска и, будучи уже арестованной, удалось мне бросить его скомканным во дворе охранки.

Припоминаю по этому поводу, что В. К. Винберг выказал трогательное внимание ко мне: 2-го марта, услыхав о многочисленных арестах, он самолично, вспомнив о факте нахождения у меня листка, побежал предупредить меня, но был остановлен кем-то, сообщившим, что я уже арестована. Его простое, сердечное и очень тактичное отношение к нам, молодежи, заставляло меня думать, что и на брата он смог бы повлиять. Но это было уже в последние перед 1-м марта недели; я колебалась — и к Винбергу достаточно близкой себя не чувствовала, и относительно брата не знала, должна ли так поступить, да и не видела возможности осуществить что-либо конкретно, раз Сашу не затащить было к Винбергам... И так и не успела привести этого плана в исполнение.

Вспоминаю еще из этого времени посещение нами с Сашей одного из завсегдатаев Винбергов, молодого профессора,— тогда, кажется, только оставленного при университете,— Михаила Александровича Дьяконова. Я занималась вместе с его женой, моей однокурсницей, и бывала у них часто; Саша зашел впервые, но Дьяконова, кажется, встречал уже где-то. Зашли мы днем на минутку. Я, помню, была довольна, что Саша пошел со мной, я желала познакомить его с этой семьей; но возвращалась я с ним разочарованная: он пошел, оказывается, по специальному делу, попросить, помнится, для чего-то адрес у Дьяконова. Тот отказал в просьбе. Саша ничего не сказал, как обычно, но выражение крайнего неодобрения легло на его лицо, и оно, всегда суровое и замкнутое, стало еще суровее и холоднее. Помню, как оба Дьяконовы старались смягчить впечатление отказа, но это ни к чему не привело: брат поднялся минуты через две, и мы пошли. Мне казалось, что Сашина холодность была недостаточно обоснована, и я высказывала ему это на обратном пути, я старалась уверить его, что Дьяконовы хорошие люди, но он хранил то же мрачное, упорное молчание.

Потом, после его смерти, когда Дьяконовы зашли проститься со мной перед моим отъездом из Петербурга, и я упрекала себя, что не сумела спасти брата, предотвратить эту трагедию, Михаил Александрович сказал мне:

— Что же можно было тут сделать?! Кто мог бы повлиять на него? Я знал так мало вашего брата, но сразу было видно, что это железный характер. — А потом добавил: — Я могу только сказать вам в утешение, что ваш брат погиб недаром, — и привел в доказательство сего какие-то разговоры в сферах.

Я никоим образом не могла согласиться с этим и ответила с горечью: «Если даже и так, разве оплачиваются этим такие жертвы, гибель таких людей?»

Дьяконов сказал холоднее: «Конечно, родственные чувства...» — или нечто в этом роде и, видимо, отнесся неодобрительно к тому, что я не могу выйти из круга родственных чувств.

А я видела перед собой мрачное лицо Саши после того посещения, и оно становилось понятнее мне, оно говорило как-будто: «Вот эти люди... одобряют крайние меры, а коснись их самих, так пустяком не хотят рискнуть»... И то, что не вязалось как-то прежде с деликатным, нетребовательным к другим характером Саши: суровое осуждение за первый же отказ в мелочах, — становилось мне ясным.

После ареста, в доме предварительного заключения, когда я напряженно продумывала последние встречи с братом, стремясь осмыслить для себя все происшедшее, я восстановила в памяти, день за днем, последнюю неделю и позднее записала для себя. Таким образом, я могу с точностью сказать, что в понедельник, 23 февраля, Саша пришел ко мне и провел у меня, что за последнее время было прямо-таки редкостью, целый вечер. В ожидании чая он прилег на кушетку и проспал довольно долго. Потом я показала ему письмо из Симбирска одного из сослуживцев покойного отца, И. В. Ишерского, который, очевидно, в ответ на мою просьбу, писал мне о матери. Он писал, что за самое последнее время она стала спокойнее и бодрее, между тем как дни, связанные с годовщиной смерти отца, переживались ею очень тяжело.

Подперев голову обеими руками, Саша долго-долго смотрел на эти строки, смотрел так, точно вся душа его сосредоточилась на них... Мне стало больно за его переживания, за этот скорбный, точно ушедший в себя взгляд, но в то же время я сказала себе: «Хорошо, что я показала ему это письмо, — он

так болеет душой за маму, он будет осторожнее для нее». Лишнее доказательство того, что никто не может выйти из своей натуры, а соответственно ей переживает окружающее: я не могла себе представить, чтобы глубокая и серьезная дума о горячо любимой матери, о ее горе могла сочетаться с такой решимостью, с такой деятельностью, которая должна была нанести страшный удар матери... и чтобы можно было сохранять спокойствие при этом. Вообще я была страшно рада приходу брата и почувствовала некоторое успокоение после этого вечера.

На другой день Саша опять заходил ко мне, кажется, затем, чтобы попросить дать пристанище на ночь одной приезжей. [1]

В среду вечером я пошла к нему, но застала у него какое-то собрание, на котором увидала нескольких незнакомых мне людей (в одном из них по предъявленной мне карточке я узнала Лукашевича). Саша вышел со мной ненадолго в другую комнату. Его, видимо, ждали, и он торопился. Смущенная видом незнакомых людей и тем, что помешала, я поспешила уйти. На сердце у меня было тяжело: происходило что-то, во что брат меня не посвящал, для чего считал, очевидно, недостаточно развитой, но что-то серьезное... Это было то совещание перед первым выходом метальщиков на улицу, 25 февраля, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Лукашевич.

Следующий день, 26, был праздник, царский день. Саша пришел ко мне утром. Во что-то погруженный, чем-то как-будто расстроенный, он отвечал более односложно, чем всегда. Он пришел без всякого дела, сел, не раздеваясь, у самой двери, но просидел довольно долго. Не помню уже, спросила ли я его о чем-нибудь, но, помню, что старалась развлечь, «разговорить»: я рассказывала ему о некоторых общественных и литературных новостях, передавала содержание какой-то новой, только-что вышедшей тогда книги, которая казалось мне удивительно умной... Я из кожи лезла, чтобы заинтересовать его, и осталась сбитой с толку, разочарованной и немного обиженной тем, что он ушел как-то внезапно, что он ни о чем не говорил со мной, что он что-то как-будто от меня скрывает...

Я поняла лишь позднее, что, находясь в этот день первого выхода метальщиков на улицу в страшном напряжении и тревоге,

---

[1] Анне Лейбович, нелегально приезжавшей из Вильно. О том же просила меня Шмидова.

он зашел ко мне, как к своему человеку, чтобы найти душевный отдых, может быть, чтобы проститься... А я не дала ему того, чего он искал, я не сумела подойти к нему так, чтобы он, хоть частично, открыл передо мною душу. И это поистине последнее свидание с ним (на следующий день я видела его, но только мельком, на улице) оставило во мне глубокое чувство недовольства собою на долгие годы.

Но что-то неясное тяготело надо мною, мешало мне сосредоточиться на занятиях, и 27-го я решила поехать в Волкову деревню, послушать там уроки учителя народной школы, которого мои однокурсницы превозносили. Я готовилась стать учительницей. Не найдя ничего особенного в преподавании после наших, симбирских, школ и выплакав лишь до некоторой степени свою тоску среди чуждых мне могил, в которых я на обратном пути через кладбище заплуталась, я уже на Петербургской стороне встретила Сашу. Услыхав, что я с Волкова кладбища, он приостановился и спросил с удивлением, зачем я ездила туда? Но, получив ответ, пошел, с очевидно угасшим интересом, своим путем.

На следующий день, 28-го, я пошла к нему вечером, но не застала его дома. 1-го марта, в воскресенье, ко мне пришла утром Шмидова и сказала, что была только-что у брата и что он ушел уже куда-то. Пришел ко мне и М. Т. Елизаров, и мы втроем отправились побродить по улицам, чтобы воспользоваться прекрасной погодой,—был ясный, солнечный, весенний день. Тревога за брата не покидала меня, и я поделилась ею слегка и со своими спутниками. «Да», сказал тогда М. Т. — «Александру Ильичу давно уже вечную память поют». М. Т. Елизаров, употребивший, конечно, это выражение в смысле опасения ареста, не представлял себе тогда, как буквально оно исполнится, но у меня оно как ножом пришло по сердцу...

Я ждала весь день брата: ведь в воскресенье нет лекций и занятий,—и побежала к нему вечером. Три окна его квартиры были ярко освещены. В своей неопытности я обрадовалась: значит, он дома, я увижу его! Я вошла по лестнице, позвонила... Меня встретила полиция, в комнатах все было уже вверх дном. Производился обыск, который мне пришлось видеть тогда впервые. Мне не сказали, конечно, что брат уже арестован, и, задержанная, я терялась в догадках, где он; думала, не зашел ли он ко мне в это время.

Кроме меня, задержанным в Сашиной квартире оказался и его гимназический товарищ, Валентин Умов, студент московского университета, приехавший по каким-то делам в Питер. Я настолько не сознавала серьезности положения и не допускала мысли, что буду арестована, что позвала Умова зайти как-нибудь ко мне, сообщив ему свой адрес. Помню удивленный взгляд жандарма при этом. Не знаю, был ли арестован Умов, вернее — нет. Сужу об этом по тому, что, когда я была освобождена, я слышала от Елизарова или Чеботарева, что Умов рассказывал им: «а она еще меня к себе звала!»

Когда обыск в квартире брата был закончен, часть полицейской ватаги отправилась вместе со мной на мою квартиру.

У меня было забрано заклеенное письмо к Анне Лейбович, которой Шмидова и брат просили дать переночевать у меня. Уходя куда-то вечером, я сочла возможным, кроме предупреждения хозяйки, оставить на столе письмо на ее имя, — таково было мое полное невежество в конспиративных делах! — и продержать его пару дней. К счастью, Лейбович удалось скрыться, и так, неразысканной, фигурировала она и в обвинительном акте. С особыми, совершенно непонятными мне предосторожностями была забрана из ящика комода так называемая «инфузорная» земля, вывезенная Сашей из Кокушкина еще летом 1885 г. и оставленная им в этой, занимаемой им раньше, комнате. Мое объяснение, что это — земля, привезенная им из деревни для исследования, очевидно, совершенно не удовлетворило жандармов. Я была отвезена в Охранное отделение на Гороховую улицу, а через сутки — в дом предварительного заключения. По дороге пристав, ехавший со мною на извозчике, сообщил мне, сокрушаясь об участи молодежи, что вот-де студент Генералов бросил бомбу в государя, и за это теперь берут его знакомых, много невинных. Меня охватил ужас: Генералов! Он был знаком с Сашей, я встретила его там раз. Как отразится это на Саше?!

Я подумала сначала лишь об опасности знакомства. Только постепенно, в одиночестве, напряженно разматывая в своем мозгу клубок минувших событий, встреч, разговоров, всего неясного для меня в поведении Саши, я стала понимать с ужасом, леденившим мне душу, что тут дело не в одном знакомстве, а в активном участии. Первый же допрос утвердил меня в этом мнении, доказав многое. Так, допрашивая меня относительно телеграммы из Вильно, прокурор Котляревский сказал: «А вы

знаете, о чем была телеграмма? В ней извещалось о присылке азотной кислоты, чтобы приготовить бомбы для покушения на государя-императора». А затем он сказал мне: «Шевырев уехал в Крым, Говорухин скрылся за границу, а ваш брат остался бойцом на поле битвы».

Но неопытная в революционных делах — с одной стороны, из инстинктивного чувства самосохранения — с другой, я старалась в стенах одиночки не углубляться особенно в мрачные мысли и предположения. Большую поддержку в этом оказала мне мать, приехавшая в Питер и получившая свидание со мною. С братом она получила первое свидание лишь 30-го марта. Никаких фактических сведений о деле я получать, конечно, не могла. Иных связей с волей у меня не было. Перестукиванье, которому я научилась, с товарками, сидевшими уже давно, не могло также дать никакого материала. А выдержка и поразительная твердость матери обманывали меня так же, как раньше спокойная уравновешенность Саши. Я не могла допустить, что готовится, а последние дни заключения, — что произошло нечто непоправимое, видя ее, хотя потрясенную, грустную, но в полном самообладании. Памятуя горе, причиненное ей моей болезнью за год перед тем, я старалась поддерживать себя для нее, показывать ей также бодрое, спокойное лицо. А она была настолько мужественна, что уже после казни брата, о которой она узнала из листка, раздаваемого прохожим на улице, одна, она пришла ко мне на свидание и, прося надзирательниц не ставить меня в известность о происшедшем, старалась ободрить меня, настаивала на необходимости мне беречь здоровье, успокаивала меня относительно себя.

Не умеющая лгать, как и брат, она на мой вопрос о нем сказала только: «молись о Саше». И хотя мне было безумно тяжело, я не поняла истинного смысла этих слов. Я обратила только внимание на то, с каким особым уважением пропускали ее фигуру в трауре, уходившую со свидания, лица тюремной администрации. Такая сила воли при ее переживаниях импонировала и им.

Я писала Саше из тюрьмы два раза. Первое письмо было воплем души; в нем я писала между прочим: «Лучше тебя, благороднее тебя нет человека на свете. Это не я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя, солнышко мое ненаглядное!» Но ответа я не получила; передано ли было, я не

знала, и следующее я написала уже сдержанно, теми общими, более или менее казенными фразами, какими писались обычно письма через тюремный контроль, которые мучительно не удовлетворяли писавшего и не могли дать ничего получавшему их. Ответ Саши — единственное письмо, полученное мною от него из тюрьмы [1] от 26 апреля, — был получен мною уже по освобождении, после его смерти, из департамента полиции. Мне думается, что оно было ответом на второе письмо и что первого, искреннего, которое скорее могло бы заменить последнее прощание, он не получил. О свидании, как видно из прилагаемого письма, просил брат, просила и я, но оно не было разрешено.

Я была освобождена 11 мая стараниями М. Л. Песковского, [2] который подал в департамент полиции просьбу об освобождении меня ради матери, мотивируя это тем, что иначе он боится за ее рассудок. Меня после сообщения тяжелого известия он предупредил, чтобы я сдерживалась при матери, старалась отвлекать ее от тяжелых мыслей, ибо он замечал, что она иногда «заговаривается». Вторая волна ужаса пронизала меня, и я стала всячески сдерживать себя для матери. Мне показалось, что Песковский выразил свое истинное опасение в тот момент, но если бы даже дело обстояло иначе, и он применил тут как бы хлыст, чтобы заставить меня взять себя в руки, я благодарна ему, ибо это оказалось действительной мерой... Хотя, конечно, и при этом несчастии, как и при первом, потере отца, мать явилась опорой мне, а не я ей. Я убеждена, что только благодаря ее близости и поддержке перенесла я гибель брата.

Мать рассказывала мне, что пошла на одно заседание суда. Близким родственникам предоставлялось это право. Как раз на этом заседании выступал со своей защитительной речью Александр Ильич. Мать передавала: — «я удивилась, как хорошо говорил Саша: так убедительно, так красноречиво. Я не думала, что он может говорить так. Но мне было так безумно тяжело слушать его, что я не могла досидеть до конца его речи и должна была выйти из зала».

Рассказывала она и о своих свиданиях с Сашей. На первом из них он плакал и обнимал ее колени, прося простить причи-

---

[1] См. приложение.

[2] Мужа двоюродной сестры, Ек. Ив. Веретенниковой.

няемое ей горе; он говорил, что, кроме долга перед семьей, у него есть долг и перед родиной. Он рисовал ей бесправное, задавленное положение родины и указывал, что долг каждого честного человека бороться за освобождение ее...

— Да, но эти средства так ужасны, — возразила мать.

— Что же делать, если других нет, мама, — ответил он.

Он очень старался на этом и на следующих свиданиях примирить мать с ожидавшей его участью.

— Надо примириться, мама! — говорил он.

Он напоминал ей о меньших детях, о том, что следующие за ним брат и сестра кончают с золотыми медалями и будут утешением ей.

На одном из свиданий он сказал:

— Я хотел убить человека, — значит, и меня могут убить.

После суда, в доме предварительного заключения, убитая горем мать долго убеждала и просила его подать прошение о помиловании.

— Не могу я сделать этого после всего, что я признал на суде, — ответил Саша, — ведь это было бы неискренно.

На этом свидании присутствовал некий молодой прокурор Князев, несколько раз отходивший к дверям и выходивший даже из камеры, чтобы дать матери возможность переговорить свободнее с сыном. При последних словах брата он обернулся и воскликнул:

— Прав он, прав!

— Слышишь, мама, что люди говорят! — заметил брат.

— У меня тогда просто руки опустились! — рассказывала мать.

Он говорил ей о Шлиссельбурге — единственно возможной для него замене смертной казни, — об ужасе вечного заключения.

— Ведь там и книги дают только духовные; ведь эдак до полного идиотизма дойдешь. Неужели ты бы этого желала для меня, мама?

Мать указывала, конечно, что он молод, что многое может измениться.

— Позвольте и мне присоединиться к словам вашей матушки, — вмешался в разговор присутствовавший в другой раз на свидании начальник дома предварительного заключения, — вы молоды, и ваши взгляды могут измениться.

Мать передавала, что Саша отвечал и ему так же твердо, но вместе с тем внимательно, как он относился ко всем людям. [1]

Он говорил и матери на свиданиях в доме предварительного заключения, куда был переведен из Петропавловской крепости на время суда, что ему тут хорошо, «и люди все тут такие симпатичные».

Он просил мать на одном из свиданий выкупить его золотую университетскую медаль, заложенную за 100 руб., продать ее, — она стоила 130 руб., — и полученные таким образом 30 руб. отдать некоему Тулинову, которому он остался должен эту сумму. [2] Просил он также разыскать и вернуть две одолженные им редкие книги. [3]

На вопрос матери на свидании после суда, нет ли у него какого-нибудь желания, которое она могла бы исполнить, Саша сказал, что хотел бы почитать Гейне. Мать затруднилась, где достать эту книгу. Тогда достать ее брату взялся присутствовавший на свидании прокурор Князев. [4]

Последнее свидание с братом мать имела в Петропавловской крепости. Она рассказывала мне о тягостной обстановке этого свидания за двумя решотками, с расхаживающим между ними жандармом. Но она говорила также, что в этот раз она явилась

---

[1] В то время такого обостренного классового антагонизма, как позднее, не было; тогдашний начальник дома предварительного заключения, помнится, по фамилии Ерофеев, был человеком добродушным и располагавшим к себе; из другого персонала я помню также людей очень внимательных и сочувствующих, например, фельдшерицу.

[2] Мы разыскивали потом этого Тулинова и отдали 30 руб., но, как оказалось потом, не ему, а его однофамильцу.

[3] Обе книги принадлежали В. В. Водовозову. Одна из них оказалась у Чеботарева и была возвращена. Другая — «Deutsch-französische Jahrbücher» — со статьей Маркса о религии была передана мною вместе с переводом Говорухину. Ее найти не удалось. Мы искали купить ее за границей, в книжных магазинах и у букинистов, но не нашли.

[4] Упоминаемый товарищ прокурора Князев говорит в своих воспоминаниях, что в конце апреля (очевидно, после суда) ему было поручено дать свидание Ульянову с его матерью, и он, желая обставить его как можно меньшими формальностями и стеснениями, провел Ульянову в одиночную камеру, в которой содержался ее сын, оставшись сам в коридоре у открытой в камеру двери. (Подсудимые содержались во время суда в нижних камерах дома предварительного заключения; свидания давались тоже в одной из камер первого этажа.) Такое исключительное свидание могло состояться так, как описывает его Князев.

— Прошло около сорока лет с тех пор, — говорит он, — но не померкла в глазах моих тяжелая картина этого свидания подавленной не-

повидать брата, окрыленная надеждой. Распространились слухи, что казни не будет, и материнское сердце, конечно, легко поверило им. Передать об этом при суровых условиях свидания она не могла, но, желая перелить в брата часть своей надежды и бодрости на все предстоящие ему еще испытания, она раза два повторила ему на прощанье: «Мужайся!».

Так как надежды ее не сбылись, то вышло, что этим словом она простилась с ним, она проводила его на казнь...

счастьем любящей матери и приговоренного к смерти сына, своим мужеством и трогательной нежностью старавшегося успокоить мать. Она умоляла его подать прошение о помиловании, выражая надежду и почти уверенность, что такая просьба осужденного будет уважена. Но, видимо, с большой душевной болью отказывая матери, Ульянов привел между прочим, как хорошо помнится, такой довод, несомненно свидетельствующий о благородстве его натуры:

— Представь себе, мама, что двое стоят друг против друга на поединке. В то время как один уже выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою очередь оружием. Нет, я не могу — закончил он — поступить так.

Видя невозможность настаивать больше на своей просьбе, Ульянова в конце продолжавшегося около часа свидания спросила сына, не нужно ли ему что-нибудь? Он ответил отрицательно, но, подумав немного, сказал, что ему очень хотелось бы почитать Гейне. Старушка очень обеспокоилась, как исполнить эту просьбу, так как приобретение сочинений Гейне было обставлено какими-то цензурными формальностями. Глубоко сочувствуя ей и желая облегчить ее чем-нибудь, я сказал, что доставлю просимую книгу, поехал прямо из дома заключения в книжный магазин Меллье, где мне продали немецкое издание Гейне, которое я в тот же вечер передал Ульянову. *А. Е.*

ПРИЛОЖЕНИЯ.

ГИМНАЗИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ А. И. УЛЬЯНОВА В ВОЗРАСТЕ 15—16 ЛЕТ.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ.

Для полезной деятельности человеку нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твердость характера, 4) ум и 5) знание.

Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела. Честность есть необходимое качество человека, какого рода деятельности он ни предался бы: без нее труд даже умного и трудолюбивого человека не только не будет приносить пользу обществу, но даже может вредить ему. Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда он выберет для себя, и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или эгоистическим чувством собственной выгоды.

Но честности и желания принести пользу обществу недостаточно человеку для полезной деятельности; для этого он должен еще уметь трудиться, т.-е. ему нужны любовь к труду и твердый, настойчивый характер.

Трудолюбие необходимо каждому трудящемуся человеку; труд по какому-либо внешнему побуждению не принесет и половины той пользы, которую принес бы свободный и независимый труд. Но для непривычного человека труд всегда кажется чем-то тяжелым и требует внешнего побуждения; поэтому человек должен приучить себя к труду, полюбить его, и труд должен сделаться в его глазах необходимой потребностью его жизни.

Любовь к труду должна простираться не только на легкие и ничтожные вещи, но и на то, что с первого взгляда кажется

непреодолимым. Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые представляют ему собственные недостатки и слабости: для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать себе твердый и непоколебимый характер.

Вышеуказанных качеств достаточно лишь для того, чтобы упорно трудиться на пользу обществу; но человек должен также заботиться о том, чтобы выбрать себе ту отрасль труда, к которой он более всего способен, и которая кажется ему более полезной, а также о том, чтобы труд его приносил по возможности большие результаты. Для этого человеку нужны ум и знание. Человек, стоящий на низкой ступени умственного развития, не может ясно понимать, что полезно обществу, и не может, следовательно, приносить действительной пользы.

Умственное развитие необходимо человеку так же, как и нравственное; без него деятельность человека может получить ложное направление и не будет приносить никакой пользы людям. Но и верно направленный труд умного и трудолюбивого человека может приносить различные результаты, смотря по тому, насколько производительно он выполняется.

Для того, чтобы деятельность человека приносила полезные результаты при возможно меньшей затрате труда и сил, для этого человеку нужно основательное знание того дела, которое будет предметом его занятий. От степени образованности вообще и в частности от знания своего дела много зависит та польза, которую принесет человек обществу. 4. *Керенский.*

Гербовая марка.

КОПИЯ.

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ.

Дан сей Александру Ульянову, православного вероисповедания, сыну чиновника, родившемуся в г. Нижнем-Новгороде 1866 года марта 31 числа, обучавшемуся девять лет в Симбирской Гимназии, в том.

Во-первых, что, на основании наблюдений за все время обучения его в Симбирской Гимназии, поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ отличная, прилежание усердное и любознательность ко всем предметам, особенно к латинскому языку и математике большая, и, во-вторых, что он обнаружил нижеследующие познания:

№ 432	Отметки, выставленные в Педагог. Совете на основании § 45 правил об испытаниях.	На испытании, происходившем 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 19, 23 и 25 мая.
В Законе Божием	5	5
» Русском языке и словесности	4	5
» Логике	4	—
» Латинском языке . . .	5	5
» Греческом языке . . .	4	5
» Математике	5	5
» Истории	4	5
» Географии	4	5
» Физике и математической географии . . .	5	—
» Немецком языке . . .	5	—
» Французском языке .	5	—

Во внимание к отличному поведению и прилежанию, к отличным успехам в науках, в особенности же в латинском языке и математике, Педагогический Совет постановил наградить его, Ульянова, золотой медалью и выдать ему сей аттестат зрелости, предоставляющий все права, обозначенные в §§ 129 — 132 Высочайше утвержденного 30 июля 1871 г. устава гимназий и прогимназий, а при отбывании воинской повинности он, Ульянов, на основании 56 ст. 2 пун. Высочайше утвержденного устава о воинской повинности, пользуется льготой, предоставленною окончившим курс наук в учебных заведениях второго разряда. Симбирск. Июня 1-го дня 1883 года.

Директор Симбирской Гимназии *Ф. Керенский.*

Инспектор *И. Христофоров.*

Законоучитель Кафедральный Протоиерей *П. Юстинов.*

Законоучитель священник *Василий Сарогожский.*

Преподаватели: *А. Федотченко.*
А. Веретенников.
П. Федоровский.
С. Теселкин.
А. Пор.
П. Тихановский.
Н. Яснитский.
Степанов.
Я. Штейнгауер.
Н. Нехотяев.

Секретарь Педагогического Совета *Ив. Ежов.*

У сего: печать.

Примечание: Познания и успехи оцениваются обычными цифрами, при чем 5 обозначает познания и успехи отличные, 4 — хорошие, 3 — удовлетворительные, 2 — не совсем удовлетворительные и 1 — вовсе неудовлетворительные.

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии с подлинником ее, представленным мне, Николаю Петровичу Филиппову, и. д. Симбирского Нотариуса Валентина Ивановича Сурова в конторе его, находящейся 1 части, по Большой Саратовской улице в доме Конурина, сыном Действительного Статского Советника Александром Ильичем Ульяновым, живущим 1 части г. Симбирска по Московской улице, в доме Ульянова. При сличении мною этой копии с подлинником, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и никаких особенностей не было. 1883 года Июля 25 дня. По реестру № 2059.

И. д. Нотариуса В. Сурова *Н. Филиппов.*

Печать.

ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕЛУ 1 МАРТА 1887 г.[1]

М. Н. П.

СОВЕТ
Императорского
С.-Петербургского
Университета.
17 февраля 1886 г.
№ 330.

СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Совет Императорского С.-Петербургского Университета 3 февраля сего 1886 года удостоил сочинение студента 6 семестра Естественного разряда Александра Ульянова на тему «об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata», награды золотой медалью; в удостоверение чего выдано студенту А. Ульянову сие свидетельство с приложением Университетской печати.

Ректор Университета *И. Андриевский.*

М. П.

Секретарь Совета *М. Белозеров.*

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА К МАТЕРИ.[2]

25 янв.

Дорогая мамочка.

Ты меня упрекаешь, что я редко пишу тебе: я действительно запоздал с последним письмом, совсем забыл про него, и оно пролежало несколько дней в кармане пальто.

[1] АОР. Инв. № 2911, № 47, т. III, л. 70.

[2] Из текста видно, что 1887 г. Это письмо написано как-то особенно в общих словах и, видимо, с трудом, — даже пара помарок, несмотря на его краткость, в нем есть. Очевидно, Александру Ильичу было трудно писать матери, скрывая то главное, что было у него на душе. *А. Е.*

Лекции у нас начались 15-го. Я записался только на обязательные лекции, так как времени мало, а от практических занятий не хочется отрывать его. Внес 15 рублей. Чеботарев переселился на другую квартиру: ему было далеко ходить на урок и к тому же он хотел уединиться, чтобы поскорее кончить диссертацию. Я тоже подыскиваю себе квартиру; вероятно, поселюсь на Васильевском, потому что на Петербургской стороне не нашел ничего подходящего.

До свидания. С новой квартиры напишу опять, а пока пиши мне, пожалуйста, на Анин адрес.

Твой *А. У.*

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА К ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРЕ.

С.-Петербург, 21 янв. 87 г.

Дорогая Маруся!

Прости меня, пожалуйста, за долгое молчание. Я, конечно, очень виновен перед тобой. Но я не хотел писать тебе «несколько строчек», я решил заодно исполнить и данное тебе осенью обещание. Хотя я и посылаю тебе теперь обещанную характеристику, но я далеко не доволен ей: она вышла очень неполной и, пожалуй, поверхностной, но у меня решительно не было времени (а пожалуй, и сил) написать что-нибудь более основательное.

А главное извини, пожалуйста, если она покажется тебе несколько резкой и, пожалуй, несправедливой, не сердись очень на это.

Я нисколько не скрываю от себя того влияния, которое должно оказать это письмо на наши отношения, но, быть-может, оно несколько смягчится, если ты поверишь мне, что последний недостаток моей характеристики зависит только от резкости моего характера и от способности видеть прежде всего и яснее всего дурные стороны человека. Итак, прощай. Твой *А. У.*

ХАРАКТЕРИСТИКА N. N...

Когда разбирают или характеризуют какую-нибудь личность, то держатся обыкновенно одной из двух точек зрения. Или рассматривают деятельность человека, ее цели и результаты, или обсуждают его силы и способности независимо от их употребления, другими словами, судят или по целям и результатам, или только по средствам.

Многие только первую точку зрения и считают правильной, не допуская объективной оценки при суждении о людях, и даже людей, несомненно гениальных, не признают за таковых, только вследствие отрицательных результатов их деятельности. Я не совсем согласен с таким мнением и думаю, что характеристику каждого человека надо начинать с объективного анализа его способностей, отодвигая на второй план субъективную оценку их употребления.

Это вступление я делаю потому, что, начиная характеристику N. N., мне прежде всего придется указать на ее сильный ум и вообще очень большие способности, но подтвердить это чем-нибудь, каким-нибудь выдающимся внешним фактом ее жизни я решительно не могу.

Даже больше: я не думаю, чтобы и в будущем она сделала что-нибудь серьезное, существенно полезное для общества или вообще чем-нибудь наглядно проявила свои способности. Но тем не менее я решительно утверждаю, что N. N. принадлежит к числу очень умных, очень способных людей. Это основной и наиболее существенный ее признак, который кладет свой отпечаток на все особенности ее характера и не дает ни одному из ее недостатков дойти до крайности, а делает их скорее только отрицательными, — эта черта ее для меня совершенно ясна и несомненна из множества мелких (часто неуловимых) впечатлений и воспоминаний, из того, как она устроила свою жизнь, из ее отношений к окружающим людям и обстоятельствам, из того, как она умеет разгадывать людей и далеко рассчитывать свои и чужие поступки и т. д.

Как бы то ни было, но для меня очевидно, что это сильный ум и не только синтетический, каким обыкновенно бывают женские умы, но и аналитический, критический (последняя способность несколько глохнет, как мне кажется, от недостатка упражнения). Эта критическая способность, сдерживающая несколько романтические наклонности, представляет единственное отклонение от вполне женского типа. Во всем остальном этот характер по преимуществу женственный. Отличительными чертами женственности я считаю романтизм (под этим словом я подразумеваю преобладание в человеке чувства и воображения), слабое развитие критической мысли, слишком большой индивидуализм, т.-е. отсутствие общественных симпатий и интересов, значительное подчинение общественным предрассудкам, недостаток энергии, а главное инициативы. Все это и притом в очень сильной степени принадлежит и N. N.

Трудно понять, как и в личности очень способной и с критическими задатками глохнет потребность выработать себе определенные убеждения и не только личные, но и общественные, — т.-е. ясные представления об общественной жизни и об участии в ней личностей.

*

Трудно объяснить себе, отчего мысль, выступивши на этот вполне правильный путь и не стесняемая никакими внешними препятствиями, останавливается в своем естественном процессе развития. Действует ли так среда, или личные индивидуалистические или даже эгоистические наклонности, или собственная инертность, недостаток инициативы, соединенный с отсутствием внешних побудителей и влияний, — не знаю, но так бывает часто, так случилось с N. N.

Самовоспитательная критическая работа, начавшаяся в ранней молодости, скоро приостановилась, книга из воспитательного средства (сознательного или бессознательного) обратилась в источник удовольствия. Потребность определенного, критически выработанного миросозерцания и сознательных нравственных и общественных убеждений почти вовсе отсутствует, а к выработке их путем теоретическим, научным N. N., как я мог заметить, относится даже вовсе отрицательно.

Другими словами, это то же самое, что я высказывал когда-то N. N., говоря, что ее главный недостаток состоит в том, что в ней слишком мало сознательности; только со следующей оговоркой, которая объяснит, в чем главное значение этого недостатка. Оценивая человека, я держусь всегда такой мерки: насколько он выработал себе определенные общественные идеалы, идеал иного, лучшего порядка вещей, насколько основательны и прогрессивны его убеждения и насколько энергично и самоотверженно он идет к их осуществлению. Таким образом, недостаток сознательности выражается прежде всего в излишней индивидуализации; человек забывает об окружающей его массе, о своем долге перед ней; живя своей частной, семейной или даже личной жизнью, он не замечает ее страданий или как-то свыкается с ними; он приближается, другими словами, к понятию эгоиста, хотя при известном нравственном и умственном уровне эгоизм его никогда не спускается до грубых, материальных форм и притом остается все время только отрицательным, — т.-е. человек не принимает активного участия в улучшении участи других, хотя сам никогда не купит своего счастья ценой чужого несчастья (по крайней мере, сознательно). Если такой человек и живет сколько-нибудь интенсивно умственной жизнью, то направление и результаты этой работы носят опять-таки чисто личный характер. Выработка личного нравственного идеала, стремление к собственному усовершенствованию — таково обыкновенно содержание такой работы, и понятно, что при ненормальной и искусственной ограниченности и однородности такого мышления результаты его остаются мертворожденными, не оказывая почти никакого влияния ни на дальнейшую жизнь, ни на последующую мысль.

Нравственные убеждения менее всего могут правильно развиваться при таком отношении к окружающему человечеству.

Понятие «правственности» по существу своему есть понятие общественное; индивидуализируясь, оно вырождается в понятие «чести».

Таковы главные пробелы в умственно-нравственной личности N. N.

Но при всем том у нее много и очень хороших черт, кроме тех основных, о которых я говорил в начале. N. N. — личность очень самобытная и оригинальная. Неуступчивость чужому мнению, большое самолюбие, переходящее порой в гордость, наконец, необыкновенная твердость и настойчивость характера—все это освещает ее с очень симпатичной стороны и придает особенный нравственный блеск всем ее способностям.

На этой последней стороне ее характера — большой силе воли—следовало бы остановиться подробнее, так как она является одним из главных достоинств N. N., но за недостатком крупных, ярких фактов мне пришлось бы или перебирать массу отдельных, мелких воспоминаний и впечатлений, или говорить слишком отвлеченно. Поэтому я оставлю лучше это утверждение голословным и попрошу у тебя, Маруся, прощения, что моя характеристика вышла такой сжатой и неудовлетворительной, а главное односторонней и притом в неблагоприятную для N. N. сторону.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА К СЕСТРЕ АННЕ ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ.[1]

26 апреля.

Дорогая Анничка!

Большое спасибо тебе за твое письмо. Я получил его на днях и очень был рад ему. А немного замедлил ответом, надеясь увидеться с тобой лично, но не знаю, удастся ли нам это.

Я перед тобою бесконечно виноват, дорогая моя Анничка; это первое, что я должен сказать тебе и просить у тебя прощения. Не буду перечислять всего, что я причинил тебе, а через тебя и маме: все это так очевидно для вас обеих. Прости меня, если можно.

Я помещаюсь хорошо, пользуюсь хорошею пищею и вообще ни в чем не нуждаюсь. Денег у меня достаточно, книги также есть. Чувствую себя хорошо как физически, так и психически.

[1] Письмо густо смазано накрест желтым проявителем. Под этими полосами чернила совсем или почти совсем выедены. Штемпеля никакого нет. Наверху, на правой странице какие-то росчерки, которые нельзя разобрать. *А. Е.*

Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно; от всей души желаю тебе всякого счастия. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя.

Твой *А. Ульянов.*

Напиши мне, пожалуйста, еще; я буду очень рад получить от тебя хоть маленькую весточку. Я также буду писать тебе, если узнаю, что имею на это возможность. Еще раз прощай.

Твой *Ал. Ульянов.*

С. А. НИКОНОВ.

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСТВА И РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОТА КОНЦА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ.

«Экономический» кружок. — Союз землячеств. — Дело 1 марта 1887 г. — Александр Ильич Ульянов.

В 1882 г. я окончил гимназию в Симферополе и поступил на 1-й курс математического факультета в Петербурге. Мой брат, А. А. Никонов, учился в это время в Морском училище. Семья — мать и отец — переехала тоже в Петербург, где отец получил место члена главного военно-морского суда, чтобы не расставаться со мной и братом, последними в семье.

С первых же шагов в университете я быстро пошел в сторону революционного миросозерцания и понемногу начал принимать участие сначала в землячестве и разных «кружках саморазвития», а с 1884 г. и в кружках, задававшихся целью содействовать революционной борьбе (издание на гектографе или мимеографе революционных брошюр, прокламаций и пр., распространение нелегальной литературы, сбор денег на нужды революции, посильная пропаганда в кружках). В 1885 г. я перешел из университета в военно-медицинскую академию и с осени этого года принял участие в пропаганде среди военных училищ; по предложению Гаусмана,[1] вступил членом в партию «Народной Воли».

Брат мой в 1883 г. вышел из морского училища и поступил в 8-ю гимназию, из которой исключен в 1884 г. Выдержав экзамен на аттестат зрелости экстерном, в 1886 г. он поступил на юридический факультет.

---

[1] Казнен в 1889 г. в Якутске по делу о вооруженном сопротивлении полиции (первая «Якутская бойня»).

Из разных кружков, в которых я и брат принимали участие, дольше всего существовал и имел некоторое влияние на события того времени в Петербурге кружок, образовавшийся в начале 1885—86 учебного года. Об этом кружке очень кратко (я думаю, по конспиративным соображениям) упоминает один из его участников и основателей В. В. Бартенев [1] в своей статье. Здесь участники кружка обозначены большей частью лишь инициалами, за исключением умерших до 1908 г. Теперь, конечно, нет никаких препятствий к тому, чтобы расшифровать эти инициалы и дать полную историю кружка. Временем образования кружка в статье Бартенева указана осень 1885 г. Мне помнится, что первые собрания кружка состоялись еще весной этого года, до каникул, когда некоторые его члены были еще в 8-м классе гимназии; перед экзаменами и летом кружок не собирался, а с осени начались в нем уже регулярные собрания. Инициатива образования кружка принадлежала местным петербургским студентам и гимназистам — Бартеневу, моему брату и некоторым другим; вошли в него, кроме нас троих, петербуржцы — Н. Э. Ватсон (умер где-то в ссылке в начале 90-х годов), Егор Егорович Гарнак, Иван Михайлович Иванов и Николай Федорович Погребов, студент горного института. Я рекомендовал и ввел в кружок моего друга студента-технолога Казимира Ромуальдовича Буковского (из Севастополя) и с первых же дней существования кружка в него вошел Алексей Викторович Гизетти, заведывавший статистическим бюро петербургского уездного земства, человек лет под 40, очень солидный и образованный; он был введен в кружок Бартеневым, с семьей которого у него, повидимому, было старое знакомство или родственные связи.

А. В. Гизетти был народником, однако не революционного направления. Он принадлежал к той группе, которую мы тогда называли «мирными народниками». Будучи социалистами по своим конечным идеалам, этого толка народники не признавали революционных методов борьбы, а лишь культурную и пропагандистскую работу в народе, несмотря на все трудности, которыми эта работа была обставлена при тогдашнем политическом режиме; революционную же насильственную борьбу, в особенности террор, до поры до времени совершенно отрицали. Таков был и А. В. Ги-

[1] «Воспоминание петербуржца о второй половине 80-х годов» («Минувшие Годы», 1908, № 10—11). Выдержки из статьи помещены в этом сборнике. *А. Е.*

зетти, который сразу занял среди нас положение как бы руководителя кружка и в течение почти двух лет, несмотря на свой большой научно-литературный багаж и свой возраст, с таким тактом и уменьем работал с нами в кружке, что мы совершенно не замечали его превосходства и не чувствовали никакого давления с его стороны. Вскоре в кружке появился И. Н. Чеботарев, не помню кем введенный; затем я рекомендовал и ввел в кружок, поступившую осенью 1885 г. на Бестужевские курсы Антонину Васильевну Москопуло,[1] Фойницкого, брата профессора университета, студента военно-медицинской академии, и, наконец, Александра Ильича Ульянова; с ним я познакомился этой же осенью на собраниях представителей землячеств, которые в это время объединялись в союз. Александр Ильич попал в наш кружок в конце 85-го или в начале 86-го года; после него вступили еще два члена, Марк Тимофеевич Елизаров и Говорухин, но они попали к нам уже к концу нашего существования, когда — я точно не помню.[2] Но относительно Александра Ильича Бартенев ошибается: он говорит, что и Александр Ильич поступил в кружок в это время, но я отлично помню, что я ввел его в кружок вскоре после нашего знакомства, в конце 85-го или в начале 86-го года. Из членов кружка, кроме А. И. Ульянова, умерли Фойницкий — от чахотки, вскоре после ареста, в 1887 или 88 гг., Н. Э. Ватсон, А. В. Гизетти; 10 марта 1919 года умер М. Т. Елизаров; 29 ноября 1924 г. умер и мой брат — А. А. Никонов. Умер также И. М. Иванов. Остальные, сколько мне известно, живы и по сие время. Я потерял из виду К. Р. Буковского, который в 1917 г. был в Харькове на каком-то заводе. Г. Г. Гарпак живет в Ленинграде. Почти все члены кружка, за исключением, может-быть, двух-трех, принимали в разных степенях и в разной форме участие в революционном движении.

Наш кружок поставил себе задачей изучение политической экономии и критический разбор политико-экономических учений. Начали мы с изучения трактата политической экономии Д.-С. Милля с примечаниями Чернышевского; почти каждый из членов кружка избрал себе тот или другой отдел политической экономии, придерживаясь Милля, и делал реферат в кружке по избранному

[1] Впоследствии моя жена; между прочим, почему-то единственная женщина в нашем кружке.

[2] Марк Тимофеевич Елизаров вошел в кружок не позже весны 1886 г. *А. Е.*

вопросу, стараясь как можно тщательнее подготовить свой доклад. Многие из нас уже были более или менее знакомы с политической экономией; я, например, успел уже раньше проштудировать Милля, прочел Ад. Смита, Рикардо, Мальтуса, Зибера и пр., летом 1885 г. прочел и I том «Капитала» Маркса; все мы перечитали речи Лассаля и т. д. В результате после каждого реферата в кружке возникали интересные прения, которые иногда занимали два-три вечера. Во всяком случае эти работы в кружке были очень полезны для каждого из его членов в смысле развития критической мысли. Не только референт, но и все члены кружка старались подготовиться к следующему реферату, пользуясь разными источниками, чтобы потом более сознательно отнестись к прочитанному и принять участие в прениях. В течение всего года кружок собирался обычно раз в неделю, иногда реже, и первое время — всю осень 1885 года — занятия наши ограничивались только теоретическим изучением политической экономии.

Однако, несмотря на интерес и пользу для нас работы в кружке, не в этом заключалось его главное значение. Уже вскоре после основания кружка сама жизнь стала быстро толкать нас в сторону общественной деятельности, и именно в революционном направлении. Большинство из нас постепенно втягивалось в подпольную и конспиративную работу, которая принимала все более революционный уклон, хотя и без строго-партийной окраски. Само собой понятно, что наш кружок не мог ни в каком отношении связывать своих членов, и вскоре каждый из нас пошел в ту сторону, в какую влекли его личные склонности и, быть может, случайные обстоятельства в виде революционных знакомств, участия в других кружках и пр. Каждый из нас, помимо кружка и обязательных занятий в университете или в другом учебном заведении, принимал сначала небольшое, а потом все более активное участие в различных организациях и предприятиях, преследовавших революционные или подсобные для революции цели.

Так, я участвовал в нескольких кружках саморазвития: в «этическом», который занимался изучением вопросов этики, и «историческом», который занимался историей революционных движений. В первом мы более или менее успешно в ряде рефератов изучили этические системы; второй проштудировал историю крестьянских войн в Германии и вскоре прекратил свое существование,

застряв на истории великой Французской революции. Далее, я и брат попали «руководителями» в один кружок саморазвития, устроившийся среди гимназистов старших классов; конечно, направление кружку мы старались придать социалистическое и революционное.

Нередко мы с братом и другими товарищами гектографировали разные революционные вещи, прокламации и пр., для чего наша «адмиральская» квартира представляла большое удобство, и распространяли их и другие издания. С осени 1885 г. я дал свою квартиру для собраний кружка юнкеров Павловского училища, к которым приходили пропагандировать инженер Залкинд и студент Брамсон; после отъезда первого и ареста второго я вел сношения с юнкерами лично, а к лету 1886 г. вошел в сношения также и с кружком гардемаринов Морского училища (Шелгунов, Бобровский, Черницкий и др.), передавая им нелегальную литературу, получая от них деньги для революционных организаций и пр.[1] В это время я уже вступил в партию «Народной Воли». Осенью 1886 г. я был приглашен вступить в рабочую группу партии «Народной Воли» (Игнатов, Гильгенберг[2] и др.) и не успел начать работы в рабочих кружках лишь потому, что вплотную занялся приготовлением к покушению на Александра III.

Подобным же образом, хотя, может быть, и не столь активно, работали и другие члены нашего кружка.

Бедный Гизетти, который очень хотел обратить всех нас в свою мирно-народническую веру, производил впечатление курицы, высидевшей утят, которые уплывали от него в разные стороны.

Соответственно изменению интересов и влечений членов кружка изменился и характер его занятий. С вёсны 1886 г. еще до летних каникул мы, по взаимному соглашению, прекратили чтение и рефераты по политической экономии, далеко не закончив штудировать трактат Милля; вместо этого мы решили сделать ряд рефератов на различные темы по выбору членов кружка, при чем темы эти часто касались вопросов текущей политики или экономики. Мой брат прочел реферат на тему о развитии

---

[1] Бартенев говорит, что «оба брата Н. и М. Н. (т.-е. Никоновы и Иванов) принимали участие в организации военных кружков»; это неверно, принимал участие я один.

[2] Расстрелян в Саратове в 1920 или 1921 гг.; служил в каком-то страховом о-ве.

капитализма в России, при чем главным объектом его была критика очень ходкой в то время книжки В. В. «Судьбы капитализма в России»; брат стоял на точке зрения марксизма (впоследствии он был одним из редакторов первых толстых марксистских журналов в России — «Жизнь» и «Новое Слово»). А. В. Буренин прочел реферат о теории Мальтуса с критикой этой теории; я — об этических теориях, при чем материалом мне послужили мои работы в «этическом» кружке. Я помню, что один



реферат прочел А. И. Ульянов, но сейчас не могу вспомнить даже темы этого реферата, как не припомню и других рефератов, которых было немало. Очень многие из членов кружка состояли членами разных землячеств, а с начала 1886 г., когда окончательно организовался «Союз землячеств», и членами этого союза.

Если присоединить сюда наши другие связи в различных кружках саморазвития, в учебных заведениях и пр., можно себе представить, что наш кружок как бы протягивал многочисленные щупальца в среду тогдашней петербургской молодежи и при случае мог оказывать влияние на общественное мнение в этой среде и воздействовать на нее, когда к тому представлялся случай. Первый такой случай произошел в феврале 1886 г. Но, прежде чем перейти к нему, я должен вкратце коснуться истории землячеств в Петербурге в эту эпоху.

Мне уже пришлось однажды писать на эту тему.[1] Кроме своей прямой цели — помощи нуждающимся товарищам, — земля-

---

[1] Старый студент. «Петербургские студенческие землячества в половине 80-х годов и их значение». Материалы для истории русск. соц.-рев. движения. X., 1895 г. Сентябрь. Эта статья была сначала прочтена мной в виде рефератов в парижском обществе русских студентов, при чем в заключение я вкратце описал, как на почве репрессий, — направленных реакцией того времени против всего живого в жизни, литературе в рабочей, в студенческой среде,—в студенческих кружках и землячествах того времени возникла мысль об организации покушения против вдохновителя этой реакции, мрачного деспота Александра III. Очень кратко я упомянул о деле 1 марта 1887 г. и главных его деятелях — А. И. Ульянове, Шевыреве, Лукашевиче, стараясь, конечно, не дать возможности слушателям заподозреть прикосновенность мою к этому делу.

Услышав об этом реферате, произведшем известное впечатление среди студентов, П. Л. Лавров и Н. С. Русанов обратились ко мне с просьбой дать его в виде статьи для напечатания в редактируемых ими «Материалах для истории» и т. д. Но по конспиративным соображениям, чтобы не дать возможности связать мое имя с этой статьей (так как я должен был вскоре вернуться в Россию), вся последняя часть была выпущена.

чества оказывали многообразное влияние на жизнь студентов. «Прежде всего, землячество... привлекало и втягивало в себя каждого вновь приезжающего земляка... здесь люди знакомились и сближались друг с другом... В ежедневной, скромной, правда, но непрерывной общественной деятельности выяснялся нравственный склад каждого, его характер и стремления, так что, в конце концов, люди определялись, и всегда можно было знать с большей степенью точности, на что можно рассчитывать со стороны того или другого члена, — до чего он способен дойти и перед чем остановиться... Значение этого подбора понятно: землячества как бы собирали и сортировали материал, и не только для себя, но и для дальнейших, более широких политических организаций».

Далее в землячествах происходило более тесное сближение однородных элементов; создавались «кружки саморазвития» из лиц, тяготевших к изучению тех или иных, преимущественно общественно-политических вопросов. Вскоре многие из членов этих кружков приходили к постановке вопросов о задачах общественной деятельности, целях ее, способах действия. Конечно, лишь меньшинство, в конце концов, серьезно думало об этих задачах и серьезно подготовлялось к революционной деятельности, но это меньшинство было довольно значительно и во всяком случае давало тон в землячествах и вообще в среде студенчества.

Наконец, землячества воспитывали студентов еще в совершенно специфическом, так сказать, направлении. Землячества являлись организациями, не дозволенными правительством, участие в которых можно было подвести под одну из статей уложения о наказаниях, чему и было немало примеров; не говоря об исключении из учебного заведения, были не раз случаи высылки и заключения в тюрьме за это «преступление». Поэтому, само собой понятно, землячества были обществами тайными и, вступая в них, студент сразу же попадал в среду конспирации: говорить о земляческих делах можно было лишь с товарищами; каждое собрание требовало известных предосторожностей; чтобы устроить вечеринку, требовался ряд подходов и разных комбинаций. Все это вырабатывало конспиративные привычки, а необходимость скрывать участие свое в таком невинном учреждении, как землячество, которое оказывалось в числе врагов общественного строя, неизбежно наводило на вопрос: да каков же сам-то этот строй, не допускающий таких невинных и полезных учреждений?

Во избежание недоразумений я скажу, что, указывая по самой теме этой статьи лишь на одну из причин, толкавших людей на путь протеста, я вовсе не думаю отрицать других, быть-может, гораздо более существенных. Конечно, огромное влияние на направление мысли студенчества имели угнетение и бедность трудящейся массы, общая реакция против всего демократического, всего смелого; подавление всяких проблесков свободы и самостоятельности лиц и учреждений, лишь одним из проявлений которого было давление на университеты. Все эти причины, вместе взятые, толкали отзывчивую молодежь на путь протеста и пополняли свежими силами группу борцов за освобождение, но часто первым толчком в этом смысле являлось именно угнетение студенчества и, в частности, преследования землячеств. И не удивительно: все-таки средний человек больше всего чувствует те удары, которые обрушиваются на собственную шкуру, и лишь редкие натуры долгим упражнением, так сказать, социальных чувств развивают способность симпатии до таких размеров, что будут больше страдать от несчастий другого, чем от своих собственных.

В Петербурге в описываемое время было до 20 землячеств, охватывавших, по меньшей мере 1500 человек,—цифра немалая для половины восьмидесятых годов.

Постепенно расширяя свою деятельность, эти студенческие организации переходили уже к непосредственному содействию организациям революционным, особенно в сборе средств для партийных организаций и для политического Красного Креста, в распространении нелегальной литературы и пр. Образовывались кружки саморазвития, основывались вольные библиотеки из книг и журналов, изъятых в то время из обращения. Между прочим, одну такую библиотеку устроил я, затратив на нее 1000 р. из принадлежавшего мне небольшого капитала; в ней были собраны лучшие старые журналы и книги, изъятые в 1884 г. из библиотек по распоряжению министра внутренних дел, и много трактатов по истории, политической экономии, социологии и пр. Библиотека эта оказала большие услуги не одному кружку; пользовались ею десятки, а может быть, и сотни лиц. В конце концов, вся она была «зачитана» вследствие многочисленных арестов среди пользовавшихся ею.

Устраивались и такие предприятия, как общественные столовые и кухмистерские, которые, впрочем, неизменно прикры-

вались полицией вскоре после их учреждения; такую судьбу испытала, например, известная в то время кухмистерская донского землячества около Тучкова моста, на создание которой много сил положили Александрин и Говорухин.

В этот момент, в конце 1885 г., среди «земляков» возникла идея устроить союз землячеств. Целью этого объединения его инициаторы выставляли необходимость более планомерной организации студенчества и систематического воздействия на общественное мнение студенческой среды; то и другое являлось ступенью для подготовки будущих революционных деятелей.

Чтобы вполне понять значение союза, необходимо в двух словах наметить те изменения в общественном умонастроении, которые произошли около этого времени.

После 1881 г. «Народная Воля», единственная группа в России, боровшаяся одновременно и против произвола и экономического гнета, оказалась побежденной. Еще до 1883—84 г. можно было питать надежды на ее возрождение, но после провала Лопатина эти надежды исчезли: нужно было начинать дело сызнова. Вместо сильной организации партии бойцов остались отдельные, правда, часто замечательно хорошие, выдающиеся личности и лишь обрывки старой организации, разрозненные кружки, разбросанные там и сям группы, без взаимной связи, без единства в действиях. Между тем реакция приобретала все бо́льшую и бо́льшую смелость и заносила руку на то, что казалось неотъемлемым завоеванием общества. Нужно ли напоминать о закрытии наших лучших журналов, об изъятии из обращения более сотни лучших авторов, о новом университетском уставе, дворянском банке, о комиссиях по пересмотру земского и городового положений, успешно завершивших свою разрушительную реакционную деятельность. Нужно ли говорить о постоянном росте пошлин для покровительства гг. фабрикантам,—росте, всей тяжестью ложившемся на народ, положение которого из года в год ухудшалось?

Параллельно с реакцией правительства шла реакция другого рода, в самом обществе. После 1885 г. у нас решительно процвела какая-то мания уныния и пессимизма. Симпатичный, но сильно-пессимистический Надсон пользовался огромным успехом: он тронул больное место. За ним появлялись другие, менее симпатичные и прямо антипатичные доморощенные пессимистики. Возникли, как всегда в такие времена остановок в обществен-

ном развитии, учения личного совершенствования, устраняющие в принципе всякое коллективное вмешательство личностей в ход истории: Л. Толстой приобрел массу сторонников и поклонников; Фрей (проповедник положительной религии), приехавший в Петербург зимой 1885—86 г., в течение нескольких недель мог пропагандировать свое учение перед многочисленными аудиториями. Знаменитая формула: «наше время—не время широких задач» звучала в этом нестройном хоре все более и более резкой назойливой доминантой. Началась проповедь культурничества и «малых дел на пользу народа». «Нам не нужно подвигов, нам нужны скромные, маленькие труженики»,— раздавалось все чаще и чаще в этом лагере. Среди революционеров начались колебания, возник ряд новых программ, появились новые течения революционной мысли.

Эти перемены в общественном умонастроении не могли не отразиться и на студентах; и в этой наиболее отзывчивой части общества стали появляться толстовцы, культурники, пессимисты-гамлетики. Мало того: реакционно настроенная часть молодежи приподняла голову, почувствовав, что теперь уже на ее улице праздник. Правда, дело не дошло еще до создания монархически-вакхических обществ, как это вышло к концу восьмидесятых годов в Одессе, но все-таки новое настроение, давшее к половине этих годов студентов в мундирах на белой подкладке и и в николаевских шинелях, сказывалось довольно заметно. Здесь-то выступили землячества со своим союзом. Лучшая часть молодежи отстаивала свои идеалы с большой энергией; эта часть шла против ясно выразившегося течения так же, как и уцелевшие группы активных борцов, шла с сознанием правоты своего дела, с решимостью довести его до конца.

Вообще союз относился отрицательно к студенческим бунтам, считая непропорциональным число выбывающих при этом из строя с получаемой пользой; однако он признавал, что бывают моменты, когда чувства напряжены до того, что им нужен какой-нибудь исход, когда нельзя сдерживать движение,—тогда-то он и должен был выступать в качестве негласного руководителя движения. Были при этом надежды на то, что удастся заинтересовать и общество, что удастся и его пробудить от безучастия и овладевшего им пессимизма. К началу 1887 г. союз имел литографию, подготовлялся к выпуску первого номера студенческого органа.

Конечно, организация союза была уже совершенно конспиративная. Представители землячеств часто не знали друг друга по фамилии, и только имя хозяина квартиры, где собирались, было поневоле всем известно. И скоро, благодаря энергии своих членов, союз пустил глубокие корни и приобрел силу. Демонстрация 26 ноября 1886 г. по случаю 25-летней годовщины смерти Добролюбова была организована союзом.

Затем против землячеств были приняты строгие меры: изданы были постановления, запугивавшие молодежь новой формации; дворникам приказано было доносить в участок о каждом собрании студентов свыше пяти человек и т. д. Землячества сильно потускнели, многие совершенно исчезли, другие влачили жалкое существование. Это совпало с окончательной победой реакции.

Итак, мы видим, что деятельность землячеств приняла в союзе яркую политическую окраску, и это было неизбежным следствием общих условий, окружавших студенчество. В лице союза оно поставило своей задачей посильную общественную прогрессивную деятельность. Союз искал противников не среди одних лишь ректоров, попечителей, министров: он сумел связать свое дело с общим движением, бьющим в корень вещей; он понимал, что тяжелое положение студентов есть лишь частное проявление того экономического и политического гнета, который ставит в еще гораздо худшее положение крестьянина, рабочего на фабрике, земца, гражданина вообще. И на этой почве протеста землячества и союз их дали немало ратников для борющейся армии.

Землячества были связаны между собой лишь случайными знакомствами. Я состоял в это время в бюро таврического землячества и знал нескольких членов бюро других землячеств, помню из них М. И. Сосновского из полтавского землячества, Говорухина из донского; других не помню. После предварительного обмена мнениями между некоторыми из земляков произошло собрание представителей нескольких землячеств; как оно было собрано, я не помню, но помню, что в инициаторы пригласили каждый известных ему земляков других землячеств.

На одном из первых же собраний, если не на первом, я познакомился с Александром Ильичем Ульяновым, представителем симбирского или объединенного поволжского землячества, включавшего в себя несколько более мелких погубернских земляческих органи-

заций. С первой же встречи Александр Ильич произвел на меня впечатление человека не слова, а дела; говорил он мало, но все, что он говорил, было как-то особенно веско и положительно. Помню, что в наших взглядах на цели и организацию союза мы с ним вполне сходились. После заседания мы с ним разговорились, и из разговора выяснилось, что совпадение наших взглядов идет гораздо дальше, чем в земляческих делах; выяснилось, что Александр Ильич, как и я, интересуется вопросами экономическими, социологией, историей и много работает по ним. Уже с первого или второго нашего свидания у меня возникла мысль о том, что недурно было бы привлечь его к участию в нашем «экономическом» кружке, который еще продолжал пополняться новыми членами. На одном из заседаний кружка я предложил в члены Александра Ильича, и его, по моей рекомендации, приняли без возражений. Когда я, при ближайшем свидании, предложил ему вступить к нам в кружок, он очень охотно согласился.

Как я упоминал выше, в это время мы в нашем кружке уже переходили от занятий исключительно теоретических к вопросам текущей действительности. Не помню, кому именно из членов кружка пришла о голову мысль устроить 19 февраля 1886 г., в день 25-летнего юбилея освобождения крестьян, какое-нибудь торжество, собрание с речами и т. п. Это было, как известно, время самой глухой и мрачной реакции после разгрома партии «Народной Воли». Относительно 19 февраля ходили слухи, что не только не будут допущены никакие собрания, но даже в газетах не будет пропущено никаких статей о крестьянской реформе, кроме самых кратких упоминаний. Так оно и случилось.

В кружке идея отметить чем-нибудь этот юбилей была встречена очень горячо, и после многих споров было решено повести среди студенчества и в доступных нам общественных кругах агитацию о том, чтобы 19 февраля пойти на Волково кладбище и отслужить там панихиду по деятелям реформы. Все члены кружка, состоявшие в землячествах, в том числе я и Александр Ильич, должны были постараться подбить возможно большее число земляков на эту демонстрацию; такая же агитация должна была быть [illegible]ка и в высших учебных заведениях. Утром 19 февраля [illegible]ковом кладбище собралась небольшая толпа, человек ок[illegible] почти исключительно студенческой молодежи. Полиции не бы[illegible] к концу панихиды, которую смущенный священник с трудом согласился отслужить, появились какие-то

околоточные с городовыми. На могилы Добролюбова и др. были возложены венки. Никаких репрессий со стороны полиции не было, и собравшиеся спокойно разошлись по домам.

Таким образом, по инициативе нашего кружка, впервые после Казанской демонстрации 1876 г. на улицу вышла группа лиц с целью демонстрации, правда, более чем скромной. Этот опыт показал нам, во-первых, что инициатива небольшого числа людей, при известной конъюнктуре, достаточна, чтобы вызвать некоторое общественное движение; во-вторых, что для того, чтобы подобные движения имели сколько-нибудь широкий размах, необходима лучшая организация, через которую можно было бы воздействовать на широкие массы молодежи. Что касается «общества», наш опыт убедил нас, что на него рассчитывать не приходится.

С этого момента я и другие члены землячеств из нашего кружка принялись особенно усердно работать над созданием союза землячеств, который и организовался окончательно к весне — в марте или апреле 1886 г. В союз вошло 13 или 14 землячеств, остальные остались вне его; осенью этого года к союзу примкнуло еще 3 — 4 землячества, и тогда он охватил почти все землячества Петербурга, за исключением двух - трех.

В состав союзного совета из членов нашего кружка вошли Александр Ильич Ульянов и я. Кроме нас я помню Сосновского, О. М. Говорухина, Яковенко; с осени 1886 г.— Лукашевича, Новорусского; к сожалению, это было так давно, что память мне изменяет, и я не могу больше назвать ни одной фамилии. На заседаниях совета бывало до 12 — 15 человек.

Вскоре после организации союза наступили каникулы, а на это время студенческая жизнь в Петербурге замирает, и огромное большинство студентов разъезжается в провинцию. Осенью союз снова начал действовать, но в это время события стали развертываться так быстро, что я почти не принимал участия в нем. Нужно сказать, что деятельность союза была слабой, да и не могла быть иной по понятным причинам (разнородность входящих в него лиц, текучий переменный состав членов, отсутствие строгой идеологии и расплывчатость организации и пр.), о которых здесь распространяться не приходится. Александр Ильич также охладел к союзу и мало в нем работал. Лишь в организации демонстрации на Волковом кладбище 17 ноября (день смерти Добролюбова) союз сыграл большую роль.

*

Тем временем в нашем экономическом кружке шли регулярные занятия уже не политической экономией; как я сказал, у нас читались теперь рефераты на разные политические темы текущего характера. Кроме этих рефератов, в кружке несколько раз появлялись и делали сообщения или доклады посторонние лица. Из таких докладов я помню в особенности два: один — апостола «позитивной» религии Фрея, другой — А. Г. Штанге.

Фрей приехал по каким-то делам из Северо-Американских Штатов, куда он давно эмигрировал и где был натурализован американским гражданином. Он был ярым последователем и другом Огюста Конта, после смерти которого и переселился в Америку. Из всего учения Конта Фрей остановился исключительно на его самом позднем и самом слабом произведении: на «религии человечества», апостолом и глашатаем которой он и стал в Америке. Вокруг него собралась некоторая группа последователей, — не знаю, насколько большая, — которая и основала во главе с Фреем колонию единомышленников.

Приезд в Петербург Фрея возбудил интерес в петербургском обществе. В это время не только политической, но и общественной реакции, когда «общество» (интеллигенция) в массе потеряло веру в успешность революционной борьбы и в скорую победу над самодержавием; когда все живые силы были подавлены и всякое проявление инициативы и самодеятельности рассматривалось в правящих сферах почти как политическое преступление; когда велась открыто на страницах бывших «хороших» журналов проповедь «малых дел» и отказ от широкой постановки общественных вопросов, а проповедь «непротивления злу» Л. Толстого вызывала большой интерес и собирала довольно много сторонников, — в это время идеи, пропагандируемые Фреем, попали в тон господствующему унылому настроению, и в широких кругах Петербурга было очень много людей, желавших послушать приезжего проповедника. В течение короткого пребывания в Петербурге (не более месяца, сколько помнится) Фрей не раз выступал с проповедью «религии человечества» или позитивной религии в разных домах Петербурга. Один раз такое собрание было устроено у нас на квартире. Было очень много народу, большей частью совершенно незнакомого ни мне, ни моим домашним; был почти в полном составе и наш экономический кружок. В. В. Бартенев в своей статье говорит, что «мы посвятили Фрею два или три заседания». Этого я совершенно не помню; мы

слушали Фрея на том собрании, о котором я говорю, а потом на одном из заседаний кружка толковали о том, что от него услышали.

Вообще Фрей не имел большого успеха в Петербурге и не приобрел адептов для своей религии. Я не буду излагать суть его проповеди (которую не помню и которая не представляет интереса); скажу только, что на нас, членов кружка, он произвел самое безотрадное впечатление скудостью, бедностью мысли и полным несоответствием идеалов с нашими социалистическими; то, в чем он видел счастье человечества, нам казалось совершенно жалким и бедным в сравнении с нашими широкими и смелыми построениями будущего человеческого общества; средства достижения этого счастья людей по Фрею совершенно не могли сравниться с той революционной борьбой, к которой мы готовились и в которой уже принимали, по мере сил, участие, а его странная коммуна, где люди, насколько я помню, должны были публично каяться по субботам или по воскресеньям в содеянных за неделю прегрешениях делом, словом или помыслами, представлялась нам какой-то неискренней пародией, каким-то фальшивым публичным самобичеванием, обнажением своего внутреннего «я» от всяких покровов и фиговых листков. Несмотря на то, что учение Фрея по существу совершенно не сходно с учением Л. Толстого, мы не могли не проводить параллели между тем и другим в том отношении, что оба отвлекали мысль от реальной обстановки, от действительной жизни, как она есть, и направляли ее в сторону мистического самоослепления, налагая на личность вместо трудной политической борьбы лишь обязанности «самоусовершенствования».

Таково именно было общее заключение наших прений в кружке по поводу проповеди Фрея, и Александр Ильич горячо и сильно критиковал проповедника.

С А. Г. Штанге я познакомился случайно у кого-то из знакомых интеллигентов. Не знаю, как и почему, но с первой же встречи Штанге заинтересовался мной, и вскоре у нас с ним образовались дружеские и притом очень своеобразные отношения. Штанге был уже не молодой человек, лет за сорок, с высшим образованием, кажется, юрист, холостяк. Чем он занимался раньше, — не знаю; в Петербурге в это время у него не было определенных занятий, но он имел какое-то касательство к литературе и журналистике, где у него были знакомства, и какую-то отдаленную связь с деятелями «Народной Воли», так сказать,

героического периода. Между прочим, он близко знал покойного Глеба Ивановича Успенского, тогда уже проявлявшего первые признаки душевного расстройства, с которым познакомил и меня; раза два я был со Штанге у Глеба Ивановича на его журфиксах.

Когда мы познакомились ближе, Штанге стал убеждать меня в бесполезности революционной борьбы с правительством, которая-де не может дать никаких положительных результатов; со своей стороны, он предлагал вести лишь усиленную агитацию в «обществе» в пользу своеобразной конституции, которая представлялась ему возможной в форме «земского собора», измененного соответственно условиям и потребностям конца XIX века. Он верил почему-то, что если его идея будет воспринята земствами и городскими самоуправлениями, и если ее удастся довести до сведения императора Александра III, то земский собор будет созван, и мы таким образом получим «истинно-русское» конституционное учреждение.

Само собой разумеется, я никак не мог усвоить и разделить эти сумбурные идеи. Узнав от меня о существовании нашего кружка, он просил меня дать ему случай изложить свой проект в кружке. Товарищи согласились выслушать Штанге, и на одном из собраний он выступал с подробным докладом о земском соборе. Не к чему говорить, что все мы обрушились на Штанге с самой резкой критикой его проекта, и я помню, что очень горячее участие в этих прениях принял и Александр Ильич. Таким образом, среди нас Штанге последователей не нашел, но со свойственным ему большим добродушием он отнесся очень спокойно к нашей критике и к тем резкостям, которые ему пришлось выслушать, и потом еще несколько раз бывал у нас в кружке по разным поводам, а со мной продолжал самые приятельские отношения.

Приблизительно в это же время, поздней осенью или зимой 1886 г., я, мой брат и еще кто-то из нашего кружка встретились с одним из первых социал-демократических кружков Петербурга.

В конце 1886 г. Бартенев, имевший очень большие связи и знакомства среди петербургской молодежи и в «обществе», натолкнулся на один из социал-демократических кружков. После двух-трех встреч и после некоторого обмена мнениями, он предложил членам этого кружка встретиться с нами, членами эконо-

мического кружка. Те охотно согласились, и вот однажды вечером мы пришли по адресу, указанному Бартеневым, куда-то на Пески, и здесь в очень хорошей квартире нашли поджидавших нас 5—6 человек социал-демократов. Нас было тоже около этого числа, но я помню только трех: себя с братом и Бартенева.

Социал-демократы производили впечатление людей очень солидных; почти все были значительно старше нас и очень основательно подготовлены в смысле научного багажа; один или два из них обладали также несомненными диалектическими способностями и оказались довольно сильными полемистами. Беседа свелась, главным образом, к изложению и обоснованию ими своей программы; после немногих вопросов и возражений с нашей стороны, последовала критика программы «Народной Воли», народничества вообще и т. д. Засиделись мы за этой беседой очень долго, при чем гораздо больше слушали, чем говорили. Меня эта дискуссия не переубедила, но я во всяком случае увидел, насколько прочно обосновано учение социал-демократов, и как много нужно приложить усилий и собрать фактов, чтобы опровергнуть некоторые неприемлемые для меня положения.

На 17 ноября 1886 г. приходилась 25-летняя годовщина смерти Добролюбова. Кто-то из членов нашего кружка вспомнил об этой дате и предложил чем-нибудь отметить ее. Посвятив этому вопросу одно из наших собраний, мы пришли к решению опять устроить демонстрацию, но в более широких размерах, чем это было 19 февраля. Из нашего кружка через союз землячеств и непосредственно по учебным заведениям была поведена соответственная агитация, которая была встречена довольно сочувственно студенческой массой; в последней накоплялись очевидные признаки нарастания недовольства и подъема настроения, для чего было более чем достаточно поводов (хотя бы закрытие лучших журналов и изъятие множества популярных среди студентов, можно сказать, настольных книг,—Милля, Спенсера, Бокля, Маркса и многих других; новый университетский устав 1884 г., к этому времени вполне обнаруживший все свои отрицательные стороны, и пр., и пр.). Нам казалось, что настроению студенческой массы нужно дать исход, а демонстрация, на которой предполагалось произнесение соответственных речей и которую можно было осветить в прокламациях, представлялась нам отличным агитационным средством для привлечения в ряды революционных борцов новых кадров молодежи.

На этот раз на призыв откликнулось гораздо больше молодежи. К моему большому сожалению, в эти дни я был болен тяжелым бронхитом с высокой температурой, лежал в постели и не мог попасть на демонстрацию; рассказ о ней слышал от непосредственных участников, главным образом от Александра Ильича и от А. В. Москопуло.

Как было условлено, часам к 12 дня группы манифестантов стали подходить к концу Невского проспекта около Николаевского вокзала; отсюда большой колонной человек 1000 — 1500 двинулись на Лиговку с пением «вечной памяти» Добролюбову. Некоторые ехали конками прямо к Волкову кладбищу или присоединялись к главной процессии по дороге. Перед самым кладбищем демонстранты были встречены полицией. Ворота кладбища были заперты, и полиция отказалась пропустить туда демонстрантов. После довольно долгих переговоров согласились пропустить к могиле лишь депутатов с венками. Остальная публика дожидалась возвращения их и затем пошла обратно, повернув к Невскому. Градоначальник Грессер пробовал убеждать студентов разойтись, но, не успев в этом, вызвал казаков, которые оцепили демонстрантов. Выпускали по нескольку человек, которым предлагали разойтись. При этом полиция отмечала, конечно, более активных или состоявших ранее на подозрении.

На следующий день или в самые ближайшие дни несколько десятков из задержанных были исключены из учебных заведений и высланы из Петербурга. Эта расправа произвела на студенчество самое тяжелое впечатление. Союз землячеств ответил прокламацией «К обществу», в редакции которой принимал участие Александр Ильич; в студенческой массе пошли толки о необходимости ответить на расправу с мирными манифестантами и показать правительству, что нельзя безнаказанно давать волю полицейскому произволу. Шли разговоры о террористическом акте, при чем некоторые называли градоначальника, другие находили нужным прибегнуть к «центральному» террору, направив его против царя, как главного виновника и лица, ответственного за всю реакционную политику.

Впервые я услышал мысль о необходимости покушения на царя от А. В. Москопуло, которая пришла ко мне вскоре после демонстрации (я еще не выходил из дому) и, после рассказа о ней и начавшихся арестах и высылках, коснувшихся некоторых близких знакомых, сказала мне, что она намеревается

убить царя. Я давно уже примкнул к «Народной Воле» и был убежденным террористом, и именно сторонником центрального террора, а настоящий момент мне казался подходящим для попытки в этом направлении. Я успокоил, сколько мог, А. В. Москопуло; указал ей, что изолированные попытки цареубийства неизбежно осуждены на неудачу, и что если можно надеяться на успех покушения, то только при том условии, когда оно будет тщательно подготовлено и организовано, и в самом близком будущем обещал сообщить ей, как эта мысль будет встречена в революционных кружках, и постараться дать ей роль в деле, как она того настойчиво требовала.

Идея цареубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовался гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень многие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота? Но где можно было найти таких людей?

От партии «Народной Воли» в это время оставались одни лишь обломки, одна лишь старая славная фирма, если можно так выразиться. 1 марта 1881 г. явилось кульминационным пунктом деятельности партии «Народной Воли». В центре работы Исполнительного Комитета стояло цареубийство; в течение более двух лет все почти силы и средства партии были брошены в эту сторону; остальные стороны партийной работы — пропаганда, организация сил, подготовка новых революционеров на смену старым — были как бы в забросе, в пренебрежении. И в результате, после блестящего, казалось бы, успеха, после убийства Александра II, партия осталась почти без людей и без средств: все было затрачено на эту титаническую борьбу.

Развалу партии много посодействовали и предательства, неизбежно появляющиеся около всякого конспиративного дела, как это показывает история революционной борьбы в любой стране и в любую эпоху. Сначала Гольденберг, а потом еще в гораздо большей степени Дегаев, предали в руки жандармерии огромное число революционеров и погубили много организаций, но, кроме них, были и другие, более мелкие провокаторы и предатели.

После ареста В. Н. Фигнер (1882 г.), Германа Лопатина и вслед за ними большого числа народовольцев (1883—1884 г.), после ликвидации «молодой Народной Воли» с Якубовичем (Мельшиным) во главе (1884 г.), после изъятия Оржиха

и других молодых народовольцев, партия в действительности перестала существовать. Исполнительного Комитета, когда-то грозного врага самодержавия, одно имя которого заставляло трепетать обывателя и внушало почтение и страх даже жандармам и министрам, давным-давно не было; он не возобновлялся после ареста В. Н. Фигнер, последней из членов Комитета, остававшихся в России. В Петербурге оставалась из народовольцев лишь молодежь, в роде меня грешного, почти не организованная, не имевшая ни типографии, ни сносного паспортного бюро, ни литературы, ни средств; в это время не было, вероятно, в Петербурге ни одного нелегального народовольца, а из партийных организаций существовала лишь так называемая рабочая группа партии «Народной Воли», состоявшая из нескольких студентов и имевшая вокруг себя с полдюжины или десяток рабочих кружков, да отдельные кружки и лица, занимавшиеся пропагандой в студенческой среде, среди военных юнкеров, распространявшие и изготовлявшие «кустарным» способом на гектографе нелегальную литературу.

При этих условиях нужно было или отказаться от мысли о центральном терроре, или попытаться делать его собственными силами, не рассчитывая ни на какую помощь со стороны. А между тем, как я сказал, эта мысль положительно носилась в воздухе.

Как выяснилось на следствии и процессе по делу первомартовцев 1887 г.,[1] некоторые из его участников, совершенно не зная друг о друге, приходили каждый к мысли о насущной необходимости цареубийства. Осипанов показал, что он перевелся из казанского университета в петербургский (в 1886 г.) только с целью убить Александра III, при чем предполагал сначала, пока не натолкнулся на группу террористов, сделать это единолично при помощи револьвера. Думал о том же Андреюшкин; не только думали, но и начали кое-какие приготовления Лукашевич и Шевырев; думала А. В. Москопуло, и постоянно в течение $1^1/_2$—2 лет думал и я. Подобные же мысли и неопределенные планы бродили в головах многих революционно-настроенных студентов; упомяну еще о Говорухине и Сосновском, которые тоже играли некоторую роль в деле 1 марта 1887 г.

[1] См. брошюру Полякова «Второе 1-е марта».

При первой моей встрече с А. И. Ульяновым после демонстрации 17 ноября я заговорил с ним на эту тему, и с первых же слов оказалось, что он также считал настоящий момент очень подходящим для центрального террористического акта; он указывал лишь на большие трудности этого предприятия в виду отсутствия организации, людей и средств.[1] Мы с ним решили позондировать почву и поискать подходящих людей.

Долго искать нам не пришлось, так как люди эти были тут же, рядом с нами. Оказалось, что член союза землячеств И. Д. Лукашевич, хорошо знакомый с Александром Ильичем по университету, не только думал о покушении, но уже готовился начать приготовление динамита для будущих бомб. В начале или половине декабря 1886 г. уже составилась группа террористов, решивших попытаться устроить покушение на царя, в которую входили Лукашевич и Шевырев, как инициаторы, Александр Ильич, я, Говорухин; вокруг нас были товарищи, не посвященные в дело, но игравшие подсобную роль и, наверное, догадывавшиеся, какое предприятие готовится; это были Сосновский, Буковский и некоторые другие; мне помнится, что в числе их был и Новорусский,[2] хотя по процессу и по его воспоминаниям видно, что он, будто бы, до самого конца, приблизительно до начала февраля 1887 г., не догадывался о покушении.

Все перечисленные лица, к которым впоследствии (уже после моего ареста) присоединились через Шевырева Осипанов, Андреюшкин, Генералов, а потом Канчер, Горкун, Волохов и др., составили «террористическую фракцию партии Народной Воли» и под этим именем фигурировали на процессе. Из фракции естественным путем выделилась «центральная группа», состоявшая из Шевырева, Лукашевича и Говорухина;[3] после отъезда Шевырева в Крым, в центр вошел А. И. Ульянов, которому и выпала на долю честь быть главной, центральной фигурой процесса первомартовцев.

Кем же были по основным своим взглядам члены террористической фракции? — На этот вопрос приходится ответить, что

[1] В своем показании от 21 марта Александр Ильич говорит: «Мне одному из первых принадлежит мысль образовать террористическую группу».

[2] Новорусский рассказывал мне, что он спросил, для какого дела нужна его квартира, и, когда узнал, что для центрального террора, сказал: «для другого я и не дал бы». *А. Е.*

[3] Лукашевич не считает Говорухина членом центральной группы, но близким лицом. *А. Е.*

группа эта была неоднородна. Из показаний Лукашевича на следствии и из его позднейших воспоминаний[1] мы видим, что у него в это время сложилось вполне марксистское миросозерцание, и он мог бы быть по своим взглядам членом образовавшихся тогда в Петербурге первых социал-демократических кружков. В. В. Бартенев пишет про наш экономический кружок, что «те из нас, которые особенно стояли за террор, в то же время по своим экономическим воззрениям были ярыми марксистами. Сами себя они называли народовольцами, хотя по вопросам о судьбах капитализма в России, о разложении общины, об особенно важной роли рабочего пролетариата они скорее могли бы быть причислены к социал-демократам». Это утверждение Бартенева, по-моему, не соответствует действительности, доказательством чему могут служить примеры мой и моего брата. У моего брата уже в это время слагалось марксистское мировоззрение, но как раз он далеко не был «ярым» террористом, а, наоборот, подходил к вопросу о терроре очень осторожно и не высказывался за него определенно. Я считал себя сторонником научного социализма и вполне принимал все основные положения К. Маркса (о прибавочной стоимости, о первоначальном накоплении капитала, о противоречиях капиталистического строя, ведущих к противоположению двух классов и к конечному революционному взрыву и пр.), но я в то же время не признавал той исключительной роли за экономическим фундаментом общества, какую признавал за ним Маркс, и считал, что образовавшиеся на данном фундаменте «надстройки» — юридические, политические, идейные, моральные, — раз уже получив бытие и оформившись, ведут до поры до времени самостоятельное существование и, в свою очередь, могут также влиять на экономический базис. Иначе, чем Маркс, смотрел я и на роль личности в истории; считал также ошибочной философской системой материализм вообще и экономический материализм в частности. Появившиеся незадолго перед этим полемические книги Плеханова, в особенности «Наши разногласия», не только не были для меня убедительными, но отталкивали меня и возмущали хлесткостью своего тона и недопустимыми, как

[1] П. Д. Лукашевич. «Воспоминания о деле 1 марта 1887 г.» («Былое», июль-август 1917 г.). В изложении помещены в этом сборнике. Показаниям на следствии, как это указывается нами далее, придавать большого значения нельзя. *А. Е.*

мне казалось, полемическими приемами. Словом, будучи социалистом (коммунистом по своим основным идеалам), я никак не мог быть причислен к марксистам в принятом значении этого слова, а между тем, я был убежденным террористом и, как мне кажется, с полным правом причислял себя к народовольцам и состоял в партии «Народной Воли». Таким образом выходит, вопреки утверждению Бартенева, что мой брат, марксист, не был террористом, а я, террорист, не был марксистом.

Приблизительно моих взглядов придерживались и другие члены кружка: А. В. Москопуло, Погребов, Фойницкий, Буковский. Чистым народником, не террористом был Гизетти. Марксистами более или менее выраженными были мой брат и Бартенев; в эту же сторону склонялся М. Т. Елизаров. Относительно Ватсона, Гарнака, Чеботарева и Иванова не могу ничего сказать,—не помню, но, кажется, по крайней мере, три последних, если не все четверо, тоже скорее не были в то время марксистами.[1]



Как ни был я близок с Александром Ильичем, я не могу теперь сказать с полной уверенностью, к какому из двух направлений следовало его в то время причислить. По тому, что им высказывалось во время разных дебатов в нашем кружке и в моих личных с ним разговорах, я считал его в то время скорее моим единомышленником, т.-е. не марксистом в принятом значении этого слова. Но, как и я, он был марксистом в другом смысле, так как принимал основные положения учения Маркса; что же касается народничества в духе В. В. и ему подобных, он относился к нему очень критически, как, впрочем, и почти все мы.

Из образовавшейся группы террористов почти никто не был членом партии «Народной Воли». Вообще оффициально принятых в партию людей было тогда в Питере очень мало, и

[1] Считаю, что нельзя назвать марксистами ни Бартенева, ни Алексея Андреевича Никонова, ни Гарнака, Чеботарева и Иванова. Елизаров в те годы марксистом также не был. Вообще считаю неправильной классификацию как Бартенева, так и С. А. Никонова. Определившихся марксистов из числа называемых лиц, по-моему, тогда не было. Было перепутье: от народничества чистой воды, с верой в общину, публика более или менее оторвалась, к марксизму не пристала. Как раз те, кого С. А. Никонов называет марксистами,—А. А. Никонов и Чеботарев,—стали позднее кадетами. Различие, указываемое С. А. Никоновым, среди членов кружка проходило тогда скорее по другому водоразделу, указываемому Бартеневым: более революционных, горячих, и более мирных натур,—было больше различием темпераментов, чем теоретических убеждений. *А. Е.*

из нашего кружка я был, кажется, единственным. Из союза землячеств в партии не было тоже никого или почти никого. На тех немногих собраниях народовольческой петербургской группы, на которых мне пришлось быть (всего 3 или 4 раза в 1886 г.), я не встречал никого из первомартовцев. Если не считать Гаусмана, Залкинда, Брамсона, которые были арестованы или (Залкинд) уехали в начале года, на этих собраниях бывало человек 15, из которых я помню Игнатова, Гильгенберга, офицера Бруевича, еще 3—4 фамилии позабыл. Остальных я знал под разными прозвищами, потому что собрания были, понятно, очень конспиративные, и мы даже здесь избегали без нужды открывать инкогнито товарищей. На этих собраниях присутствовало лишь меньшинство тогдашних питерских народовольцев — представители кружков и отдельных организаций.

Молодежь в это время очень «искала Исполнительного Комитета», но он уже не существовал, и мы это отлично знали. Еще до принятия меня в партию «Народной Воли» я как-то верил, что если нет Исполнительного Комитета, сейчас, то он образуется, но Гаусман окончательно разочаровал меня в этом отношении. Я уверен, что и Александр Ильич не создавал себе в этом иллюзий. Поэтому я решительно не могу себе представить, к кому бы из членов Исполнительного Комитета мог ходить на свидание Александр Ильич, как это утверждает Говорухин. Здесь, кажется, есть что-то очень странное.

Когда мы принялись вплотную за приготовления к покушению, у меня с Александром Ильичем несколько раз происходили разговоры на тему о том, под каким флагом нам следует выступить. В этом между нами разногласий не было: мы оба полагали, что единственное знамя, которое мы могли поднять, было старое боевое знамя «Народной Воли»; этим именем и назвала себя террористическая фракция. Название фракции мы решили принять потому, что это было наименее обязывающее название. Мы не могли говорить ни о каком Исполнительном Комитете, который, как всем было известно, давно уже не существовал; не могли выступить и от партии «Народной Воли» вообще, так как мы действовали за свой страх и риск в Петербурге, без связи с другими партийными организациями или их обломками в России. Но собственно о вопросах теории, философии, истории и т. п. между нами в это время разговоров не велось; одну лишь сторону мы с Александром Ильичем хотели подчеркнуть

в будущем изложении нашей программы: принимая в основу будущего нашего заявления известное письмо Исполнительного Комитета к Александру III после убийства его отца и программу партии «Народной Воли», мы хотели исключить оттуда все те слова и выражения, которые трактовали о народнических взглядах партии (как известно, программа начиналась словами: «Мы, социалисты-народники»).

Эти наши решения были при обсуждении вопроса приняты фракцией и, в конце концов, при составлении программы фракции (уже после моего ареста) эти главные, намеченные нами с Александром Ильичем, черты ее были им сохранены.

Признав и назвав себя террористической фракцией партии «Народной Воли», мы тем самым как бы все коллективно вступали в партию, не имея на это, однако, никакой оффициальной санкции. К местной народовольческой группе, как таковой, мы не обращались, так как знали, что там нет людей для замышляемого дела (нет террористической группы или фракции). Переговоры с местной группой на эту тему могли только повредить конспиративности предприятия, увеличивая без всякой пользы круг лиц, осведомленных о нем. В случае нужды мы всегда имели возможность обратиться за содействием к отдельным народовольцам.

С Александром Ильичем я не говорил о его вступлении в партию «Народной Воли» до образования террористической фракции. Я как-то всегда предоставлял людям самим определиться и не мог подталкивать их в сторону очень обязывающих решений; к тому же, только недавно принятый в партию сам, я не считал возможным рекомендовать ей новых членов. Когда же у нас зашла речь о программе фракции, о знамени и т. д., то вопрос о вступлении в партию каждого в отдельности отпал, так как мы все вступили в партию, так сказать, коллективно, в качестве ее фракции.

Если спросить себя, как могли бы сложиться взгляды Александра Ильича в дальнейшем, если бы он не погиб, то на этот вопрос я уж совершенно не берусь ответить. Мне кажется, что его развитие могло пойти и в сторону марксизма, и в сторону народовольчества. Хотя я его близко узнал за полтора года нашего знакомства и еще более сблизился за два месяца совместной работы по заговору против Александра III, хотя он был наиболее близким мне товарищем из всех знакомых студентов

и революционеров, хотя я считал его моим другом,— я все-таки не берусь решать вопрос об этих возможностях развития, но, повторяю, мне казалось, что в то время, в конце 1886 г. и в январе 1887 г., наши взгляды и убеждения приблизительно совпадали.

Остальных членов террористической фракции я знал меньше, теоретических разговоров с ними почти не вел, но в самом факте объединения их во фракции, носившей имя фракции «Народной Воли», видел их идейную близость именно с этой партией.

О деле 1 марта 1887 г. есть несколько воспоминаний (Лукашевича, Новорусского), обстоятельная работа Полякова, и это все или почти все. Со своей стороны, я не стану распространяться об этом деле, тем более, что я был арестован 28 января, т.-е. за 31 день до ареста заговорщиков; между тем, именно в этот последний месяц шли самые спешные и напряженные приготовления к покушению. Я остановлюсь на некоторых, совершенно неизвестных еще деталях и позволю себе исправить некоторые неточности, которые вкрались в работу Полякова.

Поляков пишет, что «к началу 1886—7 г. Шевырев и Лукашевич оказались организаторами дела и, само собой вышло, что составили центральную группу фракции» (стр. 21). Из того, что я сказал выше, ясно, что в начале 1886—7 учебного года никакой террористической фракции еще и в помине не было, и что она возникла лишь в декабре 1886 г. Что касается «центральной группы» фракции, то она, конечно, могла образоваться лишь после организации самой фракции, т.-е. опять-таки не ранее декабря. Когда я и Александр Ильич Ульянов начали работу вместе с Лукашевичем и Шевыревым, центральной группы еще не было, и образовалась она (формально, по крайней мере) скорее всего в январе, вероятно, уже после моего ареста. До того времени все участники работали каждый в своей области, и в выделении особой руководящей группы не чувствовалось надобности; может быть, вернее было бы сказать, что фракция и центральная группа совпадали. Вероятно, выделение центра произошло позже, когда к заговору были привлечены еще многие лица — метальщики (Осипанов, Андреюшкин, Генералов), сигнальщики (Канчер, Горкун, Волохов) и разные подсобные лица (Новорусский, Ананьина, Шмидова и др.). Я думаю, что эта деталь —

выделение центрального руководящего кружка — была проведена Шевыревым.[1]

Далее, Поляков говорит, что «центральный кружок — руководитель всего дела — решил приступить к образованию отдельных боевых ячеек, неизвестных друг другу и действующих каждая самостоятельно. Неудача одной из групп могла быть исправлена выступлением другой, третьей и т. д.

Мысль о желательности образования нескольких не связанных между собой террористических групп, которые могли бы выступить одна за другой в случае провала предыдущей, высказывалась не раз Александром Ильичем, мной и другими участниками дела с самого начала; особенно настаивал на необходимости этой меры Шевырев на одном нашем совещании, которое происходило, помнится, в квартире Александра Ильича. Шевырев, больной, лежал на кушетке; я, Александр Ильич, Говорухин и (помнится) Лукашевич расположились вокруг него. Александр Ильич возражал, указывая на трудность, почти невозможность осуществить эту меру за отсутствием достаточного количества людей, способных пойти на террористический акт. Тогда эти разговоры не привели ни к чему, да и не могли привести, потому что Александр Ильич был совершенно прав: организуемое покушение исчерпало все наличные силы, которых было действительно очень мало. Быть может, впоследствии и были сделаны Шевыревым такие попытки, но мне о них ничего неизвестно, и во всяком случае они остались безрезультатными.[2]

Наконец, обо мне лично Поляков сообщает уже совершенно не соответствующую действительности вещь: «третья (боевая) группа намечалась студентом военно-медицинской академии С. А. Никоновым, оказывавшим и раньше много ценных услуг фракции», и далее, в примечании: «причастность Сергея Андреевича Никонова к делу 1 марта так и осталась неизвестной прави-

[1] Думаю, что такого выделения или оформления центральной группы не было вовсе: С. А. Никонов, арестованный 28 января, не знал ее; после же его ареста, если принять во внимание, что Шевырев уехал 14 февраля, а Говорухин 20, не было собственно времени, чтобы организоваться. Вернее, что самым фактом работы люди, — главным образом А. И. Ульянов с 17 февраля,— стали во главе заговора. *А. Е.*

[2] Как указывается и Лукашевичем в добавлении к его воспоминаниям. Он говорит, что следующие группы лишь намечались Шевыревым. *А. Е.*

тельству. Никонов привлекался во второй половине 1887 г. по делу о военно-революционных кружках и административно был выслан в Восточную Сибирь на четыре года».

Не знаю, может быть, какой-нибудь террористический кружок действительно был организован, но что касается меня, то могу сказать категорически, что я никакой боевой группы не намечал и не организовывал, а просто принял участие в работе террористической фракции вместе с Ульяновым и др. Далее, мой арест по военному делу произошел не во второй половине 1887 г., а 28 января; если бы я не был арестован в январе, я, конечно, не дождался бы второй половины этого года. Должен сказать также, что причастность моя к делу, повидимому, все-таки несколько подозревалась следственными властями, о чем я скажу подробнее дальше.

Когда вопрос о покушении на царя был решен принципиально, прежде всего нужно было добыть хоть кой-какие средства на необходимые расходы. По приезде в Петербург, в университет, я и мой брат получили от отца капитал по 6000 руб. каждый; деньги эти в процентных бумагах хранились отцом в банке, но он дал нам право распоряжаться ими по нашему усмотрению. Я уже почти полностью растратил свою долю на разные дела, и теперь у меня оставалась только единственная последняя тысяча; сейчас же я ее взял и передал во фракцию.

Мне же удалось получить еще несколько сот рублей, не помню только, сколько именно,[1] следующим образом. Однажды упоминавшийся выше Штанге пригласил меня на собрание у одного известного в то время в Петербурге зубного врача — Лимберга. Придя сюда со Штанге, я застал небольшую компанию, человек 7—8 незнакомых мне лиц; как оказалось, это были все люди из петербургского «общества», интеллигенты разных профессий. Разговор шел на тему о том, что теперь делать, имея в виду тяжелую политическую конъюнктуру; какие поставить в ближайшую очередь политические задачи и какие пути наметить для их осуществления. Штанге все распространялся о своем земском соборе; другие переносили центр тяжести на земскую работу, которая должна-де вывести Россию из тупика. Никто ни словом не обмолвился о необходимости революционной борьбы и вовлечения масс рабочих и крестьянства в эту борьбу.

[1] Жена моя припоминает, что было получено 700 рублей.

Раздраженный этой либеральной болтовней и зная, что я являюсь таким же незнакомцем для собравшихся, как и они для меня, я выступил с очень горячей, хотя и краткой, тирадой о необходимости продолжать и углублять революционную борьбу, в частности, о неотложной необходимости террористической, и притом центральной, деятельности.

Присутствующие накинулись на меня с резкими возражениями. Во время всех этих дебатов я обратил внимание на брюнета небольшого роста, сравнительно еще молодого, который за все время собрания не проронил буквально ни одного слова. Когда, по окончании собрания, мы расходились, этот брюнет пошел со мной, отрекомендовался мне юристом, служащим в Сенате, и выразил мнение, что я напрасно выступаю перед такой аудиторией. Из дальнейшего разговора оказалось, что он — народоволец из молодых, уцелевший после разгрома группы Якубовича («молодой Народной Воли»), с которым он был близко знаком. Впоследствии Штанге, лично его знавший, подтвердил мне все эти сведения. Расставаясь, мой новый знакомый предложил мне свои услуги, если мне понадобится какая-либо помощь для революционных дел, и дал указания, как я его могу найти в случае нужды.[1]

Когда нам понадобились деньги, я обратился к нему и через несколько дней получил порядочный куш, несколько сот руб. Само собой, что о цели, для которой деньги предназначались, я не сказал ему ни слова. Тогда же он предложил мне передать кое-какое оружие, которое хранилось в известном ему надежном месте; я взял это оружие, среди которого было лишь 3 — 4 годных к употреблению револьвера; эти револьверы я передал в наши организации, а остальное оружие — несколько кинжалов и револьверы — были выброшены в Неву моими родными после моего ареста.

[1] Фамилию этого знакомого я совершенно забыл. Впоследствии он женился на курсистке Корбут, знакомой моей жены, с ней мы встречались потом в Сибири. Сидя уже в доме предварительного заключения, я однажды был изумлен, увидев его стоящим у одной из камер нижнего этажа, где обычно давались свидания; меня в это время вели на прогулку. Был ли он в тюрьме по службе, или же его привели для опознания кого-нибудь из арестованных, быть-может, меня, я так и не знаю. Но я до сих пор не могу забыть того пристального и какого-то печального взгляда, который он устремил на меня.

*

Доставали деньги также Лукашевич, Александр Ильич и др. Но все-таки, в конце концов, мы располагали для дела совершенно ничтожными суммами. Впрочем, на первое время расходы были небольшие. Динамит и бомбы готовились у Лукашевича на квартире, и для этой цели нужно было лишь немного денег на покупку материалов. Вообще первое время никаких специально нанятых конспиративных квартир у нас не было; не было и нелегальных товарищей, которых нужно было бы содержать. Расходы предвиделись в будущем.

В конце декабря Лукашевич заявил, что вырабатывать самому азотную кислоту слишком кропотливо и медленно и что следует съездить в Вильно к его товарищам, у которых можно будет, по его соображениям, достать готовую азотную кислоту. Нужно было кому-нибудь поехать; Александр Ильич предложил поехать мне или же найти какого-нибудь верного человека, которому можно было бы поручить это дело. Я мог бы поехать, но считал, что мне, стоявшему в центре фракции, не очень удобно рисковать своей легальностью (так как, несомненно, известный риск в этой поездке был). Я обратился к моему старому другу, члену нашего экономического кружка, К. Р. Буковскому, и он охотно взял на себя миссию съездить в Вильно и войти в сношения с тамошней группой. Мой выбор был одобрен Александром Ильичем; мы снабдили Буковского деньгами, Лукашевич дал нужные явки и на рождественских каникулах, в первых числах января, Буковский уехал в Вильно.

Поездка его прошла благополучно; он привез некоторое количество азотной кислоты и обещание добыть в непродолжительном времени еще, сколько понадобится.

Эту услугу фракции Буковский оказал больше по дружбе ко мне; лично он не был намерен, при всем сочувствии, принимать непосредственное участие в террористических делах и после моего ареста совершенно отошел в сторону.[1]

---

[1] С. А. Никонов ошибается: Буковский ездил во 2-й половине февраля в Парголово по поручению Александра Ильича. Это был тот небольшого роста, рыжий, в очках человек, который привез Ананьиной бутыль и о котором Александр Ильич сказал на суде: «этого человека я послал». Я видела его в девяностых годах в Петербурге и он рассказывал мне как об этом, так и о том, что он три недели сидел безвыходно в какой-то надежной квартире, пока его искали по всему городу. *А. Е.*

В сенатском обвинительном акте по делу 1 марта есть, помнится, указание, что около этого времени в Вильно было агентурой отмечено появление нового лица, блондина, небольшого роста, с бородкой, в очках; это и был Буковский. Очевидно, за виленской группой шла в это время основательная слежка.

Когда понадобилось вторично в конце января или в начале февраля поехать в Вильно за кислотой, Шевырев направил туда Канчера, который впоследствии своими показаниями провалил виленцев.

Поляков в своей работе говорит, что «полиции не удалось открыть многого, несмотря на откровенные показания Горкуна и Канчера». Я с ним не согласен; мне кажется, что было открыто как раз очень многое, почти все, но именно этот эпизод с поездкой Буковского остался нераскрытым, равно как и мое участие в деле, хотя на этот счет были, повидимому, кое-какие подозрения из чисто агентурных источников.

По мере того, как наши приготовления подвигались вперед, нужно было подумать о распределении ролей. Я предполагал, что мне придется быть одним из метальщиков; предполагал пустить в дело в той или иной роли и А. В. Москопуло; надо было найти еще людей, и за это взялся Шевырев, который говорил, что у него есть в виду подходящие, совершенно надежные люди. Это оказалось верным по отношению метальщиков (Осипанов, Андреюшкин и Генералов), но он совершенно ошибся в выборе остальных трех (сигнальщиков); не будь этой ошибки, финал дела мог бы быть совершенно иным, и после арестов на улице остальные участники могли не быть арестованными и, во всяком случае, имели бы время скрыться.

Считаю своим долгом сказать также несколько слов по следующему поводу. Поляков говорит все время о Шевыреве, как о выдающемся организаторе; я с этой характеристикой совершенно не согласен. Я считаю, что все мы были настолько молоды и неискушены в организационных и конспиративных делах, что никто из нас не был и не мог быть хорошим организатором. Может быть, у Шевырева были данные, чтобы стать таковым впоследствии, но я считаю, что в нашем деле он не обнаруживал особенно выдающихся талантов по этой части.

Шевырев был очень милый, приятный товарищ, очень живой и подвижной. Я успел мало узнать его и виделся с ним всего раз 6 — 7 или немного больше. Мне он казался немного суетли-

вым: он все куда-то торопился, спешил, что я объясняю себе отчасти темпераментом, отчасти, может быть, некоторым возбуждением вследствие его тяжелой болезни. Должен признаться, что в то время — в декабре-январе — мне трудно было бы вообразить его в роли главного организатора и руководителя нашего предприятия.

Ретроспективно же, на основании данных следствия, мне кажется несомненным, что Шевырев совершил, по крайней мере, две организаторских ошибки: во-первых, он привлек к делу, рядом с преданными и надежными людьми, таких нестойких и не подготовленных морально, как Канчер, Горкун и Волохов, которые своим предательством погубили всю фракцию и всех почти связанных с нею лиц; во-вторых, он уехал из Петербурга за две недели до выхода бомбистов на улицу, правда, больной, может быть, даже по настоянию товарищей (этого я не знаю).

Не в упрек покойному говорю я это. Каждый из нас, тогдашних заговорщиков, наделал бы на месте Шевырева, может быть, еще больше ошибок, но нельзя, мне кажется, закрывать глаза на то, что ошибки были, и что организация дела была далеко не образцовая. Я все-таки считаю, что Александр Ильич был и как организатор выше Шевырева; он был, может быть, несколько медлителен, но зато каждый свой шаг он продумывал основательно.

Еще два слова о конспирации в этом деле. Поляков находит, что «организация, судя по документам, была поставлена строго конспиративно и образцово». Но этому мнению можно противопоставить мнение автора отчета об этом деле, появившегося в «Свободной России» (1889 г. 1 февраля); здесь делается прямо обратное заключение о нашей конспиративности. [1]

Я думаю, что в этом отношении приходится взять середину: мы старались, сколько могли, быть конспиративными, не компрометировать лишних, кроме необходимого числа, лиц, не наводить агентов и слежку друг на друга, но нельзя сказать, чтобы мы всегда успешно достигали этой цели. С одной стороны, этому мешала наша неопытность в конспиративных делах, для которых нужна «школа», как и для всякого практического дела. Ведь мало того, что мы читали и изучали заветы знаменитого

[1] «Свободная Россия»,—нелегальный орган, издававшийся Бурцевым.

конспиратора-народовольца Александра Михайлова; мало того, что мы старались запомнить побольше проходных дворов, чтобы ускользать от наблюдения шпионов во время слежки и пр., нужен был целый ряд навыков и приемов, которых мы, зеленая молодежь в революционном деле, не могли еще нигде приобрести.

С другой стороны, нужно учесть и общие условия, в которых мы действовали: мы все были легальными людьми, за многими из которых велась слежка; нелегальных у нас не было ни одного; не было конспиративных квартир.

И вот, один из участников (покойный Андреюшкин) пишет письмо студенту Никитину в Харьков, с такими намеками на большое готовящееся дело, что, когда это письмо было перехвачено, петроградская охранка устанавливает наблюдение за ним, [1] затем за теми, с кем он встречается, — и в результате арест на улице шести человек и раскрытие всего дела.

Совсем недавно, встретившись с Н. Ф. Погребовым, [2] я узнал от него следующие факты, которые рисуют вопрос о конспирации в последние дни приготовлений к покушению в худшем виде... Оказывается, на масленице (т.-е. в 20-х числах февраля) была устроена «товарищеская вечеринка», на которой присутствовало довольно много народа, в том числе Канчер и Горкун, а также член нашего кружка И. М. Иванов. Было изрядно выпито, и произносились речи, в которых открыто говорилось о близком деле, в котором многие, может быть, сложат свои головы за народ, и т. д.

На этих же масленичных днях Погребов, не имевший никакого отношения к готовившемуся покушению, шел по Б. Проспекту Петербургской стороны; навстречу ему на «вейке» (чухонских санках) едет Иванов. Увидев Погребова, Иванов замахал ему руками, выскочил из саней и тут же, на тротуаре, стал ему говорить: «А знаешь, на днях будет большое дело — террористическое»... Погребов остановил его, сказав, что о таких делах нужно молчать.

---

[1] С 27 февраля 1887 г. (см. «Дело 1 марта. Следствие» в этом же сборнике). *А. Е.*

[2] Член экономического кружка. Был выслан в Архангельск. Теперь работает в качестве геолога в Ленинграде. *А. Е.*

Ясно, что конспирация очень хромала, и если Александр Ильич, Лукашевич и др. прилагали все усилия, чтобы не впутать в дело ненадежных и лишних людей, и вообще старались соблюдать необходимые конспиративные предосторожности, то, с другой стороны, происходила значительная утечка в этом отношении, сводившая на нет наши усилия...

Ставился также вопрос: было ли в деле 1 марта 1887 г. непосредственное предательство, донос о том, что готовится покушение на царя? Я в этом сомневаюсь и скорее готов ответить на этот вопрос отрицательно. Еще в доме предварительного заключения, узнав об аресте на улице членов фракции, я подумал, не было ли в данном случае предательства, и ломал себе голову, не мог ли кто-нибудь оказаться предателем, но, конечно, не мог остановиться ни на ком из известных мне заговорщиков или прикосновенных к делу лиц.

Лишь год спустя, когда я был выпущен из тюрьмы на поруки перед отправкой в Сибирь, Буковский, сестры и кое-кто из уцелевших старых знакомых в разговорах о деле 1 марта сообщили мне ходившие тогда слухи и подозрения насчет предательства. Между прочим, были подозрения на одного из членов нашего экономического кружка, И. М. Иванова, которого я и, в особенности, Александр Ильич недолюбливали и согласно называли болтуном. По натуре Иванов был чрезвычайно любопытен и имел привычку расспрашивать о том, о чем совершенно не принято спрашивать в революционной среде; кроме того, он вообще любил много говорить и особенно охотно переносил от одного к другому всякие известия, слухи и сплетни. До моего ареста Иванов, сколько мне известно, не был знаком ни с кем из участников заговора, кроме меня, Александра Ильича и Буковского, но ни от одного из нас он не мог слышать решительно ничего о заговоре.

Я помню, что однажды вечером, кажется на рождестве, Иванов, придя ко мне, начал допытываться, в каких революционных организациях я теперь работаю. Я отвечал уклончиво и, в конце концов, сказал ему, что об этом не спрашивают. «Ты от меня скрываешь (он почти со всеми был почему-то на «ты»), — это нехорошо по отношению к товарищу», — сказал он, и на этом наш разговор окончился. Кажется, я больше не встречался с ним до ареста.

Как я говорил выше, в конце концов, Иванов познакомился-таки с некоторыми из участников покушения, во всяком случае

с Канчером и Горкуном, и от них узнал о том, что готовится. Но мне кажется, что самое его дальнейшее поведение, например, встреча с Погребовым на улице, когда он стал выбалтывать ему то, что узнал, показывает лишний раз, что он был только болтуном, но отнюдь не злостным предателем. Предатель не болтал бы открыто о своих сведениях с первым встречным, а пошел бы, куда следует, и сделал бы свое нудное дело. Между прочим, Н. Ф. Погребов также уверен, что Иванов предателем не был.

Поведение охранников при аресте также доказывает, что они не подозревали, что у арестованных на руках взрывчатые снаряды, иначе Осипанову не дали бы бросить в охранке бомбу, которая не взорвалась лишь по чистой случайности. И я, в конце концов, остаюсь все-таки при высказанном раньше мнении, что у охранки могли быть лишь какие-то неопределенные сведения о том, что что-то готовится, но что именно и против кого, — оставалось неизвестным. Может быть, эти сведения обосновывались только на перехваченных письмах Андреюшкина, но возможно, что болтовня Канчера, Горкуна, Иванова и других среди своих знакомых о том, что готовится какое-то крупное террористическое предприятие, могла дойти и до охранки.

Думал я еще и о том знакомом, который передал мне деньги и оружие. Но, не говоря о том, что его знал Штанге, как человека, хорошо знакомого с Якубовичем, он также ровно ничего не знал о готовящемся покушении, и если и мог кого выдать, то разве только меня одного.

Возникало также предположение, не было ли у охранки информации о нашем экономическом кружке. Я очень в этом сомневаюсь. Никаких дознаний об этом кружке не производилось, никому из арестованных по другим делам членов кружка не было задано ни одного вопроса о нем; наконец, такие члены его, как Гизетти, Бартенев, Гарнак, Иванов, Буковский, не попавшиеся по другим делам, были оставлены совершенно в покое и продолжали жить в Петербурге. Вряд ли все это было бы возможно, если бы о кружке была внутренняя информация.

Уже много спустя после моего ареста, в феврале, Александр Ильич, очевидно, видя недостаточную подготовленность предприятия, предложил отложить его до осени, но Шевырев и слышать об этом не хотел. В это время он «буквально горел», по выражению Полякова. Невольно приходит в голову,



не лучше ли было, действительно, по совету Александра Ильича отложить предприятие и основательно его подготовить. Но судьба решила иначе, и приготовления продолжались до конца.

Был момент, когда нашим планам грозила опасность. Как я сказал уже, настроение в студенческой среде после демонстрации 17 ноября и последовавших за нею арестов и высылок было довольно повышенным, и в декабре или январе начались разговоры о том, чтобы на университетском акте 8 февраля устроить новую демонстрацию. Конечно, новое выступление студентов, с новыми массовыми арестами, не говоря о бесцельности и бесполезности новых жертв, легко могло бы повредить успеху задуманного нами предприятия. И вот Александр Ильич, один из первых обеспокоенный начавшейся агитацией, предложил через наш кружок и через союз землячеств принять меры, чтобы не допустить предположенной демонстрации. Я не помню, принимал ли в разговорах по этому поводу участие еще кто-нибудь из членов террористической фракции, но мы с Александром Ильичем подняли вопрос на заседании нашего экономического кружка; нам нетрудно было провести здесь нашу точку зрения на бесполезность этой демонстрации, совершенно не намекая на наш заговор, а из кружка, как бывало и раньше, принятое нами решение было проведено членами кружка через союз землячеств и непосредственно по учебным заведениям. Демонстрация не состоялась; это было последним выступлением нашего кружка и одним из последних — союза землячеств, который распался вскоре, в том же 1887 г., если не ошибаюсь.[1]

Когда приготовления к покушению были начаты, мы старались как можно реже встречаться друг с другом, так как за многими из нас велась слежка, и мы могли навести агентов на товарищей и помочь им установить связь между нами.

Чтобы дать представление, в каких трудных условиях нам приходилось в это время работать, я расскажу такой эпизод. Однажды, в январе 1887 г., кажется, после рождественских каникул, мне нужно было побывать по делу у одного из членов рабочей группы (Игнатова), который жил в Измайловском полку.

---

[1] В 1887 г., когда были исключены и высланы все сколько-нибудь замеченные студенты всех университетов, не только союз землячеств оказался разгромленным, но и сами землячества почти прекратили свое существование. *А. Е.*

Я вышел из дома после завтрака, часа в 2 дня, и сейчас же заметил, что за мной увязался шпион; в нашем малолюдном Басковом переулке это нетрудно было заметить. Я очень долго плутал по Петербургу, прошел через 2 или 3 проходных двора, переменил пару извозчиков, но мой преследователь на этот раз оказался очень упорным, и я никак не мог отделаться от него. Я очутился около Мариинского дворца; был уже вечер и моросил скверный зимний петербургский дождь. Быстро пошел, почти побежал я по Фонарному переулку по направлению к Казанской улице; повернул за угол, остановился на углу у ярко освещенного окна магазина и через несколько секунд из-за угла выскочил запыхавшийся преследователь, который почти натолкнулся на меня. Я до сих пор помню выражение растерянности на его лице в этот момент; почему-то он повернул обратно и исчез в темном Фонарном переулке. Я опять сел на извозчика и поехал по направлению к Измайловскому полку; пройдя пешком 2—3 пустынных переулка, я убедился, что слежки за мной больше нет.

Побывав у Игнатова и отдохнув после 3—4-часового преследования, я поехал на конке к А. В. Москопуло, которая жила в то время около Смоленского кладбища в одной квартире с М. Т. Елизаровым. Здесь я обсушился и отогрелся, и мы втроем очень приятно провели вечер.

В первом часу ночи я ушел; был проливной дождь. Итти я уже не мог от усталости; взял извозчика и без малого час ехал до дому по проливному дождю; домой я приехал вымокшим до костей. Это приключение стоило мне тяжелого плеврита, которым я болел весь год тюремного заключения и еще месяца четыре, пока жил на поруках у отца. Только в благодатном Минусинском округе я вполне оправился.

За вторую половину декабря и за весь январь я был у Александра Ильича по конспиративным соображениям всего два раза; он у меня — несколько чаще, может быть, 5—6 раз; правда, моя квартира представляла большие удобства, так как на парадной лестнице не было швейцара, и было неизвестно, в какую из квартир идет зашедший с улицы в подъезд человек. У Лукашевича на квартире я был единственный раз с каким-то неотложным делом (помнится, по поводу поездки Буковского в Вильно); застал его за работой, — он отделывал тот снаряд в виде книги, который потом фигурировал на суде в качестве вещественных

доказательств. Лукашевич объяснил мне устройство будущего снаряда и видоизмененного им запала.

С Александром Ильичем я встречался также в нашем старом кружке, который продолжал еще собираться, хотя и не часто; с остальными (с Шевыревым, например) я встречался несколько раз в кафе Андреева на Невском. Деловые свидания устраивались также в университете, где-нибудь в лаборатории, в ботаническом кабинете и т. д.

Из наших разговоров с Александром Ильичем, кроме чисто деловых, касавшихся вопросов организации покушения (деньги, азотная кислота, программные вопросы и пр., о чем я уже упоминал), в мою память врезались два. Один раз, придя ко мне и переговорив о текущих делах, он затронул вопрос о том, кому из товарищей нужно будет выступить на суде в качестве представителя террористической фракции в случае почти неизбежного ареста. Он доказывал, что эта роль должна быть предоставлена мне; я отнекивался, считая, по совести, себя недостаточно подготовленным в смысле образования и начитанности для такой роли, тем более, что я никогда не обнаруживал ораторского таланта. Тем не менее Александр Ильич настойчиво и последовательно доказывал мне, что из всех участников, если не считать Лукашевича, я являюсь все-таки наиболее подготовленным; Лукашевичу же, как поляку по происхождению, неудобно предоставить такую ответственную роль в деле убийства или покушения на убийство русского императора; такое выступление могло бы дать повод представить все дело, как результат какой-то «польской интриги», и с таким оборотом было бы очень трудно бороться; к тому же Лукашевич и говорил с сильным польским акцентом. В конце концов, скрепя сердце, я вынужден был согласиться и дал Александру Ильичу слово, что не откажусь выступить на суде с речью, если не найдется никого, более подходящего, чем я, хотя я чувствовал большое смущение и неловкость при мысли, что мне придется выступать в такой ответственной роли после того, как со скамьи подсудимых гремели речи Мышкина, Петра Алексеева, Веры Фигнер и других корифеев революции.

Судьба решила иначе: не мне, а Александру Ильичу пришлось выступить в предназначавшейся им для меня роли, и сыграл он эту роль, наверно, лучше, чем сыграл бы я.

В другой раз он пришел ко мне поздно вечером специально с тем, чтобы предупредить меня, что на юге России произошли

аресты среди офицеров. Александр Ильич знал решительно все мои связи, все, в чем я принимал участие; при наших отношениях я не скрывал от него решительно ничего из моих революционных выступлений. Знал он поэтому и о том, что я всю предыдущую зиму до самым летних каникул 1886 г. возился с военными и даже осенью имел еще свидание кое с кем из них. Я тоже мельком слышал, что среди военных на юге начались аресты, но никаких достоверных сведений не имел. На этот раз кто-то из знакомых Александра Ильича получил с юга письмо, в котором с именами и датами сообщали об арестах в Киеве и затем где-то на Дону. Александр Ильич считал, что эти аресты могут грозить и мне, и дал мне дружеский совет перейти немедленно на нелегальное положение и укрыться таким образом от возможного ареста.

С начала этого учебного года за мной все время шла довольно сильная слежка, но я не заметил, чтобы она усилилась за последние дни. Сопоставляя же даты арестов и письма, мы увидели, что аресты произошли более месяца тому назад. Отсюда я делал заключение, что, стало быть, если и были арестованы бывшие в моем кружке юнкера, то они меня не выдали, потому что иначе меня давно бы уж успели арестовать; следовательно, такой уж близкой опасности ареста как будто не было. С другой стороны, если бы я перешел на нелегальное положение, мне пришлось бы хотя временно уехать из Петербурга, потому что мне трудно было бы так переменить наружность, чтобы меня не признали местные шпионы; а с моим отъездом террористическая фракция лишилась бы одного надежного члена.

Все эти доводы убедили Александра Ильича, но, видно было, не совсем. «Ну, пожалуй, подождем немного. Но как только увидите, что слежка усиливается, сейчас же переходите на нелегальное положение.» На этом мы и порешили.

В этом поступке Александра Ильича проявилось все то внимание к товарищам, вся та нежность, с которой он относился к людям. Он заботился об успехе нашего предприятия не меньше, чем любой из нас, но он думал и заботился также по-человечески и о каждом из товарищей — участников этого дела. Наиболее ярко эта трогательная заботливость сказалась в известной фразе, сказанной им Лукашевичу на процессе: «Если что будет нужно, говорите на меня». В нашем последнем разговоре проявилась та же черта. Я чувствовал, что он пришел с целью спасти

меня от грозящей петли, потому что было очень вероятно, что, в случае моего ареста по военному делу, меня все-таки притянут и к делу о покушении. Тем более вероятным мне кажется это объяснение, что только за 7—8 дней перед этим разговором мы сошлись с А. В. Москопуло, как муж с женой, и поселились в отдельной квартире, в том же доме, где жил отец, чтобы на случай ареста не доставить старикам сразу слишком тяжелых переживаний. Александр Ильич очень сердечно отнесся к нашему союзу и очень тепло и искренно пожелал нам всякого счастья и благополучия.

Я видел, что он немного недоволен и огорчен результатом нашего разговора, и ушел от меня он только после того, как вырвал слово, что я все-таки перейду на нелегальное положение и скроюсь, как только будет замечена опасность. Тем временем должны были позаботиться о подходящем для меня паспорте и о явках; как о первом этапе, мы думаем о том же Вильно, где была группа знакомых Лукашевича.

Это было мое последнее свидание с Александром Ильичем...

28 января, ровно через два дня после того разговора, возвращаясь поздно вечером домой из анатомического театра, где я все-таки продолжал работать, я увидел в нашем маленьком Басковом переулке кучу шпионов. Вернувшись домой, я сказал об этом жене; теперь, если бы я и вздумал бежать, было уже поздно.

Буковский, живший в эту зиму у нас (в квартире отца), вернулся домой часов в 12 и тоже предупредил меня, что по всему нашему переулку шныряют шпионы.

Около двух часов ночи в нашу квартиру позвонили; на вопрос «кто там» последовал традиционный ответ: «вам телеграмма». При обыске у меня не нашли ничего компрометирующего, буквально ни одного клочка. Несмотря на отрицательный результат обыска, меня арестовали. Мне пришло в голову, что арест мой находится в связи с открытием нашего заговора; я был уверен, что со стороны военной организации мне не грозит никакой опасности. Впоследствии из обвинительного акта по военному делу я узнал, что один из юнкеров Павловского училища Шейдевандт, арестованный на Дону, на первом же допросе выложил все, что знал, и, в первую же очередь, предал меня, дав мне при этом характеристику убежденного народовольца-террориста; запутал он моего брата, совершенно

не имевшего отношения к военному делу, дав ему ту же характеристику. Вслед за Шейдевандтом все бывшие юнкера Павловского училища, теперь только-что испеченные офицеры, собиравшиеся у меня в количестве пяти человек, подтвердили от слова до слова показания Шейдевандта.

Когда мы со свитой вышли на улицу (А. В. не была арестована и осталась дома), жандармский офицер отпустил всех сателлитов и сел со мной вдвоем на извозчичьи санки. Когда мы отъехали немного, он спросил меня: «Знаете ли вы, по какому делу вы арестованы?» — «Нет, не знаю». — «Дело очень серьезное: военная революционная организация». У меня отлегло от сердца. Стало быть, заговор не раскрыт, и это только военное дело: пустяки, подумал я и тут же вспомнил о совете Александра Ильича и пожалел немного, что не последовал ему. Дальше жандарм пустился в излияния. Оказалось, что он—Михайлов, бывший офицер Брестского полка, постоянно стоящего в Севастополе; он знал моего отца, был знаком и с сестрами. Вероятно, в память этого знакомства он и устроил так, чтобы иметь возможность предупредить меня о том, по какому делу я арестован. Конечно, это имело для меня большое значение, потому что я, во-первых, успокоился насчет нашей террористической фракции, во-вторых, мог обдумать положение и подготовиться к допросу по военному делу.

Опуская здесь подробности пребывания в секретном отделении, первого допроса и водворения в доме предварительного заключения, я скажу лишь о том, как отражались на мне внешние события, поскольку они имели связь с нашим заговором.

Само собой понятно, что все первое время пребывания в тюрьме я очень много думал и волновался по поводу покушения. Что-то там делается? Как подвигаются приготовления? Будет ли предприятие доведено до конца? Эти вопросы оставались без ответа. Хотя я с первых же дней заключения имел регулярно три свидания в неделю с родными, но никто из них, само собой разумеется, не подозревал о готовящемся покушении и не имел связи с террористами, и в то же время у нас еще не выработались приемы для передачи на свиданиях записок.

В самых первых числах марта, через несколько дней после ареста нашей фракции, пришедшая ко мне на свидание с теткой и другой сестрой старшая сестра М. А. Шишмарева, целуясь со мной, прошептала: «Ильич и Красавец арестованы». Красавец

было наше семейное прозвище Лукашевича, которого сестры видели несколько раз, когда он заходил ко мне. Для меня сразу стало ясно, что наше дело провалилось; в случае успеха я узнал бы о смерти царя или хотя бы о покушении, а тут мне сообщают об аресте двух из главных заговорщиков.

Нечего и говорить, что я страшно волновался все время, не спал ночей, представлял себе разные ужасные картины...

В половине или в конце марта я прочел в одном из толстых журналов, которые к нам допускались, в «Русской Мысли» или в «Русском Богатстве», известное официальное сообщение об аресте на улице заговорщиков с метательными снарядами.

Еще более мрачные мысли стали одолевать меня; мне представлялось, что кто-нибудь выдал все дело, и я перебирал в уме всех знакомых мне участников и прикосновенных к делу лиц, соображая, не мог ли кто-нибудь из них оказаться предателем...

Но, как мною было уже указано выше, я должен был отбросить все эти подозрения.

Оставалось лишь одно предположение, которое и представляется мне вполне вероятным. Когда в дело были вовлечены (в феврале) пособники (метальщики, сигнальщики и др.), среди которых оказалось несколько совершенно ненадежных,—вот они и могли разболтать кое-кому из своих знакомых, что готовится крупное террористическое выступление, а отсюда могли дойти эти слухи и до охранки.

Из работы Полякова видно, что какие-то неопределенные сведения о том, что что-то готовится, у охранки все-таки были незадолго до 1 марта. Может быть, эти сведения обосновывались только на перехваченном письме Андреюшкина к Никитину, но возможно, что были и другие источники информации. Во всяком случае, если и были подозрения и слухи, то не было ничего определенного, никаких точных сведений, что доказывается поведением полиции при аресте Осипанова, который успел бросить свою бомбу в охранке, и других соучастников.

Однажды, когда меня вели на прогулку, на одной из висячих железных лестниц, ведущих из верхних этажей здания вниз, мне попались навстречу две очень подозрительные фигуры, поднимавшиеся наверх в сопровождении надзирателя. Оба были в чуйках, один в валенках; по типу и обличью смахивали на дворников или мелких лавочников. Проходя мимо, оба уставились

на меня и долго провожали глазами. Я сразу сообразил, что эта встреча имеет отношение к делу 1 марта, и что эти два типа были приведены для опознания меня.

Через несколько дней, когда я уже гулял в отведенной мне клетке во дворе, в ворота въехало несколько подвод с дровами; у каждой шел сопровождающий ее подводчик. У одной из подвод шел молодой человек в фартуке поверх пальто или полушубка, не похожий на подводчика, и фартук у него был какой-то белый и чистый и все обличье иное. Я узнал этого человека: это был половой из кафе Андреева, где я не раз встречался с товарищами по делу.

Теперь было вполне очевидно, что меня подозревают в соучастии в деле 1 марта; вопрос был только в том, опознали ли меня все эти типы? И я должен признаться, что ощущение, которое я испытывал, будучи уже под замком, когда меня, совершенно беззащитного и лишенного возможности передвигаться, бежать, уйти от преследования, могли каждую минуту притянуть к новому делу, грозящему самыми тяжкими карами, — было очень тягостным. Это совсем не то, что ждать удара от врага на воле, в пылу борьбы, в разгаре и лихорадке деятельности; здесь же было какое-то особенное удручающее сознание полного бессилия и беспомощности.

Очевидно, что описанные очные ставки не привели ни к чему, иначе я, конечно, был бы привлечен к делу или хотя допрошен. Но у тогдашнего директора департамента полиции Дурново были подозрения на мой счет и даже насчет моего брата, который не имел ровно никакого касательства к заговору.[1]

Однажды моя покойная мать отправилась лично в департамент полиции к Дурново, чтобы хлопотать о каком-то смягчении моей участи. Это было в конце 1887 г., когда по нашему делу был уже объявлен приговор, по которому я получил 4 года административной ссылки в Восточную Сибирь. Несмотря на

[1] Нам доставлен новый документ по делу, который объясняет подозрения Дурново. А именно: запись разговоров по перестукиванью между Новорусским и шпионом Остроумовым, которого подсадили к нему в предварилке. Новорусский рассказывает о той доверчивости, с которой отнесся к Остроумову, в своих воспоминаниях. Оказывается, в них он упомянул Никонова, сказав: — «Тут их два сидят; тоже из организации и не попали в покушение, ибо раньше попали сюда. У них не нашли ничего; отец — адмирал, его не посмели обыскать». *А. Е.*

усиленные просьбы матери, я отказался подать прошение о помиловании; в последнем случае ей обещали ограничиться высылкой меня на короткое время куда-нибудь в пределах Европейской России. Мать рискнула пойти к Дурново, который в давние времена молодым морским офицером был принят в нашем доме, надеясь все-таки получить какое-нибудь облегчение моей участи. Когда она изложила свою просьбу, Дурново грубо и резко сказал ей что-то в таком роде: «Я удивляюсь, как вы просите за ваших сыновей, когда они прикосновенны к такому тяжкому преступлению, как покушение на цареубийство. Благодарите бога, что они так дешево отделались». Для матери, слабой и очень больной, совершенно не подозревавшей моего участия в деле 1 марта, эти слова были равносильны удару дубиной по голове. Ей сделалось дурно и бывшая с ней спутница (одна из моих сестер) с трудом привела ее в себя и поторопилась увести из кабинета Дурново.

Из всего этого ясно, что против меня у полиции были подозрения, основанные скорее всего на сопоставлении агентурных данных. Наверное, было известно мое знакомство с главными деятелями 1 марта, но этого было, конечно, еще недостаточно для привлечения меня к дознанию, потому что мало ли кто из студентов не был знаком с Александром Ильичем, Лукашевичем и др., более или менее выдающимися из студенческой среды людьми. Во всяком случае меня ни разу даже не допрашивали по этому делу.

О начале суда над первомартовцами мне сообщили на свидании. Я был в это время болен тяжелым выпотным плевритом, простудившись незадолго перед арестом во время того преследования шпионом, о котором я упоминал выше. Я с трудом мог заснуть, подмостив подушку под больной бок; теперь к боли физической прибавились страдания нравственные, беспокойство об участи товарищей... Наконец, состоялся приговор, сообщить который мне я заранее просил сестру; на одном из свиданий я узнал, что несколько человек приговорены к смертной казни, в том числе Александр Ильич и Лукашевич. Оставалось теперь ждать утверждения и... исполнения приговора.

Мне все хотелось верить, что приговор будет смягчен, потому что ведь даже покушения не было, а были только приготовления к нему, но, зная характер Александра III, упрямый, злобный и мстительный, рассудком я отлично понимал, что казни будут

Наконец, я узнал об исполнении приговора. Мне сказали, что казнен Александр Ильич и еще 4 человека; потом я узнал и имена остальных казненных, опять из какого-то толстого журнала, в котором, помнится, было перепечатано правительственное сообщение о казни. Из этих четырех я знал немного лишь Шевырева, остальных трех не знал вовсе.

Я мучительно переживал эти события и особенно был потрясен, конечно, гибелью Александра Ильича, с которым у нас были близкие дружеские отношения, сложившиеся и упрочившиеся более чем за полтора года знакомства и совместной работы. Я всей душой успел привязаться к нему и полюбить этого чудного, женственно-мягкого и доброго человека и в то же время такого убежденного и стойкого борца. Много теперь мне пришлось пережить за шестьдесят лет; терял я и близких по крови людей, и дорогих товарищей по делу, но эта потеря была одной из самых тяжелых и болезненных. И теперь, на склоне лет, вспоминая Александра Ильича и его мученическую смерть, я не могу не волноваться, и слезы подступают к глазам.

В то время, в тюрьме, я жалел, что не разделил с ним до конца его участь.

В те дни, оплакивая Александра Ильича, я составил (в уме, потому что нельзя было его записывать) единственное — первое и последнее в моей жизни — стихотворение, посвященное памяти погибших на эшафоте 8 мая 1887 г. пяти товарищей. Впоследствии я записал это стихотворение для моей жены. В Париже однажды П. Л. Лавров, собиравший почему-то стихотворения революционеров (и сам когда-то писавший их), спросил меня, не писал ли я когда-нибудь в жизни стихов? Я сказал ему, что единственный раз в жизни я написал стихи, и рассказал, при каких это было обстоятельствах. П. Л. попросил меня записать эти стихи для него, что я и исполнил. Вероятно, они существуют где-нибудь среди бумаг Петра Лавровича. Прочтя их, Лавров не сказал ни слова, очевидно потому, что находил их плохими, какими находил их и я сам. Но в них я вложил все чувства, которыми жил в те тяжелые дни после смерти Александра Ильича, и в заключение моих воспоминаний о нем я приведу эти стихи.

*

1 МАРТА — 8 МАЯ 1887 ГОДА.

Погибли вы, друзья! — Так молоды вы были,
А жизнь так хороша, — она манила вас...
Но светлые мечты вы гордо отклонили!
Погибли вы, друзья, покинули вы нас!

Погибли вы, друзья, но духом не упали!
Вся юная Россия подвиг оценит,
История воздаст вам должное, — но та ли
Должна б вас доля ждать? — Болит душа, болит!

Шли смело вы вперед; вас согревала вера
И яркою звездой светил вам идеал...
И вот — погибли вы! — Завершена карьера:
Победу смерти дух над жизнью одержал.

Да, горькая судьба! — Богато одаренным,
Хорошим, честным людям места нет: долой!
Эксплоататорам, ворам, пройдохам темным —
Им теплый уголок, довольство и покой...

«Но уж таков закон прогресса и движенья!
Его «борьбой» зовут. Кто наверху, тот прав,
Тот счастлив и могуч; не знает он сомненья,
Он горд, он властвует!» . . . . «Он кровь пьет! — Да, он прав!»

«Спешить — людей смешить. Соразмеряйте силы;
Утопии вредны; их бросьте, господа,
И целям близким лишь служите до могилы, —
«Иначе не дождаться вам свободы никогда!

О, лицемеры! О, педанты! Фарисеи!
Как не стыдитесь вы о праве говорить?
Как постепеновцев мизерные идеи
Героям доблести укором могут быть?

Пусть ошибаются они, но искупает
Их смерть ошибку их. Но и ошибка в чем?
Чтобы малого достичь — кто этого не знает? —
Стремиться надо вдаль и думать о большом.

Так свет устроен. В нем лишь малые отряды
Прогресс ведут; для тех труднейший путь лежит.
И тех на нем ждет честь, кто не боится правды,
Не отступает кто, кто впереди стоит!

Погибли, вы, друзья, — но слава перед вами!
Погибли вы, — но долг исполнили вы свой:
И повторятся ваши имена сердцами,
И осенит вас муки ореол святой.

Погибли, вы, друзья, — но не погибнет дело!
Уж много пало жертв, но силы все растут,
Все свежие идут и в бой вступают смело,
Пока — в неравный бой; вновь гибнут, вновь идут...

Погибли вы, друзья, но мы — еще мы живы
И молим только, чтобы подвиг ваш святой,
Служа для всех примером мужества и силы,
И нам бы силу дал идти дорогой той!

С. Никонов.

Дом предварительного заключения.
Май 1887 года.

И. Д. ЛУКАШЕВИЧ.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ.[1]

Всего больше света на покушение 1 марта 1887 г. проливают воспоминания И. Д. Лукашевича, — одного из самых активных участников этого покушения. Поэтому, хотя книжка Лукашевича вышла уже при советском строе, мы сочли правильным включить самое существенное из нее в настоящий сборник. И это тем более, что И. Д. послал мне в самое последнее время добавление к своим воспоминаниям, затрудняясь написать особую статью, как я его о том просила. Присоединяю это добавление к выдержкам из его книги. Воспоминания Лукашевича были написаны им непосредственно по освобождении из Шлиссельбургской тюрьмы в 1905 г. и сданы в редакцию журнала «Былое» в 1906 г. Редактор В. И. Яковлев-Богучарский дал рукопись на прочтение мне, и первое, что бросилось в глаза нам обоим, было, что статью эту при самодержавном строе печатать нельзя, ибо она с головой выдает автора, рисуя его гораздо более серьезным участником покушения, чем каким признал его суд. Таким образом воспоминания Лукашевича могли появиться в печати лишь после революции.

Хотя после выхода из Шлиссельбурга (в 1896 г.) Л. А. Волкенштейн, которая поручила на свидании сыну передать мне, что Александр Ильич спас жизнь одному из товарищей, взяв на себя часть его вины, — я догадывалась, что речь идет именно о Лукашевиче, но я далеко не представляла себе, что роль последнего в деле была так активна и инициативна, как это выяснилось из его воспоминаний. Лукашевич говорит о себе именно как об одном из инициаторов покушения на Александра III.

---

[1] «1 марта 1887 г.». Воспоминания И. Д. Лукашевича. Госиздат. Петроград. 1920 г.

Будучи старше Александра Ильича на $2^1/_2$ года, Иосиф Дементьевич вырос и воспитывался в традициях польских восстаний, подавленного чувства мести. Он хотя был родом не поляк, а литвин, но окончил гимназию в Вильно, городе, расположенном у самой польской границы, куда несравненно легче, чем в другие провинциальные русские города, проникали свободолюбивые идеи разных оттенков, а также и нелегальная литература, которую Иосиф Дементьевич начал читать еще в гимназии. Были связи с членами польской партии «Пролетариат», с братом одного из которых Лукашевич вступил в кружок по изучению политической экономии и государственного устройства западно-европейских стран «тотчас» по приезде в Петербург, в университет, в 1883 г. (см. стр. 4). В 1884—5 гг. он пробовал способы печатания, читал гектографированный польский журнал. Он стремился войти в партию «Народной Воли» и не привел этого в исполнение лишь потому, что «организация Народной Воли» была уже в то время разбита».[1]

С П. Шевыревым И. Д. сошелся близко еще в 1884—85 г. По его воспоминаниям, они двое были инициаторами замысла. С Ульяновым «сошлись близко на почве студенческих дел» уже в 1886—87 г., а позднее еще больше сблизились с ним и с Говорухиным на почве признания ими необходимости террористической борьбы. Еще раньше этого Лукашевич и Шевырев предложили присоединиться к террористической деятельности общему знакомому Звереву.[2] Тот, уклонившись сам, рекомендовал им Осипанова.

Таким образом, первоначальная инициативная ячейка заговора составилась из двух лиц, наметивших в качестве исполнителя метальщика Осипанова. Лишь после указания последнего, что одному действовать трудно, было предложено ему образовать группу из трех метальщиков и трех сигнальщиков. Лукашевич

[1] Мы знаем, что С. А. Никонов вошел в партию через Гаусмана, кружок которого состоял из трех лиц, — см. также статью Кольцова, цитируемую в этом сборнике.

[2] Лукашевич оставил во многих местах вместо фамилий начальные буквы с многоточием, которые стояли в его первой рукописи 1906 г. Может-быть, впрочем, Госиздат просто переиздал так. Теперь, конечно, в этой конспирации нужды нет и в интересах исторической ясности следовало бы восстановить фамилии. Я написала Лукашевичу об этом и в ответ получила раскрытие тех инициалов, которые он вспомнил.

указывает, что ни Ульянов, ни Говорухин не были тогда знакомы с Осипановым. Генералов же и Андреюшкин были привлечены Шевыревым отчасти при их помощи, отчасти непосредственно. Они оба гнали азотную кислоту, которую Шевырев приносил Лукашевичу, а готовый динамит от него относил Генералову, у которого был склад взрывчатых веществ. Центральный кружок составляли Лукашевич с Шевыревым, — Ульянов вошел в него лишь 17 февраля 1887 г., после отъезда Шевырева. «Так как мне одному не под силу было вести все дело, то мы решили пригласить в наш кружок Ульянова, который должен был заступить место уезжающего Шевырева. Ульянов охотно принял наше предложение» (Восп. Лукашевича, стр. 19). В этот день Лукашевич познакомил его и с Осипановым. До этого Ульянов взял на себя приготовление недостающего количества динамита в Парголове, в квартире Новорусского, после того как относительно квартиры Лукашевича были какие-то расспросы шпиона и сам Лукашевич не счел возможным поехать в Парголово. Взрывчатые вещества и метательные снаряды были изготовлены Лукашевичем вполне самостоятельно, по выработанному им самим плану.

«Все, что требовалось для изготовления снарядов, мне приходилось делать самому» (стр. 12).

«Чтобы замаскировать бомбу, я решил придать ей вид книги» (там же).

Он подробно описывает свою работу над приготовлением снарядов, указывает, в чем он применял систему Кибальчича, какие изменения вносил сам. Одним словом, из его описания видно, что первоначальная — и главная — лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ и снарядов была у него, и он познакомил Ульянова и Шевырева с устройством своих снарядов, пригласив их на опыты. Он показал Ульянову на практике, как приготовлять нитроглицерин.

Ульянов изготовил лишь последний недостающий фунт динамита, и его мастерская в Парголове была нужна не столько для первого покушения, сколько для последующих групп.

По поводу этих последних, т.-е. того, что были намечены две следующие группы, мы, кроме воспоминаний Лукашевича, нигде не встречаем указаний. Мало того: С. А. Никонов, которого воспоминания эти ставят во главе одной из следующих групп, самым решительным образом отвергает их существование,

говоря, что ни о какой другой группе, кроме той, которая была привлечена после 1 марта, ничего не знал и не слышал и ни в какую иную не входил.[1]

Возражая «Свободной России» (статья «Хроника борьбы с самодержавием», февраль 1889 г.), Лукашевич говорит, что неверно, будто бы преследования молодежи за ее легальную и полулегальную деятельность толкнули ее на террор.

«Не здесь,—говорит он,—кроется истинная причина возникновения нашей фракции. На пассивное отношение правительства к политическим демонстрациям мы вовсе не рассчитывали. Напротив, для нас они были только одним из средств борьбы с правительством» (стр. 23).

«Наше дело не было вызвано какими-либо отдельными репрессиями правительства, а вытекало из определенной программы. Недаром обер-прокурор Неклюдов в своей обвинительной речи сказал, что мы хотим дать научно-объективное объяснение террору, вместо того, чтобы рассматривать его как рефлективный акт на то или другое действие правительства» (стр. 27).

«Деятельность нашей террористической фракции была вызвана к жизни не какими-либо частными репрессиями правительства, а желанием поскорее вынудить его сделать некоторые уступки обществу и вместе с тем была ответом на все притеснения и жестокости правительства. При этом были приняты нами во внимание и изолированное тогдашнее международное положение России, и чрезвычайно натянутые отношения с Германией, грозившей войной, и затруднительное финансовое положение правительства, и низкий курс рубля, и некоторые другие обстоятельства».

---

[1] На мой специальный запрос по поводу этого недоразумения И. Д. Лукашевич ответил мне в письме от 17/I—27 г., что две следующие группы были именно только намечены Шевыревым и предполагавшиеся во главу их лица,—рабочий Павел (фамилию Лукашевич забыл) и С. А. Никонов не были еще осведомлены об этом. Шевырев намеренно не вовлекал их в центральную группу, а лишь поддерживал сношения с ними. «Если бы не предательство Канчера,—пишет Лукашевич,—Шевырев уцелел бы и рассчитывал продолжать начатое дело, которое не должно было ограничиться одной боевой группой. За это говорит и то, что после изготовления всех трех снарядов гонка азотной кислоты не была прекращена, и большая бутыль с дымящейся азотной кислотой была отвезена (Буковским) в Парголово к Ананьиной для изготовления динамита для следующей группы».

А. Е.

«... В отливающей волне общественного подъема мы хотели собрать активные силы и еще раз вступить в схватку с правительством. Мы ориентировались в положении вещей. Для нас было ясным, что капитализм в России будет развиваться, что капиталистический строй есть шаг вперед по сравнению с тем, что есть, и что революционное движение вскоре примет более мирный социал-демократический характер (когда эти мысли в 1887 г. стуком передавались в Шлиссельбурге старым народовольцам, то они выслушивали их с любопытством, но не без скептицизма; ведь в восьмидесятых годах еще обсуждался вопрос, пойдет ли Россия по капиталистическому пути (напр., «Судьбы капитализма в России» В. В.), и казалось мало вероятным, чтобы социал-демократы могли играть значительную роль в ближайшем будущем)». (стр. 26—27).

Лукашевич прямо называет себя и своих товарищей социал-демократами, а программу, которую после обсуждения сформулировал Ульянов,— переходной между программой «Народной Воли» и социал-демократической. Печатать ее Лукашевич попросил Пилсудского дозволить Ульянову в его квартире, «так как мы торопились» (стр. 21).

Лукашевич набрасывает и портреты главных участников 1 марта.

Об Осипанове он говорит, что тот был родом из Сибири, с заметной примесью инородческой крови, крепкий, коренастый брюнет. Еще в гимназии увлекался он романом Чернышевского «Что делать?» и, закаляя себя для будущей борьбы, спал на досках, подбитых гвоздями. В Томске он вел знакомство с Борисом Оржихом, позднее народовольцем, сидевшим в Шлиссельбурге. Много потрудившись над выработкой своих убеждений, он пришел к социализму, но считал сперва необходимым завоевание политической свободы. Главное средство для этого он видел в давлении на главу государства и с этой целью, с целью покушения на него, перевелся из казанского университета в петербургский. Человек чрезвычайно осторожный и в то же время твердый и решительный, он был, по мнению Лукашевича, идеальным типом борца боевой дружины, у которого не дрогнет рука, который не потеряет самообладания в самую критическую минуту. Он отказался иметь при себе яд на всякий случай, говоря, что сможет выдержать до конца все, что бы ни случилось.

Генералова и Андреюшкина Лукашевич считает также людьми твердыми, верными себе до конца, при чем первого спокойным и решительным, а второго не чуждым в известной мере романтизма.

Шевырева он характеризует как энергичного, предприимчивого революционного деятеля, типичного холерика, который был душой их предприятий, который был весь день на ногах.

Одаренный от природы проницательностью и практической сметкой, он быстро ориентировался в положении вещей, быстро оценивал людей и определял степень их пригодности для революционного дела.

Про Ульянова он говорит, что тот был несколько застенчив, но завоевывал симпатии своей прямотой и искренностью у всех, с кем сходился. «Несмотря на свою молодость, он отличался начитанностью и широтой своего мировоззрения. Это была чрезвычайно талантливая и богато одаренная натура... Его работа об одной группе червей была награждена золотой медалью. Даже в самый разгар нашей революционной деятельности он, сколько мог, уделял времени научным занятиям. Помню, я однажды всюду искал его в университете по какому-то спешному делу и не мог найти, и, наконец, застал его в зоологическом кабинете спокойно препарировавшим ставниц (морских тараканов), которых целое ведро привезли ему из Кронштадта.

«Как и все вообще революционеры, он не был шовинистом и считал военные неудачи при тогдашних обстоятельствах полезными для своей родины (тогда имелось в виду столкновение России с Германией). Эти неудачи на поле брани вскрыли бы, с одной стороны, недостатки существующего устаревшего режима, а с другой ослабили бы правительство и тем самым облегчились бы и борьба с ним и переход к новым формам государственной жизни. Он высоко ценил политическую свободу, как благо само по себе, а не только как средство, легализующее и облегчающее борьбу рабочего класса за лучшее будущее.

«Постепенно втягиваясь в наши предприятия, он усердно работал вместе с нами по приготовлению задуманного покушения, а затем, когда заступил место уехавшего Шевырева, он проявил себя очень энергичным и предприимчивым руководителем нашей организации. Он очень близко принимал к сердцу интересы нашей группы и всеми силами старался обеспечить ей успех в предприятии».

Затем Лукашевич говорит про себя, что «степень его участия не была выяснена следствием. Для Ульянова же обстоятельства сложились самым несчастным образом». Перечисляя, в чем был уличен Ульянов, Лукашевич говорит: «Когда на первом допросе ему предъявили показание Канчера, он уклонился от всяких объяснений по этому поводу и просил отложить допрос до следующего дня, так как чувствовал себя нездоровым. Обдумав свое положение, он решил прямо заявить о своей принадлежности к террористической фракции и вместе с тем погибнуть. Справедливо не признавая себя ни инициатором, ни организатором нашего дела, он утверждал, что словом и делом оказывал посильную помощь осуществлению нашего предприятия. Ярко обрисовывая свое участие, он выгораживал других и своею смертью думал принести пользу своим товарищам.[1] Когда на суде хозяйка квартиры Говорухина старалась уличить Шмидову в знакомстве с Андреюшкиным, Ульянов стал доказывать, что это он, а не Андреюшкин, приносил разные вещи Шмидовой. Даже обер-прокурор Неклюдов заметил на суде: «Вероятно, Ульянов признает себя виновным и в том, чего не делал». Когда я увидался в первое заседание с Ульяновым на суде (он сидел рядом со мною на первой скамье), то он, пожимая мне руку, сказал:

— Если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня, — и я прочел в его глазах бесповоротную решимость умереть...

«Да, это была светлая, самоотверженная личность».

ДОБАВЛЕНИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ И. Д. ЛУКАШЕВИЧА.[2]

В настоящее время я уже не могу написать цельной статьи. Ведь прошло уже 44 года, как я познакомился с Александром Ильичем, и почти 40 лет, как мы расстались навсегда. Хотя воспоминания юности и держатся крепче, чем позднейшие, но дымка забвения застилает давно минувшие времена тем более густою пеленою, что позже мне пришлось испытать много сильных пе-

[1] Вероятно, Лукашевич хотел сказать: «спасти некоторых товарищей» или «ослабить их вину». *А. Е.*

[2] Это нигде доселе не напечатанное добавление получено мною от Лукашевича для настоящего сборника. *А. Е.*

реживаний. Вот почему я делаю лишь добавления к своей статье, предоставляя их в ваше распоряжение.

С Александром Ильичем я познакомился осенью 1883 г., когда поступил в петербургский университет, и в течение четырех лет мы были вместе на естественном факультете и вместе работали в разных лабораториях и кабинетах, но ближе сошлись мы не сразу. Дело в том, что в указанное время (1883—1887 гг.) была уже разгромлена партия «Народной Воли», а провокационная деятельность Дегаева и сильное шпионство в университетах заставляли студентов быть осмотрительными, сдержанными, осторожными и подозрительными, чтобы не нарваться на шпиона-предателя. Однажды в химической лаборатории зимой 1885—86 г. мы были втроем: я, Александр Ильич и один наш однокурсник (фамилию его забыл). Я стал говорить этому последнему о социальных несправедливостях, о гнете правительства, о необходимости борьбы со злом и доказывал, что каждый развитой человек обязан не уклоняться от этой борьбы. Александр Ильич слушал внимательно и молчал, а затем и сам вмешался в разговор и с такою искренностью стал приводить аргументы в пользу борьбы от себя, что я сразу узнал в нем своего единомышленника, с которым можно быть откровенным.

Ближе мы сошлись на почве общестуденческих организаций и революционной деятельности. Тогда оказалось, что у Александра Ильича уже сложились определенные симпатии, определенные воззрения в области общественных и политических отношений. Хотя Александр Ильич и я не были в тех самых кружках для самообразования на 1-м и 2-м курсе, но, повидимому, он пережил ту же эволюцию взглядов, как и я. Сначала в кружке мы изучали политическую экономию вообще и Карла Маркса в особенности и затем перешли к изучению государственного права и обстоятельно ознакомились с конституциями западно-европейских государств и Сев.-Американских Штатов. Благодаря этому, а равно и житейскому опыту (гнет полицейский чувствовался на каждом шагу), мы научились высоко ценить политическую свободу, как великое благо само по себе.

К таким же результатам пришел и Александр Ильич. На его квартире на Петербургской стороне собиралась группа лиц (по преимуществу наших однокурсников): Туган-Барановский (позднее известный профессор), Олейников (позднее приват-доцент военно-медицинской академии), Говорухин, я, Сосновский и др., и за

чашкой чая с ситным хлебом засиживались мы у Александра Ильича иногда до поздней ночи, обсуждая разные научные, общественные и политические вопросы.[1])

Жгучей злобой дня был вопрос о завоевании политической свободы. Что делать? Исторический опыт западно-европейских государств недвусмысленно указывал, что перелом от абсолютизма к конституционному режиму совершался под гром уличных мятежей, так что рассчитывать на мирную эволюцию государственного строя в России не было никаких оснований. Без насильственного воздействия на самодержавную власть не обойтись. Это принуждение может вызвать внешняя война: ослабленное ею правительство может капитулировать перед обществом, передавая в его руки часть публичной власти. Дело может обойтись и без внешней войны, если правительство не выдержит напора внутренних сил — со стороны тех или иных групп населения, выступивших в активную борьбу с правительством. Какие же это слои общества или классы могут выступить на борьбу с самодержавием?

Наиболее многочисленным сословием в России было крестьянство. Можно ли было рассчитывать на его активное выступление? Александр Ильич так же, как и я, усердно посещал лекции В. И. Семевского по истории крестьян; в особенности для нас были поучительны крупные крестьянские движения в XVIII ст. Эти исторические данные, а равно и неудачные опыты народников, ходивших в народ, недвусмысленно нам указывали, что не крестьянство нанесет решительный удар самодержавию. Наши взоры пришлось направить в иную сторону. Но почему же мы считали достижение политической свободы важнейшей очередной задачей?

Как известно, первая генерация революционеров, поглощенная мыслями о социальных преобразованиях, с некоторой пренебрежительностью относилась к вопросу о политической свободе. Но уже народовольцы, наученные горьким опытом, внесли в свою программу достижение конституционного строя. У нас еще резче обострилось сознание необходимости политической свободы. Александр Ильич горячо и категорически высказывался на этот

---

[1] Это было зимой 1886—87 г., когда Александр Ильич жил на Александровском проспекте Петербургской стороны, на своей последней квартире.

счет на наших собраниях. «Если бы под влиянием террористической борьбы, — говорил он, — царское правительство созвало учредительное народное собрание, то, вероятно, туда попало бы много крестьянских депутатов. Быть может, представители крестьян удовлетворились бы только земельной реформой, оставаясь равнодушными к политической свободе. Тогда революционная интеллигенция вместе с рабочим пролетариатом должна продолжать борьбу за свободу, так как политическая свобода есть необходимое условие и залог здорового, нормального развития государства».

Если нет надежды на крестьянство, то какие же иные группы населения способны вести активную борьбу с правительством?

Революционная интеллигенция, рабочий класс, тогда еще мало сорганизованный и мало сознательный, далее либеральные круги общества и отчасти земства — вот какие слои населения являлись передовыми элементами по нашим соображениям. Сопоставляя все эти элементы с мощью и организованностью царского правительства, мы не могли не видеть огромной несоразмерности сил борющихся противников, не могли не чувствовать тревоги за будущее, за исход борьбы.

Допустим,— рассуждали мы,— наихудший оборот вещей: правительство своими полицейскими мероприятиями подавило прогрессивное движение в обществе. Тогда должна произойти задержка в развитии науки, техники и вообще производительных сил России. Это повлечет за собой сильную отсталость России в экономическом отношении от западно-европейских государств, а вместе с тем и экономическую зависимость от более культурных стран. А экономическая зависимость влечет за собою и политическую зависимость. Тут ни обширность территории, ни многомиллионная цифра населения не спасут государственной самостоятельности. Достаточно взглянуть на Китай или Персию. Сделаться игрушкой в руках соседей — такая перспектива не могла быть заманчивой для самой царской власти.

Чтобы быть в состоянии дать отпор своим соседям, вооруженным с ног до головы, необходимо не только содержать многочисленную армию, но и располагать соответственным техническим аппаратом, т.-е. нужно иметь целую сеть железных дорог, свои фабрики и заводы и т. д. Одним словом, необходимо поддерживать уровень промышленности на высоте, не слишком разнящейся от состояния промышленности культурных стран. Ведь

для того, чтобы обладать сильным оборонительным и наступательным аппаратом, правительство должно располагать крупными материальными средствами, а следовательно, необходимо, чтобы цифра годового производства, приходящаяся на 1 человека, не была слишком малой. И я собирал данные для Бельгии, Англии, Франции и Германии и сопоставлял их с цифрой производства для России.

Итак, не было оснований опасаться, что правительство будет очень сильно тормозить развитие промышленности в России. Жизненные требования как самого правительства, так и общества заставляют усиливать производство, и промышленность стихийно будет развиваться, само собой понятно, по типу капиталистическому. Отсюда неизбежен вывод: Россия должна пережить фазу капитализма, т.-е. разовьется влиятельный класс крупной буржуазии и многочисленный сорганизованный новыми условиями производства и сознающий свои интересы рабочий класс. Вследствие этого изменение старого политического строя неизбежно.

Если предвидится такой ход грядущих событий, то нужна ли террористическая борьба?

На этот вопрос мы себе ответили: да, нужна, необходима.

Во-первых, исторический опыт нас учит, что достижение конституционного режима осуществляется раньше, чем сложится сильная влиятельная рабочая партия, и что в борьбе с абсолютизмом принимают деятельное участие и другие заинтересованные группы населения.

Во-вторых, сам процесс организации рабочего класса при абсолютизме идет очень туго и болезненно вследствие того, что рабочие в этом случае должны вести борьбу на два фронта: с капиталистами и правительством.

В-третьих, под сильными ударами народовольцев заколебалось самодержавие и не была исключена возможность, что «при новом сильном ударе правительство пойдет на уступки».

В-четвертых, наконец, решительная террористическая борьба поднимает боевое настроение передового общества.

Все эти соображения толкали нас продолжать дело народовольцев.

В защиту террористической деятельности Александр Ильич приводил Ирландию. Когда затронуты жизненные интересы общества при подавляющем неравенстве борющихся сторон, то

слабейшая сторона решается на отчаянные средства, и ирландцы были вынуждены прибегнуть к услугам динамита.

Как-то на одном из наших собраний я заговорил о Японии: о падении светской власти шогунов, о сосредоточении светской и духовной власти в руках микадо, о самураях и об учреждениях, аналогичных земствам в России. Александр Ильич оживился и сказал: «Пусть Лукашевич нам подробно изложит о политических партиях в Японии». К сожалению, тогда я знал только в общих чертах ход событий в Японии и не мог удовлетворить любознательности Александра Ильича, который стремился дать широкое теоретическое обоснование нашей практической деятельности.

Из европейских стран Германия по своему внутреннему строю ближе всего стояла к России. Отличие было в наличности конституционного режима, еще слабого, и большего развития промышленности. Вот почему судьбы социал-демократической германской партии особенно привлекали наше внимание, особенно интересовали нас. Памятуя слова К. Маркса, сказанные им про Германию: «Mutato nomine de te fabula narratur»,[1] — мы расширяли эти слова и на Россию.

Мы не страшились развития капитализма в России, так как, напр., в Англии рабочий лучше питается, больше развит и живет в лучших культурных условиях, чем русский рабочий. Там, где много производится товаров и всяких благ вообще, на долю трудящегося класса перепадает больше всяких продуктов, чем в тех странах, где производство скудно. В результате и средняя продолжительность жизни человека в западно-европейских странах выше, чем в России.

В Польше по образцу германской социал-демократической партии сформировалась партия «Пролетариат».[2] Еще на первом курсе (1883—84 г.) я был в одном кружке самообразования с братом Рехневского, видного деятеля партии «Пролетариат», и читал революционные польские периодические издания с соц.-демократическим направлением.

Книжка Плеханова «Наши разногласия» еще более содействовала оформлению наших взглядов в смысле соц.-демократи-

[1] Под другими именами это рассказывается, собственно, о тебе.

[2] «Пролетариат» не был чисто соц.-демократической партией, а также переходной от народовольчества к соц.-демократам (см. воспоминания т. Феликса Кона).

ческого учения. Александр Ильич, Говорухин и я находили, что, несмотря на задорный тон, свойственный этому автору, взгляды его в общем справедливы. И когда в 1887 г. я очутился в Шлиссельбургской тюрьме, то стуком передал соседям, что наша террористическая группа придерживалась социал-демократических воззрений и что революционное движение в России примет социал-демократическое направление, за что подвергся острой критике со стороны некоторых товарищей по заключению, глубоко убежденных в том, что социал-демократизм не имеет никакой будущности в России.

Несмотря на это, мы считали, по вышеуказанным причинам, террористическую борьбу необходимой. И в этом отношении примыкали к народовольцам. Программа террористической фракции партии «Народной Воли», которую сформулировал Александр Ильич, была составлена нами, потому что наши взгляды эволюционировали до некоторой степени от народовольческих. Чтобы показать некоторое отличие, мы и приняли название «фракции». С одной стороны, мы хотели установить преемственную связь с разгромленной партией «Народной Воли»; мы относились с глубоким благоговением к погибшим народовольцам и томящимся в тюрьмах, а с другой — мы хотели выявить некоторый уклон воззрений в сторону социал-демократического учения. При этом следует иметь в виду, что составление этой программы было сделано поспешно в пылу напряженной практической деятельности; у нас не было ни возможности, ни времени тщательно обсуждать и взвешивать каждое слово.

Из всех прямых участников дела 1 марта только я и Александр Ильич рвались к научной деятельности. Несмотря на наши юные годы (Александру Ильичу было едва 21 год, а мне 23 г.) у нас был большой запас разносторонних знаний. Мне и Александру Ильичу улыбалась перспектива остаться при университете и всецело отдаться так страстно любимым нами научным занятиям. Но печальные условия общественной и политической жизни звали нас на борьбу. Кругом нас чувствовалось и виделось столько гнета, горя, нищеты и невежества, что уклоняться от борьбы было невозможно.

Александр Ильич со свойственной ему прямолинейностью утверждал, что активно бороться со всем этим злом не только долг, обязанность каждого честного развитого человека, любящего свою родину, но и его органическая потребность.

Уклоняться от самой решительной террористической борьбы я не мог еще по очень важному для меня мотиву.

Моя родина, после двукратных восстаний (1830 и 1863 гг.) залитая кровью, изнывала под двойным гнетом царского режима. Падение самодержавия обещало облегчить участь поверженной и разгромленной Польши.

Когда после первых колебаний взяла верх политика Победоносцева и Каткова, то не только не было движения вперед, но отнималось и урезывалось то, что было сделано освобождением крестьян, судебными реформами, введением земств и т. д. Резкий диссонанс между культурным слоем общества и политическим режимом все возрастал. Политическая атмосфера сделалась до крайности тяжелой и душной. Приведу маленькую черточку. Даже в радостные дни не было праздничного настроения. Когда для принесения поздравления и выражения симпатий Щедрину и пожелания ему еще многих лет плодотворной работы были выбраны нами от питерского студенчества Александр Ильич и, кажется, Мандельштам, то они вернулись от старика-юбиляра грустные и печальные, так как застали его угнетенным от царящей беспросветной мглы.

Что касается террора, то его необходимость сознавалась нами всеми. Шевырев твердил, что теперь не время предаваться душевным излияниям скорби, негодования или осуждения, а надо действовать динамитом; Говорухин много вел бесед на эту тему с Андреюшкиным и Генераловым; Осипанов был глубоко убежденным террористом, и т. д.

Эта борьба с самодержавием сулила нам виселицу или в лучшем случае бессрочную каторгу.

Отказаться от личной жизни и предстоящих успехов, погибнуть в расцвете сил и молодости и причинить своей смертью глубокое горе и долгие годы страдания своим родным и друзьям,— все это, разумеется, очень тяжело, мучительно, однако с этим можно примириться. Но из глубины моей души поднимался тихий и слабый, но пронизывающий, жгучий вопль протеста. Чей же это голос звал меня к жизни?

С каждым годом круг моих знаний быстрыми взмахами расширялся во всех направлениях, и светоч науки озарял мне ярким светом все новые и новые области, завлекая меня все дальше и дальше в безбрежный океан знаний. Мысль моя работала неустанно, лихорадочно, и душа моя была захвачена, пленена вели-

чием, мощью и красотою науки. Она была для меня неисчерпаемым источником чистых радостей, сильных возвышенных переживаний. Я видел, как в этом бурлящем и клокочущем океане знаний зарождаются молодые созданьица, мои собственные новые еще не оформленные идеи, как они группируются в зачаточные теории, обещавшие со временем вырасти в новые стройные оригинальные теории. И вот это поколение новонарождающихся идей обрекалось мною на погибель, — мне их было невыразимо жаль, было невыносимо больно, так же мучительно, как отцу слышать вопль своих детей, ведомых им самим на казнь.

Быть-может, многим это душевное состояние покажется странным, неестественным, но тот, в ком есть искра самостоятельного творчества, поймет меня.

Эту душевную трагедию пережил и Александр Ильич. От природы он был сдержан, молчалив и не склонен к экспансивным излияниям, но мы понимали друг друга без слов. Не раз я видел Александра Ильича сидевшим неподвижно, подперши голову обеими руками, с глубокою печалью на лице и взором, устремленным вдаль. И чем ближе было к развязке, тем угрюмее и мрачнее становился Александр Ильич. Тяжело и печально было распрощаться с жизнью, в особенности, с тем, что в ней есть наиболее светлого, дорогого и привлекательного — с самостоятельным творчеством.[1]

Вот почему, когда дни нашей жизни уже были сочтены, мы не могли расстаться с любимыми нашими научными занятиями. Я уже писал в своих воспоминаниях, как однажды в самое горячее время практической деятельности я нигде не мог найти Александра Ильича и только, наконец, застал его в зоологическом кабинете спокойно потрошащим морских тараканов (Idothea entonon), привезенных ему из Кронштадта. Подавленный бременем текущих революционных дел, он урывками предавался научной работе. На квартире Александра Ильича я прочел реферат по биологии и участвовал в ботаническом кружке, который собирался на квартире директора ботанического сада Регеля.[2]

[1] Лукашевич объясняет это настроение, отмечаемое и другими, только болью расставаться с научным творчеством. Но ведь его могло вызвать и сомнение в избранном пути, и недовольство постановкой дела, и мысли о матери, о семье. *А. Е.*

[2] В этом кружке, кроме меня, состояли Краснов (позднее профессор), Кузнецов (позднее профессор), сыновья Регеля (ботаники, позднее общественные деятели).

В своих показаниях на судебном следствии Александр Ильич точно говорит, что, не будучи ни инициатором, ни организатором покушения на жизнь Александра III, он примкнул к кружку террористов и всеми силами содействовал успеху этого дела.

Действительно, Александр Ильич со свойственной ему добросовестностью, аккуратностью и самозабвением исполнял текущую работу по подготовке покушения, а затем, по отъезде Шевырева на юг, всецело отдался задуманному нами делу с полным самоотвержением, не останавливаясь ни перед физической, ни перед полицейскою опасностью.

Когда в памятный день пришлось заряжать две бомбы (третий снаряд — бомба-книга — был еще раньше изготовлен мною), и я стал наполнять гремучей ртутью трубку запала, то Александр Ильич тотчас же принялся за такую же работу с другою бомбой: при завинчивании крышки трубки легко мог раздавиться какой-нибудь кристаллик гремучей ртути, что повлекло бы за собою неминуемый взрыв, тем более сильный, что мы употребляли большие заряды гремучей ртути.

А когда Александр Ильич взялся руководить первой боевой группой, то, разумеется, риск был чрезвычайный. Тем не менее Александр Ильич не погиб бы на эшафоте, не будь предательства Канчера и Горкуна, а дождался бы в заключении лучших дней и был бы свидетелем хотя бы частичного осуществления своих идеалов, а имя свое вписал бы не только в историю революционного движения, но и на скрижали столь любимой им науки.

Правда, за квартирой Александра Ильича следили. Уже частые посещения поднадзорного Говорухина обращали внимание полиции. Но шпионскими наблюдениями охранное отделение не могло собрать никаких серьезных улик против Александра Ильича.

Не раз мне приходилось слышать упреки по адресу Шевырева, что он недостаточно был разборчив в выборе людей для таких ответственных предприятий, как террор. В защиту Шевырева должен сказать следующее:

Во-первых, от Шевырева, молодого студента, по существу дела нельзя требовать чрезвычайной опытности и проницательности в оценке характера людей. Нужно, по пословице, пуд соли съесть с человеком, чтобы основательно узнать его душу; [1]

---

[1] А на такое долгое распознавание характера человека не было времени, да и нужно учитывать психику обрекших себя на смерть.

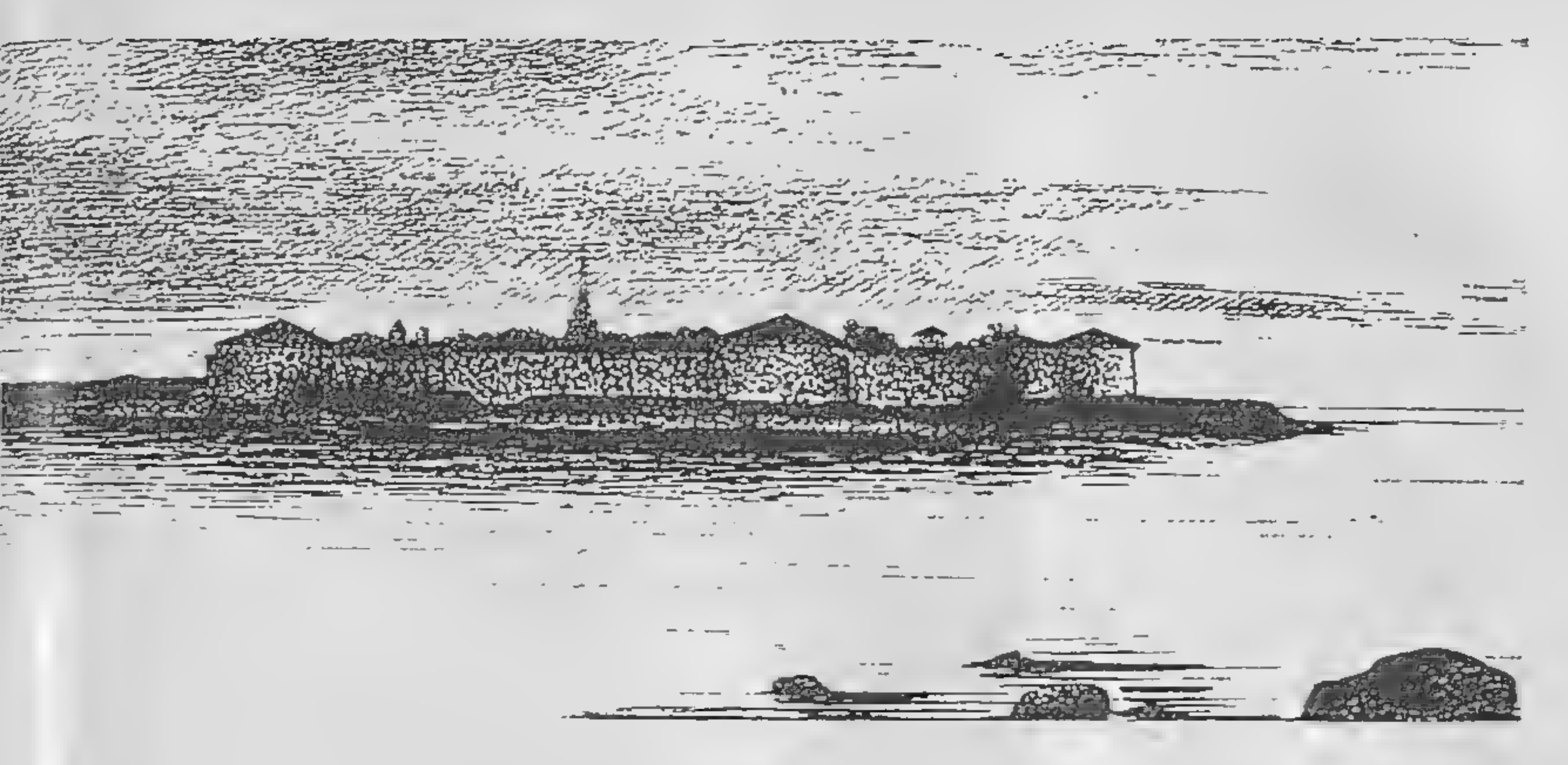
во-вторых, Канчер под угрозой пыток не выдержал и стал выдавать. Позднее он, как известно, покончил с собою.

Кто решался на террористическую борьбу с царской властью, тот не мог рассчитывать выйти сухим из воды: смерть или многолетняя каторга — вот удел его.

Для Александра Ильича обстоятельства сложились весьма неблагоприятно в том смысле, что почти вся его революционная деятельность раскрылась на суде.[1] И он погиб смертью мужественного, самоотверженного борца.

---

[1] Полагаем, что вряд ли можно объяснить одним неблагоприятным стечением обстоятельств то, что на всех опасных и ответственных постах человек оказался на самом виду, впереди всех, как бесстрашный боец на том редуте, на котором сосредоточен главный огонь неприятеля. *А. Е.*



Шлиссельбургская крепость (снимок, относящийся к 80-м годам).

М. В. НОВОРУССКИЙ.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ

(к 35-летней годовщине его казни). [1]

Сквозь дымку 35-летней давности светлый образ этого товарища по нашему процессу как живой встает передо мной.

Давно это было. И человеку в шестьдесят лет никак нельзя ручаться за то, что он ясно помнит все до малейшей подробности и что его воспоминания совершенно точно воспроизводят то отдаленное прошлое. А особенно теперь, когда все мысли наши неодолимо прикованы к бурному говору современности.

В ночь на 5 мая 1887 г., разбуженные каждый поодиночке в своих камерах Петропавловской крепости, мы с И. Д. Лукашевичем очутились вместе в каком-то просторном застенке. Чадила небольшая керосиновая лампа и с трудом разгоняла мрак нашего сводчатого помещения. Глазам смотреть было не на что. Зато уши чутко прислушивались, а настороженное внимание ожидало чего-нибудь решающего. За стеной слышался глухой лязг железа и невольно наводил на мысль о кандалах. После приговора к смертной казни и после помилования на «бессрочную каторгу» это было самое естественное последствие.

---

[1] Было напечатано в страничке, посвященной памяти Александра Ильича в «Правде», в № от 21 мая 1922 г. Перепечатываем как последние слова М. В. Новорусского, умершего в августе 1925 г., о товарище по процессу. *Е. А.*

Вдруг мы слышим шаги нескольких проходящих мимо нашего помещения. Гулко и глухо отзываются они под сводами. И шаги одной пары ног ясно звенят кандалами. Провели закованного. За первым, после некоторого промежутка, провели второго, затем—третьего, четвертого и пятого. Их вели, вероятно, согласно тому—списку, как они стояли в приговоре. Первым был Шевырев, вторым Ульянов, третьим Осипанов, затем Андреюшкин и Генералов.

Это были последние звуки, которые слышали дружеские уши, от Александра Ильича Ульянова.

Часов через шесть после этого мы с Лукашевичем на маленьком пароходе причалили к пустынному берегу Шлиссельбургской крепости и здесь простояли «без употребления» около часу. В это время «разгружали» пароход с закованными товарищами и препровождали каждого поодиночке в казематы старой тюрьмы, куда, наконец, водворили и нас.

Глухое здание с массивными стенами было непроницаемо для обыкновенных звуков. Как мы ни напрягали слух, мы не могли уловить никаких звуков, по которым можно было убедиться, что мы здесь не одни. Тем более, что нас предусмотрительно водворили в самый конец коридора длинного здания.

Три дня ушли на подготовку эшафота, который был сооружен за пределами тюремного двора и перенесен сюда в разобранном виде. Здесь, во дворе, у входа в это старое здание, его установили без рубки и без стука, а в ночь на 8 мая, когда мы спали, вывели пятерых наших товарищей, с Ульяновым во главе, и так же беззвучно лишили жизни.

На другой день нас проводили этим пустынным двором на прогулку: нигде не было никаких следов только-что совершенного здесь злодеяния. И о самом факте мы узнали от очевидцев-жандармов уже много лет спустя. А теперь мне каждый год приходится останавливаться на этом лобном месте с экскурсиями и рассказывать эту давнюю быль живою речью.

Во время казни присутствовал в качестве добровольца тогдашний товарищ прокурора, а впоследствии министр юстиции Щегловитов, который своей особой и своими деяниями палача-добровольца при царе Николае II перекинул живой мост между трагической смертью Александра Ильича и событиями наших дней.

Александра Ильича не стало. Родные и друзья горевали и плакали. Но в этом случае, как и во многих других, мертвые



Здание старой тюрьмы в Шлиссельбурге, где осужденные по делу 1 марта сидели с 5—8 мая. Направо стена, подле которой они были казнены.

продолжают действовать, и на их могиле вырастает и созревает то семя, которое они сеяли, но вырастить не успели.

Место погребения А. И. Ульянова я узнал только в 1906 г. после освобождения из Шлиссельбурга. Это была братская могила всех замученных в Шлиссельбурге. На этом месте в 1919 г. я соорудил на средства Петроградского Исполкома гранитный памятник с именами всех, кто сложил здесь свои головы в промежуток между 1884 и 1905 гг. — годы предрассветных теней, когда революция вспыхивала как отдаленная беззвучная зарница, предвещавшая настоящую, оглушительную грозу.

Наше дело, дело А. И. Ульянова, было одной из таких зарниц. Оно было почти мгновенной вспышкой, хотя в этой вспышке сгорело сразу несколько человеческих жизней. Он был еще студентом, и ему едва минул 21 год. Он был студентом и, значит, не был революционером в том смысле, что революция для него является профессией. И он был усердным студентом, который не только переходил с курса на курс с отличием, но и действительно занимался с увлечением естественными науками в такой же степени, как социальными и политико-экономическими вопросами. Для характеристики его можно указать, что, уже во время подготовки покушения, влекущего за собою почти неизбежно смертную казнь, он находил время для препарированья морских тараканов, которых выписывал для своих лабораторных занятий.

Это было уже не то время, что в семидесятые годы. Как известно, тогда революционеры отрицательно относились к науке, бросали университеты, шли «в народ», принимались сами за фабричный либо крестьянский труд и считали, что таким образом они будут для народа гораздо полезнее. В восьмидесятые годы, наоборот, считали, что на арену политической борьбы нужно выходить во всеоружии тех знаний, к которым человек чувствовал влечение.

Почти все мы, участники дела второго 1 марта, были студентами. Студенческие интересы преобладали в нашей жизни. Мы вели жизнь чисто студенческую. И эта жизнь сближала нас всех в таком же роде, как фабрика и фабричная жизнь сближает рабочих. И я помню, как дико прозвучал для меня на допросе вопрос прокурора, где я познакомился с Ульяновым. Да мало ли где? В читальне, на студенческой вечеринке, просто в университете.

Это для первоначального ознакомления. Для сближения же служило непосредственное юношеское чутье или простое влечение, которое одних людей привлекает друг к другу, а других отталкивает.

Я и теперь не мог бы сказать, где я впервые встретился с А. И. Ульяновым. Он был в университете и увлекался естествознанием. Я был в духовной академии и имел влечение к энциклопедизму. Я жадно стремился к тем знаниям, которые в моей академии считались либо ненужными, либо запретными. Это стремление привело меня к посещению собраний «научно-литературного общества» при университете. Но с Ульяновым я встретился все-таки не здесь, а на собрании делегатов от студенческих «землячеств». В то время они были под запретом, но все-таки сделали попытку сорганизовать «Союз землячеств». Два или три таких собрания состоялись на квартире самого Ульянова. На котором из них я встретился с Ульяновым, — не знаю. Но я помню то впечатление, которое он произвел на меня впервые.

Я встречался, конечно, с разными студентами. И на этих собраниях лица менялись, а краткие встречи с ними, за редкими исключениями, не оставляли никакого следа. А. И. Ульянов был этим редким исключением. При своей явной молодости он определенно выделялся среди других своим развитием. Я сужу не только по сравнению с самим собой, который был старше его на четыре года, но и по сравнению с другими, которые появлялись на собраниях. Отпечаток его карточки, снятой жандармами уже во время ареста, дает очень плохое представление об его личности. Здесь он выглядит серым и даже мрачным, вообще «худым», чего совершенно не было в действительности. Напротив, его ясное и открытое лицо всегда как-то особенно светилось не только обыкновенной юношеской привлекательностью, но и особой осмысленностью выражения. Это было одно из тех лиц, о которых мы говорим, что они озаренные.

На собраниях, где мы встречались, может быть, он не говорил ничего особенного. По крайней мере, мне не запало в память ни одного его даже краткого выступления. Но важно было не то, что он говорил, а *как* он говорил. Его голос, интонация, тон убежденности, — все говорило за то, что у него это не простая фраза, а что он над этим думал и успел многое передумать.

Свою биографию или, точнее, рост своей личности он изложил на суде. И он излагал это тем же тоном спокойной убедительности и скромности, какой мы слышали и на своих маленьких собраниях.

Если биографии подобных лиц нам нужны для воспитания молодого поколения, то надо сильно пожалеть, что речь эта передана лишь в сокращении. А теперь я не мог бы и в слабой степени передать ее так, чтобы она оставила в читателе впечатление, подобное тому, какое получили мы, слушавшие его.

...—«Социальными вопросами он начал заниматься с тех пор, как стал сознательно относиться к окружающему. Над страданиями народа он стал задумываться чуть не с детства. Приходя в возраст, он выработал соответственно этому свои убеждения. Эти убеждения, как честный человек, он обязан проводить в жизнь. Это — его нравственный долг. Но выполнению этого долга препятствует правительство.

«В других странах на правительство можно воздействовать путем агитации, печати, парламентских собраний и т. п. У нас это запрещено. Отняты все пути к нормальному проведению в жизнь самых заветных своих убеждений. И человека толкают на единственный путь, каким можно добиться изменения и улучшения правительственной системы управления страной. Это — путь террора. Путь этот уже предуказан историей. Не мы первые начали. Террор есть единственный способ политической борьбы в России. И он будет продолжаться до тех пор, пока...» —

Здесь председатель суда прервал Ульянова. Его пророческие слова, произносимые тоном глубокого убеждения вдохновенного юноши, были неприятны старому сенатору, поседевшему в защите старых порядков самодержавного режима.

Ошибся немного и сам А. И. Ульянов. Одиночные попытки вооруженных выступлений против главы правительства были отмечены историей. У народа, скованного по рукам и по ногам на путях к лучшему будущему, нашлись другие, более могучие средства борьбы. На сцену выступили рабочие массы, которых быстро разбудили отдельные раскаты грома, предвещавшие настоящую грозу.

Мы пересказали вкратце речь Александра Ильича на суде. Но прежде, чем дойти до суда, ему, самоотверженному защитнику террора, пришлось пережить немало тяжких минут раздумья и колебаний. Итти самому на этот путь не значит итти к победе. Победой

если она будет, воспользуются другие. Участника же, который становится на этот крестный путь, скорее всего ожидает смерть. А итти на смерть сознательно в 21 год, на заре жизни, когда человек полон самых возвышенных стремлений и рвется к делу, борьбе, жизни, а не к смерти, — на это нужна необычайная решимость. На это нужна сильная воля, которая должна преодолеть не только все соблазны, открывающиеся воображению в личной жизни, но и самую жажду жизни, вложенную природой в молодой организм.

Мне пришлось быть минутным свидетелем роковой борьбы в душе Александра Ильича каких-то сомнений и колебаний. Не помню, для какой именно справки я зашел к нему в квартиру неожиданно и в рассеянности вошел в его комнату, не постучавши. Надвигались сумерки, но было еще совсем светло. Он сидел у окна за столом, подперши голову, в глубокой задумчивости. Лицо его, обыкновенно спокойное и приветливое, было необычайно тревожно и грустно. Он медленно поднял голову, услыхавши мои шаги, и было видно, что я оторвал его как бы от тягостного сна, от которого он с трудом очнулся и еще не может войти в обычные условия встречи товарища. Я чутьем понял, что он только-что решал для себя тяжелые вопросы, — может быть, вопрос жизни и смерти, — и невольный вопрос: «что с ним?» у меня замер на устах.

Не принимая непосредственного участия в деле, я считал недопустимым проявлять свое любопытство там, где дело, по самому существу своему, должно быть законспирировано. Не говорил поэтому я и с ним. Тем более, что самое соглашение наше о том, что я предоставляю квартиру и что в ней Ульянов приготовит недостающие три фунта динамита, велось не с ним непосредственно, а с Шевыревым. Затем, самую работу он производил в этой квартире, когда меня там не было.

Но, тем не менее, он оставил в этой квартире не только все лабораторные принадлежности для продолжения работы, но и остаток нитроглицерина, около 1 ф. Очевидно, он считал мою квартиру достаточно конспиративной, а свою работу — далеко не законченной. Была ли у него мысль о том, что он будет продолжать изготовлять динамит в случае неудачи покушения, или он собирался кому-нибудь поручить это продолжение на случай своего ареста,—я этого не знаю. Передаю это как факт, который подтверждает то, что он говорил на суде: «террор будет продол-

жаться и впредь». По крайней мере, у него было твердое намерение продолжать.

На суде я уже видел его совершенно спокойным, как бывало на студенческих собраниях. Решение, последнее и бесповоротное, было принято.

Ясным подтверждением этого, а равно характеристикой личности Александра Ильича служат его слова, которые ему удалось шепнуть Лукашевичу на суде:

«Если вам будет нужно, говорите на меня».

Это желание принять на себя вину другого сквозило так явно во всех его показаниях до суда и на суде, что даже прокурор стал недоверчиво относиться к ним. И в своей обвинительной речи, разграничивая то, что совершил каждый подсудимый, он определенно подчеркнул:

— Ульянов приписывает себе много такого, чего он в действительности не совершал. В тоне, каким это было сказано, не чувствовалось ни малейшего упрека в том, что Александр Ильич возвеличивает себя, старается казаться больше того, что он есть, или заботится о том, чтобы он другим казался выше и значительнее, чем он был на самом деле. Ему была совершенно чужда какая бы то ни было рисовка, похвальба и т. д. Эти слабости встречались, и до сих пор встречаются, у многих, начинающих играть историческую роль. Но у Александра Ильича ее не было. Это была редкая натура, от которой даже на людей других убеждений веяло чистотой, благородством и моральностью его побуждений. Тем более это чувствовалось товарищами, особенно теми, которые становились к нему ближе. Как уже сказано выше, он и террор обосновывал не только политическими, историческими или социальными доводами, но и этическими: на мне лежит нравственная обязанность проводить в жизнь свои убеждения, а мне в этом мешают. Не должен ли я устранить того, кто мешает и кто обставил себя абсолютной неприступностью?

Высказываясь так от своего лица и мотивируя так свое участие в заговоре на жизнь Александра III,—заговоре, которого он не был, по его собственному заявлению на суде, «ни инициатором, ни организатором»,—Александр Ильич в то же время отразил и общее настроение студенческой молодежи, и настроение многих товарищей по процессу. Героические годы народовольчества были уже позади. Наступили реакция и разочарование.

которые вели к самоуглублению. От увлечений политикой и экономикой молодежь переходила к увлечению этикой. Вопросы морали были в большом ходу и страстно дебатировались в студенческих кружках. Но для людей типа Александра Ильича они вели неизбежно к тому же террору.

Таково было это время, отстоящее от нас на 35 лет. И таков был его выразитель, Александр Ильич Ульянов. Он сгорел, не успевши вырасти. Его вырвали из жизни, не дав сложиться окончательно этой даровитой личности с благороднейшим нравственным обликом. Он мелькнул, как метеор, на историческом небосклоне еще за 18 лет до первого просвета в нашей общественной жизни, — до первой российской революции 1905 года, и за 30 лет до нашей пролетарской революции. Тем больше обязанности на нас, случайно переживших его товарищах, помянуть его добрым словом в день этой насильственной смерти. Пусть не заглохнет память об этом редком, исключительном юноше. Пусть образ его воскреснет перед его современниками. Пусть хотя бы в слабом отображении встанет перед молодежью.



Памятник погибшим в Шлиссельбурге, воздвигнутый трудами шлиссельбуржца М. В. Новорусского.

О. М. ГОВОРУХИН.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. И. УЛЬЯНОВЕ, П. Я. ШЕВЫРЕВЕ, В. Д. ГЕНЕРАЛОВЕ и П. И. АНДРЕЮШКИНЕ.[1]

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ.

Александр Ильич Ульянов был наиболе выдающейся личностью из мартовцев 1887 г. Мое знакомство с ним началось в конце 1885 г. в Петербурге. Он был тогда на третьем курсе естественного отделения физико-математического факультета. Студент он был очень трудолюбивый и способный. Успехи в науке оказывал блестящие. Он написал конкурсное сочинение по зоологии,

---

[1] Воспоминания Говорухина представляют собой довольно подробные выписки из реферата, написанного им по предложению старых эмигрантов в Швейцарии зимой 1887—88 г., как мне говорила В. И. Засулич, от которой я получила его. Я сделала выписки из реферата в части, касающейся Александра Ильича и Шевырева (были напечатаны мною в «Прол. Рев.», № 7 (42) 1925 г.). Приблизительно через год после того в № 3 журнала «Голос минувшего на чужбине» за 1926 г. был помещен весь реферат Говорухина, из которого мы прибавляем сюда характеристики Генералова и Андреюшкина, в виду того, что о метальщиках имеется очень мало материала. Лукашевич, характеризующий Осипанова, мало знал этих двоих.

Воспоминания Говорухина в заграничном журнале напечатаны с предисловием и примечаниями Б. Николаевского, который говорит, между прочим, что характеристика Андреюшкина написана другим почерком и принадлежит, вероятно, перу другого эмигранта по этому делу — Рудевича, знавшего его ближе. Это вполне возможно.

Далее, Б. Н. Николаевский совершенно прав, когда говорит, что одним из главных недостатков этих воспоминаний является их полная необработанность, их «шероховатый» слог.

Но далеко не со всеми его выводами можно согласиться. Так, он говорит (стр. 210):

«Его роль (Говорухина) в этих кружках была велика» — повидимому, он был в них относительно (?) наиболее последовательным представителем

за которое получил золотую медаль. Успех ободрил его. Он подумывал уже о профессуре.[1] Не зная его еще близко, но сталкиваясь с ним часто в университете, я составил о нем мнение как о человеке очень симпатичном, но настолько преданном науке, что, кроме нее, он ничего знать не хочет. Такие студенты часто встречаются теперь, особенно среди естественников. Они приходят в восторг, рассматривая красивое животное или растение, и бесстрастно судят о заблуждениях нашей «зеленой» молодежи.

Следующий случай доказал мне, во-первых, что Ульянову, при всей его страсти к науке, не чуждо ничто человеческое и, во-вторых, дал случай нам ближе познакомиться. Однажды, перед лекцией он предложил своим однокурсникам, по примеру студентов дру-

---

социал-демократического уклона, оказывая в этом смысле большое влияние на таких видных деятелей попытки 1 марта 1887 г., как, напр., А. И. Ульянов; этот последний, повидимому, вообще именно Говорухиным был привлечен к революционной деятельности, и именно свои беседы с Ульяновым записал Говорухин в печатаемых ниже воспоминаниях» (стр. 210—211).

Мы не оспариваем того, что Говорухин старался подействовать на Ульянова в смысле вступления в революционную работу, и что ему именно принадлежат беседы с Ульяновым, приводимые в реферате. Но ведь недостаточно свидетельства одного из участников, чтобы сказать, что «именно им» был привлечен к революционной деятельности другой. Это во-первых, а во-вторых, все беседы клонились к скорейшему вступлению в террористическую группу, к деятельности в этом направлении, а никак не к убеждению в истинности социал-демократических воззрений, о которых ни слова в реферате не говорится. Как не доглядел этого Николаевский?

Недоказательно также говорит он: «Сам Говорухин относился к этой попытке (покушение 1 марта) без особого энтузиазма, — вернее смотрел на нее с большим недоверием, — следы этого недоверия сохранились и в печатаемых воспоминаниях, в рассказе о спорах с Шевыревым».

В печатаемых воспоминаниях ясно видно, что недоверие (все возраставшее), относилось к личности Шевырева, а никак не к попытке, никак не к действию путем террора, на котором Говорухин все время настаивает.

Главная ценность реферата Говорухина состоит в том, что он исходит от одного из ближайших участников покушения 1 марта 1887 г., а также и в том, что записан по свежей памяти.

Обе эти стороны были отмечены нами в предисловии к части реферата, помещенной в № 7 «Пролетарской Революции» за 1925 г. *А. Е.*

[1] Неверно, что конкурсное сочинение заставило Александра Ильича думать о профессуре. Он думал об этой специальности, или, вернее, вообще о научной специальности еще тогда, когда решил итти на естественный факультет. *А. Е.*

гих факультетов, послать к Щедрину депутацию от естественников и поздравить его со днем его ангела. Большинство отнеслось к этому равнодушно, но депутация — и в ней Ульянов — была отправлена. В это время, на третьем курсе, он не участвовал еще ни в революционных организациях, ни в кружках самообразования. К кружкам он относился тогда отрицательно. «Болтают много, а учатся мало». «В революционные организации не вступаю потому, что не решил еще многих вопросов, касающихся лично меня, а, что еще важнее, вопросов социальных. Да и вряд ли скоро вступлю». — Почему? — «Потому — больно уж сложны социальные явления. Ведь, если естественные науки, можно сказать, только теперь вступают в ту фазу своего развития, когда явления рассматриваются не только с качественной, но и с количественной стороны, — только теперь становятся, стало быть, настоящими науками, то что же представляют собой социальные науки? Ясно, что не скоро можно решить социальные вопросы. Я предполагаю, конечно, научное решение, — иное не имеет никакого смысла, — а решить их необходимо общественному деятелю. Смешно, более того, безнравственно профану медицины лечить болезни; еще более и смешно и безнравственно лечить социальные болезни, не понимая причины их. Ну, разве такие, как Н. Н. и т. д. революционеры? — а ведь такими теперь хоть пруд пруди».

В первый раз мне пришлось встретить человека, так мотивировавшего свой отказ помогать революции. Обыкновенно начинающий революционер бросается скорее в практику, продолжая заниматься теоретически. Непонятной загадкой казался мне Ульянов, чрезвычайно симпатичный и умный; и в то же время в его речах, в его глазах сквозит безжизненная объективность, а иногда даже политический индифферентизм. [1]

[1] Очень странно видеть «безжизненную объективность или политический индифферентизм» в только-что приведенных Говорухиным мыслях Александра Ильича о революционной работе. Ни один из близких его товарищей по гимназии или землячеству не видел ничего подобного. Лукашевич в помещаемых в этом сборнике добавлениях к своим воспоминаниям говорит, что Александр Ильич на третьем курсе вполне определенно поддерживал взгляд о необходимости борьбы против гнета самодержавия. Не видел этого и отец, просивший брата быть осторожнее в политическом отношении. А сам Александр Ильич в своей речи на суде сказал, что с ранней молодости стал интересоваться общественными вопросами. *А. Е.*

Надо было знать его прошлое. Рассказывать о себе он не любил, поэтому у меня и теперь мало сведений о его студенческой жизни. Родители его жили в Симбирске. Это были образованные, гуманные люди. Отец был директором народных училищ, в высшей степени честный, всеми уважаемый человек. Обстановка семейная была очень благоприятна для умственного и нравственного развития детей. Отношения между родителями и детьми были очень нежные. У Александра Ильича всегда стояли перед глазами на столе портреты отца и матери. Его сестра, бестужевка, рассказывала, что, когда умер его отец, он, уже студент, страшно загрустил. Горе было так сильно, что сестра и его близкие знакомые опасались, как бы он не кончил самоубийством.[1]

Способности у него были блестящие; он превосходно учился в симбирской гимназии и кончил с золотой медалью. Трудолюбие и аккуратность его были чисто немецкие. Он знал французский, немецкий и английский языки настолько, что мог свободно читать.[2]

Умственный труд — самое любимое его занятие. К науке он питал почти религиозное уважение. Особенная страсть была у него к естественным наукам. На третьем курсе он среди студентов считался знатоком биологии. Биология Спенсера была его любимой книгой: «Ни одна книга не доставила мне столько удовольствия, как эта», — говорил он. Но, прочитав «Капитал» Маркса, он биологию ставил уже на второе место.

В отношениях к товарищам он был редкий человек: он не имел врагов. Личная ссора с ним была невозможна. Он равно уважал и собственное достоинство и достоинство других. Это была натура нравственно деликатная: он никогда не подсмеивался, не поддразнивал, избегал всяких резкостей, даже был к ним неспособен. Он как-то болезненно возмущался, когда слышал какие-нибудь резкости. Никогда я не видел его беззаботно веселым; вечно он был задумчив, грустен.

---

[1] Совершенно неверно относительно самоубийства. Я могла говорить Говорухину о глубоком горе брата, но, конечно, никогда не могла сказать об опасении самоубийства, ибо такового у меня никогда не было и при сильном и цельном характере Александра Ильича и не могло явиться. *А. Е.*

[2] К этим словам надо внести такую поправку, что на иностранных языках Александр Ильич читал свободно лишь научные книги. *А. Е.*

Он любил театр, вообще понимал поэзию, а особенно он любил музыку и, когда слушал ее, становился еще грустнее и задумчивее. Он бывал на студенческих пирушках, старался развеселиться... Ему нравилось смотреть на веселящихся людей, слушать пение; из песен он больше любил революционные, в роде: «Замучен тяжелой неволей» и т. п. Иногда в увлечении и сам начинал петь, но пел не в тон, самым невозможным образом. Слушавшие покатывались со смеха. Но он невозмутимо доканчивал начатую песнь. Но особенно любил он тогда спорить и спорил с ожесточением.

Познакомившись ближе с более определенными и более активными революционерами, он скоро убедился, что его точка зрения неверна, что его воздержание от революционной деятельности не выдерживает критики. «Опыт должен решить, прав я или нет; я вступаю в кружок»,—решил он после долгих уговоров со стороны своих товарищей.[1]

Первый шаг был сделан. Затем Александр Ильич пошел так быстро по этому пути, проявил такую энергию и страсть к революционному делу, что все, знавшие его прежде, удивлялись такой резкой перемене. Он скоро даже сам образовал кружок, занимавшийся историей России.

Тот кружок, в который в первый раз вступил Ульянов, образовался еще в начале 1885 г. Революционное развитие Ульянова было связано с этим кружком. Он играл в нем самую выдающуюся роль. Поэтому рассмотрим подробнее деятельность этого кружка, тем более, что это был самый дельный и влиятельный кружок во всем Петербурге. Он охватил радикальную часть почти всего студенчества всех высших учебных заведений Петербурга. Он состоял из людей, сочувствующих революции, еще не определенных, не примкнувших ни к какой партии. Целью его было влиять на студенчество, помогать революционному движению, распространять литературу.

19 февраля 1886 г., 25-летнюю годовщину освобождения крестьян, этот кружок решил отпраздновать вопреки правительственным распоряжениям: собралось несколько сот студентов на Волковом кладбище отслужить панихиды по писателям, рато-

[1] Очевидно, Говорухин имеет тут в виду и свое влияние. Такое же мнение сложилось и у Б. Николаевского. *А. Е.*

вавшим за освобождение крестьян, — Некрасове, Тургеневе, Добролюбове, и пошли все вместе по улице.[1]

Полиция прозевала демонстрацию: дело обошлось благополучно. В нашей скучной жизни и такое сравнительно маленькое дело, как празднование освобождения крестьян, становилось целым событием: впечатление его было самое благоприятное. Кружок, видя удачу первого опыта, решил устраивать почаще такие демонстрации для объединения студенчества.

Особенное оживление в этом кружке наступило в конце 1886 г., как раз в то время, когда в него вступил Ульянов. Вообще самое живое время во всех кружках бывает вначале, когда говорят о том, что нужно делать, как делать и какое значение всего этого. Планы действительно были восхитительны, например, организовать студенческие кружки не только в Петербурге, но и во всей России, и заправлять студенческими требованиями, которые велись до сих пор без всякой организации. Эта организация русских студентов могла бы даже производить давление на правительство. Планы были: 1) организовать кружок саморазвития, 2) обмен рефератами, 3) выработать революционную программу, 4) издавать газету, 5) выработать программу и каталог систематического чтения. Как одушевленно велись разговоры об этих планах! Это одушевление сообщалось и Ульянову.

Наступала годовщина смерти Добролюбова — 17 ноября. Кружок решил опять устроить демонстрацию на Волковом кладбище. Но на этот раз полиция не прозевала: она оказалась раньше студентов на кладбище, заперла ворота и ждет, что будет. Студенты продолжали сходиться со всех сторон. Собралось около 1000 человек (по другим сведениям, 600 — 800). Послали депутацию к Грессеру просить разрешения отслужить панихиду по Добролюбове. Ответ: — не может разрешить и просит студентов разойтись... Он обратился к Толстому, и тот ответил,

---

[1] Неясно, какой кружок имеет в виду Говорухин. Из его слов: «Он охватил радикальную часть почти всего студенчества всех высших учебных заведений» надо заключить, что речь идет о кружке объединенных землячеств. Между тем, С. А. Никонов говорит, что мысль организовать демонстрацию, как 19 февраля, так и добролюбовскую, возникла в том «экономическом» кружке, который он описывает, что им были «приняты меры для агитации в землячествах и учебных заведениях».

В виду того, что объединение землячеств произошло в 1886 г., полагаем, что прав С. Никонов. *А. Е.*

что не может разрешить. Тогда студенты пропели перед воротами кладбища «вечную память», снесли на могилу венки и пошли вместе по домам. На пути их встречает Грессер, старается всячески задержать и даже обещает разрешить панихиду в какой-нибудь церкви. Некоторые поняли, что Грессер что-то замышляет, и предложили итти дальше. (Более благоразумные звали итти по Гороховой, но толпа неудержимо ринулась по Лиговке к Невскому.) Не доходя до него, они на Лиговке были окружены казаками и простояли под дождем около двух часов. Затем Грессер начал выпускать поодиночке. Около 10 человек было арестовано. Этого совсем не ожидали, и это страшно возмутило всех, бывших на кладбище. «За что арестуют тех? Надо было уже, если так, всех арестовать». На следующую ночь были произведены обыски и аресты. Это еще более взбудоражило студентов. Начались высылки студентов и курсисток. Выслали всего около 40 человек.

Такие несправедливости и жестокости возмутили всех до глубины души. Правительство объясняло эти меры тем, что, мол, высылает тех, кто кричал около кладбища или по пути по улице. Но это — ложь: большинство из высланных, если не все, ничем не выделялись из толпы. Студенты стали собирать деньги для высылаемых. Кружок инициаторов добролюбовской истории собрался, чтобы обсудить, что делать. Какие только планы не предлагались: 1) всем собраться на Казанской площади и протестовать, 2) собраться у Зимнего дворца, 3) бросить бомбы в здание жандармского управления, 4) произвести беспорядки во всех учебных заведениях Петербурга и потребовать возвращения высланных, 5) наконец, устроить покушение на Грессера или даже на кого-нибудь повыше. Но ни один из этих планов по обсуждении не был признан исполнимым для студентов. Конечно, все понимали, что наиболее рациональный план, — т.-е. при наименьшей затрате сил добиться наибольших результатов — было покушение на царя.

В студенчестве пошли толки о необходимости террора. Об этом заговорили даже наиболее тихие. Но необходимость хотя бы как-нибудь протестовать чувствовалась всеми. Решили, наконец, отгектографировать прокламации мирного характера с изложением всей добролюбовской истории и правительственных мер. Эти прокламации были разосланы по всей России, по всем слоям общества: профессорам, адвокатам, земцам, чиновникам, купцам

и пр. Но это не удовлетворило многих из тех, у кого глубоко засела мысль о действительном протесте. Это-то и были инициаторы покушения 1 марта 1887 г.

Я потому так долго остановился на добролюбовской истории, что она имела огромное влияние на мартовцев, и особенно на Ульянова. Он принял в ней самое горячее участие. Когда у одного из арестованных попалась какая-то бумажка с его фамилией, он начал ожидать, что и его вышлют. «Ведь это ужасная перспектива: жить в захолустьи, в Симбирске, например, — там совсем отупеть можно, ни книг, ни людей».[1]

Он сосредоточился теперь на одной задаче: как свергнуть деспота? Все другие задачи, какие он собирался решить и к одной из которых, а именно: как развивается экономическая жизнь России, что будет с общиной и капитализмом? — он уже приступил,[2] — все другие задачи отошли на задний план, перестали быть для него такими настоятельными.

Время было слишком тревожное, чтобы можно было отдаться объективному изучению общественных явлений. Слишком мало времени он занимался изучением общественных вопросов, слишком мало он выяснил их себе; по воззрениям своим он не подходил ни к «Народной Воле» (отрицал возможность захвата власти, отрицал активное значение общины для социализма), ни к социал-демократам (он был убежден, что существенной разницы между программой «Народной Воли» и программой Плеханова не было, а стало быть, не зачем было, по его мнению, и полемизировать. Но часто он и сам сознавал, что профан в вопросах об общине и капитализме.

[1] Несомненно, что казацкий разгром добролюбовской демонстрации и репрессии после нее среди студенчества оказались последней каплей, переполнившей чашу негодования молодежи. Но задумана она была как политическая демонстрация (см. воспоминания Лукашевича) и, несомненно, разочарование в возможности протеста такого рода послужило лишним толчком к террору, а не то, что лично можно пострадать, как это получается как будто у Говорухина. Особенно не вяжется такой мотив с личностью Александра Ильича. *А. Е.*

[2] Здесь Говорухин касается очень интересного момента, относительно которого у нас, к сожалению, почти нет данных. Большой свет могли бы пролить тут заметки Александра Ильича к сочинению В. В. «Судьбы капитализма в России». К несчастью, заметки эти, долгие годы находившиеся у И. Н. Чеботарева, пропали после обыска у последнего колпинским отрядом Ч. К. в декабре 1918 г. Но и Чеботарев констатирует, что Александр Ильич относился отрицательно к роли общины. *А. Е.*

После добролюбовской истории он сошелся близко со многими молодыми революционерами, в том числе с Шевыревым. Но он все еще и теперь колебался как-то решительно отдаться революционному делу.—«Пока я буду готовиться к этому; вопросов, вопросов масса; а не разрешив вопрос, безнравственно браться за дело, например, хотя за террор».

Конечно, споры по этому поводу были самые ожесточенные. — «Как? Ты даже и теперь, Ильич, твердишь то же самое, что и год назад?— говорил ему один из его друзей. [1] — «Теперь, когда правительство хватает за горло твоих товарищей да и до тебя добирается? Ты и теперь будешь объективно решать задачу, что тебе делать? По-моему, теперь безнравственно не браться за дело и безнравственно не протестовать против деспотизма. Вопрос в том, какая форма борьбы наиболее действительная, наиболее продуктивная? Я думаю, террор. Придумай лучшую форму».

Скорее события, чем логика товарищей, привели Ульянова к следующему решению: бороться посредством систематического террора. Террор несистематический имеет ничтожное значение. «Я не верю в террор, я верю в систематический террор», — часто говорил Ульянов. По приглашению Шевырева он вступил в террористическую группу. Зная естественные науки, он быстро усвоил все приемы приготовления взрывчатых веществ, и большую часть их он приготовил сам и, несмотря на короткое время (2—3 месяца), так освоился с теорией взрывчатых веществ, что на суде поставил втупик эксперта Федорова и довел его до того, что он сознался, что не прав.

На собраниях террористической группы он особенно настаивал, что мы, — т.-е. группа, — являемся политиками революционными, и когда кто-то предложил объявить обществу, что мы, мол, добьемся только конституции (чтобы привлечь симпатии общества), Ульянов восстал против этого. Для него ставить такую задачу значило изменять социалистическому знамени всего предыдущего революционного движения. На собрании для выработки программы группы особенно выяснилось, что у большинства, и в том числе у Ульянова,—определенных взглядов еще не выработалось. Возникли споры об общине, о капитализме. Несколько членов террористической группы были социал-

[1] Из всего контекста ясно, что сам Говорухин. То же мнение вынес из чтения реферата и Николаевский. *А. Е.*

демократы, народовольцев никого не было: все находили, что в программе Исполнительного Комитета «Народной Воли» и взглядах его действительно должны быть сделаны изменения, но какие? Тут всякий судил по-своему. Лишь в одном были согласны все,— что систематический террор наиболее верное средство вынудить у правительства уступки, что настоятельно необходимо теперь в России выработать общую программу для революции. На свою программу группа смотрела как на проект.

Она хотела побудить этим всех русских социалистов высказаться так же определенно и резко, как соц.-демократы. Это было, можно сказать, завещанием мартовцев 1887 г. Относительно же названия группа нашла полезным назваться старым именем «Народной Воли».[1]

Последние события вызвали такое оживление в студенчестве и вообще в интеллигентской молодежи, что разговоры о терроре были распространены повсюду; террористические группы в Петербурге и провинциях образовывались так быстро, что никому из мартовцев и в голову не приходил вопрос: «да есть ли уверенность в том, что систематический террор возможен теперь в России?»

Наоборот, никто не сомневался, что оживление еще более увеличится после покушения или, как предполагали, целого ряда покушений. Ульянов так выражался по этому поводу: «Одни и те же причины производят одни и те же следствия. Настоящее положение дел привело нас к террору. Возьмем худший исход: покушение вызовет еще бо́льшее преследование правительства, еще бо́льшую реакцию. Следствием этого должны быть новые покушения и т. д. Возьмем другой исход: правительство сделает уступку, хотя маленькую, — тогда окажется, что террор средство рациональное и для вынуждения у правительства бо́льших уступок нужно будет опять усиление террора. Наиболее вероятный исход — это первый».

В январе 1887 г. начали уже ходить слухи, что было покушение на Грессера, но неудачное. Масса затруднений представилась мартовцам 1887 г. во время приготовления покушения. Условия, среди которых приготовлялись взрывчатые вещества и производилась слежка за Александром III, было делом необы-

[1] Т.-е. не отрываться совсем от «Народной Воли», назвавшись террористической фракцией партии «Народная Воля». *А. Е.*

чайно трудным. А тут как раз начался ряд погромов среди «группы военных социалистов».[1] Были произведены поголовные обыски в морском училище, в павловском и константиновском юнкерских училищах. Арестовано было несколько десятков человек.

В ноябре или декабре 1886 г. появилась статья в «Independance Belge», где передавалась корреспонденция из Женевы,—разговор с кем-то, сидевшим в народовольческой типографии и передавшим там интервьюеру, что революционеры усилились теперь и, начиная с ближайшего марта, заявят империи о своем существовании. Эта статья обошла все студенчество и усилила толки о предстоящем покушении. Кроме того, образовалась какая-то террористическая группа, которая сделать, как оказалось после, ничего не могла, но болтала очень много и вредила этим шевыревской группе. Нужно было отыскать эту группу и уговорить ее отложить свое предприятие. Это дело было поручено нескольким членам, которые выполнили его успешно.[2]

Затем начали ходить слухи, что правительство узнало о готовящемся покушении и думало произвести систематические обыски у всех студентов. При таком условии многие из террористической группы думали отложить покушение до осени, так как устроить покушение 1 марта неудобно, полиция будет настороже, а раньше не успеют. Ульянов колебался.

Далее оказалось (по причинам, не подлежащим опубликованию), что группа, где находился Ульянов, Генералов, Шевырев и др., не могла одновременно действовать с другими политическими группами, так что вместо ряда покушений сил хватало только на одно.[3] Дальше, некоторым из членов надо было на время скрыться, а потом даже бежать за границу.[4]

---

[1] Очевидно, надо читать: «социалистов среди военных». *А. Е.*

[2] А. С. Никонов говорит, что нигде, кроме этих воспоминаний Говорухина, не упоминается ничего о подобной группе; что он ровно ничего не слышал о ней и что место это представляется ему каким-то апокрифом. *А. Е.*

[3] Равно отвергает Никонов и то, что группы, где находились Ульянов, Генералов, Шевырев и др., не могла действовать одновременно с другими группами, потому что, по его словам, других групп вовсе не было. Я пыталась выяснить этот вопрос,—сначала в письме, с которым обратилась к Говорухину из-за границы в апреле 1901 г.; затем в личных разговорах по приезде его в Россию,—но ни этого, ни других вопросов и неясностей выяснить мне не удалось. *А. Е.*

[4] Имеются в виду, очевидно, Рудевич и сам Говорухин. *А. Е.*

Но, несмотря на это, Шевырев—один из инициаторов марта 1887 г. — и слышать не хотел об откладывании. Когда с ним заговорил Ульянов, Шевырев не хотел и слушать.—«Как? Откладывать? Да ты, Ильич, уверен, что тебя завтра не возьмут? А я? Да кто из нас может поручиться, что он просуществует до осени? Далее, если слабый попадется правительству да проговорится, то всем нам конец. А за что? За хотение? Будь, что будет, но вперед!»

Александр Ильич предвидел уже теперь неудачу покушения; более того: он начал уже сомневаться в возможности систематического террора.[1] Действительно, первое оживление сменилось унынием, у некоторых даже тупым отчаянием.

В то же время всеобщий студенческий кружок также притих, ни один из его планов не был, да и не мог быть выполненным. Численно он очень мало увеличился. Денег не было, не было литературы и связей с провинциальным студенчеством. О всероссийской студенческой организации можно было только мечтать.

Но особенно сказалось бессилие кружка в теоретическом отношении: почти не было знающих, толковых людей, немного было и таких, которые подавали надежду выработаться в будущем. Поэтому обмена рефератов тоже не было. Газета издана не была. Несколько статей № 1 были обещаны, часть уже приготовлена. Систематического чтения и каталога книг тоже не было выработано. Собрания посещались неаккуратно; наконец, приходила только часть. Эти факты показали Ульянову, что потребность в знающих, вполне развитых революционерах необходима, неотложна. Без этого невозможно было толковать ни об организации, ни о пропаганде. Поэтому он еще более стал колебаться, куда ему идти, что делать. Тем более, что он знал свои силы: 1) способность к теоретической работе, 2) умение писать (он составлял прокламации и писал проект террористической программы и в этом превосходил всех своих товарищей по группе). Наконец, он решил так: «буду помогать приготовлять покушение, а затем скроюсь, или, если правительство будет искать, убегу за границу». Шевырев вполне согласился с этим решением.

[1] Неясно, что значит «уже теперь», к какому времени относит это Говорухин. Приходится предполагать, что к самому последнему, непосредственно предшествовавшему его бегству за границу. Но в виду того, что других данных об унынии у Александра Ильича нет, мы оставляем эти слова на ответственности самого Говорухина. *А. Е.*

«Я и сам раньше так думал: тебе, Ильич, надо бежать; да поступить иначе было бы преступлением,—сила пропадет ведь немалая».

Но когда Шевырев, несмотря на несогласие Ульянова, уехал из Питера за неделю до 1 марта, Ульянов уже не хотел скрыться. (Но главный мотив пока не подлежит опубликованию впредь до напечатания процесса.)[1]

На суде он говорил так, когда его спросили: «Почему же вы не бежали за границу?» — «Я не хотел бежать, я хотел лучше умереть за свою родину». На суде он выказал себя тем, что он есть. Он приковал к себе все внимание публики и суда. Но он не успел себя проявить тем, чем он мог быть. Он погиб, не успевши развить своих богатых способностей, не успев принести столько пользы родине, сколько он хотел и мог.

П. Я. ШЕВЫРЕВ.

Петр Яковлевич Шевырев был главным инициатором 1 марта 1887 года. В 1885 или 1886 году — точно не припомню — он перевелся из Харькова в Петербург на естественный факультет. Быстро познакомился он со многими студентами. Через два — три месяца он начал устраивать студенческую кассу взаимопомощи. Сначала он встретил у очень многих полное равнодушие к этому. Но это его не остановило. В университет он ходил часто, но лекции слушал очень мало. Почти всегда его встречали либо в читальне, либо в коридорах. Он ходил с каким-либо студентом и энергично убеждал его в полезности касс.

Так прошел год; он познакомился чуть ли не со всеми студентами университета и многими из других высших учебных заведений. В конце концов, ему удалось все же найти несколько десятков сторонников своих затей. Но среди радикальной части студенчества он был не популярен. Начитанность его была незначительна, кружкам саморазвития он не особенно симпатизировал. Социальными вопросами не видно, чтобы очень интересовался. Бо́льшую часть времени он проводил в разговорах с массой знакомых,—дома его почти никогда нельзя было застать. Книг по естественным наукам он читал очень мало, а по другим и совсем не читал.

Самый вид его производил нерасполагающее впечатление: взгляд у него был упорный, дерзкий, несимпатичный. Манерой

[1] Также вопрос, который не удалось выяснить. *А. Е.*

говорить не просто, монотонно, крикливым голосом он производил на многих отталкивающее впечатление. Перед летними каникулами 1886 г. он заболел чахоткой, начал страдать кровохарканием и уехал на юг лечиться.

Наступило начало 1886—87 учебного года. Шевырев не приезжает. Студенты, убежденные Шевыревым в полезности кассы, начали действовать без него; но дело плохо подвигалось вперед. Через несколько месяцев является Шевырев. Он несколько поправился, выглядел живее, но болезнь не прошла. На вопрос о здоровьи он отвечал: «Пока ничего, но жить осталось недолго».

При Шевыреве дело кассы закипело. Когда все устроилось, он поручил ведение кассы другим, а сам начал устраивать кухмистерскую и библиотеку. За это время он познакомился и старался ближе сойтись с теми, которые после участвовали в покушении 1 марта. Все они годом раньше отказались помогать ему в устройстве кассы, говоря, что ничего из этого не выйдет, что масса студентов равнодушна ко всем этим затеям. «Вот видите, господа, что значит инициатива,— говорил он,— теперь и вы будете помогать мне». Далее он доказывал, какое значение имеет касса, ее организация, объединяющая массу студентов, что нужно непременно привлечь к этому делу студентов всех высших учебных заведений Петербурга. Некоторые, в том числе Ульянов, советовали ограничиться только университетом,— лучше сначала сблизить студентов внутри каждого заведения и потом уже всех, чем соединять сначала всех и в результате не сблизить никого. Но Шевырев ни за что не соглашался уступить. Устроить кухмистерскую было очень трудно: во-первых, не было денег, во-вторых, полиция не разрешала. Главным образом, благодаря энергии Шевырева все трудности были побеждены.

В организованной кухмистерской обедала масса студентов и курсисток. Это опять способствовало сближению студентов. Обратная сторона кухмистерской заключалась в том, что в то же время она служила для ознакомления шпионов со студентами. Полиция, разрешив, поставила специально шпионов для кухмистерской. Устроив кухмистерскую, Шевырев предоставил управление ею другим. Изредка только, если встречались неисправности, требовалось его вмешательство. Теперь он взялся за устройство библиотеки. Рядом с этим он составил кружок, цель которого была ознакомление с большим числом студентов, чтобы выбирать лучших и составлять из них кружки самообразования.

Около 17 ноября он познакомился с тем кружком, в котором действовал Ульянов. Близкого участия в нем он не принимал. Теоретические задачи были не по нем. Задачи практические, организационные — вот его сфера. Он участвовал также в манифестации 17 ноября. Он был в восторге, что на манифестацию явилась такая масса студентов, так как не ожидал этого. Дикая расправа правительства с выхваченными случайно из толпы произвела на него сильное впечатление. Он оживился. Речей он обыкновенно не произносил, да и вообще не любил выражать своих чувств обыкновенными фразами: «это ужасно, это дико» и т. п. У него чувства выражались в лихорадочной деятельности. В приготовлении и рассылке прокламаций он принимал самое деятельное участие.

После добролюбовской истории он особенно сблизился с Ульяновым и его друзьями. К удивлению компании, Шевырев оказался горячим революционером. Раньше все смотрели на него скорее как на мирного деятеля. Касса, кухмистерская, библиотека,— все это — вещи хорошие, но довольствоваться этим мог только очень уж смирный либеральный деятель. Шевырев же всегда спорил с теми, кто придавал мало значения этому, и доказывал, что все это имеет огромное значение. То немногое, что говорили его знакомые, подтверждало это мнение.

В Харькове он занимался также преимущественно организационными делами. Вступил он, правда, в один кружок саморазвития, где изучались науки по системе Конта. Но некоторые, в том числе и Шевырев, скоро вышли из этого кружка. Всегда он сочувственно относился к революционерам, ко всяким студенческим волнениям, но литературу революционную почти не читал и мало задумывался над социальными вопросами.

Вообще это была оригинальная натура. Раз начавши какое-нибудь дело, он не останавливался ни перед какими препятствиями. Дело поглощало его всего. Раз в Харькове он задумал изобрести какую-то электрическую машину: накупил разных приборов, установил комнату электрическими батареями и проводил за этим целые дни. Иногда он в увлечении не спал ночей, забывал есть. Не знаю, чем кончилась эта затея.

Вскоре после 17 ноября приходит он к Ульянову. Заходит речь о кассах, кухмистерских и т. п. По обыкновению заспорили с Шевыревым. — «И охота вам, Петр Яковлевич, тратить энергию на такие мелочи. С вашим организаторским талантом можно

было бы устроить кое-что поосновательнее», — говорит Ульянов. Шевырев смеется и ехидно спрашивает: «А, что, например?» — «Да, например, покушение, — отвечают ему сразу не подумавши. — Хороший бы террорист из вас вышел». Шевырев расхохотался. — «Нет, где уж мне! Я и кухмистерской удовольствуюсь. Так ведь вы обо мне думаете?» — и он продолжал хохотать. Потом спросил, — для разговора ли только говорят это, или есть дело, к которому его хотят привлечь. Ему отвечали Ульянов и бывший у него,[1] что говорят серьезно, но определенного дела не имеется. — «Ну, так теперь я вас спрошу, господа: желаете ли вы заняться террористическим делом? Группа уже есть. Нужны помощники». Этого никто не ожидал. Всех ошеломил этот вопрос. Теперь все поняли, почему он считал важными студенческие организации, почему он особенно настаивал, чтобы организации охватывали возможно бо́льшую часть студенчества. Собеседники выразили готовность помочь террористической организации.[2] Но он предложил обдумать неделю-другую и тогда уже дать окончательный ответ.

Затем он начал расспрашивать, какие же дела они хотят взять на себя. Дел, по его классификации, было 4 сорта: 1) доставление сведений об образе жизни царя и его приближенных и слежение за ними, 2) добывание денег, 3) техническая часть и 4) организация метальщиков и сигнальщиков. Когда он предложил первое, то Ульянов и другой стали втупик. Всем известно было, как бережется царь, как изменяет планы своих поездок, в каком секрете держится все, касающееся жизни царя. Когда ему высказали, что эта задача самая трудная, почти невыполнимая — он заметил: «Да, для вас. Я этого и ожидал».

Затем предложил дела третьей и четвертой категорий. Те согласились. В назначенный срок Шевырев снова пришел за

---

[1] Несомненно, сам Говорухин, — почти постоянный посетитель Александра Ильича в этот период. *А. Е.*

[2] С. Никонов говорит по этому поводу: «Возможно, что встреча и объединение Александра Ильича (а с ним — меня и моих близких товарищей — Буковского и А. В. Москопуло) с группой Шевырева и Лукашевича произошли именно так, как описывает Говорухин. Подробностей этих я совершенно не помню, при разговоре не присутствовал; от Александра Ильича я лишь узнал, что есть, кроме нас, другие студенты, приготовляющиеся к устройству покушения на царя; из них один — мой близкий знакомый по союзу землячества П. Д. Лукашевич; и вскоре произошла моя встреча с ним и знакомство с Шевыревым». *А. Е.*

окончательным ответом. Нужно было договориться подробно с той и с другой стороной. Но когда у него стали расспрашивать, что это за группа и какой план покушения и т. д., он отвечал, что порядки в этой группе строгие, что он не имеет права называть членов; относительно плана он как-то путался: то выработан уже, то нет еще. Видя, что он неохотно отвечает на вопросы, что он не доверяет им, ему показали всю неловкость такой тактики, что невозможно вступить в неведомую группу, что нужно всем согласиться в плане покушения, вообще быть равноправными товарищами в группе. Но Шевырев наотрез отказался познакомить их с членами. — «При теперешних, мол, условиях — это необходимо. Положим, что это неприятно, что это не по-товарищески, но цель оправдывает средства». Но те всетаки добивались узнать хоть что-нибудь. — «Однако с вами возни много», — рассердился он, — «больше, чем я ожидал», — но начал сдаваться. — «План, — говорил он, — выбран такой: стрелять из пистолета отравленной дробью или пулями». С этим планом не согласились, начали спорить и под конец поставили условием: если не будут употреблены бомбы, то в группу не вступят.

Шевырев не ожидал такой настойчивости и начал уступать, хотя и продолжал хитрить и путаться. На вопросы: как велика группа? он берет в ответ бумажку и пишет: А, А. . . . . Б, Б. . . . . В, В. . . . . А — метальщики — сколько угодно, Б — сигнальщики — сколько угодно, В — химики, тоже и т. д. Денег тоже сколько угодно. Конечно, после все это оказалось нечаевской тактикой. Денег оказалось мало; бесконечных А, А. . . . . оказалось налицо один Осипанов и т. д. Но тактика эта сделала свое дело. Шевырев употреблял ее неоднократно. Инициативных людей обыкновенно очень мало, поэтому легче примыкают к готовой уже организации. Таким образом, Шевыреву удалось устроить покушение. За Ульяновым в (мнимую) группу вступил Генералов, а затем Андреюшкин.

Шевыреву вообще не нравилась настойчивость других: он склонен был повелевать, приказывать. С каким восторгом он рассказывал о своих переговорах с Генераловым и Андреюшкиным. Больше всего ему понравилось, что они мало рассуждали и спорили. А когда он доходил до того места, что Генералов серьезно заявлял ему, что у него есть одно затруднение, а именно, что он не вполне уверен в меткости своей руки и может

*

как-нибудь промахнуться, то от волнения Шевырев не мог говорить и истерически хохотал от радости. — «Вот это настоящий террорист!» — говорил он о нем.

Еще более восторгался он Андреюшкиным — тот уже ничем не затруднялся. Когда Шевырев сказал ему, что по всей вероятности будут пытать, а во время пытки никто не может за себя поручиться, и поэтому надо запастись цианистым кали, чтобы покончить с собой, то Андреюшкин обиделся. — «Как? Я не могу за себя поручиться? Разве я не казак?»

Во все время подготовительных работ Шевырев не знал минуты покоя. Он был фактически главой предприятия. Он заведывал всеми работами. Метод его был один и тот же: он находил людей, поручал им дело, иногда сам показывал, что и как делать, и изредка наведывался, чтобы узнать, как идет дело. Он был связующим звеном между многими отдельными группами и личностями. Постоянно ему приходилось обегать всех. Болезнь от напряжения начала усиливаться, но он не поддавался ей.

Все удивлялись его энергии: часто встречали его на улицах; зорко посматривая (из-под очков), он быстро летел по улицам. Хотя быстрая ходьба и была ему вредна, но он всегда приходил, запыхавшись, усталый. Беда, если обещанное не было сделано. Шевырев умел так подчинить себе людей, что большинство ему повиновалось. Трудно было отказать ему в чем-нибудь, раз он на этом настаивал. Неисправному становилось страшно неловко, стыдно при одном вопросе Шевырева: «У вас, конечно, все готово?».

Многим Шевырев казался очень странным. Ульянов выражался о нем: «странный механизм этот Шевырев, — понять я его не могу».

Убежденным социалистом Шевырев не мог быть, так как социалистическими вопросами не занимался и нигде о них не говорил. Программные вопросы, волновавшие всю революционную молодежь, для него не существовали. Ему было все равно, какой бы программы человек ни держался, лишь бы он согласился помогать террору. Незадолго до покушения он спросил, однако, у Ульянова несколько новейших брошюр для чтения. Прочел ли он их — не знаю. Он сам иногда сознавался, что ужасно мало читал. В течение нашего почти двухлетнего знакомства он ни разу не заговаривал о социальных вопросах. Никогда не приходилось мне слышать, чтобы он говорил об этом с другими, напр.,

с Ульяновым. Против изучения этих вопросов он не высказывался, а иногда шутил, что мало выяснил их себе. В последнее же сплошь тревожное время он, конечно, и не мог взяться за чтение. Ульянов был в этом отношении прямой противоположностью ему. Ульянов приготовлял динамит, делал вообще массу работ по приготовлению покушения и в то же время ходил на лекции, работал в зоологическом кабинете над исследованием какого-то зоологического вопроса, по которому он хотел написать диссертацию, а дома читал такие книги, как второй том Маркса.

Страшный реалист, Шевырев ненавидел все мечтательное, фантастическое. Он относился с пренебрежением к сомневающимся, неуверенным людям. Слово «вопрос» для него не существовало; для него существовала только уверенность. Эта уверенность — более того: самоуверенность — и есть секрет его влияния на людей. Один студент согласился взять на себя некоторую работу по приготовлению покушения.[1] Но тактика Шевырева внушила ему недоверие: недоверие Шевырева вызвало и с его стороны недоверие; он увидел, что Шевырев преувеличил силы и средства террористической группы, и перестал совсем ему верить.

Ряд неудач в работах, масса препятствий, встретившихся во время работ, неумелость во всех делах, грозившие страшными провалами, — все это привело этого студента к убеждению, что: 1) покушение не удастся (к чему впоследствии пришли все и даже Шевырев); что 2) систематический террор неисполним (а просто первому покушению никто не придавал серьезного значения); что 3) пропадает масса сил непроизводительно. Когда Шевырев после окончания первой работы предложил ему вторую, тот высказал ему откровенно, что он о нем и вообще о всем деле думал. Первая мысль Шевырева была: струсил парень; он расспросил про него у знакомых и получил все хорошие отзывы. Это для него было загадкой. Он все-таки продолжал уговаривать его, говорил, что он слишком мрачно смотрит на дело, и продолжал давать ему поручения. Так, раз часов в 11 вечера он приносит банку динамита и говорит, что некуда теперь нести и прямо, тоном, не допускающим возражения, заявляет, что оставит эту банку здесь до утра. Тот говорит: «хорошо». Но странно, что Шевырев знает, что этот студент

[1] Несомненно, сам Говорухин и приводимый им факт был началом тех разногласий с Шевыревым, о которых он говорит дальше. *А. Е.*

под надзором полиции, что на днях он ждет обыска. Шевырев говорит: «Да, это риск. Впрочем нынешнюю ночь рискуют три квартиры». На следующую ночь Шевырев приходит опять в 12 часов и опять та же история. Студент заявляет, что он согласен с единственной целью узнать, до чего простирается иногда человеческая бесцеремонность. На третий день то же. Тогда тот идет к Ульянову советоваться, как быть с Шевыревым, и рассказывает подробно о случившемся. Тот страшно возмущен, бежит к Шевыреву, и эксперименты кончились. После этого Шевырев, как ни в чем не бывало, приходит опять к этому студенту, рассказывает, что его знакомые прекрасно отзываются о нем, что он может быть весьма полезным в деле и что теперь все будет по-товарищески — полная откровенность. Но тот ответил, что не может иметь теперь с Шевыревым какое-либо дело: он его не понимает, да вряд ли может понять, как бы он ни был откровенен.

Между Ульяновым и Шевыревым постоянно происходили споры, можно ли и должно ли предлагать такому-то вступить в террористическую группу. Ульянов находил, что очень молодым, не определившимся людям не следует предлагать это, — что это будет выходить втягиванием под умственным и нравственным давлением. Шевырев совсем не мог понять этого; он смотрел совсем с другой стороны, — со стороны дела и цели. Он думал, что если руководствоваться такими соображениями, то ничего не выйдет. Террористов так мало, что нужно пользоваться всяким случаем; нужно радоваться всякому желающему итти на это дело. Рассуждать же, можем или не можем мы такого-то привлечь к делу, — это роскошь, более того: это безнравственно, потому что это вредит делу или даже расстраивает его. Шевыреву было все равно, от кого бы ни издать прокламации по поводу покушения, от Исполнительного Комитета или от «новых народовольцев». Он склонялся даже к тому, чтобы от Исполнительного Комитета — больше, мол, значения. Но Ульянов не хотел вводить в заблуждение ни правительство, ни публику, ни революционеров. Зная, кроме того, что и обмануть-то кого-нибудь в этом отношении трудно, а попасть в смешное положение легко, — решили выпустить прокламации от «новых народовольцев».

Шевырев, чтобы придать значение группе и чтобы привлечь новых членов, говорил, что группа имеет связь с Исполнитель-

ным Комитетом, или даже что в самой группе есть члены Исполнительного Комитета. Многие, конечно, сначала поверили, но потом, познакомившись с тактикой Шевырева, усомнились, Ульянов взялся проверить, и оказалось, что Шевырев преувеличил немного, а именно, что у него было знакомство с одним членом Исполнительного Комитета;[1] может быть, отсюда идут толки, что последнее покушение было сделано по инициативе Исполнительного Комитета. Характерно, как Ульянов и некоторые другие, которым удалось видеть этого господина (а его удавалось редко кому видеть по его чрезвычайной осторожности), относились к этому могикану.

В декабре 1886 г. на одном собрании террористов шел разговор о том, кто какую работу может взять на себя. Член Исполнительного Комитета берет на себя отпечатку прокламаций и проекта программы. Ульянов и другие начинают опасаться, как бы он в прокламации не объявил, что покушение устроено Исполнительным Комитетом. Повод к подобным опасениям член подал тем, что неохотно соглашался на какое-либо изменение программы Исполнительного Комитета. Нашли, после долгих стараний, другую летучую типографию, и Ульянов для проверки своих подозрений предложил члену Исполнительного Комитета освободить его от возложенной на него работы. Тот, вопреки ожиданиям, без возражений уступает. Инициаторы решили,

---

[1] Упоминание о сношении фракции с членом Исполнительного Комитета нигде, кроме реферата Говорухина, не встречается, и выяснить этот момент не удалось. Догадка Николаевского о том, что это мог быть член группы Гаусмана, опровергается свидетельством другого участника дела С. А. Никонова, который говорит, что весь эпизод с Исполнительным Комитетом, или же только с одним членом Исполнительного Комитета, ему кажется совершенно невероятным. «Я совершенно точно узнал еще от Гаусмана, что Исполнительный Комитет не существует и, конечно, говорил не раз об этом с Александром Ильичем. Именно вследствие отсутствия Исполнительного Комитета и просто какой-либо оформленной центральной организации партии «Народной Воли» и вытекало образование террористической фракции партии «Народной Воли», как себя назвала группа, и ее profession de foi, вылившееся в программе фракции, написанной Александром Ильичем незадолго до ареста. Об основных пунктах программы разговоры велись не раз, между прочим, еще до моего ареста.

Вторая догадка Николаевского, что это был член екатеринославской группы, напр., Богораз (Тан), не имеет под собой почвы; маловероятно, чтобы ни Лукашевич, ни Никонов не знали об этом; да и сам Богораз (Тан) упомянул бы где-нибудь о своей встрече с первомартовцами. *А. Е.*

в случае отказа с его стороны, отпечатать, во что бы то ни стало, самим. Подозрения, конечно, оказались напрасными. Я упоминаю о них только для подтверждения того факта, что покушение было устроено молодежью совершенно самостоятельно, — более того, что сами террористы хотели, чтобы публика знала правду и не сочиняла иллюзий о возрождении Исполнительного Комитета. Кстати отмечу еще один характерный факт. Когда на этом же собрании один заявил, что теперь можно смело поставить крест над «Народной Волей» и пропеть ей «вечную память», — все восстали против него. А может быть, она еще возродится? Будущее неизвестно. Понятно, что, не имея сами определенных воззрений и не зная, что делается в Комитете, они не могли сказать ничего определенного об этом предмете, — тем более, что молодежь все еще держится знамени «Народной Воли», да и сами-то инстинктивно тянули к нему и даже решили назваться народовольцами, хотя и новыми.

Я не знаю человека, которому бы Шевырев нравился, был симпатичен как личность. Некоторые относились к нему даже с неприязнью, но все уважали его, все считали его благородной, в высшей степени оригинальной и нравственной личностью. Около февраля силы его начали падать. Ему что-то начали мерещиться шпионы там, где их нет. Он рассказывал, что за ним в последнее время начала ходить собака, и он был уверен, что эта собака помогает шпионам выслеживать. Многие усомнились: вся история казалась невероятной. По проверке оказалось, что все это Шевыреву показалось и что собака была самая обыкновенная. Некоторые подумывали уже, не заболел ли он, тем более, что чашка кофе действовала на него так сильно, как несколько рюмок крепкой водки. Но в его слабом теле была всегда неукротимая энергия. Мысль его всегда отличалась ясностью и трезвостью. Он быстро соображал и ориентировался в области практической деятельности, даже еще неизвестной ему. Память его была просто невероятная; он помнил, не записывая, массу фамилий и адресов. Способности его были недюжинные, только он не любил теоретической работы и не привык к ней. Заводил связи, подробно не знаю, как, посредством кого, но ему удалось узнать подробности о жизни царя. Он с гордостью рассказал Ульянову и другим, что ему удалось решить самую трудную задачу во всем деле. Он узнал, что царь, уверенный своими приближенными в безопасности, теперь не особенно бережется,

что в известные дни он будет там-то и, действительно, эти предсказания Шевырева подтверждались. Так, напр., на одном смотре войскам царь держал себя так, что очень легко было устроить покушение (Шевырев сильно горевал, что бомбы тогда не были готовы). В январе и феврале царь часто катался по Петербургу в открытых санях. Наконец, Шевырев узнал, что 2 марта царь намеревался ехать на юг (это подтвердилось после тем, что царь испугался 1 марта, отложил свое намерение, о чем публиковали иностранные газеты).

Что сделало Шевырева фанатиком-террористом? Конечно, русская жизнь. Мысль уничтожить деспотизм отодвигала на задний план или даже подавляла все другие мысли — и сделалась у него idée fixe. Не знаю, как он дал себя арестовать. Но что он умер героем, этого и ожидать следовало.

В. Д. ГЕНЕРАЛОВ.

В августе 1886 г. Генералов приехал в Петербург, поступил на юридический факультет; родители его были обыкновенные донские казаки; дома он не получил, конечно, никакого воспитания. Рано, уже в гимназии, он начал жить самостоятельно, зарабатывая деньги уроками, учился так себе, еле-еле, средне. По окончании им гимназии, начальство, обязанное, как говорят, представлять политическую характеристику каждого, получившего аттестат зрелости, охарактеризовало его «индифферентным, вследствие тупости». Об этом рассказывал товарищам сам Василий Денисьевич с самым добродушным смехом. Уроки он учил плохо и лениво, — это верно, но, чтоб он был неспособный, этого сказать нельзя, — даже напротив.

Он рано вступил в кружок: тут он был очень деятелен, много читал, обо многом думал, так что, окончив гимназию, он уже определился как сознательный революционер. В этом кружке жизнь была самая интимная и вполне товарищеская. «Денисьич» (так называли его товарищи в Новочеркасске и после в Петербурге) был самым примерным товарищем, каким только может быть пролетарий. Товарищам в нужде он отдавал все, что имел.

С ним был раз такой случай, о котором он сам рассказывал — «ужасно смешно», — хотя в нем ничего смешного нет.

Нужно было ему купить часы, так как время у него было занято, и нужно было на уроки ходить аккуратно. Он несколько месяцев твердил, что ему непременно нужно сделать эту покупку.

Скопил он как-то денег и заранее наслаждался, что, наконец, он будет при часах. Но надо было как раз в это время случиться, что одному из его товарищей понадобились деньги. «Денисыч», конечно, отдал.

Но тут уж на него напала тоска. Затуманился Денисыч и пошел к часовому магазину, остановился перед окном и начал любоваться. — «Хорошая это вещь — часы,» — подумал он и печально побрел домой. Так он никогда в своей жизни и не собрался купить часы.

С родителями у него были такие отношения, какие бывают почти всегда между интеллигентными детьми и неинтеллигентными родителями: взаимное непонимание, взаимное отчуждение, взаимное недовольство.

По приезде в Петербург Генералов прямо попал в кружок и скоро сошелся с петербургскими радикалами. Сходиться он умел очень быстро: всем он нравился своей простотой и добродушием. Уж тогда у него была составлена система образования по Конту. Читал он очень много и усваивал быстро. Иногда у него являлось сомнение в своих силах, — тогда он делался вялым, скучным, иногда даже отчаявшимся. Но это скоро проходило. Генералов снова становился весел, бодр и энергичен. Работа снова закипала до нового приступа апатии и уныния. Вообще, с августа 1886 г. до января 1887 г., когда он вступил в террористическую группу, он успел очень много. Имея в виду получение стипендии, он должен был много заниматься для экзаменов. Прочитав «Наши разногласия», он задумался, — у него явилась масса вопросов. Он даже иной раз злился на себя за свое невежество и начинал читать запоем. В «Наших разногласиях» обыкновенно видят прежде всего «тон» полемический, а затем уже некоторые находят, что есть здесь, над чем подумать. Генералов был один из немногих, которых более всего интересовала идейная сторона. Про «тон» я от него никогда не слышал, да для таких людей не в тоне дело.

Генералов с жаром взялся за Маркса, — прочитал I и II том «Капитала». На русском языке Маркса достать было трудно, поэтому он взялся сначала читать на французском. Но так как он языком владел плохо, то вступил в кружок, где Маркса читали по-русски. Особенно характерно для него было, что он хотел понять все непременно сам. Когда другой кто-нибудь разъяснял, он просто не слушал его.

Заинтересовал его вопрос: пройдет ли Россия через стадию капитализма, идет ли и как и насколько быстро идет этот процесс? Он перечитывает «Наши разногласия», читает выдающуюся русскую литературу по этому вопросу: Ник.—она (Даниельсона), Янжула, В. В., Русанова и пр. Покончив с этой работой, он составил реферат. Он пришел к заключению, что в России капитализм развивается, что нет такой силы, какая могла бы остановить его развитие.

В это время, около октября, он уже определился как социал-демократ, хотя еще не был вполне уверен и оговаривался: «При настоящей степени моего развития, мне нужно много еще решить вопросов». Он искал случаев сам завязать сношения с рабочими. Но когда ему сказали его товарищи, что так теперь не делается, что это надо делать осторожно, и что завязывать новые отношения с рабочими лучше через распропагандированных уже рабочих, какие всегда имелись и имеются, он начал приставать, чтобы его познакомили с ними. Его, однако, убедили, чтобы он подождал, получше подготовился.

Но вот наступило 17 ноября. С Денисьичем происходит глубокое изменение. Он что-то загрустил сильнее обыкновенного, сделался апатичен, угрюм.

«Что с тобой, Денисьич?» — спрашивали его, бывало.

«Никуда, брат, я не гожусь, сил у меня мало»! Пропаганда— великое дело, если огонь внутри есть! Нет, я не гожусь! Вот N[1] дело другое:[2] ему надо идти по пропаганде! А я решил так: иду по части бомб!».

Его начинают уговаривать, что это он говорит потому только, что теперь в такой волне находится, что — самоуничижение паче гордости, что он может еще таких дел наделать... Но не берет толку Денисьич — заупрямился. Знающие его натуру, конечно, соображают, что разговаривать бесполезно.

С января 1887 г. начались погромы среди военных. Дошли слухи про погромы и в других городах. Все это еще более укрепляло Генералова в принятом решении.

---

[1] Этого N Денисьич ставил высоко. Когда тот сказал раз возбудившую молодежь речь в кружке, Денисьич постоянно приставал к нему, особенно на вечеринках выпивши: «Скажи речь, пробери их хорошенько, тех, кто красноты мало оказывает!».

[2] Николаевский делает примечание: «можно предполагать, что сам Говорухин». — Вряд ли. *А. Е.*

«Времена ныне, — говорил он, — такие стали серьезные, что никакой сноровки не приобретешь. Почитай, что ничего ты не сделаешь, и аминь — сказке конец! По-моему, уж если попадаться, так так, чтобы те, враги-то рода человеческого, помнили. А страсть они боятся бомбы-то!».

Около февраля Генералов читал снова реферат о социализме и политической борьбе — по Плеханову. Здесь он указывал, что и социал-демократ должен признать, что лучшая форма политической борьбы в России — систематический террор. Но когда ему один возразил: «на чем основана его уверенность, что террор может быть теперь систематическим?», он не мог ответить и более осторожно уже заметил, что давление деспотизма слишком уже сильно и т. д., что оно должно вызвать террористическое настроение. На место уверенности явилась вера, т.-е. нечто, плохо обоснованное.

Расположение духа его постоянно менялось, но прежняя бодрость и веселость возвращались редко. Когда его познакомили с Шевыревым, он сразу подпал под его влияние и ставил его очень высоко. Генералов был не инициатор, не пламенный пропагандист, а просто скромный работник революционного дела.

П. И. АНДРЕЮШКИН.

Сын бедных родителей, мещанин г. Екатеринодара, Кубанской области, рано лишился отца. До пятого класса жил у матери, затем самостоятельно, пробиваясь уроками, хотя с матерью оставался в самых хороших отношениях. Учился в кубанской гимназии в Екатеринодаре. Небольшой городок на окраине, куда еще не успели проникнуть «оздоровительные» стремления наших охранителей, отличался некоторой патриархальностью и простотой нравов. В гимназии отношения между учениками и начальством были достаточно просты; все реформы проходили мимо них, нисколько не стесняя прежней свободы. Работой учеников не заваливали, чем давали возможность остающееся свободное время употреблять на чтение книг. Образовывались кружки саморазвития, устраивались библиотеки. Полиция никого не беспокоила. Некоторые из кружков принимались за практическую деятельность: вели пропаганду среди своих товарищей, собирали деньги между своими знакомыми и посылали в центры, переиздавали кое-какие революционные брошюры и распространяли их. Таким

образом из гимназии молодые люди выходили с достаточно определившимися взглядами.

Когда стали усиливаться репрессии со стороны начальства, то ученики начали терроризировать его. Практиковались часто стеклобития в квартирах нелюбимых учителей. Одно время даже решились взорвать дом директора. Хотели одновременно сделать это в нескольких гимназиях, чтобы заявить протест против существующей системы воспитания в средних учебных заведениях. И только потому, что другие гимназии отказались принять в этом участие, дело расстроилось. Во всех этих предприятиях Андреюшкин принимал самое деятельное участие.

В 1886 г. Андреюшкин окончил курс гимназии и поступил на естественное отделение физико-математического факультета, с намерением заниматься естественными науками, а затем, по окончании курса, поступить в медико-хирургическую академию. С такими благими намерениями ехал в Петербург юноша, через несколько месяцев ставший страшным государственным преступником.

Но скромные желания Андреюшкина оказались неисполнимыми. Университет, обращенный в дисциплинарное военное заведение, сразу потерял в его глазах всю свою прелесть. Заниматься науками в то время, когда он видел вокруг себя самые возмутительные проявления произвола и насилия правительства, он не мог. Оставалось одно: обосновать научно те убеждения, которые вкоренились в нем инстинктивно, т.-е., заняться саморазвитием и кинуться в борьбу за лучшее будущее. Но и это оказывалось не вполне возможным: невыносимый гнет правительства подбивал постоянно к активной борьбе. К тому же Андреюшкин принадлежал к типу «практиков». Он, вообще, не склонен был к теоретическим занятиям и был самым энергичным из товарищей в одном кружке, занимавшемся историей и политической экономией. «Вот я напишу реферат о бунтах Разина и Пугачева»,— говорил он, когда к нему приставали, чтобы он написал реферат. Но написать реферат ему так и не удалось.

Андреюшкин все жаждал живого дела. «Да когда же, наконец, будете вы что-нибудь делать?» — обращался всегда Андреюшкин к своим товарищам, увлекшимся каким-нибудь теоретическим спором. «Все слова да слова, а дела нет! Надо хоть что-нибудь делать, ведь и практическая подготовка необходима», — говорил он всегда и положительно надоедал всем своими упреками в бездействии.

Когда же представлялось какое-нибудь дело, Андреюшкин по виду апатичный, холодный, положительно оживал. Не было такого революционного дела, от которого он отказался бы.

Отличительными чертами его характера были: необыкновенная твердость, решительность, резкость.

Вообще, Андреюшкин был настроен уныло, постоянно скучен, вял, казался разочарованным, вследствие отсутствия практического дела. Но, когда он вступил в террористическую группу, то как-то сразу оживился.

«Что, Пахом, теперь вы будто веселее смотрите?» — говорили ему. — «Еще-бы! Какое же сравнение, прежде болтовня, болтовня везде, куда ни придешь, а теперь — дело! Но самое-то настоящее дело впереди», — отвечал он весело.

И. Н. ЧЕБОТАРЕВ.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИЛЬИЧЕ УЛЬЯНОВЕ И ПЕТЕРБУРГСКОМ СТУДЕНЧЕСТВЕ 1883—1887 гг.

По гимназии (симбирской) я был старше Александра Ильича Ульянова лишь одним классом, но почти не знал его. Так он был скромен и так далек от большинства товарищей-неодноклассников, всецело занимаясь и в школе и дома науками. Как я после узнал, он дома много посвящал времени естественным наукам, — особенно химии, которые тогда в гимназии не проходились. Живя в сфере домашней вполне интеллигентной обстановки, которая давала ему возможность удовлетворять всем умственным и нравственным запросам души, он далек был от бывших в то время в симбирской гимназии нескольких кружков, интересовавшихся общественными и политическими вопросами.

Кружки эти были насаждены в Симбирске среди учащихся и взрослых в 1877 и 1878 годах главным образом бывшим преподавателем русской словесности в гимназии Муратовым, энергичным, смелым чернопередельцем, под влиянием которого находились несколько преподавателей гимназии и духовной семинарии, а также местная штатская и военная молодежь. Года через полтора он был удален из гимназии и из Симбирска, но социалистические кружки оставались, и многие гимназисты принимали в них участие. Но я ни от кого не слышал, чтобы в 1881 или в 1882 г. Ульянов, первый ученик следующего за моим выпуска, принимал в них какое-либо участие. Может быть, это отчасти объясняется и его сравнительной молодостью. Он окончил гимназию 17 лет, участники же кружков были на 2—3 года старше его.

Окончив в 1883 г. гимназию с золотой медалью, Александр Ильич поступил на естественный факультет петербургского уни-

верситета, где я учился уже год на математическом отделени
В начале же учебного года мы встретились. Я принимал тогд
деятельное участие в поволжском землячестве и на первых ж
порах заговорил с Александром Ильичем о вступлении его в член
этого землячества, равно как и с приехавшей вместе с ни
сестрой его, Анной Ильиничной, поступившей на словесно
отделение высших женских (Бестужевских) курсов. Но сочувстви
не встретил. Мне показалось, что оба они слишком для этог
«благовоспитаны» и несколько предубеждены против всяки
студенческих организаций; приехали в Питер только «учиться
и заниматься «чистой наукой», а не «политикой».

Мать их, Мария Александровна, была женщина вполне кул
турная и образованная выше среднего дворянско-бюрократическог
уровня того времени. Она не только знала новые языки и музык
но была очень начитана в русской и иностранной литератур
не чужды были ей все гуманные идеи либеральной эпохи Але
ксандра II, но она далека была тогда от какой-либо «политики»

Отца Александра Ильича я никогда не видел; отзывов о нем ка
общественном, а тем более как политическом деятеле не слыхал
кроме общего мнения в Симбирске, что он прекрасный директо
народных училищ, искренне содействующий развитию образова
ния в народной массе. Его высокое иерархическое положени
в губернской администрации заставляло его сдерживать проявле
ние либеральных симпатий. А наличность их для меня стал
несомненна, когда я от Александра Ильича и Анны Ильиничн
узнал, как их воспитывали, какова была их домашняя — скром
ная, трудовая — обстановка, занятия наукой, музыкой и систе
матическим чтением лучшей русской и мировой литературы.

Хотя скоро Александр Ильич формально и вошел в соста
симбирского кружка поволжского землячества, но первые два год
серьезного участия в нем не принимал; однако постепенно втя
гивался в его интересы, особенно по устройству библиотеки
кассы взаимопомощи и аккуратно посещал его собрания. Земляк
все больше ознакамливались с его душевными и умственным
качествами, а вместе с тем росла и его известность между есте
ственниками университета, как знающего и продуктивно зани
мающегося студента. Он целыми днями работал в зоологическо
или химическом кабинетах университета, и скоро на него обра
тили внимание профессора Бутлеров (органической химии)
известный зоолог Н. Вагнер. Забегая вперед, скажу, что, когд

февраля 1886 г. (на третьем курсе) за сочинение по зоологии лександр Ильич получил золотую медаль (согласно напечатанной «Университетских известиях» рецензии, он сделал вклад в науку, айдя нечто новое в анатомическом строении какого-то вида асекомых), тогда говорили, что проф. Вагнер проектировал остаить его при университете по кафедре зоологии; а в то же ремя проф. Бутлеров желал, чтобы Ульянов избрал своей спеиальностью химию.

В то время — особенно я заметил это в декабре 1885 г. — лександр Ильич стал проявлять интерес к женскому обществу. отя в наших поволжских кружках было много курсисток, осоенно саратовок, и некоторыми из них Александр Ильич вреенно заинтересовывался, но ни одна из них не могла удовлетвоить высоким требованиям его душевного и умственного склада.[1] это время на Рождестве 1885 г. он раза два бывал на вечеинках. Однако это не помешало ему усиленно работать ночью днем в лаборатории и дома над своим сочинением, Помню, еша его окончить, он три ночи под ряд буквально не спал.[2] абота подвигалась к концу, как вдруг Александр Ильич полул известие о внезапной смерти отца. На несколько дней он все бросил, метался из угла в угол по своей комнате как раненый. второй или третий день я зашел к нему и застал его шагающим комнате своими крупными шагами с устремленным вдаль и нио не видящим вблизи взглядом. Становилось прямо страшно него. Но сильная его натура победила и это горе; чрез делю он опять сидел за отделкой своего сочинения, силою оей железной воли и мысли отгоняя печальные думы и даже являясь в наших кружках.

[1] Рассказы об увлечении Александра Ильича в начале 1887 г. соучастцей в процессе Шмидовой мне кажутся невероятными и основанными легкомыслии в этом отношении самой Шмидовой, которой лестно ло распускать такую молву. У Александра Ильича не было к ней какой симпатии как к женщине, да и сама Шмидова, по имеющимся меня данным, не любила его. Едва ли Шмидова была посвящена в дело дготовки покушения. Припоминаю, что, когда я указал раз Александру ьичу на болтливость и легкомыслие Шмидовой, он согласился, что чегобудь серьезного доверять ей нельзя.

[2] Будучи способен не спать за работой несколько ночей, Александр ьич, когда засыпал, спал крепчайшим сном: в самое последнее время шей совместной жизни мне не раз приходилось по утрам в 9 — 10 ч. квально стаскивать его с постели, чтобы разбудить.

Успешные занятия Александра Ильича в лабораториях университета обратили на него внимание и студентов-однокурсников. Многие стали стремиться с ним сблизиться на научной почве. Завязывалось около Александра Ильича ядро будущего биологического кружка. Кружок этот понимал задачу биологии не только в узком естественно-историческом смысле, но расширял понятие биологии на все стороны человеческой жизни — нравственную, политическую и социальную. Насколько мне приходилось присутствовать при разговорах и спорах членов этого кружка (я его членом не был), мне казалось, что главным сторонником такого расширенного понимания его задач был именно Александр Ильич, и недаром этот кружок чаще называли просто ульяновским: Ульянов был его главою и душою. Живо помню я один спор Александра Ильича о смысле и значении в социальной жизни модной тогда в студенческой среде теории «борьбы за существование». Тут мне в первый раз пришлось выслушать длинную речь Александра Ильича (обыкновенно он много не говорил, ограничиваясь репликами или кратко формулируя свое мнение, и подолгу молчал, прислушиваясь к речам других) — речь, научно обоснованную, горячую и проникнутую гуманностью в лучшем смысле этого слова. Он старался выяснить общественно-полезную роль этого закона природы, направленного в конечном итоге не на безжалостное уничтожение физически слабых, а требующего лишь максимума полезной работы каждого индивидуума и тем способствующего их объединению-социализации; в теории и практике борьбы за существование Александр Ильич выдвигал на первое место методы и принципы характера альтруистического. [1] Говорил он вдохновенно и, как мне казалось тогда, во всеоружии науки и логики. Строгой логичностью своих умозаключений Александр Ильич отличался всегда и его не пугал вывод, хотя бы он противоречил обычным нормам, разрушая самые привычные воззрения, симпатии и убеждения, и даже возмущал привычные чувства. Он строго держался своего логического вывода из раз принятых им посылок и неустрашимо проводил его в жизнь, если даже это угрожало его собственной жизни; он не способен был отступать от своих выводов, что и доказал своей смертью.

---

[1] Таково, по крайней мере, сохранившееся у меня впечатление от речи Александра Ильича, — чрез 35 лет лет трудно восстановить подробности.

В биологический кружок входили главным образом студенты-однокурсники Александра Ильича: Шевырев, Говорухин и Лукашевич, соучастники в деле первого марта 1887 г. братья Хлебниковы. Входил также тогда и М. И. Туган-Барановский, бывший естественником. По исключении из университета в конце 1886 г. за участие в демонстрации памяти Добролюбова он сдал экстерном экзамен на кандидата юридических наук и стал впоследствии профессором политической экономии и одним из первых теоретиков легального марксизма девяностых годов. По вхождении в биологический кружок Александр Ильич погрузился больше в общественные науки, в политические вопросы. Вскоре он вошел, кроме того, в состав чисто экономического кружка А. В. Гизетти, где мы в числе 12—15 лиц уже более года занимались изучением политической экономии по комментариям Н. Г. Чернышевского к Д. С. Миллю. Кроме меня и Гизетти, бывшего тогда заведующим статистикой петербургского губ. земства, в состав кружка входили братья Никоновы, — Алексей и Сергей (в квартире их отца — вице-адмирала мы обыкновенно еженедельно собирались), В. В. Бартенев, молодой студент, игравший роль застрельщика всякого рода вопросов и споров по поводу прочитанного или высказанного, Е. Е. Гарнак, Н. Ф. Погребов, Н. П. Каракаш (впоследствии профессор сельско-хозяйственных курсов), М. Т. Елизаров, первый народный комиссар путей сообщения в 1917 г., вышеназванный Говорухин, Ольхин и две женщины, фамилии коих улетучились из памяти.[1] Кружок был в общем научным, но преобладал дух народовольческий. На чисто политические темы почти не говорили, но серьезно штудировали политическую экономию до Рикардо и Мальтуса включительно (особенно много времени и споров посвятили неомальтузианству). Затем изучали книги, в роде «Квинтэссенция социализма» Шефле; но «Капиталом» Маркса и другими его сочинениями не занимались, хотя говорили о них и с почтением отзывались о Даниэльсоне, как о переводчике «Капитала».

Книгою его «Очерки пореформенного хозяйства» очень заинтересовались.

Александр Ильич в этом кружке не выступал с рефератами, но политической экономией стал много заниматься: в частности

---

[1] Одна из них Нина Васильевна Москопуло, впоследствии жена Сергея Никонова. *А. Е.*

заинтересовался судьбами капитализма в России; он много по этому поводу читал: у меня долго хранились его заметки на книгу В. В. («Судьбы капитализма») с большими выписками из современной периодической прессы о развитии крупного хозяйства на юге России. Перечитывая эти заметки, я видел, как широко и глубоко уже тогда Александр Ильич понимал экономические вопросы, и, стоя в своей практической деятельности (заметки писаны не раньше осени 1886 г.) на почве народничества, он видел, как быстро развивается в России капитализм, критически относился к идеям В. В. и выражал сомнение в прочности русской общины, как базы социального переустройства. Не знаю, может быть, тут сказалось влияние появившейся тогда книги Плеханова «Наши разногласия», о которой я помню отзыв Александра Ильича — «интересная книга».

Говорухин, имевший целью уловление членов в активную народовольческую группу и часто сводивший на эту тему свои разговоры, очень скоро перестал посещать наши экономические беседы.

С начала 1886 г. оживилась деятельность студенческого научно-литературного общества при петербургском университете, председателем коего состоял профессор русской литературы Орест Федорович Миллер, очень терпимо относившийся к самым крайним мнениям, высказываемым на собраниях общества. Собрания эти происходили очень часто с многочисленными докладами-рефератами на разные литературные и общественно-политические темы и с оживленными прениями. Я между прочим сделал подробный доклад о пропагандистской деятельности нашей сельской учительницы на моей родине в Николаевском уезде Самарской губернии перед покушением Соловьева и о благоприятном отношении к ней местного населения. Мой доклад произвел на слушателей сильное впечатление, и многие меня за него горячо благодарили: так всем хотелось народного сочувствия революционной деятельности интеллигенции. Студенты стали валом записываться в члены общества; осенью вступили в него почти все члены биологического кружка, в том числе и Александр Ильич. На заседание проникали иногда и курсистки, переодевшись в мужской костюм. Произошли перевыборы президиума.

В главные секретари общества была выставлена кандидатура Александра Ильича. Ее горячо поддерживали несколько человек и особенно В. В. Водовозов, который между прочим указал, что

Ульянов интересуется не одними червями да тараканами, но занят и более широкими планами; не будучи узким специалистом по зоологии или химии, он станет истинным секретарем научно-литературного общества во всей широте его задач. Такова была в это время слава в студенческой среде об Александре Ильиче. Он считался теперь не только ученым, но и общественно-политическим деятелем и был единогласно избран главным секретарем. Зато после первого марта 87 г. в первую очередь было закрыто научно-литературное общество при университете, и профессору Оресту Миллеру пришлось много объясняться. Из известных потом общественных и ученых деятелей в научно-литературном Обществе принимали участие академик С. Ф. и его брат Ф. Ф. Ольденбург, А. А. Корнилов и А. А. Кауфман, профессор И. М. Гревс, академики А. М. Дьяконов и Лаппо-Данилевский, профессор Свешников, Аничков, Опу, Мережковский и многие другие.

С осени 1886 г. мы с Александром Ильичем поселились вместе в квартире из двух комнат и передней на Александровском проспекте Петербургской стороны, в д. № 25. Хозяева жили за капитальной стеной и имели отдельный ход. С начала нашей совместной жизни первая, большая, комната была как бы столовой; вторая, вдвое или втрое меньшая — нашей спальней. Позднее, когда у Александра Ильича стали засиживаться его личные посетители, я стал спать на диване в большой комнате. В маленькой же комнате находилась и библиотека симбирского землячества, включавшая в себя, между прочим, не мало старых журналов с ценными статьями. Так, помню, что были «Отечественные Записки» за несколько лет. Студентов и студенток, входивших в землячество, было одно время свыше 20 человек. Все они очень часто приходили к нам по делам библиотеки, по кассе взаимопомощи, просто поболтать и попить чаю. Самовар и ситный не сходили со стола. Биологический кружок тоже собирался у нас — в маленькой комнате. Лично я почти весь день отсутствовал — бывал в министерстве земледелия, к которому был причислен по окончании университета, или на частных уроках. Поэтому приходящие свободно пользовались большой комнатой. К вечеру особенно много набиралось народа, устраивался хор под управлением одного из братьев Хлебниковых, а раза два и танцы, когда приходило несколько курсисток, из коих помню сестер Хлебниковых.

А в это время отдельные группы вели разговоры на политические темы тут же в зале, в более же интимных случаях — в комнате Александра Ильича, особенно если и он принимал в них участие. В это время началось в студенческой среде повышенное настроение, вызванное не какими-либо исключительными обстоятельствами, а как протест против политического маразма страны, и искавшее выхода не в студенческих беспорядках, а в более крупных действиях. Теория непротивления злу и малых дел многих не удовлетворяла, хотя и толстовство настолько еще интересовало, что «В чем моя вера», «О деньгах», «Церковь и государство», «Исповедь» и т. д. издавались при участии В. В. Водовозова, вовсе не склонного к непротивлению злу. В то же время по рукам ходило много нелегальной литературы, нарождался марксизм; между представителями его (сторонниками Плеханова) и старого народничества возникали прения. Временно большой интерес возбудили проповеди Фрея (псевдоним эмигранта Гирса) о позитивной религии. Я был на его беседах на квартире Никоновых и у магистранта Свешникова. Практическая часть учения Фрея повторяла учение Толстого с его вегетарианством и непротивлением злу насилием. Последнее вызвало особенно решительные возражения. На квартире у Свешникова Фрею возражали сам Свешников, Водовозов, Кауфман и многие другие, настаивавшие на активной борьбе со злом, ясно разумея под ним существующий политический режим.

Энергия молодежи нарастала и искала выхода. Он был найден в мирной демонстрации — панихиде на могиле Н. А. Добролюбова в день 25-летия со дня его смерти 17 ноября 1886 г. К Волкову кладбищу собралось громадное число учащейся молодежи; кроме нее явились и многие пожилые интеллигенты и некоторые профессора, как, напр., престарелый проф. физики Фандер-Флит. Все входы на кладбище были закрыты, из ворот налево вышел большой взвод полиции. Депутация молодежи, в числе коей был и Александр Ильич, несколько раз пыталась вести переговоры с градоначальником Грессером о пропуске на кладбище. В результате была пропущена с венками лишь небольшая депутация. По выходе ее с кладбища толпа тронулась обратно, направившись по Лиговке к Невскому проспекту. У Обводного канала демонстранты были оцеплены перед участком, куда отправляли по одному большей частью из тех, кто обращал на себя

внимание громкими протестами и более агрессивным поведением. Я в цепь не попал, прошел благополучно домой и долго ожидал возвращения Александра Ильича, который вернулся с сестрой очень поздно, после того, как стали выпускать небольшими группами. Вместе с Александром Ильичем пришло и несколько товарищей, между прочим Говорухин. Были лица мне совершенно неизвестные. Все были крайне возбуждены и принялись рассуждать, как реагировать на насилия полиции, не допустившей мирной панихиды на могиле Добролюбова, продержавшей в участке до позднего вечера значительную часть (кажется до 600 человек) собравшейся у кладбища публики и пускавшей в ход казацкую плеть.

На другой день мы узнали, что человек 40 товарищей, в том числе Туган-Барановский, высылаются из Петербурга. Решено было еще в первый же вечер обратиться с письменным протестом к населению Петербурга, путем рассылки писем по почте. С утра в нашей квартире закипела работа по составлению текста письма, его литографированию, доставанию бумаги и конвертов, их адресованию, пользуясь адрес-календарем Петербурга. Отпечатали несколько сот писем и по частям опускали их в несколько ящиков на Петербургской стороне, Васильевском острове и Адмиралтейской части, но в каждый ящик клали все-таки пачками. Это обстоятельство и то, что большинство конвертов, на спех купленных в ближайших магазинах, были однообразные, должно было обратить на себя внимание на почте, если даже допустить, что наша деятельность не была прослежена шпионами. Поэтому не удивительно, что из наших писем немногие дошли по адресу. Из моих личных знакомых, коим письма были адресованы, никто не получил наших прокламаций. Усиленное же шпионство за нами началось еще до дня добролюбовской годовщины. Наш дворник специально следил за тем, что делается у нас и кто нас посещает, и должен был немедленно доносить (это выяснилось мне из его показаний на судебном следствии). Кроме того, были приставлены и специальные агенты. Мы знали об этом, но как-то наивно не придавали надлежащего значения. Изготовление писем продолжалось и на второй день, а гектограф, из предосторожности, я под полой относил на ночь к своему другу М. М. Жданову, жившему в семье отца на Гулярной улице; повидимому, это обстоятельство не было прослежено, так как у Жданова не было обыска и после первого марта

Несмотря на переговоры Александра Ильича с представителями полиции на высылку из Петербурга нескольких лиц, часто у нас бывавших, наша квартира не была подвергнута обыску, а так как квартира Говорухина и Шмидовой была обыскана, то нам казалось, что мы в безопасности, ловко проводим полицию; нам не приходило в голову, что нас оставляют для слежки, именно потому, что придавали более серьезное значение. Посещение публикой нашей квартиры продолжалось попрежнему, если не больше. Общественная безрезультатность как самой добролюбовской панихиды, так и нашего обращения к обществу нисколько нас не обескуражила. Напротив, они, кажется, и подвинули дело заговора на жизнь императора.

Создавшееся после того настроение, в частности членов биологического кружка, стало толкать Александра Ильича к активному народовольчеству. Подстрекал к скорейшим террористическим действиям, по-моему, Говорухин, приходивший раза два к Александру Ильичу с какими-то неизвестными мне, повидимому, нелегальными, лицами. Еще раньше Говорухин не раз заговаривал, зондируя почву, о покушениях на то или другое лицо. Так, однажды, на мои слова о скуке жизни он предложил мне войти в кружок, у которого есть очень серьезное боевое дело. Он же, сдается мне, привлек к нему и Александра Ильича после добролюбовской демонстрации, когда такой выход для последнего был вполне естественен. Я уверен, что до этого времени Александр Ильич серьезно не думал об участии в подобном деле.

С половины декабря чаще других посещали нас и уединенно беседовали с Александром Ильичем Генералов, Шевырев и Говорухин, а также жившая в одной квартире с Говорухиным Шмидова, которая являлась к Александру Ильичу по два, по три раза в день с поручениями Говорухина. Шевырев обыкновенно приходил на минуту, вечно торопясь, занятый, по его словам, устройством новой студенческой столовой. По приговору суда Шевырев выставлен инициатором дела, привлекавшим участников, но, по моему мнению, это крайне ошибочно, основано на оговоре Канчера и Горкуна, которые, может-быть, впервые и были приглашены Шевыревым, и не соответствует действительной роли Шевырева в кружке Ульянова и мнению о нем Александра Ильича, который отзывался о нем как о человеке довольно легкомысленном. Мне кажется, что Шевырев не мог быть главарем заговора, но несомненно его способностью быстро завязывать

знакомства и сходиться с товарищами - студентами пользовались Говорухин и Ульянов для предварительных переговоров с молодежью, в роде Канчера и Горкуна.

Из участников заговора наиболее часто бывал у Александра Ильича в январе 1887 г. Генералов, донской казак, студент первокурсник, распропагандированный еще в гимназии. Тем не менее он производил впечатление не очень развитого студента, гимназическое образование не сказалось и на его внешности; лицо у него было малооживленное, но добродушное. Видимо, он свято верил в дело революции и без сомнений и колебаний отдал себя в распоряжение руководителей, в частности Александра Ильича. С половины января настроение у Александра Ильича и особенно у Говорухина стало более нервным. Говорухин начал проговариваться о предстоящих событиях с лицами, далеко не посвященными в дело. Так, однажды, он, показывая номер французской газеты, кажется, «Intransigeant» Рошфора, где говорилось о готовящемся, якобы, на 1 марта покушении, сначала в вопросительной форме («может ли это быть?»), а потом в положительной начал развивать, как по писаному, план покушения на цареубийство во время проезда царя в Петропавловскую крепость 1 марта. Александра Ильича при этом не было, и, когда я ему об этом передал, он отнесся крайне неодобрительно к такой неосторожности Говорухина.

Несмотря на разгар подготовительных работ, посещения нашей квартиры и устройство в ней пения продолжались, при чем Александр Ильич большею частью уединялся с 2 — 3 товарищами в маленькую комнату, оставляя остальных гостей хозяйничать в большой. Иногда он выходил послушать и даже подтянуть: «Вы жертвою пали» или «Не бил барабан», которые он особенно любил. В то же время мы видели, что слежка за нашей квартирой усилилась. Шмыгали агенты тайной и явной полиции, дворник постоянно изыскивал повод войти в квартиру. И тем не менее это мало беспокоило Александра Ильича. Только Говорухин почти перестал приходить к нам. Сношения его с Александром Ильичем производились через Шмидову. Около половины февраля Говорухин бежал за границу.

В первой половине января Александр Ильич сказал мне, что некоторые из посещающих его товарищей могут быть серьезно скомпрометированы, и что если я не хочу рисковать собой, то нам лучше разъехаться.

Вследствие этого и в виду предположенного отъезда моего на службу в Восточную Сибирь на статистическое исследование Иркутской губернии и необходимости поэтому спешно закончить кандидатскую диссертацию, я переехал в отдельную от Александра Ильича комнату на Песках, на Дегтярную улицу, где квартирной хозяйкой была знакомая, вполне надежная. На этой квартире Александр Ильич был у меня раза два на земляческих собраниях, которые он и в это время посещал аккуратно.

Прислугою на новой квартире была девица Даша, — свой человек, обученная грамоте и, можно сказать, перевоспитанная в радикальном духе. Это произошло под влиянием прежде меня живших там же, впоследствии известного преподавателя физики Н. С. Дрентельна и его сестры, женщины-врача, племянников, кажется, шефа жандармов, что однако не мешало племянникам держаться либеральных взглядов и быть в дружеских отношениях с Г. И. Успенским и Всеволодом Гаршиным.

Успенский во время приездов из Серебрянки часто останавливался у Дрентельна, а Гаршин некоторое время даже жил в той же квартире и занимался с Дашей, которая обладала даром поэтического творчества, сочиняла стихи и, конечно, была ознакомлена с разной нелегальной беллетристикой. В первую же неделю моего там житья Даша сообщила мне, что приходили шпионы и просили следить, кто меня посещает. От Даши я узнал, что шпионы стоят на обеих улицах — дом был угловой, — один из них легковой извозчик. Он сопровождает меня, если я куда отправляюсь на извозчике (у меня в это время были хорошие уроки в Адмиралтейской части, и я часто ездил туда на извозчике). Шпионы жаловались Даше, что не могут меня проследить при этом. Весь февраль за мной была усиленная слежка.

Надо полагать, то же было и на Александровском проспекте. Повидимому, полиция придала мне какое-то особое значение, не соответствовавшее действительности. На Александровском проспекте я, помнится, за весь февраль был один раз, Александра Ильича дома не застал, но раза два виделся с ним на собраниях экономического кружка. Последний раз мы сошлись у Гизетти накануне 1 марта. Собрание не состоялось формально по болезни жены Гизетти, а на самом деле потому, что он заметил около своей квартиры подозрительных лиц.

От Гизетти мы втроем (еще М. Т. Елизаров) зашли в кофейню на Невском. Выпили кофе, и Александр Ильич стал прощаться,

говоря, что у него есть спешное дело. Когда он ушел, я спросил М. Т., заметил ли он какое-то необыкновенное сияние лица у Александра Ильича. Лицо его было как-то особенно просветленно; от него исходило внутреннее сияние, глаза излучали; такими, казалось мне, рисуют на иконах лица мучеников во время их страданий за веру. Елизаров подтвердил мое впечатление. Этот образ Александра Ильича до сих пор стоит у меня перед глазами как живой, и до сих пор я удивляюсь силе духа, спокойствию и вдохновенности, с которыми он шел на жертву. Ему, конечно, ясно было, что даже при полной удаче покушения лично для себя ему нельзя было ожидать иного конца.

Днем первого марта я ничего не слышал о покушении. В ночь на второе марта у меня был произведен безрезультатный обыск, и я был оставлен на свободе. Довольно долго меня на допрос не вызывали и, кажется, только в апреле взяли подписку о невыезде впредь до особого распоряжения. На допросе у прокурора мне предъявили массу фотографических карточек для указания лиц, бывавших в нашей квартире. Я признал тех, кто наиболее часто у нас бывал, главным образом товарищей однокурсников Александра Ильича, как Шевырев и Лукашевич, а также не нашел возможным отрицать посещений Генералова и Шмидовой. Допрос велся в очень корректной форме, никаких каверзных вопросов не предлагалось. По существу подготовки покушения, кажется, ничего не спрашивали, по крайней мере, ни на чем не настаивали. Я вновь был оставлен на свободе и стал готовиться к отъезду в Сибирь, но гр. Игнатьеву дано было знать о моей близости к кружку Ульянова и вскоре мне объявили, что мое назначение не состоялось; на самом деле состоявшееся уже назначение было отменено. 1 апреля я, купив только-что вышедшую апрельскую книжку «Вестника Европы», где между прочим была заметка о покушении 1 марта, и другую — какое-то сочинение Монтегацци, явился к градоначальнику с просьбой передать книги заключенному в крепости Ульянову. На меня, что называется, вытаращили глаза от удивления, — вероятно, что я добровольно назвал товарищем столь важного преступника. Тем не менее после каких-то справок книги взяли, но, как я потом узнал от матери Александра Ильича, ему их не передали. Больше меня до суда не тревожили, а на суд вызвали как свидетеля со стороны Ульянова.

Во время присяги в зале суда мы, свидетели, рассмотрели размещение подсудимых, а в свидетельской комнате, в ожидании

допроса, назвали их, если кто кого не знал. Точно называли свидетелей агенты сыскной полиции, которые следили за обвиняемыми. Александр Ильич сидел на левом краю передней скамьи, а Лукашевич в середине и обращал на себя внимание публики своим высоким ростом. Во время присяги мы с Александром Ильичем встретились взглядами, и он отвесил мне очень низкий поклон. Во время судебного следствия Александр Ильич просил суд допросить меня, видел ли я хотя раз в нашей квартире М. В. Новорусского. Я быстро по чистой совести сказал, что Новорусский никогда не бывал.

Тут прокурор с ехидством спросил меня, как же я утверждаю, что Новорусский никогда не бывал, не зная его в лицо и не спросив даже, который из подсудимых Новорусский. Повидимому, он радовался поймать меня; но я разъяснил, что теперь я знаю, который Новорусский, со слов в свидетельской комнате одного из свидетелей полицейских. На вопрос председателя суда, имеет ли Ульянов еще какие-либо вопросы ко мне, Александр Ильич ответил, что нет, и я был оставлен в зале суда до окончания заседания. Из вопросов Александра Ильича мне и другим свидетелям (дворник и хозяйка) видно было, что Александр Ильич всемерно старался выгородить Новорусского из числа активных участников заговора.

До конца заседания я выслушал показания нескольких свидетелей. Два-три полицейских шпиона ничего существенного не показали; один полицейский, украшенный большой золотой медалью, как говорили — за это дело, подробно рассказал, как он схватил одного из бомбистов (не помню кого) и доставил в градоначальство. Наш дворник и хозяин также ничего особенного не показали, кроме большой посещаемости нашей квартиры молодежью. Хозяин, видимо, не только не мог, но и не хотел указывать замеченных им лиц, а дворник определенно указал из обвиняемых только на Шмидову и назвал отсутствующего Говорухина. Зато хозяйка последнего была очень словоохотлива; входила в такие подробности частной жизни Говорухина и Шмидовой, что ее счел нужным несколько раз остановить председатель суда. Между прочим, она указала на частые приходы к Говорухину Шевырева, чуть не перечисляя дни и числа. Шевырев вступил с нею в спор, стараясь уличить в противоречии и путанице ее показаний.

Александр Ильич держался совершенно спокойно и лишь изредка задавал методически свидетелям вопросы по фактической

стороне их показаний. За полтора месяца заключения он сильно изменился, возмужал, даже голос его стал более внушительным. Видимо, за это время он много и глубоко передумал; на суд он предстал уже не несовершеннолетним юношей, а созревшим и убежденным в правоте своих поступков пожилым человеком, хотя ему только-что минул двадцать один год. По сосредоточенному выражению лица, по обдуманным и точным ответам и возражениям или разъяснениям он казался мне много старше своих лет и солиднее, чем был два месяца тому назад. При закрытии заседания мы снова встретились взглядами, и Александр Ильич опять сделал, глядя на меня, глубокий поклон. Я ответил ему тем же. Все это указывает как на лично хорошее отношение его ко мне (после осуждения он в крепости спрашивал свою мать, что сделали со мной), так и на то самообладание, с каким Александр Ильич сидел на роковой скамье, если он не забывал таких пустяшных деликатностей и находил нужным послать товарищу последнее «прощай».

Больше я на суд не вызывался. Через два-три дня ко мне явились полицейские агенты, собрали мое небольшое студенческое имущество и отвезли меня в градоначальство. Там продержали ночь, а на утро объявили, что я высылаюсь без срока из Петербурга, куда хочу. Я выбрал Самару. Меня доставили на Николаевский вокзал и снабдили билетом до Москвы, где я должен был для получения бумаги на дальнейший путь явиться в местную охранку. Сопровождавший меня до вагона городовой вышел, как только поезд тронулся. Был ли негласный надзор в пути, не знаю.

В московской охранке вел со мною продолжительную беседу знаменитый в то время начальник этой охранки Бердяев. Поговорив как о самом процессе, так и о том, как я теперь думаю устроиться, он свел на то, что лучше мне остаться в Москве, где я легче могу найти заработок. На мое указание, что у меня в Москве нет никаких знакомых, он предложил свои услуги и даже готов был помочь на первое время из собственных средств. Я понял, что он хочет так или иначе связать меня с охранкою, но притворился непонимающим его цели и своекорыстия его помощи мне. Тогда он стал рисовать мне безотрадную картину моего общественного положения. Он сказал, что никто, ни правительство, ни революционеры, и он сам в частности не поверят, чтобы я не знал о замыслах Ульянова, что полиция все время

будет за мною следить, а революционеры от меня отшатнутся, объявив меня предателем Ульянова, так как они не поверят, чтобы меня оставили на свободе без каких-либо существенных выдач. Картину Бердяев рисовал для меня тяжелую и опять свел к тому, что лучше всего для меня принять его предложение остаться в Москве, где мое пребывание не так будет заметно. Но я решительно заявил, что предпочитаю ехать на родину в Самарскую губ. Он выразил сожаление, что я с ним не соглашаюсь, и очень вежливо расстался. В тот же день я выехал через Нижний-Новгород в Самару, где, не успев еще как-либо устроиться, я услышал в половине мая о казни Александра Ильича и его четырех товарищей: Шевырева, Генералова, Андреюшкина и Осипанова.

М. ДРАПИЦЫН.

ОБРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИЛЬИЧЕ УЛЬЯНОВЕ.

Признавая, что всестороннее освещение жизни Александра Ильича представляется существенно важным для определения движения и настроения русской мысли той эпохи, ярким выразителем которой являлся покойный, я охотно исполняю желание лиц, взявших на себя инициативу издания воспоминаний об Александре Ильиче, поделиться своими сведениями, хотя мои воспоминания за давностью лет бледны своим содержанием и по праву могут быть названы лишь обрывками воспоминаний...

Мое первое знакомство с Александром Ильичем относится к школьной скамье, к 1879 г., когда он догнал меня в третьем классе симбирской гимназии, где я засел на второй год. Уже тогда этот судьбой отмеченный маленький человек являлся центром, около которого группировались все элементы класса, осаждая его и перед уроками — с утра и во время перемен — с разного рода просьбами и на дому, в особенности перед экзаменами: то перевести из классиков или немецкого и французского языка, то показать задачку, то исправить или написать сочинение и т. п. и т. д., и никто из нас никогда не уходил от него неудовлетворенным; будучи выше всех нас по познаниям и развитию, он охотно оказывал помощь всем и каждому.

Шел он первым учеником весь гимназический курс и окончил его 17 лет с золотой медалью. Следует отметить, что обычно в былые годы «первым» шел тот, кто знал латинский и греческий языки, и зачастую так называемые «зубрилы» по классикам были в действительности большими тупицами вообще и мало сведущими по математике и литературе — в частности. Но это не служило препятствием к получению ими золотой медали в виду

послаблений со стороны учителей остальных предметов. В отличие от этих «зубрил», Александр Ильич был первым по всем предметам и не встречал, повидимому, затруднений в усвоении всех курсов, при чем знания свои не ограничивал учебниками. Поставленный в исключительно благоприятные условия домашней жизни своей весьма культурной семьи, Александр Ильич талантливо использовал эти условия и уже на гимназической скамье, в отличие от громадного большинства из нас, прочел всех русских и иностранных классиков, знал языки, свободно разбирался в общественных течениях, интересовался естественными науками и, в частности, химией...

Не чужд был Александр Ильич и спорта: он был прекрасным шахматистом, разыгрывая и выигрывая партии на память без шахматной доски одновременно до 3 — 4 партий с разными лицами; увлекался и ружейной охотой: мне памятны наши совместные поездки на лодке летом 1886 г., когда мы на восходе солнца пробирались по камышам протоков р. Свияги, и он с особенным азартом, рискуя очутиться за бортом, палил из двухстволки по испуганным уткам, ничуть не огорчаясь, что домой мы возвращались с пустыми ягдташами.

Гимназический выпуск Александра Ильича получил название: «класс Ульянова» и на вопросы: «когда окончил курс?», каждый отвечал «я — с Сашей Ульяновым»...

Но не только эти особенности делали Александра Ильича центром, к которому стремилось все его окружавшее; очень часто большой человек в гимназии, где нужны для товарищей указания, подсказы и т. п., — вне стен школы оказывался маленьким никому ненужным и всем чуждым. Александр Ильич и в частной жизни был верен себе, и, обладая от природы редкой чуткостью и уменьем распознавать чужую душу и бережно к ней относиться (унаследовав эти качества от своей матушки Марии Александровны), подходил близко к своим товарищам и, при всей своей видимой скромности и на первый взгляд замкнутости, делался для них необходимым и в частной жизни. Нечего говорить, что, благодаря этому и стальной твердости своего характера, самостоятельности своих взглядов и определенности своих убеждений, Александр Ильич занял соответствующее место и в более сознательной жизни, в университете.

Приехав в Петербург в 1884 г., я застал Александра Ильича уже на втором курсе естественного факультета. Время тогда

в отношении общественно-политическом было крайне реакционное. Землячества, самообразовательные кружки и т. п. подвергались беспощадному гонению и искоренению. В виду этого для объединения студенчества требовалась, с одной стороны, большая конспирация, а с другой — большая энергия и самоотверженность. В этом деле Александр Ильич оказался незаменимым и неутомимым. Будучи избираем бессменным депутатом от нашего симбирского землячества в поволжское, Александр Ильич в короткий срок составил устав землячества, упорядочил финансовую часть, введя строгий учет по выдаче ссуд, отчетности и сборам в пользу политической ссылки. По его инициативе были введены рефераты по научно-литературным и политико-экономическим вопросам.

Как депутат, Александр Ильич принимал участие в собраниях всех поволжских землячеств (13 кружков) и был одним из инициаторов организации общестуденческой столовой, объединения всех учебных (высших) заведений Петербурга, а затем и всех других университетских городов; работал в научно-литературном обществе и в кружках по изучению экономических вопросов. В то же время Александр Ильич усиленно занимался в своей лаборатории при университете и на третьем курсе представил научную работу, удостоенную золотой медали. На ряду с этим он чутко прислушивался к общеполитическим настроениям в государственном масштабе и, остро переживая чинимые тогда несправедливости в отношении всего народа, охотно брал в свои руки инициативу при всяком проявлении протеста.

Во время известной демонстрации на Волковом кладбище по поводу 25-летия смерти Добролюбова (17 ноября 1886 г.), когда у закрытых чугунных ворот и изгороди кладбища собралась многочисленная толпа студентов всех учебных заведений, и Грессер лично и через полицейских отдал распоряжение разойтись, Александр Ильич в числе первых подал твердый голос не расходиться, и полиция вынуждена была изменить первоначальное требование и допустила на могилу писателя депутатов с венками. Когда же затем при движении демонстрации к городу она была окружена конными казаками против участка на Обводном канале, близ Невского, Александр Ильич, попавший так же, как и я, в число окруженных, высказал пожелание, пожертвовав несколькими товарищами, прорвать цепь казаков и полиции силой и продолжать путь к Невскому. Эта мысль не была поддержана,

и я отмечаю ее не для того, чтобы признать план Александра Ильича целесообразным (думаю, что и сам он не считал возможным добиться этим благих результатов), а полагаю, что этот факт является характерным для того морального состояния, которое переживал Александр Ильич под влиянием насилия и глумления над ними Грессера, казаков и полиции, и как он на это реагировал... Повидимому, это событие было решающим в жизни Александра Ильича...

В тот же вечер и в последующие дни начались среди студентов обыски, аресты; стали циркулировать слухи, что многим грозит высылка. Александр Ильич решил обратиться к так называемому общественному мнению. Им лично было составлено воззвание и послано по почте всем городским головам и председателям земских управ и другим общественным деятелям с изложением бесчинств администрации.

К этому же периоду относится и начало работы Александра Ильича по организации рабочих кружков в Галерной гавани на Васильевском острове. Этой работе Александр Ильич придавал громадное значение, и, благодаря максимуму проявленной им энергии, он в короткий срок достиг больших результатов. Занятия с рабочими велись маленькими группами, при строгой конспирации, без обозначения фамилий (сам Александр Ильич назывался «Ильич» и другими прозвищами), и заключались в чтении избранных книг и в беседах по выработанной программе. Эту программу Александр Ильич передал и мне, когда привлек меня к занятию с рабочими; по ней я должен был вести занятия с тремя рабочими на Васильевском острове; так же делал это сам Саша и сорганизованный им кружок пропагандистов (среди них был, повидимому, А. Милеев).

Моя постоянная неуверенность в моих знаниях и способностях отодвинула занятия с моей группой, и я успел дать лишь одну лекцию (пробную). Из слов же Саши знал, что этому делу он посвятил весь свой досуг и в одном из кружковых собраний заявил, что весь рабочий район Петербурга[1] покрыт сетью кружков сознательных рабочих, готовых поддержать политическое выступление, и что все нити этой организации находятся в его руках...

Насколько это заявление соответствовало действительности — сказать не могу, но тогда я Саше бесконтрольно верил и, опа-

[1] Вероятно, надо читать: Васильевского острова. *А. Е.*

саясь за его судьбу, попенял ему, что не следовало говорить об этом так открыто. Надо отметить, что в то время, благодаря гнусной политике правительства, к стыду начинавшего разлагаться студенчества, приходилось уже бояться своего брата-студента. Саша сознал тогда свою неосторожность и о работе своей среди рабочих более ни разу не говорил. Было это, как-будто, в январе или в первой половине февраля 1887 г.

О том, что занятия свои с рабочими группами Саша не прерывал до последнего времени, т.-е. до ареста, я знал по тому, что в одно из наших последних свиданий он сказал мне, что если ко мне явится кто-либо из рабочих с просьбой указать, где находится «Ильич» и «Иннокентий Васильевич» (или Иванович?), чтобы я сообщил этому рабочему его адрес. Из этого разговора я тогда же уяснил (а, быть может, Саша и сказал мне об этом), что Саша лично руководил не одной группой рабочих, и что для конспирации каждая группа знала его под разными именами. В чем состояли занятия с рабочими? Мне трудно восстановить программу. Насколько помню, кружки делились на группы по степени подготовленности. Каждой лекции в каждой группе были даны: 1) список книг, необходимых для общего прочтения, и 2) содержание беседы по поводу прочитанного. Среди книг фигурировали: Энгельс, Маркс, Ф. Лассаль, литературные издания Л. Толстого и много других. Темой бесед были вопросы политико-экономические, связанные с уничтожением рабства и с преобразованием отношений капиталистической и поземельной собственности, и т. п. Окраска бесед — по принципам группы «Земля и Воля».

В половине февраля Александр Ильич передал мне работу нашего землячества, проведя меня в депутаты. Нужно отметить, что, примкнув к группе террористов (Говорухин-Шевырев), он никого из нас в это не посвятил и заметно отмежевался от нас, так сказать, официально, для чего он вышел из нашего землячества (3 кружка симбиряков в числе 13 кружков поволжан), на оживление деятельности которого он потратил так много времени и энергии... К характеристике Саши могу сообщить такой факт: уже после приговора он не переставал интересоваться вопросами по политической экономии и выражал свое удовольствие за посылку ему мною только-что вышедшей тогда книги Л. В. Ходского: «Политическая экономия в связи с финансами». Книгу эту я послал ему через покойную Марию Александровну, которая

*

относилась ко мне так же, как и Саша, и с которой я разделял, во время посещения ею моей квартиры на Васильевском острове, ее глубокое горе. Из разговоров с Марией Александровной я знаю, что последнее свидание с Сашей ей разрешено было в Петропавловской крепости, куда все осужденные были переведены обратно после суда.

Все это далеко позади, но некоторые моменты, как и образ Саши, — ярко близки. Он был мне близким другом, и я бы сказал — не столько любил, сколько душой понимал и жалел. При моей психической структуре я всей душой «рабски» был предан Саше и считал его самым лучшим, самым умным, самым даровитым и честным из всех товарищей и без критики подчинялся всем его желаниям, советам и просьбам... Я сказал, что Саша жалел меня. Да, он осторожно, как потом сделалось ясным, устранил меня от всего, что могло меня политически скомпрометировать, и только благодаря этому первый обыск у меня произведен был лишь 1 апреля 1887 г., т.-е. спустя месяц после его ареста.

Приступив к работе по подготовке покушения, Александр Ильич совершенно оставил работу в землячестве и в других кружках. 1 марта 1887 г. мы узнали об аресте Александра Ильича, а затем о том, что он обвиняется совместно с Шевыревым и другими в организации террористического акта. А в утро 8 мая того же года этот большой человек, столь нужный для народа и страны, был насильственно умерщвлен...

Оценивая террористическое выступление Александра Ильича, я бы сказал, что оно не вытекало из всех предшествовавших событий и не отвечало структуре убеждений покойного, — так по крайней мере я понимал Александра Ильича. Я считал его не террористом, а последователем Маркса. Но что случилось — то историческая действительность.

СЕМЕН ХЛЕБНИКОВ.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИЛЬИЧЕ УЛЬЯНОВЕ 1886—1887 г.[1]

Это было тяжелое, глухое время. После страшного напряжения 1881 г. сильно подорванная и дезорганизованная дегаевщиной самоотверженная группа радикальной интеллигенции, главным образом молодежи, не получая поддержки со стороны широких общественных слоев, изнемогала в борьбе с самодержавием, еще достаточно сильным своей организованностью и своим традиционным престижем власти. Усталость и разочарованность в силах интеллигенции отражались в литературе. «Отечественные Записки» только-что были закрыты. Был провозглашен лозунг «маленьких дел», «наше время — не время широких задач». Провозглашалось, что настало время мелкой культурной работы, не освещенной широкими общественными задачами. Большим успехом стало пользоваться учение Л. Н. Толстого, провозгласившего, как панацею, спасение человечества в личном самоусовершенствовании, в культивировании своей души, независимо от каких-либо изменений в общественных формах. В связи с этим некоторой частью интеллигенции осуществлялось на практике это устранение от общественной жизни в каких-

---

[1] Автор — студент, принадлежал к кружку «донцов и кубанцев», находившемуся на особом подозрении у полиции. Он и брат его упоминаются среди студентов, состоявших под надзором. Жандармский генерал Оржевский доносит царю 11 марта: «Вообще надлежит заметить, что прибывающие в столицу и другие университетские города уроженцы Кубанской области отличаются вредным политическим направлением. Так братья Хлебниковы»... В доме предварительного заключения старший брат автора, Арсений, попал так же, как и Новорусский, в ловушку шпиона Остроумова, беседуя с ним стуком. *А. Е.*

либо отдаленные уголки с целью создания для себя нравственных условий жизни. Явились «культурные одиночки», интеллигентные колонии вроде «Криницы» на Черноморском побережьи и т. д., и т. д.

Сильные — боролись и гибли без видимого результата, слабые — но честные — удалялись от жизни, чтобы сохранить себя от наползавшей отовсюду и налипавшей грязи обывательщины, остальные — погружались в грязь. Учащаяся молодежь, еще в значительной степени сохранившая прежние традиции, время от времени реагировала «беспорядками», пассивными протестами на это общее разложение. Рабочий класс еще не осознал себя и проявлял свое недовольство вспыхивавшими время от времени забастовками и рабочими «беспорядками» почти исключительно на экономической почве. Идеи социал-демократии только еще начинали проникать в кружки радикальной интеллигенции. Только-что вышли в свет знаменитые плехановские «Наши разногласия», где он окончательно разрывает с народовольчеством и ставит во главу угла классовое сознание рабочего класса. Крестьянство страдало молча и под воздействием налогового пресса и недостаточности земельного надела постепенно втягивалось в капиталистический товарообмен.

В это время в петербургских высших учебных заведениях и, в частности, в Петербургском университете учащаяся молодежь группировалась обычно по своим землячествам. Землячества, преследуя, главным образом, задачи взаимопомощи своих членов, вместе с тем были настроены в большей или в меньшей степени радикально, смотря по той закваске, какую члены и землячества вносили с собой в университетскую среду из провинции, из средних учебных заведений. В 1884—86 гг. в кубанское и донское землячества влилось некоторое количество активных, радикально настроенных членов, которые придали определенное направление своим организациям. Донцы и кубанцы образовали тесно сплоченную друг с другом группу, преследовавшую цели взаимного политического саморазвития, составляли рефераты по политической экономии, социологии и истории и некоторые из них распространяли среди студенчества. К ним примыкали наиболее активные одиночки из других местностей России.

Эти группы задавали студенчеству, что называется, тон. Они-то и доставляли кадры для групп, занимавшихся уже исклю

чительно революционной деятельностью. Они почти в полном объеме участвовали в так называемой «добролюбовской истории» — 19 ноября 1886 г. Они же участвовали в подготовке пассивного протеста в день акта Петербургского университета 8 февраля 1886 г., — протеста, не удавшегося вследствие захвата петербургским градоначальником Грессером накануне акта многих студентов в качестве заложников, очевидно по доносам находившихся в студенческой среде шпионов. На Петербургской стороне донское землячество устроило студенческую столовую фиктивно на имя частного лица. Столовая эта была центром, где студенты встречались друг с другом и устраивали всякого рода дела политического характера.

Пишущий эти строки юношей 20 лет был в числе участников «добролюбовской истории» и был очевидцем грубой расправы Грессера со студентами при помощи донских казачьих плетей. Он же был в числе заложников, взятых Грессером в обеспечение благополучного исхода петербургского акта, и затем по освобождении вместе с другими заложниками был встречен овациями со стороны студентов в донской столовой. Наконец, и последняя организация «Народной Воли» в Петербурге, имевшая непосредственные отношения с Югом, так сказать, чрезвычайная тройка, имела в своем составе одного петербуржца — Гаусмана, кишиневца — Гинзбурга, лично хорошо известных пишущему эти строки, и одного кубанца. [1]

Осенью 1886 г. в среде донцов и кубанцев появилось новое лицо — студент-естественник Александр Ильич Ульянов. Как сейчас представляю себе его удлиненный овал лица с крупными чертами и с неизменно вдумчивым выражением. С первой же встречи Александр Ильич, или просто Ильич, как называли его в студенческой среде по перенятому у донцов обычаю называть одним отчеством (Макарыч, Руфич, Серафимыч, Иваныч, Денисыч — все студенты-донцы того времени), производил неотразимое впечатление. Чувствовалось, что перед вами был человек, который раз составил себе определенное убеждение или веро-

---

[1] Сведения об этой организации мельком сообщаются в предисловии Гинзбурга-Кольцова к книге Туна. Гаусман впоследствии погиб героем в известной якутской трагедии. Это была крупная недюжинная личность. В другом государстве или в другое время из него вышел бы крупный государственный деятель.

вание, уже безраздельно отдавался ему. В то время как другие товарищи страдали маленькими изъянами мелкого молодого самолюбия, тщеславия, а подчас и своекорыстия, могущих впоследствии с охлаждением сердечной молодости разрастись в махровые цветы обывательщины, в лице Александра Ильича сказывалась кристальная душевная чистота, к которой, кажется, никогда не могла пристать никакая житейская грязь.

Естественно, что при таких душевных качествах, при недюжинном вместе с тем уме, Ильич сразу занял среди молодежи выдающееся положение. Среди студенчества говорили о нем, что он предполагал первоначально посвятить себя науке, написал научную работу по естествознанию на золотую медаль, но затем под влиянием студенческих революционных кружков увлекся идеей революции и всецело отдался революционной деятельности. Сила преданности его революционному делу психологически объяснялась той свежестью душевного восприятия, когда накопленные силы ума и чувства, не растраченные на мелкие несвоевременно воспринятые, недостаточно продуманные и усвоенные обрывки сведений о революции и социалистическом учении, получили сразу уже в студенческой среде, в возрасте 22—23 лет, [1] всю сумму впечатлений и знаний, непосредственно и безраздельно овладевших девственной почвой его душевного настроения. Соответствовало ли это представление действительной душевной эволюции Ильича, действительно ли он получил революционное крещение и воспитание впервые уже в бытность свою в университетской среде,—не знаю, так как о прошлом Александра Ильича в провинции, в его родном Поволжьи, мне и вообще кубанцам мало было известно. [2]

Мне припоминается много встреч с Александром Ильичем, когда в среде студенчества чувствовалось неотразимое впечатление, производимое им. Особенно памятна одна студенческая вечеринка, когда нас несколько человек удалилось в уголок одной из комнат квартиры, где происходила вечеринка, в то время как вокруг царило шумное веселье,—молодежь плясала в соседней комнате под игру на фортепьяно, в другой—пели «Укажи мне

---

[1] Александру Ильичу было в то время 20 лет. 21 год минул ему уже в тюрьме—31 марта 1887 г. *А. Е.*

[2] См. речь Александра Ильича на суде, где он говорит, что общее, хотя и смутное еще недовольство общественным строем ощущалось им в ранней молодости. *А. Е.*

такую обитель, где бы русский мужик не стонал». А мы с Ильичем удалились в сторонку, где завязался горячий спор на жгучую для того времени тему о социал-демократическом учении, о марксизме и народовольчестве. Александр Ильич больше слушал по своей постоянной спокойной манере и только изредка подавал реплики. И надо было видеть, с каким уважением, почти благоговением, относились слушатели к этим немногим его репликам.

Александр Ильич по своим политическим взглядам примыкал к народовольчеству. Это было вполне естественно для его активной, действенной натуры, так как в то время народовольчество давало наиболее активных работников и еще пользовалось ореолом героической борьбы с самодержавием. Только исключительно теоретически настроенные умы, не слишком увлекающиеся непосредственной борьбой, могли провидеть, отрешаясь от окружающей действительности, все динамическое значение социологического учения К. Маркса. Большинство ухитрялось, как и все народовольчество, примирять К. Маркса со своим внеклассовым социологическим мировоззрением, принимая статическую сторону социализма и учения Маркса и совершенно пропуская мимо своего внимания динамическую сущность этого учения. Иначе и не могло быть в объективных условиях русской действительности того времени, — со слабым развитием капиталистической формы производства, с преобладанием крестьянской формы натурального хозяйства, на фундаменте которой громоздилась еще достаточно сильная организация самодержавия.

Вместе с кристаллически чистой душой и способностью отдаваться безраздельно раз усвоенному убеждению, в Александре Ильиче была в высшей степени привлекательна другая черта, это — деликатное, бережное отношение его к человеческой личности. Эта мягкость в личных отношениях, чуткость и деликатность привлекали к нему все сердца и особенно чувствительную к указанной стороне характера слабую половину человеческого рода. Я думаю, многие из окружавших Ильича молодых девушек, типа тургеневских и некрасовских русских женщин, так поэтически изображенных Тургеневым в его стихотворении в прозе «Порог», не задумываясь, пошли бы за Ильичем на смерть, если бы это понадобилось. И потому особенно было жаль, что выбор Александра Ильича, этой чистой, детски доверчивой души, пал в этом отношении на лицо, далеко не соответствующее ни по своим нравственным, ни по умственным, ни даже чисто физиче-

ским качествам, высокому уровню личности Александра Ильича.[1] Пишущий эти строки хорошо знал эту особу. Быть может, она еще находится где-либо в живых, и потому не приходится более подробно останавливаться на ее характеристике и фактической стороне ее жизни. Скажу лишь, что память и привязанность к незабвенной личности Александра Ильича у нее оказались первая — очень короткой, а вторая — очень слабой, что видно хотя бы из того факта, что уже спустя месяца три после казни Александра Ильича она по пути в ссылку нашла себе другую привязанность и вышла замуж. Сведение об этом факте, дошедшее до товарищей Александра Ильича, вызвало в них справедливое чувство горького недоумения.

Принадлежа к числу недюжинных личностей, Александр Ильич, отдавшись делу революционной борьбы, естественно не мог удовлетвориться мелкой повседневной деятельностью в этом направлении. И вот в конце 1886 г. или начале 1887 г. некоторым из членов революционных студенческих организаций стало известно о подготовке террористического акта. Деятелям революции типа Александра Ильича казалось, что самодержавие изжило само себя, что оно поддерживается только, так сказать, по исторической инерции, что стоит только столкнуть символ этой власти,— и вся бюрократическая постройка, не поддерживаемая никакой широкой общественной группой, рухнет сама собой,[2] — мнение, отчасти нашедшее свое подтверждение значительно позже — в той легкости, с какой пало самодержавие в 1917 г., ровно через 30 лет после покушения 1 марта 1887 г. История этого покушения и выдающаяся роль в нем Александра Ильича достаточно известны.

Затем началась кровавая расплата за ошибочный учет общественных сил и своей личной опытности со стороны беззаветно самоотверженной группы молодежи. В конце марта или начале апреля (у меня под руками точной даты не имеется) Александр Ильич Ульянов, Осипанов, Андреюшкин, Генералов и Шевырев отдали свою жизнь на виселице.[3] Новорусский, Лукашевич,

[1] Автор говорит, очевидно, о Шмидовой. И. Н. Чеботарев,— см. его воспоминания, — и пишущая эти строки полагают, что оснований считать Шмидову невестой Александра Ильича нет. *А. Е.*

[2] Мнения такого у Александра Ильича,— см. его речь на суде и ряд напечатанных здесь воспоминаний,— конечно не было. *А. Е.*

[3] 8 мая 1887 г. *А. Е.*

Ананьина, Шмидова и другие по процессу поплатились заключением в Шлиссельбургской крепости и ссылкой, и большинство из них дожило до лучших дней. 2 марта 1887 г. пишущий эти строки был арестован (в эту же ночь был произведен целый ряд арестов), а затем сослан в отдаленнейшие места Туркестана, на китайскую границу, и поэтому дальнейшие сведения, которые сообщаются ниже, были получены им из вторых рук. Рассказывали, что Александр Ильич встретил приговор спокойно и мужественно. Так же мужественно встретили смерть Шевырев, Осипанов и Генералов. Андреюшкин тяжело страдал. Передавали, что за одну ночь после приговора он стал совершенно седым стариком.[1] Кто знает, что перечувствовала, что передумала, что пережила эта поседевшая голова?..

Расплата постепенно ширилась все дальше и дальше. Двум участникам —Макарычу и Куюпту[2] (товарищеские клички)—удалось бежать за границу, и они до последних лет были в живых. Серафимыч (известный писатель Александр Серафимович Попов — псевдоним «Серафимо̀вич»), арестованный в ближайшие после 1 марта дни, был затем сослан в Архангельскую губ. Брат пишущего эти строки[3] был сослан на восемь лет в Якутскую область. Вообще наиболее пострадали донцы и кубанцы. Достаточно было одной принадлежности к кубанцам или донцам, чтобы подвергнуться гонению в бо̀льшей или меньшей степени. При обыске у сестры пишущего эти строки и ее подруги, девушек 18—19 лет, пристав, измотавшийся за ночь обысками, выражал недоумение, почему у таких молоденьких приказывают делать обыски. Затем узнав, что они из Кубанской области, сказал: «Ну, теперь причина понятна». Эти девушки сосланы были также на родину, отсидев предварительно в заключении.

После разгрома почти не осталось в Петербурге учащихся донцов и кубанцев. Но мало того, так как почти все участники принадлежали к числу университетской молодежи, то петербургский университет попал под подозрение. Ректор Андриевский, мягкий, благожелательный к студенчеству человек, был смещен. Гимназии кубанская и новочеркасская также были под-

---

[1] Подтверждения этого факта не встречалось. *А. Е.*

[2] Говорухину и Рудевичу. Рудевич умер несколько лет тому назад; Говорухин в 1925 г. приехал из Болгарии в Москву. *А. Е.*

[3] Арсений Хлебников.

вергнуты «чистке». Директора гимназий были смещены и некоторые из преподавателей удалены, как допустившие расцвет «крамолы» в стенах своих учебных заведений.

Так кончилась прогремевшая на всю Россию эпопея 1887 г., один из этапов борьбы русской общественности с самодержавием, в которой принимал такое близкое участие незабвенной памяти Александр Ильич Ульянов. Прошли годы, прошли десятилетия, Россия освободилась от молоха самодержавия, Россия — свободна. И хочется верить, что светлая память самоотверженного рыцаря борьбы с самодержавием, незабвенного Александра Ильича Ульянова, и его товарищей сохранится на долгие годы в русском обществе и передастся также вступающим на арену исторической общественной жизни новым общественным слоям — рабочему классу и крестьянству.

Т. ГАРНАК.

---

1 МАРТА 1887 ГОДА—ВТОРОЕ 1 МАРТА.

Поразительна попытка самоотверженной молодежи стряхнуть каторжный режим того «доброго старого времени», полная незабываемого трагизма.

Время стояло безнадежно глухое. Жизнь была загнана в безъисходный тупик. Раздавались уже голоса о необходимости немедленного, резкого выступления, выступления во всяком случае при всяких обстоятельствах, хотя бы даже без надежды на успех, лишь бы разрядить духоту... Похоже было на то, когда сильно затекшую руку мучительно хочется расправить с треском.

Наш «экономический» кружок, куда был (в начале 1886 г.) введен товарищами М. Т. Елизаровым и И. Н. Чеботаревым Александр Ильич, состоял, за исключением А. В. Гизетти, из учащейся молодежи различных «родов оружия» и, конечно, живейшим образом отзывался на злобу времени, и мы часто невольно, даже неудержимо, переходили с вопросов чистой экономики на «политику», а оттуда уж было до революции рукой подать.

Молчаливый и внешне спокойный вошел Александр Ильич к нам и принялся за дело серьезно, меньше нашего уклоняясь в сторону от основных вопросов нашего «экономического» кружка, хотя и не нарушая общего настроения.

Только когда мы, по свойственной молодости здоровой жизнерадостности, шутили и смеялись, он оставался серьезен и лишь изредка слабо улыбался.

В его глубоких, прямо и твердо смотревших глазах светилось что-то успокоительное, прочное. Делалось как-то покойно, даже уютно при нем.

Я не могу сказать с уверенностью, что Александр Ильич пришел к нам с намерением использовать наш кружок для своих террористических замыслов. Мысль воспользоваться кем-нибудь из нас могла явиться у него уже потом.

Как бы то ни было, Александр Ильич пригласил С. А. Никонова и меня принять некоторое, правда второстепенное, участие. Мне было предложено составить прокламацию для выпуска в случае удачи покушения. Проект этой прокламации я должен был представить на обсуждение.

Вследствие крайней осторожности Александра Ильича по отношению к чужой безопасности, извещение о времени и месте собрания, куда я должен был явиться, было так «законспирировано», что попало ко мне уже после покушения и то лишь случайно.

Неудача покушения меня так поразила, как бы придавила даже, что заслонила на время весь ужас гибели его участников, гибели нашего Александра Ильича.

Яркая смерть их еще сильнее оттенила мрак окружавшей нас тогда жизни, как удар молнии в глухую ночь.

При редких встречах с оставшимися в живых товарищами по кружку живо вспоминается Александр Ильич, этот удивительный юноша, и его твердый, серьезный взгляд, и подымается тогда со дна души горечь обиды за безвременную его гибель.

В. В. КАШКАДАМОВА.

ВОСПОМИНАНИЯ.

С семьей Ульяновых я познакомилась в 1880 г., когда получила назначение на должность учительницы вновь открытого тогда в Симбирске пятого женского начального училища и должна была явиться к директору народных училищ — Илье Николаевичу Ульянову.

Об Илье Николаевиче я слышала как о строгом, требовательном начальнике, которому трудно угодить, но первое же свидание с ним совершенно изменило составленное мною по слухам мнение о нем. Правда, он встретил меня холодно, официально, задавая вопросы, касающиеся степени моей подготовленности к предстоящей работе и знакомства с педагогической литературой, с которой я была тогда мало знакома. Советовал прочитать необходимые книги и говорил о важности и ответственности обязанностей школьного учителя, но не запугивал, напротив, успокаивал и ободрял, когда я выражала сомнение, смогу ли справиться с той работой, которую беру на себя. И я ушла от него успокоенная, довольная директором и уверенная, что при его советах и руководительстве работа в школе не страшна, а интересна.

Первое время моей работы Илья Николаевич редкий день не был у меня в школе, — слушал мои уроки, делал замечания и давал сам образцовые, показательные уроки. Я так привыкла видеть в школе директора, постоянно советоваться с ним, что если, случалось, он не приходил несколько дней, я шла к нему за разрешением тех или иных недоразумений — побеседовать о прочитанных мною книгах, о встречающихся иной раз в них противоречиях. Илья Николаевич серьезно выслушивал меня,

давал ответы. Иной раз, я теперь скажу, мои вопросы и недоразумения были неважны, мелочны, и будь на его месте другой директор, сделал бы мне выговор, что я по пустякам беспокою начальство. Но он терпеливо выслушивал меня, без малейшего намека на неделикатность такого злоупотребления его временем, и я широко пользовалась его снисходительностью; как-то незаметно познакомилась я и с семейством Ильи Николаевича, — его супругой, Марьей Александровной, и детьми, у которых и встретила самый радушный прием.

Помню их дом на Московской улице. Особенно мне памятны две комнаты, в которых мне чаще всего приходилось бывать и которые резко отличались одна от другой по своему характеру и царящей в ней атмосфере, это — кабинет Ильи Николаевича и столовая.

Первая была рабочей деловой комнатой, в ней невольно настраиваешься на серьезный, деловой тон. В этой комнате казалось неудобным вести праздные пустые разговоры. Сам хозяин этой комнаты, Илья Николаевич, в ней строг и серьезен. Вторая, в которой сосредоточивалась вся жизнь семьи, носила мирный, патриархальный характер.

Хозяйкой этой комнаты была Марья Александровна, сдержанная, спокойная, приветливая, окруженная детьми. Здесь я видела Марью Александровну с доброй, приветливой улыбкой сидящей за чайным столом. Сам Илья Николаевич в этой комнате казался не хозяином, а гостем, — здесь можно было и пошутить, и посмеяться.

Семья Ульяновых вела простой и трудовой образ жизни. У всех членов семьи были свои дела и обязанности. Старшие дети, Александр и Анна, были серьезные, — особенно сын Александр, — которых редко застанешь в столовой, если это не было время обеда или чаепития, когда собирались все члены семьи. Большую часть своего времени он проводил за книгами наверху.

Илья Николаевич, всецело ушедший в школьную работу, мало уделял времени домашней жизни, — все заботы о хозяйстве и семье лежали на Марье Александровне; работу свою Марья Александровна исполняла спокойно, не волнуясь. Я никогда не слыхала, чтобы она возвышала голос, даже замечания и выговор детям она делала спокойно, с улыбкой, и этих спокойных, кратких замечаний было достаточно, чтобы произвести впечатление. Дети слушались ее, любили и уважали свою мать.



МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА УЛЬЯНОВА
(снимок 1898 года)

Бывало, приду к Илье Николаевичу по делу, сидим в кабинете, обсуждаем достоинства и недостатки учебников Евтушевского, Шохор-Троцкого (только-что вышедших). Дверь кабинета тихо отворяется, и Марья Александровна с улыбкой спрашивает: «Илья Николаевич, скоро вы кончите, у нас самовар уже готов». Илья Николаевич встает, потирая руки: — «Сейчас, сейчас!» — «Идемте чай пить», — говорит он мне. Деловые разговоры кончаются, они не выходят за порог директорского кабинета, и мы, весело разговаривая, идем в столовую; а там уже собралась вся семья.

Илья Николаевич шутит, говорит о школе часто в ироническом тоне, рассказывает школьные анекдоты, а у него их было много, — все смеются, всем весело.

Тепло и уютно чувствуешь себя в этой дружной семье. Дети болтают, рассказывают события из своей жизни, а бойчее всех говорят Володя и вторая сестра его Оля. Так и звенят их веселые голоса и заразительный смех. Старшего сына Александра еще нет в столовой: он не торопится оторваться от своих занятий, — и нужно кому-нибудь из детей еще раз напомнить ему, что самовар на столе.

Сойдет, бывало, серьезный. Илья Николаевич подтрунивает над будущим ученым химиком, над его увлечением наукой; он молча слушает и снисходительно улыбается. В общем разговоре он мало принимает участия; выпив свой чай, посидев немножко, отправляется опять наверх.

Так мирно и счастливо проходила жизнь в семье, пока одно несчастье за другим, обрушившиеся на нее, не изменили в корне и не дали ей нового направления.

Первое было — смерть отца семьи, Ильи Николаевича, в 1886 г. Со смертью Ильи Николаевича осиротели школы, осиротела семья Ульяновых. Редко раздавался веселый, непринужденный смех в их столовой. Только Марья Александровна все так же спокойно исполняла свои обязанности хозяйки и воспитательницы.

Старший сын, Александр, не был в Симбирске во время смерти отца, — он ни разу не приезжал на зимние каникулы, употребляя их для занятий. Позднее, когда он приехал в Симбирск, был у меня, много говорил о своих родных, вспоминал отца, тепло и любовно отзывался о матери и очень жалел ее. Таким я его видела в первый раз, — раньше, казалось, он мало принимал участия в жизни семьи. Это был его последний приезд в Симбирск, последнее свидание с родными.

В марте месяце 1887 г. я получила письмо от родственницы Марьи Александровны — Песковской, в котором она сообщала о событии в Петербурге, об участии Александра в заговоре, об аресте его и Анны Ильиничны, и просила известить об этом Марью Александровну, предварительно подготовивши ее. По получении письма, я тотчас же послала в гимназию за Володей, который был тогда в последнем, восьмом, классе, чтобы посоветоваться с ним. Я сообщила ему содержание письма и дала его прочитать.

Крепко сдвинулись брови Ильича, он долго молчал. Передо мной сидел уже не прежний бесшабашный, жизнерадостный мальчик, а взрослый человек, глубоко задумавшийся над важным вопросом: «А ведь дело-то серьезное», — сказал он, — «может плохо кончиться для Саши».

Решено было, чтоб он предварительно сообщил Марии Александровне о полученном мною письме, не упоминая, насколько замешан в этом Александр. — «Вечером я приду и мы постараемся сообщить Марье Александровне обо всем». — Но не прошло и часу после его ухода, является Марья Александровна, бледная, серьезная, готовая принять и это новое горе на свои слабые плечи.

«Дайте мне письмо», — серьезно проговорила она. О подготовлении и предварительных разговорах не могло быть и речи. Я дала ей письмо. Она прочитала. «Я сегодня уеду; навещайте, пожалуйста, без меня детей», — вот все, что она сказала, и ушла.

Перед отъездом Марья Александровна ровным, спокойным голосом делала распоряжения, давала наставления прислуге и Владимиру Ильичу, как старшему из оставшихся.

После отъезда Марьи Александровны я часто заходила к Ульяновым.

Володя большею частью был суров и молчалив, сидел у себя в комнате, и только когда приходил к младшим сестрам и брату, попрежнему шутил и забавлял их, устраивая для них игрушки, играя с ними в лото, давая решать разные ребусы и шарады.

Когда приходилось говорить с ним о брате, он повторял: — «Значит, он должен был поступить так, — он не мог поступить иначе».

Марья Александровна во время ареста приезжала ненадолго в Симбирск, говорила, что она хлопочет о смягчении наказания и, как величайшее счастье, считала пожизненную каторгу:

«Я тогда уехала бы с ним, — старшие дети уже большие, а младших я возьму с собой».

Ей казалось, что теперь она старшего сына любит больше всех остальных детей. Но мечте этой не суждено было осуществиться, — в мае месяце было получено известие о казни Александра.

Вскоре после того приехала и Марья Александровна.

Долго она ничего не говорила о пережитом ею в Петербурге, и только спустя некоторое время, когда я была у них, Марья Александровна молча дала мне конверт и сейчас же ушла в другую комнату.

Я открыла конверт и нашла там две фотографические карточки Александра Ильича — одна в профиль, другая анфас. Эти фотографии были сняты с него в тюрьме и по ее просьбе переданы ей.

Впоследствии Марья Александровна рассказывала о своем свидании с сыном.

Видимо она завоевала симпатию начальства. К ней, по ее словам, относились очень деликатно, обещали смягчить наказание, если Александр раскается, и поручили ей переговорить с ним об этом. Она говорила, что сообщила Александру обо всем, но он категорически заявил, что это невозможно, что он должен умереть, — не боится смерти и не жалеет о жизни. «Только тебя, мама, жаль, — прости меня». И никого не обвинял в случившемся.

После его заявления о невозможности исполнить предложение — купить жизнь ценою лицемерного раскаяния — Марья Александровна говорила: «Я больше не настаивала, не уговаривала, видя, что ему было бы тяжело».

Много ли нашлось бы матерей, которые не пытались бы заставить своего сына купить жизнь какою-угодно ценою?

В. КАЛАШНИКОВ.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОМАШНЕГО УЧИТЕЛЯ ДЕТЕЙ ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА УЛЬЯНОВА.[1]

В 1873 г., т.-е. полвека тому назад, я получил приглашение от директора народных училищ Симбирской губернии, Ильи Николаевича Ульянова, давать уроки на дому его старшим детям — дочери Ане, лет девяти, и сыну Саше, лет восьми, — для приготовления их к поступлению в гимназию. Я согласился.

Я знал, что Илья Николаевич и его супруга, Мария Александровна, отдавали своим детям все свое внимание и воспитывали их по последнему слову педагогических наук, тогда вдруг вошедших в интеллигентные слои общества после реформ шестидесятых годов, освобождения крестьян, устройства новых судов, учреждения земств и т. п. Состоя учителем в симбирской чувашской школе, находившейся в ведении Ильи Николаевича, часто бывая в их доме по делам службы, я еще раньше имел случаи наблюдать, как тщательно они следят за развитием своих детей, давая им разумные игры, разумные ответы на детские вопросы и всегда окружая их теплотой родительской ласки.

Марья Александровна была хорошая музыкантша и развивала музыкальный слух детей, распевая с ними детские песенки под аккомпанемент рояля. Немецкий язык с детьми был введен в их семье, как только они выучивались говорить по-русски. Марья Александровна среди знакомых дам городского общества пользовалась репутацией большой домоседки. Илья Николаевич — живой,

---

[1] Воспоминания эти принадлежат Василию Андреевичу Калашникову, первому учителю моему и моих двух братьев, Александра и, в течение короткого времени, Владимира. В настоящее время ему больше 70 лет, но он прекрасно сохранился, бодрый и обладает хорошей памятью. *А. Е.*

энергичный, с приветливой улыбкой — заслужил общую симпатию своей простотой в обращении, полной доступностью и искренней готовностью помочь всякому, кто нуждался в его помощи. Зато в городе его называли большим либералом...

Уроки начались. Аня, казалось, была более с живым характером, Саша — с более спокойным, но оба были умны, внимательны и послушны на уроках, — классная дисциплина была для них как-будто родной стихией.

С такими детьми заниматься уроками было для меня истинным удовольствием, и я не заметил, как провел с ними учебный год. Они хорошо сдали вступительные экзамены и поступили учиться в гимназию, — Аня в женскую, а Саша в классическую. Впоследствии слышно было, что в гимназии Саша интересовался больше естественными науками, чем классическими языками, но удерживало его в этой гимназии желание получить аттестат зрелости, открывавший тогда двери всех высших учебных заведений для молодого человека.

В 1876 г., когда второму сыну Ильи Николаевича, Володе, было лет шесть с половиной, я опять получил приглашение и его готовить в гимназию.

Володя, как я помню его по первому впечатлению, мальчик в светлой летней рубашечке, с светлыми рыжеватыми вьющимися волосами, с глазами такого же цвета, с большим лбом и крепким телосложением, — по наружности мало походил на старших детей, да и по характеру был бойчее их, — все быстро схватывал и верно понимал. Помню, как однажды на уроке он передразнил меня с насмешливой гримасой, подражая моему медленному выговору слов, к которому я невольно привык, обучая инородцев русскому языку.

Заниматься с ним мне было тоже приятно, но эти занятия продолжались лишь несколько недель, потому что Илья Николаевич переуступил меня, как учителя, своему домашнему доктору, которому хотелось иметь для своего единственного — и потому несколько избалованного — сына опытного учителя для приготовления его тоже в гимназию.

Когда, после нескольких лет моего отсутствия из Симбирска, я вернулся на время туда, Аня и Саша вступали уже в юношеский возраст, оканчивали курс гимназии и строили планы ехать в Петербург учиться в высших учебных заведениях. Я поговорил с Аней и мне хотелось видеть также Сашу.

— Он у нас живет философом в пустой кухне, — шутил Илья Николаевич, направляя меня во двор дома, в маленькую кухню при флигельке. Оказалось, что, пользуясь случаем ремонта в их доме, Саша уединился в отдельно стоящую кухню и там предался своим любимым занятиям, наукам и опытам по физике и химии.[1]

Войдя в кухню и окинув взглядом ее внутренность, я увидел, что в ней было только самое необходимое для ее скромного обитателя; лишь по стенам полки из свежеоструганных досок были сплошь заставлены книгами. В комнате полный порядок и чистота, а посреди нее стоял и сам Саша, — юноша среднего роста, с прежней красивой грёзовской головкой, спокойный, серьезный. Мы с ним разговорились. Он сообщил мне о своих занятиях в уединении, о желании ехать учиться в Петербургский университет.

Из его внешности, разговора со мной и всей обстановки его жизни я вынес глубокое убеждение, что передо мной стоит хотя и прежний Саша, — милый мальчик, — но имеющий уже и теперь все задатки в свое время стать светилом науки. Я чувствовал, что, несмотря на его молочно-бледное лицо, тихий голос, спокойные движения, в его больших черных глазах светилась такая внутренняя могучая сила, которая для достижения намеченной цели могла, кажется, преодолеть всякие препятствия.

«Будущий ученый, — думал я, — увлеченный наукой, он будет избегать студенческих движений».

Под таким впечатлением я и расстался с ним, довольный мыслью, что в будущем Саша непременно достигнет славы ученого.

---

[1] Правильнее, по химии. Саша устроил там химическую лабораторию, чтобы не отравлять воздух домашним. *А. Е.*

В. ДМИТРИЕВА.

ИЗ ПРОШЛОГО.

ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ ИЛЬИЧЕМ УЛЬЯНОВЫМ.[1]

В потоке лиц и событий, прошедших через мою жизнь, есть такие, которые оставили в памяти настолько яркое и неизгладимое впечатление, что даже долгие годы не могли заставить их потускнеть и затушеваться. Снова и снова, с поразительной отчетливостью, возникают они пред глазами, как-будто видел их вчера; снова переживаешь те же чувствования и настроения и слышишь давно умолкнувшие голоса, видишь лица давно ушедших из жизни людей.

К числу таких ярких воспоминаний принадлежит и воспоминание об одной единственной встрече моей с Александром Ильичем Ульяновым.

Это было в 1886 г. Я приехала в Петербург сдавать выпускные экзамены при женских врачебных курсах. Дни проходили в посещении лекций и клиник, в отчаянной зубрежке увесистых томов Бильрота, Эйхгорна и других светил медицинской науки, а вечера, одурев от беготни по больницам, я посвящала или чтению журналов, или проводила их у кого-нибудь из более близких товарищей. Чаще всего я была у четы Хренковых, тогда только-что поженившихся. Чета эта была довольно оригинальная: Хренков, по натуре своей чрезвычайно мягкий и добрый человек, был последователем Владимира Соловьева, проповедывал самосовершенствование и непротивление злу и с осуждением относился к террористической деятельности народовольцев, которая,

---

[1] Автор — Валентина Дмитриева, известная в свое время писательница-народница. *А. Е.*

по его мнению, только и привела к взаимному ожесточению и кровопролитию, а затем к черной реакции Александра III. — «Прощение выше мести», — часто любил он повторять слова Ариэля из «Бури» Шекспира. Жена его, Софья Германовна, урожденная Гопфенгауз, представляла полную противоположность своему мужу. С ярким, боевым темпераментом, решительная, смелая, она насквозь была пропитана революционным духом, но отчасти из любви к мужу, а отчасти по разочарованности, в которую впала большая часть молодежи после 1 марта 1881 г., она подавляла в себе свои природные свойства, замкнулась в узком домашнем мирке и в разговорах часто становилась на сторону Хренкова. А разговоры и споры на политические темы возникали беспрестанно: Хренковы имели собственную квартиру, и поэтому молодежь охотно собиралась у них. Пили без конца чай, отводили душу в разговорах, иногда читали.

Хренков пытался устроить настоящие литературные вечера, но ничего из этой попытки не вышло: вместо чинных прений завязывались такие ожесточенные споры, беседа принимала такой бурный и хаотический характер, что от совместного чтения пришлось отказаться. Притом и публика была самая разнообразная: толстовцы, соловьевцы, газетный фельетонист Арсеньев и старый учитель, француз Лакидэ, студенты с народовольческим уклоном и какие-то кряжистые сибиряки, чуть не пешком пришедшие в Петербург, чтобы добиться доступа к высшему образованию (Хренков был родом из Сибири). И все эти разнокалиберные люди радушно принимались в хренковской квартире: здесь можно было и переночевать при нужде, и пообедать, и деньжонок перехватить, и какую-нибудь работу через хозяев достать; случалось, что Хренковы, несмотря на свое тогдашнее отрицательное отношение к революции, давали приют и нелегальным, а Софья Германовна интересовалась и революционной литературой.

И вот, однажды зайдя к ним, я увидела незнакомого юношу-студента. Встретить там незнакомое лицо было явлением обычным: много их перебывало у Хренковых, но этот юноша почему-то особенно привлек мое внимание. Смугловато-бледный, с большим лбом, нахмуренными бровями и крепко сжатым ртом, он сидел в уголку, молчал и исподлобья поглядывал на присутствующих. Повидимому, он внимательно прислушивался к разговору, но во всей его фигуре, в выражении лица, в этих напряженно сдвинутых бровях было что-то такое самоуглубленное, сосредо-

точенное, чуждое всему окружающему, что казалось, будто мысль его не здесь, что им владеет какая-то своя, особая, страшно важная и захватывающая идея. Я тоже не принадлежу к числу разговорчивых, особенно в большом обществе, поэтому, забившись в другой угол, занялась наблюдением и исключительно сосредоточила свое внимание на незнакомом студенте. А он ничего не замечал, думал свою думу, вряд ли меня и видел.

В это время вокруг Хренкова разгорелся обычный спор о том,— что делать? Не помню, кто-то заговорил о том, что террор после неудачи акта 1 марта доказал свою полную несостоятельность и что теперь нужно перейти к другим методам борьбы с реакцией. С подпольщиной нужно покончить навсегда и все силы необходимо направить на культурную работу. Итти в земство, учить, лечить, бороться с невежеством народным не бомбами, а книгой... Поднялся шум; слышались отдельные слова: «Революция... Эволюция... Статистика страшнее динамита.. Агрономия — вот главная задача...» А Хренков неторопливо и проникновенно пытался усмирить эту бурю мнений своими полумистическими изречениями: «Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших... Ибо зло питается злом...».

И вдруг молчаливый студент точно проснулся. На смуглых щеках его проступил легкий румянец, изломанные хмурые брови приподнялись, в глазах и на губах заиграла насмешливая улыбка. В первый раз он взглянул на меня и сказал как бы про себя, ни к кому особенно не обращаясь:

— Чудаки! Корочкой хлебца хотят человечество осчастливить...

Я не успела ничего ответить, да и не знала, со мной ли он говорит. К нему подошел Хренков.

— Вы что сказали, коллега?

— Ничего. Удивляюсь, из-за чего спорят люди. Агрономия статистика, земство, непротивление злу — вот каша-то. А народ как издыхал в грязи, в темноте, так и издыхает.

— А по-вашему что же нужно? — с оттенком снисходительности — у него была такая манера — сказал Хренков.

Не знаю, тон ли этот не понравился студенту, или он вообще не хотел говорить в незнакомом обществе, но он весь как-то сжался, снова нахмурился и встал.

— Это знаете ли, длинная история... а мне пора уходить. В другой раз когда-нибудь... — Он мешковато сунул руку Хрен-

кову и мне, отошел к Софье Германовне и, обменявшись с ней несколькими словами, исчез.

Но его оригинальный образ запечатлелся в моей памяти, и через несколько дней я спросила Софью Германовну, кто такой этот сумрачный студент с трагическими глазами.

— А это Ульянов. Я его сама мало знаю, он по делу приходил.

Я больше не спрашивала и потом уже ни разу Ульянова у Хренковых не встречала. Но в 1887 г., когда по всей России разнеслась весть о неудавшемся покушении на Александра III, и в списке террористов я прочла фамилию Ульянова, мне вспомнился вечер у Хренковых и молчаливый юноша с хмурыми глазами и насмешливые слова о «корочке»...

С того времени этот образ, такой яркий и красивый на общем фоне чеховских сумерек, неотступно меня преследовал, и летом этого же года, сидя вечером на крыльце деревенской избы, я задумала повесть о последних героях «Народной Воли». Надвигалась гроза; над потемневшей степью чернела туча; голубые молнии вспыхивали и угасали в ее клубящихся недрах. И я думала, что такими же сверкающими зарницами, предвестниками грядущей грозной революции, были эти удивительные юноши, среди душного безвременья реакции сложившие свои головы в борьбе с царизмом.

Таков же был и Александр Ульянов.

Задуманная повесть разрослась в целый роман. Первоначально я и хотела назвать его «Зарницы», но прежде чем он был окончен, в печати появилась повесть Микулич под тем же названием. Пришлось переименовать роман в «Червонный Хутор».

Прототипом для героя этого романа, революционера Степана, был Ульянов.[1] При печатании его в «Вестнике Европы» цензура кое-что обкорнала; вычеркнуто было и посвящение в инициалах «А. У-ву». Почему-то показалось подозрительным. Роман до 14 года выдержал три издания, но мне так и не удалось восстановить ни вычеркнутых мест, ни посвящения.

---

[1] Герой романа «Червонный Хутор», революционер Степан, совсем не похож на свой прототип. Это, конечно, не удивительно, если автору лишь один раз, да и то мельком, пришлось видеть Александра Ильича. *А. Е.*

В. В. ВОДОВОЗОВ.

ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ ИЛЬИЧЕМ УЛЬЯНОВЫМ. [1]

С Александром Ильичем Ульяновым я познакомился, помню, в конце 1885 г. У меня уже тогда была довольно хорошая библиотека, и я ее широко предоставлял в пользование всем моим знакомым. Александр Ильич пришел ко мне, — не помню уж, с чьей-нибудь рекомендацией или просто на кого-либо сослался, — и тоже стал брать книги. Читал он по политической экономии; что именно, я теперь, конечно, не помню; помню лишь, что в момент его ареста у него на руках осталась моя книга — том «Deutsch-französische Jahrbücher»; эту книгу я купил антикварным образом во время своей поездки по Германии и крайне дорожил ею, как большою редкостью. Была ли она взята у него при обыске или нет, я не знаю, но назад я ее не получил. [2]

---

[1] Перепечатывается из журнала «Былое» № 6. 1925 г. Редакция снабжает его следующим примечанием: «настоящий рассказ является записью со слов В. В. Водовозова, своевременно им просмотренною и исправленною».

[2] По поводу этой книги я пишу в своих воспоминаниях, что передала ее вместе с русским переводом Говорухину; в 1892 г. у меня было объяснение относительно нее с В. В. Водовозовым в Самаре. Он сказал М. Т. Елизарову, что вот все же Александр Ильич не вернул ему этой книги, хотя обещал возвратить; что В. В. предупреждал его относительно того, какая редкая эта книга, а Александр Ильич может влететь серьезно (В. В. Водовозов утверждал, что слышал что-то о террористическом замысле). В. В. зачислял этот факт, — в осторожных, правда, выражениях, — в пассив этической личности брата, как вообще террористов и революционеров, небрежно относящихся к чужой собственности, к исполнению данных обещаний. Он как бы говорил этим: «жизнью, правда, я (и такие, как я) за общее благо не жертвую, но одолженные мне книги возвращаю неизменно».

Возмущенная, понятно, таким отношением со стороны человека, которого считала одним из товарищей Саши, я указала в своем объяснении,

На почве этих библиотечных посещений у нас завязалось знакомство. Мы часто и о многом говорили. Содержание бесед я теперь уже, конечно, не помню, но могу одно сказать: за всю свою теперь уже не маленькую жизнь немного я мог бы насчитать людей, которые производили бы на меня столь же чарующее, в полном смысле этого слова, впечатление, как Александр Ильич Ульянов. Красавцем в буквальном смысле слова он не был, но его тонкое, одухотворенное лицо, с широким лбом, замечательно живыми чертами и, главное, глаза — вдумчивые, проницательные, глубоко запавшие под лоб — врезались в память.

В разговоре Александр Ильич был сдержан. Его трудно было вызвать на разговор в обществе. Я помню, как-то раз он зашел ко мне во время собрания студенческого кружка самообразования; было человек 12 — 14. Александр Ильич принес книги и хотел взять новые; увидев собрание, он собирался уйти. Так как у нас никакой особой конспирации не было, и его я считал безусловно надежным человеком, то я предложил ему остаться. Александр Ильич остался, но весь вечер просидел в сторонке, слушал, но не произнес ни слова, хотя прения, помнится, были оживленные (темы я не помню); вспоминаю, что после товарищи по кружку попрекали меня, зачем я пустил в кружок такого «буку», который производит своей молчаливостью неприятное впечатление.

И еще. В то время при университете было научно-литературное общество, которым руководил проф. О. Миллер. Ульянов был его членом, позднее был избран даже его секретарем, по-

---

что даже на последнем свидании перед казнью Саша беспокоился относительно этих книг и просил мать разыскать их. — «Вот если бы вы мне это сказали» ... — прервал меня Водовозов. — «Мало же вы знали брата, если то, что я сказала вам, явилось новостью для вас», — ответила я. Водовозов промолчал. Помню, что Володя очень возмутился, когда я передала ему об этом разговоре. — «Пусть он прямо скажет, чего он хочет: пусть скажет, сколько стоит книга, и мы вернем ему». И досадливо передернул плечами, когда я указала, что Водовозов говорит не о деньгах, а вносит, как бы сказать, этим фактом поправку в нравственную характеристику Саши.

Прочитав в 1926 году в заграничном журнале «Голос минувшего из чужих краев» статью В. Водовозова: «Мои встречи с Лениным», где он делит семью Ульяновых на два этические типа, противопоставляя Владимиру Ильичу и мне высшую моральную организацию и большее благородство брата Александра Ильича и других членов нашей семьи, я припомнила, что он находил дефект в нравственной личности и Александра Ильича.

стоянно бывал на заседаниях, но я не помню, чтобы он там выступал с докладами или речами.

Зато в разговорах с глазу на глаз Александр Ильич обнаруживал изумительные и разносторонние знания. Он был естественник, его работа по специальности была удостоена золотой медали, проф. Овсянников дал о ней чрезвычайно сочувственную рецензию. Но круг его интересов отнюдь не замыкался в рамках вопросов, связанных с его специальностью. Я вел с ним разговоры по вопросам политической экономии, философии и истории. И во всех этих вопросах Александр Ильич производил впечатление человека с эрудицией, — разносторонней, хорошо продуманной и добросовестной. Марксистом он, насколько я помню, не был, но с марксизмом был знаком. Это видно уже из того, что он брал «Deutsch-französische Jahrbücher», — книгу, которая могла интересовать только человека, интересующегося марксизмом.

Я был тогда определенным противником террора и не скрывал этого. Мне кажется, что и Ульянов в начале нашего знакомства не был террористом. Как я сейчас представляю, террористом он стал потом, после так называемой добролюбовской демонстрации (ноябрь 1886). В этой демонстрации я не участвовал случайно, собирался итти, но почему-то не удалось. Ульянов был одним из ее организаторов, едва ли не самым деятельным; он-то и звал меня на нее. После этой демонстрации, в результате ее, у Александра Ильича, несмотря на всю его сдержанность, стали проскальзывать ноты, показывающие, что он идет к террору. Так мне кажется, но настаивать не могу; возможно, что раньше просто не подходили к этой теме. Если это правильно, то объяснения причин такого влияния добролюбовской манифестации, по-моему, следует искать в том, что она показала невозможность иных форм активной борьбы и протеста. У нас по этому поводу было несколько разговоров-споров. Александр Ильич защищал террор; я нападал. Об этих спорах у меня осталось на редкость приятное, чистое воспоминание. Таких противников бывает мало; он вел споры исключительно идейным способом; обдумывал каждое слово, говорил медлительно, и всегда внимательно, вдумчиво выслушивал аргументы противника, не старался ловить на слове, на неловкой формулировке, а доискивался существа возражения. Это был один из лучших, наиболее приятных спорщиков, каких только я встречал в жизни. Всегда после споров с ним я чувствовал, что спор мне что-то дал.

Из всего этого видно, что я питал к Александру Ильичу чувство самой живейшей симпатии; мне казалось, что с его стороны я встречаю то же чувство.

В декабре 1886 г. или январе 1887 г. Александр Ильич обратился ко мне с просьбой спрятать некоторое количество так называемой инфузорной земли. На мой вопрос, что это за вещь, Александр Ильич ответил, что сама по себе она невинна, но если будет найдена вместе с некоторыми другими веществами, то может быть серьезной уликой; если же будет найдена одна, то никакой опасности не представляет. Из этого я понял, что земля эта имеет какое-то отношение к нелегальным террористическим делам. Сам взять на себя ее хранение я не мог, — я тоже был причастен к разным конспирациям (печатал нелегальные издания и пр.) и мог провалиться (так и вышло, — я был арестован 25 февраля 1887 г., т.-е. раньше Александра Ильича, по своему делу, с ним не связанному), но взялся подыскать квартиру для хранения. Такую я нашел у Кауфмана, впоследствии известного статистика. Кауфману я точно передал замечание Александра Ильича о степени опасности инфузорной земли; несмотря на это, Кауфман согласился взять ее к себе на хранение, и мы вместе с Александром Ильичем перетащили ее к Кауфманам на чердак.

Должен заметить, что здесь Александр Ильич был не вполне искренен, — его отзыв об инфузорной земле не вполне правилен, и несомненно, если бы ее у Кауфмана нашли, то не миновать бы ему тяжелой кары, судебной или по крайней мере административной.[1] После 1 марта 1887 г. Кауфман принужден был уничтожить эту землю, — выехал для этого на лодке на взморье и высыпал ее в воду. На меня Кауфман был в большой претензии за это дело.

У Александра Ильича Ульянова я не бывал, — зашел лишь раз взять книгу, которая была у Александра Ильича и как раз мне понадобилась. Попал как раз на собрание: были Шевырев, Генералов, Осипанов, Андреюшкин и другие участники будущего процесса. Александр Ильич вернул мне книгу и предложил остаться поговорить. Я присел, но вскоре почувствовал, что я

[1] Считаю это неверным. «Инфузорная земля» была взята в ящике комода моей комнаты, которую занимал раньше брат. Он дал относительно нее то же объяснение, что и я, — что она была привезена из деревни для опытов, — и хранение ее совершенно отпало из числа вменяемого мне в вину. *А. Е.*

лишний, что предложение остаться сделано из вежливости и я стесняю собравшихся, и я поспешил уйти.

Был знаком я и с Шевыревым, — тоже на почве пользования его моей библиотекой. Он произвел на меня очень неприятное, тяжелое впечатление: неумный, поверхностный.

После 1 марта 1887 г. меня допрашивали об Ульянове и Шевыреве; в моей записной книжке были найдены их адреса и фамилии; я сказал, как было, что они брали книги; вероятно, они подтвердили, и, повидимому, жандармы и прокурор мне поверили, так как к делу 1 марта я привлечен не был, хотя, вероятно, назначенное мне наказание (5 лет Архангельской губ.) отчасти объяснялось знакомством с ними.

Последний раз Александр Ильич зашел ко мне около 20 февраля 1887 г., незадолго до моего ареста. Разговор принял особенно теплый, задушевный характер. Помню, я сказал ему:

— Я понимаю, вы ведете приготовления к какому-то особенно важному акту, быть может, к цареубийству. Кажется, что вы хотите даже приурочить его к 1 марта — для красивой исторической аналогии...

Александр Ильич меня прервал:

— Нет, нет, не так близко.

Это было почти признание, — и мы долго говорили о значении террора, в частности цареубийства. Я сказал, что, не признавая этот метод борьбы целесообразным, глубоко не сочувствуя ему, я, тем не менее, искренно уважаю применяющих его и в частности его, Александра Ильича.

Прощаясь, на этот раз мы расцеловались. Больше я его не видел...

«Былое», № 6 (34) 1925 г.

— —

II.

ДЕЛО 1 МАРТА 1887 г.



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ

(снимок охранки, 1887 г.)

*

ДЕЛО 1 МАРТА 1887 г.

(Следствие.)

Когда мы приступаем к изучению дела 1 марта 1887 г., у нас возникает, конечно, прежде всего мысль: было ли оно раскрыто в результате наружного только наблюдения или имелось, кроме того, и наблюдение внутреннее? Каких-либо указаний относительно наличности последнего нигде, — ни в полицейских документах, ни в протоколах судебного заседания, ни в рассказах и воспоминаниях участников или близких к ним лиц, — мы не нашли.

Возбуждает только сомнение тот «член Исполнительного Комитета», о котором говорит в своих воспоминаниях, написанных в 1888 г., О. М. Говорухин, и о котором больше никем не упоминается. Мало того: такой близкий участник заговора, как С. А. Никонов, самым решительным образом отвергает возможность того, чтобы подобное лицо имело отношение к делу. Он настаивает, что у Александра Ильича не было в то время тайн от него в смысле общей постановки дела, и что в декабре 1886 г., когда, по словам Говорухина, «член Исполнительного Комитета» присутствовал на собрании группы, где распределялись функции участников, он, Никонов, не мог бы не слышать об этом лице. Он считает невозможным, чтобы не знал о поручении этому лицу печатания программы фракции и о том, чтобы Александр Ильич, опасаясь, как бы тот не вставил в программу тех пунктов, с которыми фракция не была согласна, отправлялся бы к нему с предложением снять с него эту задачу. Никонов подкрепляет это свое утверждение тем, что он один из числа участников заговора был членом партии «Народной Воли», введенный туда Гаусманом (погиб позднее во время якутской истории). Об этом Гаусмане, возглавлявшем тогдашний централь-

ный кружок народовольцев, говорит и Кольцов-Гинсбург в статье, выдержки из которой помещены в этом сборнике.

С другой стороны известно, что после ареста В. Н. Фигнер в 1883 г., никакого члена Исполнительного Комитета «Народной Воли» в России не оставалось, что и отметила в разговоре со мной по поводу реферата Говорухина В. И. Засулич, сказав: «значит, это был провокатор».

Нет также данных, чтобы в деле мог быть какой-либо другой провокатор. По крайней мере, Никонов, в тюрьме на досуге всесторонне разбиравший этот вопрос, пришел к отрицательному выводу. Он упоминает об одном студенте, Иванове, которого знала и я, и который отличался большой болтливостью, но отношение к нему, как со стороны Александра Ильича, так и со стороны некоторых других, было резко отрицательным, в последнее время я его в обществе брата и близких к нему лиц совсем не видала, и, конечно, в курс дела вводить его бы не стали.

Надо, кроме того, принять во внимание, что в те годы сгущенного политического давления, когда вся общественная жизнь задыхалась, как в тисках, не было и необходимости вызывать террористический акт путем провокации, — таковой являлось в более чем в достаточной мере вся политика правительства. Материалы дела 1 марта 1887 г. и воспоминания его участников показывают, что идея цареубийства возникла вполне самостоятельно в головах многих из тогдашней учащейся молодежи, — части населения, всего более склонной на самопожертвование. С этой целью перебрались в Петербург с разных концов России Андреюшкин, Осипанов и Генералов. Эту мысль настойчиво проводил в своих разговорах с Ульяновым Говорухин (см. его воспоминания). С нею, — как видно из тех же воспоминаний, а также из воспоминаний Лукашевича, — переехал из Харькова в Питер Шевырев. Наконец, и сам Лукашевич говорит вполне определенно, что идея цареубийства возникла у него самопроизвольно.

Даже Новорусский, только-что вылетевший из духовной академии, участие которого в деле ограничилось лишь оказанием услуги, говорил мне, что, когда зашла речь о том, дает ли он квартиру для центрального (т.-е. имеющего в виду личность царя) акта террора, — он сказал: «для другого я бы и не дал».

С. А. Никонов также отмечает (см. его воспоминания), что мысль эта возникла вполне самостоятельно и у него, и у его

невесты, А. В. Москопуло, — у последней непосредственно после добролюбовской демонстрации.

И товарищ Ольминский, позднее поработавший много, как большевик и коммунист, рассказывал мне, что и у него была в те годы «мысль о жертве», т.-е. о том, чтобы, принеся себя в жертву террористическим актом, разрядить тяжелый воздух для других.

Идея носилась в воздухе и, наиболее глубоко охваченные ею, наиболее самоотверженные и цельные натуры, у которых мысли переходили непосредственнее в дело, проводили ее в жизнь

Кроме отсутствия прямых указаний о наличии провокатора. в деле, против его существования имеется целый ряд указаний косвенных, целый ряд фактов.

Во-первых, как Шевырев, так и Говорухин уехали беспрепятственно из Петербурга за 15—10 дней до 1 марта. Распоряжение о розыске и аресте Говорухина было сделано департаментом полиции только 4 марта. Шевырева разыскивали телеграммами сначала в Харькове, у отца, а потом по городам Крыма. Так не упускают из рук активных участников, если в деле имеется действительно внутреннее наблюдение.[1]

Во-вторых, роль одного из инициаторов дела, Лукашевича, осталась совершенно невыясненной, и он фигурировал на суде только в качестве «пособника, хотя и серьезного, но не необходимого» (см. речь обвинителя Неклюдова). А между тем, приготовление было начато им и только за месяц или меньше того передано Ульянову.

В-третьих, Осипанов, арестованный после Генералова и Андреюшкина, бросил в охранном отделении снаряд в форме книги.

[1] Первое распоряжение об аресте Шевырева отдано деп. полиции 3 марта. Шифрованная телеграмма от 5 марта в Ялту (Жанд. Управление) гласит: «Шевырева следует разыскать во что бы то ни стало, для чего вы имеете действовать, не стесняясь средствами. Директор департамента П. Дурново». В Симферополь: «Необходимо перевернуть вверх дном город и все местности, где может находиться Шевырев, и арестовать его».

Телеграммы за той же подписью в Одессу, Севастополь и другие города не менее энергичны. Директор департамента полиции, видимо, нервничает. Запрашивают и о времени отхода пароходов за границу. С мест идут телеграммы с запросом примет Шевырева, с сообщением о неутешительных результатах розысков. Наконец, 7 марта жандармский подполковник Малицкий телеграфирует из Ялты: «Студент Петр Шевырев арестован».

В Петербург П. Шевырев был доставлен только 14 марта.

Снаряд не взорвался, что объясняется тем, что оборвалась веревка, помощью которой снаряд приводился в действие. Но тот факт, что три охранника, которым был поручен арест Осипанова, не были предупреждены о нахождении у него снаряда, не приняли никаких мер предосторожности, не отобрали у него книги, подвергая себя огромному риску взлететь вместе с ним на воздух,—показывает, конечно, что предварительного ознакомления с делом, с наличностью снарядов не было.

В-четвертых, Новорусский фигурирует в первых донесениях как один из инициаторов (активное лицо), что было бы тоже невозможно при наличности внутреннего наблюдения.

Наконец, откровенные показания Горкуна и Канчера, данные ими в первые же дни, рисуют всю картину дела, которое освещается обвинительным актом как раз в духе этих показаний. Канчер и Горкун были привлечены уже в конце, — и обвинительный акт говорит об этих последних стадиях, а в качестве главного инициатора выставляет Ульянова, которого видели в этой роли два упомянутых сигнальщика. Его они назвали в первый же день ареста, и роль его в общем была выяснена тогда же. Вследствие их же показаний были арестованы Новорусский и Ананьина, и были так сгущены обвинения против них, в то время как Лукашевичу было предъявлено лишь обвинение в помощи Ульянову при набивке трубок динамитом — работа, за которой застал его Канчер. Благодаря этим двум лицам, выяснилась, главным образом, и активная роль Шевырева.

Одним словом, обстоятельные и откровенные, как нельзя больше, показания Канчера и Горкуна осветили с достаточной для постановки процесса полнотой все дело, и при наличии их не было как-будто и нужды в помощи провокатора. [1]

Из данных наружного наблюдения мы раскрываем прежде всего дело департамента полиции «По розыскам в Петербурге в 1886 г.» за № 100 и смотрим, за кем из участников дела 1 марта велось негласное наблюдение. В записке Отделения

[1] В самое последнее время нам доставлен полицейский документ: запись разговоров по перестукиванию между Новорусским и шпионом Остроумовым, подсаженным к нему в предварилке. Но кроме того, что разговоры эти велись в апреле, т.-е. когда следствие было уже закончено, Новорусский, не будучи в числе инициаторов, мог говорить лишь о том, что было ему известно, и подводил главным образом себя и своих близких, признавая фиктивность «урока», для которого Ульянов приезжал к его теще.

по охранению порядка и безопасности в Петербурге от 12 января 1887 г., суммирующей результаты наблюдения за 1886 г., упоминаются: студент Пахомий Андреюшкин;[1] студ. Сергей и Алексей Никоновы; Арсений и Семен Хлебниковы; Николай Рудевич; Орест Говорухин; Александр Ульянов. Последний упоминается, кроме того, в числе знакомых Василия Михайловича Бурлакова (которого деп. полиции считал очень серьезным).

Орест Говорухин, освобожденный весною 1885 г. по делу Александрина и др., состоял под надзором полиции.

Затем в списке лиц, политическая неблагонадежность которых была установлена во второй половине 1886 г., кроме братьев Никоновых, которых считали причастными к делу Игнатова, называется и Александр Ульянов, о котором говорится: замечается в постоянных сношениях с Арсением Хлебниковым.

18 декабря 1886 г. департамент полиции запросил секретно X петербургского градоначальника о студенте Александре Ульянове: «В виду полученных сведений о сношениях его с лицами, высланными из Петербурга за демонстрацию в день годовщины смерти Добролюбова».

Возникло того же 18 декабря 1886 г. дело «По сношению студента Александра Ульянова...» за № 739. В справке по нему, от 2 января 1887 г., говорится, что из знакомых Ульянова известны: Сергей Семенов Мельников, Сергей Павлов Феоктистов, Семен Хлебников, Ревекка Шмидова, Татьяна Попова, Раиса Калайтан, студент-медик Василий Михайлов Бурлаков, за коим по распоряжению деп. полиции велось негласное наблюдение. «Кроме того, к числу его знакомых должны быть причислены все лица, посещавшие в прошлом году устроенную в доме № 12, кв. 1, женою бывшего студента Леонтиною Александровной Непарокомовой столовую, каковая и служила сборным пунктом для кружка «кубанцев и донцов». Ульянов сам принадлежал к этому кружку, а также является одним из руководителей студенческого научно-литературного общества, занимая там должность секретаря. В виду того, что большинство знакомых Ульянова суть лица, скомпрометированные в политическом отношении, он также должен быть признан за такое лицо».

Затем в деле о профессоре Василии Ивановиче Семевском (№ 744) имеется расследование по записке, на которой значатся

[1] Подробные сведения о котором сообщены деп. полиции 12 декабря 1886 г. за № 12009 по делу Игнатова.

между прочим, Александр Ильич, Анна Ильинична... Разъяснения к этой записке указывают, что надо предположить Ульяновых, брата и сестру, при чем говорится, что Анна Ильинична принадлежала к кружку «кубанцев и донцов».[1]

Наконец, секретное донесение петербургского градоначальника от 31 декабря 1886 г., — на запрос, сделанный 31 октября этого года, перечисляя всех лиц, составляющих совет научно-литературного при университете общества, указывает опять, что «политическая благонадежность как знакомых второго секретаря, Александра Ильича Ульянова, так и его самого, весьма сомнительна». И заканчивается это донесение следующими словами:

«Из поименованных выше лиц один Ульянов и отчасти Сыромятников являются личностями в политическом отношении неблагонадежными. Хотя на основании § 15 устава все заседания общества, его совета и научного отдела и происходят в зданиях университета, но, тем не менее, предварительные совещания членов общества могут происходить и на частных квартирах, особенно если принять во внимание, что такая личность, как Ульянов, играет в этом обществе выдающуюся роль секретаря».

Мы видим, таким образом, что большинство студентов, принявших участие в деле 1 марта, состояло уже более или менее под негласным надзором полиции, а Ульянов был отмечен, как лицо с определенным в политическом отношении знакомством, о нем имелось «дело» по сношению с высланными товарищами, и опасность его роли, как секретаря научно-литературного общества, сугубо подчеркивалась.

Уже после 1 марта министр внутренних дел Д. Толстой послал министру просвещения конфиденциальную записку, в которой, отмечая, что все главные участники «этого преступления» состояли членами студенческого научно-литературного общества а «один из самых деятельных руководителей, заговорщик Ульянов, исполнял обязанности секретаря общества», и указывая, что и в будущем в члены общества будут проникать неблагонадежные лица, которые под видом предварительных совещаний по делам общества могут беспрепятственно устраивать на частных

[1] Неверно, — она к таковому не принадлежала. Вероятно, записка касалась лиц, имевших вход в квартиру Семеновского для слушания его лекций о крестьянстве, должно быть, в один из вторников, когда происходили журфиксы у него и Водовозовых. *А. Е.*

квартирах сходки с преступными целями, — уведомлял, что, по его мнению, общество подлежит закрытию.[1]

Непосредственно перед покушением внимание полиции к его участникам было обращено письмом неизвестного лица в Харьков, студенту Никитину.

Во всеподданнейшем докладе министра внутренних дел Д. Толстого царю от 1 марта 1887 г. говорится:

«В конце минувшего января месяца негласным путем была получена копия письма, отправленного неизвестным лицом из Петербурга в Харьков, на имя студента Никитина. Между прочим, в письме автор говорит, что преобладающее ныне «социально-демократическое» направление его «не удовлетворяет» и единственно пригодное средство для борьбы есть «террор», «кажущееся же затишье» в партии — временное (см. приложение). Спрошенный по сему поводу в Харькове студент Никитин,[2] по предъявлении ему копии письма, заявил, что оно получено им от знакомого его студента петербургского университета Андреюшкина. По получении этих сведений 27 минувшего февраля за Андреюшкиным (который уже ранее был замечен в сношениях с лицами политически неблагонадежными) было учреждено неустанное наблюдение и вчера установлено, что Андреюшкин вместе с некоторыми другими лицами ходил по Невскому проспекту, с 12-го до 5-го часу дня, при чем Андреюшкин и другой неизвестный несли под верхним платьем, повидимому, какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете. Сегодня утром те же лица (в числе шести) вновь замечены на Невском проспекте при тех же условиях».

Таким образом «неустанное наблюдение» было установлено за одним из участников за два дня до ареста.

От 28 февраля имеется донесение в департамент полиции и охранное отделение о знакомых Андреюшкина,[3] среди которых упоминается Генералов, «за которым ведется в настоящее

---

[1] Дело 3-го делопр-ства деп. полиции № 647 — 1886 г., стр. 26; см. приложение.

[2] Как сообщает департамент полиции в жанд. упр. от 1 марта 1887 г., арест Никитина в Харькове, «по соображениям розыскного свойства», мог состояться лишь 26 февраля, т.-е. спустя почти месяц после распоряжения деп. полиции (от 28 янв.). *А. Е.*

[3] 27 февраля было распоряжение Дурново об учреждении наблюдения за корреспонденцией Андреюшкина.

время секретное наблюдение». Итак, накануне ареста документы отмечают секретное наблюдение и за Генераловым.

«Дней 5 тому назад» — гласит тот же документ, — «Попов был арестован в Петербурге на Варшавском вокзале» (в результате наблюдения за студентом харьковского университета Бражниковым). Одновременно с ним была арестована провожавшая его на вокзал Шмидова, которая была близка к участнику террористического замысла Говорухину, видалась с Андреюшкиным и бывала у Ульянова (в последний раз утром 1 марта). Она была, правда, в тот же или на следующий день освобождена, но возможно, что ее оставили для наблюдения.

Донесение от 1 марта 1887 г. департамента полиции начальнику жанд. упр. говорит, что и студент Генералов был ранее замечен при секретных наблюдениях.

Из этих документов видно, что письмо Андреюшкина было первым открытым указанием полиции на подготовку террористического акта, и учрежденная вследствие этого письма слежка за ним, с выяснением его связей, а следовательно наблюдение за выходами его и сообщавшихся с ним метальщиков и сигнальщиков 28 февраля и 1 марта послужили непосредственной причиной ареста их и раскрытия всего дела.

Как известно, оно было прослежено охранным отделением и передано непосредственно, минуя жандармов, в департамент полиции, с одновременным лишь извещением жандармского управления. Это последнее было в большой претензии за то на Грессера (начальника охранного отделения), получившего, как говорили тогда, солидную награду за это дело.

О предварительной полной неосведомленности департамента полиции касательно обстоятельств дела говорит весьма красноречиво шифрованная телеграмма директора департамента Дурново начальнику харьковского губернского жандармского управления:

«Сейчас здесь арестованы на улице 3 лица с метательными снарядами, которые, по нашим сведениям, привезены в Петербург готовыми приезжим из Харькова. Так как по всем вероятиям снаряды были привезены Бражниковым, то обратите особое внимание на производство дела о нем и розыск как лиц, имевших с ним сношения, так и места, где могли быть приготовлены снаряды. Примите меры, чтобы Бражников не бежал».

Вторая телеграмма в Харьков от того же 1 марта гласит уже:

«По дальнейшему расследованию снаряды, повидимому, изготовлены в Петербурге».

Так как первые показания Канчера и Горкуна, говорящие о работах в Парголове, были даны 1 марта, то мы можем заключить почти безошибочно, что «дальнейшее расследование» означало именно их.

Но мысль об участии Харькова и в этой телеграмме не была еще совсем оставлена, ибо дальше в ней имеется такая фраза:

«Связь с замыслом на цареубийство Бражникова с сообщниками почти несомненна, так как главный обвиняемый Андреюшкин — земляк Бражникова»(!!!).

Это изумительное доказательство показывает, как беспомощны, несмотря на всю сосредоточенную в их руках силу, были наши власти предержащие без откровенных показаний обвиняемых, — и без внутреннего осведомления также, конечно,— но как раз из приведенных телеграмм с особой яркостью видно, что внутреннего осведомителя в деле не было.

Первые донесения министра внутренних дел Толстого царю рисуют обстановку покушения и ее возникновение так, как изображали их Канчер и Горкун. Донесение Толстого от 3 марта гласит:

«Из подробных объяснений студентов Канчера и Горкуна выясняется следующая обстановка приготовлений к злодеянию, исполнение коего было остановлено 1 сего марта. Умысел совершить цареубийство возник в конце минувшего или в январе текущего года».

Известно, что в это приблизительно время были привлечены Канчер и Горкун, и донесение министра внутренних дел базируется, следовательно, исключительно на их ориентировке, к чему правительству не пришлось бы прибегать, если бы процесс подготовлялся его собственным агентом, который, кроме того, должен был бы осведомить его гораздо правильнее.

Из числа 15 лиц, посаженных по этому процессу на скамью подсудимых, 12 главных упоминаются как участники в донесении царю уже от 3 марта... Говорится в нем и о Шмидовой. Так что только Ананьина и Сердюкова пока не являются в числе привлеченных. Но первая раскрыта привлечением Новорусского, а вторая — Андреюшкина. Таким образом, все дело было уже «в кармане» у представителей власти в первые же дни после

захвата на Невском метальщиков и сигнальщиков. Оно было изображено обвинительным актом в разрезе показаний этих двух сигнальщиков. Те, с кем имели дело они, и попали как раз в самый центр внимания, и в том освещении, которое дано было ими. Так, Шевырев, привлекавший Канчера и Горкуна, фигурирует в этом документе как «руководитель или как бы в роли главного посредника между руководителями и лицами, принявшими на себя обязанность содействовать осуществлению преступного умысла». [1]

Выясняется сразу роль Бронислава Пилсудского, с которым имел дело Канчер. Новорусский, связанный с одним почти Канчером, выдвигается в такую крупную фигуру, что цитируемое донесение от 3 марта заключает даже, что он вместе с Говорухиным и Шевыревым были главными руководителями. «Почти одновременный отъезд из Петербурга Шевырева, Говорухина и Новорусского» (последнего лишь на дачу в Парголово!! *А. Е.*) — «в виду показаний Канчера и Горкуна о значении первых двух в этом деле, быть может, дает основание предполагать, что названные три лица и были главными руководителями преступного предприятия».

Лукашевич фигурирует и в обвинительном акте как «пособник»; главным обвинением против него является набивка трубок динамитом в квартире Ульянова, — занятие, за которым застал его Канчер. Вся остальная работа Лукашевича, Канчеру и Горкуну неизвестная, его инициаторская роль в деле, тонут совершенно, что было бы также невозможно при наличии внутреннего осведомителя. В качестве руководителя или главного посредника показания Канчера рисуют и Говорухина.

Наконец, Ульянов, игравший последнее время самую активную роль и приходивший всех больше в соприкосновение с этими двумя, найденными Шевыревым, пособниками (см. в воспоминаниях Говорухина его слова, что Шевырев вводит в дело слишком молодых и неопределившихся людей), освещен в деле наиболее ярко, при чем опять-таки со стороны того, что было известно Горкуну и Канчеру. Вся ранняя часть замысла осталась совершенно в тени, за исключением собрания в ноябре, после добро-

[1] Власти, как видно из многих документов, не верили тому, чтобы покушение было подготовлено силами одних студентов, и склонны были видеть за ними более серьезных руководителей. Об этом допрашивал, между прочим, безрезультатно шпион Остроумов Новорусского. *А. Е.*

любовской демонстрации, о котором рассказал Канчер. Указание на ответственное лицо, как С. А. Никонов, который по мысли Ульянова, должен был произнести на суде принципиальную речь, отсутствует совершенно в процессе, — что не могло бы также иметь места, если бы в деле был провокатор.

Правда, Никонов в своих воспоминаниях говорит, что подозрения относительно него были, возможно, конечно, что положение его отца (адмирал) оказало некоторое влияние на то, что расследование его роли не было особенно ярым, но все же, при наличии каких-либо прямых указаний никакое положение в обществе не могло спасти его, — это несомненно. Но Канчер и Горкун не знали Никонова.

Одним словом, каждому, кто сравнит показания Канчера и Горкуна в обвинительном акте по делу,[1] будет ясно, что все обвинение было построено, главным образом, на этих показаниях[2] и что при наличии их все расследование «преступного замысла» оказалось делом очень легким.

Если Горкун и Канчер раскрывали все, что знали, то металлщики не отказывались ни от чего, касающегося каждого из них лично. Все трое, в самый день их ареста, признали сразу свою виновность.

Самым кратким и характерным из них, в смысле твердости, выдержанности и отсутствия всего лишнего, является показание В. Осипанова. Приводим его целиком.[3]

«Я признаю свою принадлежность къ соціально-революціонной партіи «Народной воли», къ террористической группѣ и не отвергаю того, что сего числа я задержанъ съ метательнымъ снарядомъ, имѣющимъ форму большой книги, съ которымъ гулялъ по Невскому проспекту. Съ какою цѣлью я имѣлъ этотъ снарядъ, отъ кого, когда и гдѣ получилъ таковой, я въ настоящее время объяснить не желаю; но въ послѣдствіи все, что касается меня лично, будетъ мною объяснено. Съ описаннымъ выше снарядомъ я былъ сегодня на Невскомъ проспектѣ, въ моментъ моего задержанія, одинъ и иныхъ соучастниковъ, кромѣ передавшаго

---

[1] См. приложение.

[2] См. также следующую главу «Судопроизводство», где в прилагаемом документе департамента полиции говорится, что многие обвиняемые изобличаются не свидетельскими показаниями, а оговором своих соучастников. *А. Е.*

[3] Дело 1 марта 1887 г. № 47.

мнѣ упомянутый снарядъ, — не имѣю. Лицо, передавшее мнѣ снарядъ, назвать не желаю. Сдѣланъ ли этотъ снарядъ въ СПетербургѣ или привезенъ откуда-либо, я не знаю. О времени передачи мнѣ снаряда я также показать не желаю. — Оставилъ я Казанскій университетъ и переѣхалъ въ СПетербургъ съ революціонными цѣлями».

П. Андреюшкин в своем столь же решительном показании, говорит уже о том, что все снаряды приготовлялись в Петербурге. Вот главные выдержки из него.

«Я принадлежу к организации революционной партии «Народной Воли», в качестве ее агента, к террористической фракции. Нес снаряд с целью совершить цареубийство, находя его необходимым для облегчения существующего строя. Это решение у меня было плодом не аффекта, не увлечения, а плодом продолжительного, зрелого размышления и взвешиванья всех могущих быть случайностей. Все снаряды приготовлялись в Петербурге, но не у меня... С общей конструкцией снарядов я знаком только теоретически..., сколько именно было приготовлено снарядов, я не знаю, а у меня лично был один только снаряд, с которым я арестован. Когда мне именно этот снаряд передан и кем, отвечать не желаю»

В. Генералов заявляет тоже вполне определенно о своей принадлежности к террористической фракции и об умысле цареубийства. Отказываясь, как и предшествующие два, указать состав этой фракции, он считает все же возможным, — вероятно, потому, что все трое были арестованы вместе, — признать знакомство с Андреюшкиным и Осипановым; признать, что приготовлением азотной кислоты для снарядов руководил Андреюшкин.

Вот наиболее существенная выдержка из его показания.

«Я признаю себя виновным в том, что, имея умысел лишить жизни государя императора, я с целью выполнения этого умысла получил один разрывной метательный снаряд и вышел с ним сегодня в 10 час. утра на Невский проспект с тем, чтобы бросить его под экипаж при проезде государя императора из Аничкова дворца. Я признаю себя принадлежащим к революционной партии, существующей в России, и именно к террористической фракции этой партии. Принадлежность свою к этой партии я считаю с начала настоящего года, когда я решил для себя, что одним террором и можно в настоящее время достигнуть свободы слова, сходок и вообще всего того, что я понимаю под свободой общества. Приняв это решение, я предоставил себя в распоряжение

революционной партии на всякий террористический факт, который я считал бы полезным для общества. Умысел на жизнь государя императора возник в январе месяце сего года в петербургской террористической фракции партии «Народной Воли»; как велик состав этой фракции и из кого она состоит, — я не желаю объяснить. Могу только сказать, что в обсуждении упомянутого умысла и способов его выполнения принимали участие я и Андреюшкин».

В следующем показании, от 5 марта, В. Генералов говорит, что состава террористической фракции не знает, что «знал из нее лишь четырех лиц, из которых назову только Андреюшкина. На вопрос о принадлежности к этой фракции Ульянова и Шевырева я отвечать не желаю. 3 января, по предложению одного из упомянутых членов фракции, но не Андреюшкина, я устроил себе квартиру (точный адрес) для хранения вещей и материалов для разрывных снарядов»... «Одно из этих трех лиц принесло мне на хранение две небольшие банки»... с динамитом и гремучей ртутью. «В конце января одно из трех лиц предложило мне участвовать в покушении на жизнь государя императора в качестве метальщика снарядов... Потом это лицо предложило мне переговорить об этом с Андреюшкиным; я предложил Андреюшкину быть также метальщиком, на что он согласился»...

Затем Генералов говорит, что у Андреюшкина был револьвер. Из этого же показания мы узнаем, что метальщики выходили с 26 февраля.

Кроме того, что не только в то время, но и гораздо позднее среди революционеров не было точно установленных правил о том, как давать показания, мы видим, что как в приведенных, так и в других показаниях нет предварительной согласованности между участниками, как вследствие спешки, так и отсутствия революционной опытности.

Но на основании этих некоторых полупоказаний следственные власти, как это видно из донесения министра внутренних дел Д. Толстого царю от 5 марта, делают свои заключения.

«По словам Генералова», — говорится в этом документе, — «упорно отказывающегося называть имена, он имел сношения по этому делу с т р е м я лицами, которые представляли из себя так называемую «террористическую фракцию» и в действительности руководили приготовлениями к преступлению». «Лица эти потому не приняли на себя роль исполнителей», — говорит Гене-

ралов, — «что неудобно ходить по Невскому со снарядами людям, находящимся под наблюдением полиции».

Сопоставляя изложенные сведения с прочими данными, надлежит притти к заключению, что во главе преступного предприятия стояли студенты Шевырев, Говорухин и Ульянов, из которых последние двое в действительности находились под наблюдением полиции. Образ действий названных трех лиц приводит к тому же заключению: Шевырев выехал из Петербурга в половине февраля, Говорухин скрылся, оставив письмо о самоубийстве, а Ульянов в первых числах февраля нанялся учителем к земской акушерке Ананьиной, проживающей во 2-м Парголове. Прожив у Ананьиной два дня, Ульянов вернулся в Петербург, а между тем разные химические препараты, служащие для выделки взрывчатых веществ, направлялись на его имя во 2-е Парголово, через посредство Новорусского, жениха дочери Ананьиной.

Таким образом показания первых же дней дали следствию главных исполнителей, сигнальщиков и, в «откровенных объяснениях» Горкуна и Канчера, указания на всех, принимавших участие, кто им был известен. Оставалось только выяснить инициаторов; но и в этом вопросе ответы Канчера и Горкуна намечали их в лице Шевырева и, главным образом, Ульянова, с которым они последнее время имели почти исключительно дело.

И вот, налегши на самых легковесных и податливых, — как поступали обычно при допросах жандармы, — они огорошили их показаниями и того, кто намечался как инициатор, — Ульянова.[1] Мы говорим, что его огорошили на основании того, что на первом допросе, 3 марта, он, записав ответы на первые вопросы: о своем имени, родстве и т. п., заявил, что чувствует себя не-

[1] Ульянов был арестован на квартире Канчера, куда он зашел справиться, в каком положении дело (см. воспоминания Лукашевича). «Мы (я и Ульянов) находились в томительном ожидании. Развязка должна была наступить 1 марта непременно. Время шло, а между тем ничего не было слышно. Ульянов пошел на квартиру Канчера, а я — в нашу студенческую столовую, чтобы проведать, в чем дело. На квартире Канчера уже была устроена засада, и Ульянов был схвачен».

Документы следствия подтверждают, что арест Ульянова произошел на квартире Канчера около 5 час. дня. При нем была записная книжка, где были, между прочим, иносказательно записанные адреса, напр., «Cheval, causer». В результате выдачи Канчера и указания им, когда его возили в Вильно, квартир, которые он посещал, этот адрес и еще некоторые были расшифрованы. Вышеуказанный означал: Конная площадь, дом Козелла. *А. Е.*

здоровым и просит поэтому отложить его допрос до следующего дня. Он хотел, очевидно, в виду открывшейся перед ним новой ситуации, показывавшей, кто выдает, что и относительно кого известно, обдумать лучше свое положение, свою дальнейшую тактику. Мы не знаем, что предполагал отвечать Александр Ильич до предъявления ему этих показаний, но, узнав о них, он решил, очевидно, что скрывать что-либо бесполезно, что надо, чтобы выгородить лиц, роль которых выплыла только благодаря показаниям двух сигнальщиков, взять всю вину на себя. И как на следующий день, 4 марта, так и на допросе 5 марта, он заявил определенно о своих убеждениях, о своем участии. Следующие его показания были развитием первых, дополнениями по более или менее частным вопросам, — все основное было высказано 4 и 5 марта. В этих показаниях, как в речи и объяснениях на суде, он стремится принципиально обосновать свои поступки и старается всячески выгородить тех, менее активных участников, которых оговорили Канчер и Горкун: Новорусского, Ананьиных, Шмидову. Даже правительственный документ (донесение д-та полиции м-ру от 16 апреля) говорит, что Ульянов старался оправдать Новорусского, а затем прокурор Неклюдов в своей речи сказал, что придает больше веры показаниям Ульянова (относительно выезда за границу Рудевича) потому, что «если Ульянов погрешает чем против истины, так только тем, что берет на себя и то, чего он не делал».

На допросе от 4 марта 1887 г. Александр Ильич Ульянов говорит:

«Я признаю свою виновность в том, что, принадлежа к террористической фракции партии «Народной Воли», принимал участие в замысле лишить жизни государя императора. Участие мое выразилось в следующем: в феврале этого года, в точности времени определить не желаю, я приготовлял некоторые части разрывных метательных снарядов»... (идут подробности, что именно). «Собственно фактическое мое участие в выполнении замысла на жизнь государя императора этим и ограничивалось, но я знал, какие лица должны были совершить покушение, т.-е. бросать снаряды. Но сколько лиц должны были это сделать, кто эти лица, кто доставлял ко мне и кому я возвратил снаряды, кто вместе со мною набивал снаряды динамитом, [1] — я назвать и объяснить не желаю»...

[1] Очевидно, на вопрос о Лукашевиче после показания Канчера (Горкуна) и его участии в этой работе. *А. Е.*

«Ни о каких лицах, а равно о называемых мне теперь Андреюшкине, Генералове, Осипанове и Лукашевиче никаких объяснений в настоящее время давать не желаю»...

Таким образом признание своей виновности, принадлежности к террористической фракции партии «Народной Воли» и точное указание своей роли было дано им уже на допросе 4 марта.

На следующем, от 5 марта, он говорит и о принципиальных мотивах своего участия. «Я не был ни инициатором, ни организатором замысла на жизнь государя императора.[1] Мое интеллектуальное участие в этом деле ограничивалось следующим: в течение этого учебного года, приблизительно не ранее второй половины ноября,[2] я раза два или три имел разговоры с некоторыми из лиц, принявших впоследствии участие в том деле, по которому я в настоящее время обвиняюсь. Разговоры эти касались ненормальности существующего общественного строя и тех возможных путей, которыми он может быть изменен к лучшему. Мое личное мнение, которого я держался в этих разговорах, было таково, что для того, чтобы достигнуть наших конечных экономических идеалов, что возможно только при достаточной зрелости общества, после продолжительной пропаганды и культурной работы,[3] необходимо достичь предварительно известного minimum'а политической свободы, без которого невозможна сколько-нибудь продуктивная пропагаторская и просветительная деятельность. Единственное средство к этому я видел в террористической борьбе, которая, как я надеялся, вынудит правительство к некоторым уступкам в пользу наиболее ясно выраженных требований общества. Я могу сделать предположение, что разговоры эти могли иметь некоторое, хотя во всяком случае очень незначительное, влияние на упомянутых лиц в том

[1] Очевидно, на соответствующий вопрос. Если бы Александр Ильич признал себя таковым, то это ускоряло бы следствие: есть исполнители, есть главный организатор и инициатор, — значит, дело для следователей было бы округлено. Но скромность и правдивость Александра Ильича не позволили ему приписать себе более крупную, чем в действительности, роль. *А. Е.*

[2] Эти слова Александра Ильича подтверждают правильность ряда воспоминаний, по которому террористический замысел возник после подавления добролюбовской демонстрации. *А. Е.*

[3] См. выдержки из статьи Кольцова-Гинсбурга в этом сборнике, где он говорит о том, что в то время считалось, что после достижения политической свободы последует довольно продолжительный период пропаганды и культурной работы.

смысле, что ускорили, быть может, их решение посвятить себя террористической деятельности. Но если это влияние и было, то оно было очень ничтожно, так как, насколько мне известно, все лица, принимавшие близкое участие в этом деле, действовали вполне сознательно и убежденно, пришедши к этому убеждению самостоятельным путем зрелого и продолжительного размышления».

На допросе от 19 марта Александр Ильич говорит: «В феврале этого года была составлена, при моем участии, программа террористической фракции партии «Народной Воли». Программа эта состоит из общей части и собственно программы террористической фракции. Программу эту я изложу дословно позже. Печатание первой части этой программы, которую я выдавал[1] за опыт новой программы, объединяющей партии «Народной Воли» и «социал-демократов», было начато мной после 15 февраля в квартире Бронислава Пилсудского, указанной мне для этого Иосифом Лукашевичем. Сколько лиц и кто именно помогали мне печатать программу, я объяснить отказываюсь. Печатание этой части не было доведено нами до конца; печатание же второй части только предполагалось. В составлении этой программы участвовало несколько лиц, которых я назвать отказываюсь».

Показания Александра Ильича на последнем допросе от 20—21 марта касаются уже исключительно принципиальной части дела: программы, времени ее возникновения, мотивов, вызвавших ее появление. Эта запись Александра Ильича настолько характерна, как для него самого, так и для обрисовки всего дела, что из нее нельзя сделать выписок, ее надо прочесть вместе с программой, которая приложена к ней (см. прил.). Как собственноручная его запись, она даже характернее в некотором отношении его речи на суде. Это подлинный его документ, в то время, как стенографически записанная речь на суде подвергалась неизвестным нам исправлениям и изменениям и была прерываема председателем неоднократно, как раз на принципиальных вопросах. Всего же характернее заключение этих показаний, добровольное уточнение Александром Ильичем его роли в деле, несомненно, сильно отягчающее его виновность. Если в одном из первых показаний он отверг предположение, что был инициатором и организатором дела, не желая брать на себя более крупную, чем в действительности, роль, то в этом он как бы возра-

[1] Очевидно, неудачное выражение, вместо считал. *А. Е.*

жаст против возможного подозрения в желании таким образом умалить свою вину. Он точно, как бы для того, чтобы устранить возможность всяких недоразумений, отчеканивает, что был одним из первых, кому пришла мысль о террористическом акте, и что вложил в дело все, что мог по своим способностям и силе своих знаний и убеждений.

Показания двух других инициаторов, представших на суде, Шевырева и Лукашевича, резко разнятся от показаний трех металыщиков и Ульянова. В то время как последние четверо признавали свою виновность и ни от чего касающегося их не отказывались, Лукашевич старался придать более невинный вид тем фактам, в которых был уличен, а Шевырев отрицал всякое свое участие в заговоре и подготовке покушения. Лукашевич говорит в своих воспоминаниях, что таково было убеждение Шевырева, что он считал излишним излагать свое credo перед негласным судом. Но как бы то ни было, а показания Шевырева и его манера держаться на суде произвели очень неприятное впечатление и тогда, просочившись все же через все те рогатки, которыми была заботливо отгорожена расправа со своими врагами, носившая название суда при участии сословных представителей. Новорусский передавал мне, что Александр Ильич морщился, выслушивая их. Еще более неприятное впечатление оставляют они теперь. Стремление свести все на культурную работу и голое отрицание установленного показаниями почти всех участников производят впечатление сшитого белыми нитками.

Эта ложь при сложившихся обстоятельствах ничего не опровергала, не вызывала ни у кого даже тени сомнения. Трудно понять, чего хотел достичь такой тактикой человек, улики против которого были сгущены с такой чудовищной несомненностью, который был поставлен во главе заговора; трудно представить себе, чтобы его поведение было вызвано какими-либо общими соображениями, а не желанием оправдаться.

На первом допросе, 14 марта, он пишет:

«Я не признаю себя виновным в каком бы то ни было участии в замысле на жизнь государя императора и о существовании такого замысла ничего не слышал и не знаю; к революционной партии я не принадлежу и революционных убеждений не разделяю»...

Знакомство с другими обвиняемыми признает, как с однокурсниками, на почве устройства и посещения кухмистерской, выдачи бесплатных обедов. Найденный у него яд — цианистый

кали — должен был служить для умерщвления насекомых, так как он этим был намерен заняться в Крыму.

На следующих допросах он отрицает получение денег от Лукашевича, доставление взрывчатых материалов Генералову и др.

Лукашевич, отрицавший на первом допросе всякое участие в деле, 6 марта признал его, показав, что одно из названных ему лиц (были названы: Шевырев, Говорухин, Ульянов, Осипанов, Генералов, Андреюшкин, Горкун, Канчер и Волохов) предложило ему участвовать в покушении. Отказавшись от роли метальщика и сигнальщика, он согласился оказывать некоторые услуги.

Не назвав, повидимому, втянувшего его, якобы, в дело товарища, — названо было 9 человек, — Лукашевич, в действительности, указал его очень близко. В самом деле, сигнальщики, самые молодые и неопытные люди, рассказавшие с первых же допросов чистосердечно все, отпадают, конечно, тотчас же. Метальщики тоже не должны итти в счет, особенно после показания одного из них — Генералова, — говорящего о «трех лицах, представлявших из себя террористическую фракцию и руководивших приготовлениями к покушению», — из чего следственные власти наметили без труда Шевырева, Говорухина и Ульянова.

Показания следующего дня, 7-го, в которых Лукашевич говорит: «Разговоры о замышлявшемся заговоре начались у меня с А. Ульяновым приблизительно между 1 и 2 февраля», — уже прямо указывают на Ульянова.

И дальше: ...«Мне было известно, что А. Ульянов в течение масленицы выезжал из Петербурга»... «Целью этой поездки было приготовление нитроглицерина, что в городе небезопасно»...— «Об этой поездке мне приходилось говорить с Ульяновым раньше»...—...«Со слов Александра Ульянова я мог заключить»... (показания от 16 и 20 марта).

Показания от 19 марта начинаются даже словами: «Александр Ульянов хотел поспешить печатаньем составленной в последнее время программы террористической фракции партии «Народной Воли» и с этой целью просил меня указать квартиру»...[1]

То же относительно Шевырева:

«Я передал Шевыреву»... «Шевырев мне не сказал»... «Чтобы Шевырев ездил в Вильно, мне неизвестно, хотя вообще он вел

---

[1] В своих воспоминаниях Лукашевич говорит: «*Мы* торопились с печатаньем программы» (стр. 21).

такую жизнь, что о поездках его я мог бы и не знать» (допрос от 19 марта). «Я узнал от Петра Шевырева, что приготовление азотной кислоты идет в Петербурге довольно медленно»... «Шевырев просил меня найти в Вильно»... «Шевырев не говорил мне, от кого он все это может достать» (20 марта).[1]

Одним словом, хотя в одном из первых показаний Лукашевич, говоря об Ульянове, и заявил, что «о Шевыреве и Говорухине он показывать не желает», — из общего характера его показаний инициативная роль Шевырева выступает с полной отчетливостью.

Все показания Лукашевича отличаются большой связностью и логичностью; он не мечется, как уличенный преступник, от запирательства к признанию, не смущается, не путается, не изменяет себе. Он осторожно признает то, что следственной власти известно, давая повсюду самые благоприятные для себя, но в то же время не противоречащие фактам объяснения.

Благодаря этим показаниям, а также тому, что в самое последнее время Лукашевич отстранился, вследствие чего для Горкуна и Канчера его активность была неизвестна, он встал перед судом, как хотя и заблудившийся, но благоправный молодой человек, искренно раскаявшийся и чистосердечно признавший то, что ему было известно.

Вследствие того, что в действительности он был одним из инициаторов, мы относимся к нему, конечно, требовательнее, чем к тем соучастникам, которые, действительно, ничего не представляли собой. Лукашевич говорит в своих воспоминаниях, что Ульянов шепнул ему на суде: «Если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня», но материалы следствия показывают, что он начал говорить на Ульянова много раньше, чем тот шепнул ему это.

Показания остальных обвиняемых ничего не прибавляют к характеристике дела, и поэтому мы не приводим их.

---

[1] В воспоминаниях стоит: «*Я* задумал выписать азотную кислоту, а также яды и двухствольный пистолет из Вильно» (стр. 14). (Курсив мой. *А. Е.)*

ДЕЛО 1 МАРТА 1887 ГОДА.

СУДОПРОИЗВОДСТВО.

Заканчивая следствие — уже 12 марта 1887 г., — директор департамента полиции П. Дурново обратился к министру внутренних дел, Д. Толстому, с запросом о том, какому суду предать обвиняемых по этому делу, — военному или суду сословных представителей. Характерно, как откровенно обсуждается, насколько тот или иной обеспечивают две главные поставляемые властями цели: присуждение «тягчайшего уголовного наказания» и быстроту судопроизводства.

«Имея в виду, что наказание в обоих случаях, т.-е. Сенатом или военным судом, будет постановлено одинаковое, вся разница в пользу военного суда сводится к возможности привести приговор в исполнение приблизительно десятью днями раньше».

Но, с другой стороны, указывается на неудобство спешить слишком с назначением дела к слушанию, ибо оно могло бы быть назначено около 30 марта, т.-е. на страстной неделе, «что весьма неудобно».

В виду характерности документа, приводим его целиком:[1]

«Въ виду предстоящаго, на будущей недѣлѣ, окончанія дознанія по дѣлу о злоумышленникахъ, задержанныхъ 1-го сего Марта, представляется необходимымъ нынѣ же разрѣшить вопросъ о порядкѣ дальнѣйшаго направленія и разсмотрѣнія сего дѣла.

Если будетъ признано необходимымъ передать дѣло на разсмотрѣніе военнаго суда, согласно ст. 17-й положенія объ усиленной охранѣ, то распоряженіе о семъ должно послѣдовать отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Въ такомъ случаѣ, полагая, что дознаніе кончится 21-го Марта, составленіе обвинительнаго акта, вызовъ свидѣтелей и т. п. неизбѣжныя формальности потре-

[1] № 47, т. I, 4-ое Д-ство 1887 г.

буютъ не менѣе недѣли времени и дѣло можетъ быть назначено къ слушанію около 30-го Марта, т.-е. на Страстной недѣлѣ, что весьма неудобно. Принимая же во вниманіе невозможность въ подобнаго рода дѣлахъ точно предусмотрѣть всѣ возможныя случайности, слѣдуетъ придти къ заключенію, что военный судъ состоится не ранѣе Понедѣльника Ѳоминой недѣли. — Состоявшійся приговоръ военнаго суда, на основаніи законовъ военнаго времени, можетъ быть приведенъ въ исполненіе по утвержденіи его Помощникомъ Главнокомандующаго войсками, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, приблизительно черезъ 3 — 6 сутокъ послѣ конфирмаціи.

Если же примѣненіе къ данному дѣлу военнаго суда не состоится, то дѣло должно поступить, по соглашенію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, съ Высочайшаго соизволенія, въ Особое Присутствіе Правительствующаго Сената съ участіемъ сословныхъ представителей, гдѣ, при извѣстномъ воздѣйствіи относительно устраненія медленности, можетъ поспѣть къ слушанію тоже на Понедѣльникъ Ѳоминой недѣли. Приговоръ Сената вступитъ въ законную силу черезъ двѣ недѣли по объявленіи его въ окончательной формѣ. Обжалованіе въ кассаціонномъ порядкѣ допускается лишь въ весьма ограниченныхъ предѣлахъ и кассаціонная инстанція сама постановляетъ окончательный приговоръ. Засимъ, если подсудимые не подадутъ просьбы о помилованіи, то приговоръ приводится въ исполненіе безъ всякаго утвержденія. Если же послѣдуютъ просьбы о помилованіи, то они представляются, съ заключеніемъ Сената, на Высочайшее благоусмотрѣніе.

Имѣя въ виду, что наказаніе въ обоихъ случаяхъ, т.-е. Сенатомъ или военнымъ судомъ, будетъ постановлено одинаковое, вся разница въ пользу военнаго суда сводится къ возможности привести приговоръ въ исполненіе приблизительно 10-ю днями раньше. — Какъ въ Сенатѣ, такъ и въ военномъ судѣ подсудимые имѣютъ право избирать защитниковъ изъ присяжныхъ повѣренныхъ. Двери засѣданія будутъ закрыты и тутъ, и тамъ.

Имѣются достовѣрныя свѣдѣнія, что Министръ Юстиціи докладывалъ Его Величеству, что въ виду праздниковъ Пасхи дѣло едва ли можетъ слушаться ранѣе Ѳоминой недѣли. Но Министръ Юстиціи, безъ соглашенія съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, не считалъ возможнымъ испрашивать указаній Государя Императора относительно того, въ какомъ судѣ судить преступниковъ.

Обращаясь къ прецедентамъ, оказывается, что дѣло 1-го Марта 1881 года разсматривалось три раза въ Правительствующемъ Сенатѣ: 1) дѣло Рысакова, Перовской и др. — въ Апрѣлѣ 1881 г., 2) Колодкевича, Суханова и др. — въ Мартѣ 1882 г. и 3) дѣло Грачевскаго, Юрія Богдановича и др. — въ Апрѣлѣ 1883 г. Дѣло же Вѣры Фигнеръ было передано въ военный судъ въ виду значительнаго числа обвиняемыхъ военнаго званія (Ашенбреннеръ, Тихановичъ, Рогачевъ, Похитоновъ, Ювачевъ).

Передача политическихъ дѣлъ вообще на разсмотрѣніе военныхъ судовъ практикуется не столько ради быстроты судебнаго разсмотрѣнія, — ибо двѣ-три недѣли лишнихъ послѣ дознанія, продолжающагося неизбѣжно цѣлые годы, не могутъ имѣть значенія, — сколько въ виду необходимости примѣненія къ обвиняемымъ тягчайшаго уголовнаго наказанія. Наши же карательные законы о государственныхъ преступленіяхъ (кромѣ умысла на жизнь Государя Императора) весьма несовершенны, и политическое преступленіе наказывается смертью лишь въ томъ случаѣ, если преступникъ будетъ признанъ виновнымъ по ст. 249 Улож. о нак. Редакція же этой статьи даетъ основаніе къ самымъ разнообразнымъ толкованіямъ, и гражданскій судъ часто не имѣетъ законныхъ основаній примѣнить означенную статью къ данному дѣлу.— Военные же суды руководствуются спеціальнымъ закономъ, по которому всякое убійство, покушеніе на оное и т. п. наказывается смертью.

Съ другой стороны, законъ, карающій за посягательство на жизнь Государя Императора, ясенъ и не допускаетъ никакихъ сомнѣній. Между тѣмъ несомнѣнно, что разсмотрѣніе дѣла въ Правительствующемъ Сенатѣ, при извѣстной опытности Первоприсутствующаго, Сенатора Дрейера, болѣе обезпечиваетъ правильное и строгое разрѣшеніе настоящаго дѣла, которое требуетъ весьма свѣдущаго Предсѣдателя, ибо многіе обвиняемые изобличаются не свидѣтельскими показаніями, а оговоромъ своихъ соучастниковъ, почему и допросъ послѣднихъ на судѣ будетъ имѣть первенствующее значеніе. Независимо сего примѣненіе исключительнаго военнаго суда въ данномъ случаѣ, послѣ указанныхъ выше примѣровъ разсмотрѣнія дѣлъ подобнаго рода въ Правительствующемъ Сенатѣ, быть можетъ, будетъ признано неудобнымъ».

«12 Марта 1887 г.».

Очевидно, высшие власти согласились с доводами департамента полиции, и дело было назначено к слушанию в сенате на 15 апреля 1887 г.

Приводим первые две странички стенографического отчета процесса,[1] напечатанного в свое время в самом ограниченном количестве, для раздачи членам присутствия и некоторым очень важным персонам.

«Заседания Особого присутствия Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступлениях, происходившие с 15 апреля 1887 года, на основании пункта В ст. 17 Положения о государственной охране, при закрытых дверях присутствия.

Председательствовал Сенатор П. А. Дрейер; Членами Присутствия состояли Сенаторы: Ф. П. Лего, В. И. Бартенев, Н. И. Янг и Н. М. Окулов; сословные представители: тамбовский губернский предводитель дворянства, тайный советник Кондоиди, петербургский уездный предводитель дворянства, действительный статский советник Зейфарт, московский городской голова, потомственный почетный гражданин Алексеев и котельский (Ямбургского уезда, Петербургской губернии) волостной старшина Егор Васильев.

Дело о мещанине Василии Осипанове, крестьянине Пахоме Андреюшкине, казаке Василии Генералове, сыне надворного советника Михаиле Канчере, мещанине Степане Волохове, дворянине Петре Горкуне, купеческом сыне Петре Шевыреве, сыне действительного статского советника Александре Ульянове, дворянине Иосифе Лукашевиче, дворянине Брониславе Пилсудском, аптекарском ученике Тите Пашковском, сыне псаломщика Михаиле Новорусском, крестьянке Марии Ананьиной, мещанке Ревеке (Раисе) Шмидовой и мещанке Анне Сердюковой — по обвинению их в преступлениях, предусмотренных 241 и 243 ст. Уложения о наказаниях.

Обвиняли: исполняющий обязанности Прокурора, Обер-Прокурор Общего Собрания Кассационных Департаментов Правительствующего Сената Н. А. Неклюдов и Товарищ Обер-Прокурора Уголовного Кассационного Департамента Сената

---

[1] Отчет этот напечатан Центрархивом.

А. Д. Смирнов; Секретарем заседания явился исполняющий обязанности Обер-Секретаря Уголовного Кассационного Департамента Сената А. А. Ходнев.

Подсудимых защищали присяжные поверенные: Хартулари (Канчера, Волохова и Горкуна), Герке 1-й (Шевырева), Принтц (Лукашевича и Пилсудского), Шнеур (Шмидову), Турчанинов (Осипанова), Леонтьев 2-й (Пашковского), Михайлов (Сердюкову), Соколов 1-й (Ананьину). Новорусский, Андреюшкин, Генералов и Ульянов защитников иметь не пожелали.

Из числа экспертов в зале заседания оставлен профессор Михайловской артиллерийской академии, генерал-майор Федоров.

По проверке списка вызывавшихся свидетелей, которые все явились, Председатель Особого Присутствия предложил подсудимым встать с своих мест и затем был прочитан обвинительный акт (см. приложение).»

По прочтении обвинительного акта все подсудимые были удалены из залы заседания и затем вызывались поодиночке.

Первым допрашивался Канчер, допрос которого занимает целых тридцать страниц отчета и после которого был объявлен перерыв на 20 минут. Повторив все, сказанное на предварительном следствии, он многое подчеркнул и дополнил. Недаром приведенный нами документ департамента полиции от 12 марта в числе преимуществ суда Сенатом отмечает опытность председателя, сенатора Дрейера, что особо важно вследствие того, что «многие обвиняемые изобличаются не свидетельскими показаниями, а оговором своих соучастников, почему и допрос последних на суде будет иметь первенствующее значение».

Подтверждая эту рекомендацию, Дрейер выжимал, действительно, из оговоривших все самым беспощадным образом.

Так, Канчер говорит, что «причина, почему я сделался таким преступником... я нахожу в действительности, что это есть Шевырев»...

Он подчеркивает, что на первом же допросе рассказал о всех участниках, что «считает своей священной обязанностью высказать правду». Он рассказывает о всех виленцах, дает адреса. (Между прочим, в Вильно его возили в начале следствия, и он установил там личности Пилсудского, Пашковского, Гнатовского; вообще, он посадил на скамью подсудимых все виленскую организацию).

На суде он напирал больше на то, что Шевырев рисовал ему его роль, как пассивную, что он боялся отказаться, ибо Шевырев пугал его участью Рудевича, который за отказ был спроважен за границу; останавливался также неоднократно на том, что, как он надеялся, ничего, кроме болтовни, из этого не выйдет. Говорил, что его и Горкуна считали пешками; что главными он считал Говорухина и Шевырева.

Также выпытывали Горкуна и Волохова. Доклад директора департамента полиции министру говорит: «все трое, сознаваясь в преступлении, дали обширные показания, в которых, впрочем, нового ничего не было».[1]

Генералов, отвечая на вопрос о том, когда ему стало известно о покушении, сказал, что в конце декабря 1886 г. Ульянов предложил ему изготовить несколько жеребьев, и он изготовил штук 200, догадываясь, что дело идет о каком-нибудь террористическом акте. Деньги на квартиру, снятую для хранения взрывчатых веществ, получал «от террористической партии».— Кто вам их передавал? — Получал и от Ульянова, и от Говорухина, и от Шевырева. В цитированном докладе директора департамента полиции это передается так:

«Генералов добавил, что деньги для уплаты за квартиру он получал от членов «террористической фракции». На вопрос председателя, кто именно были членами этой фракции, Генералов назвал Шевырева, Ульянова и Говорухина».

Андреюшкин сказал, что ему не понравилось участие Горкуна, ибо он не считал его способным принять участие в таком деле. Затем он сказал, что, когда допытывались, кто писал взятое у него письмо, были употреблены до некоторой степени угрозы, к несчастью, с глазу на глаз.

В докладе департамента говорится, что он признался, что приготовлял азотную кислоту по указанию Ульянова.

Допрос Осипанова продолжался очень недолго. Он отказывался называть имена.

Ульянов на вопрос: «Что же, вы все 4 года старались навербовать себе сообщников или первые годы провели в ученьи?» ответил: «Я все 4 года занимался теми науками, для которых поступил в университет... Что касается до вербования сообщников, то я этого не делал и в последнее время: я не был пропагандистом и организатором дела».

---

[1] Дело деп. полиции № 47, т. I, 1887 г., стр. 10 и 11.

Он подтверждает, что познакомился почти со всеми участниками лишь с осени 1886 г., а с Говорухиным и Шевыревым — с прошлой зимы, с последним с весны 1886 г. Относительно отъезда Говорухина говорит, что тот уехал потому, что был причастен к этому делу, что уехать мог всякий, кто хотел, и что отъезд был делом его личного желания.

На вопрос: «Вам известен был образ мыслей и Говорухина и Шевырева?» он повторил буквально, вероятно, несколько вызывающим тоном: «Да, был известен образ мыслей и Говорухина, и Шевырева».

В. — И образ мыслей, соответствующий вашему образу мыслей?

О. — Да.

С Осипановым Ульянов, по его словам, виделся один раз, — 25 февраля, а раньше и фамилии его не слышал.

Он подтверждает, что был в квартире Горкуна и Канчера в ноябре, что принес туда прокламации, которые он же гектографировал, что одно лицо помогало, а кто — он назвать отказывается.

Он говорит, что вся азотная кислота приготовлена в Петербурге, — отчасти им, отчасти по его указаниям, и он же поехал на вокзал за получением азотной кислоты, привезенной Канчером. Относительно телеграммы из Вильно он допустил, по его словам, ошибку, дав адрес сестры, — человека, не принимавшего участия в деле. Затем, он подробно рассказывает, как взял на себя приготовление снарядов, «узнав, что лицо, приготовлявшее их, не может более продолжать работы, так как уезжает из Петербурга». Мы знаем, что готовил снаряды Лукашевич и что он никуда из Петербурга не уезжал, и можем предположить поэтому, что Ульянов намеренно выдвинул этот, якобы, отъезд, чтобы отдалить всякое подозрение от Лукашевича.

«Главное, что нужно было сделать, это приготовить динамит. Я стал подыскивать квартиру, потому что на своей не мог делать»...

«Я набивал снаряд, в форме книги, динамитом»... «Оклеив его свежею зеленою бумагою, а потом набив его динамитом, я передал его Генералову». Мы видим из воспоминаний Лукашевича, что снаряд в форме книги был приготовлен и оклеен им, так что и тут, значит, Ульянов сознательно брал на себя вину Лукашевича. Рассказав, что встретил последнего на Нев-

ском и попросил зайти помочь набить снаряды, он подчеркивает: «Кроме этого, Лукашевич мне ни в чем не помогал».

Передавая о своей поездке в Парголово и о работе там, он особенно старательно напирает на то, что не говорил ни Ананьиной, ни Новорусскому, какого рода вещество заключается в склянке, и что очень мало знал обоих.

На вопрос о человеке с рыжей бородой, привезшем бутыль в Парголово, Ульянов сказал: «Этот человек был послан мною».

Окончательное соглашение относительно того, как привести покушение в исполнение, состоялось, по словам Ульянова, 25 февраля у Канчера, где он был с целью увидеться с Осипановым и прочесть ему программу террористической фракции, составленную за последнее время.

Затем Ульянов сказал, что провожал Говорухина и доставил ему денег на дорогу, что это были его личные деньги. На вопрос председателя: «разве у вас было их так много?» он ответил: «Я не знаю, если это так важно знать, то я могу сообщить. Я получил в университете золотую медаль за сочинение и заложил ее... «Она дала мне 100 рублей, и Говорухин удовольствовался ими на первое время».

На вопрос присяжного поверенного Турчанинова Ульянов отвечает, что находил в снаряде, в форме книги, некоторое неудобство, по сравнению с цилиндрическим, и хотел переделать его, но не успел. И подробно объясняет, в чем именно состояло неудобство.

На вопрос председателя:

— Видели вы образцы подобных метательных снарядов? Как вы научились их делать?

Ульянов ответил:

— Мне одно лицо давало указания.

— Это Говорухин? — спросил председатель, наведенный, очевидно, на ложный след словами Ульянова, что «лицо, готовившее снаряды, уезжало из Петербурга».

— Нет.

И опять, когда вопросы близко подошли к Лукашевичу:

— Лицо, которое давало вам указания, практиковалось в изготовлении таких снарядов? — он осторожно ответил:

— Не знаю, но вообще я считал его за человека, умеющего производить химические операции.

— Вы один печатали?

— Нет, было еще два лица.

— А Пилсудский был при этом?

— Нет.

— Знал содержание программы?

— Нет.

Вот самое основное из показаний Ульянова на суде. Они бесстрашны и искренни, когда дело касается его, и уклончиво-осторожны или голо-отрицательны относительно других. Характерно, что после одного вопроса, кто помогал гектографировать прокламации, на который Ульянов ответил, что отказывается назвать его, больше об именах не спрашивали. «Я послал этого человека», «мне давало указания одно лицо», — говорил он и вопроса: кто именно? за этим уже не следовало. Раз только попробовал председатель поймать: «Это Говорухин?» — но ничего не добился.[1]

Шевырев, отрицавший на предварительном следствии всякое участие в покушении, на суде заявил, что «признает себя виновным в том, что исполнял некоторые поручения Говорухина и только из обвинительного акта увидал, какие они имели последствия».

Он подробно рассказывает о своей работе в разных благотворительных учреждениях, об устройстве кухмистерской; о том, как для получения денег на нее он входил в договор с Говорухиным, о поездке в Вильно за азотной кислотой и пистолетом, о покупке разных материалов и что за эти услуги Говорухин делился с ним деньгами; что тот поведал ему о затее устроить покушение, но Шевырев не верил в нее, считал пустяшной, которая продержится лишь несколько дней. Потому-то он согла-

[1] Донесение директора департамента полиции относительно показания Ульянова говорит: «Показание Ульянова представляло несравненно больший интерес. Сохраняя свое обычное спокойствие, Ульянов рассказал, что Рудевич уехал за границу исключительно из-за того, что узнал о намерении своего приятеля Андреюшкина принять участие в метании снарядов. Близость отношений Рудевича к Андреюшкину почти исключала возможность для первого избегнуть ответственности, вследствие чего он был снабжен деньгами и отправился за границу. Указывая далее, что Говорухин и Шевырев принимали деятельное участие в приготовлениях к преступлению, Ульянов показал, что деньги на путешествие Говорухина за границу выданы им, Ульяновым, и добыты посредством залога за 100 рублей принадлежавшей Ульянову золотой медали, полученной им на третьем курсе университета за сочинение».

сился передать Канчеру предложение Говорухина. Он сказал, что по убеждениям не революционер, решил работать на почве просвещения народа. Затем он говорил, что личности, как Говорухин, интересовали его; он знал, что тот в прошлом году сидел в тюрьме; ему хотелось узнать убеждения этих лиц, настолько ли они неподатливы, что их нельзя переубедить. И он делал такие опыты над самим Говорухиным.

Лукашевич заявил, что до половины января не был социалистом и не имел никаких отношений к преступлению. Он обращал внимание на бедственное положение народа, на несправедливости в общественном строе... Изменения общественных сил требуют изменения в законодательстве. Если законодательная власть будет в руках народа, то не будет неправильных, кровавых столкновений, если же это невозможно, то по необходимости будут столкновения...

«Мои идеи были социально-демократические». «... В половине января текущего года мне было сделано предложение принять участие в террористическом факте».

На вопрос председателя: «кто предложил ему», Лукашевич указывает Говорухина. Узнав, очевидно, что он благополучно скрылся, Лукашевич, как и Шевырев, решил говорить на него.

Затем Лукашевич говорит, что, отказавшись от роли метальщика и сигнальщика, согласился служить передаточным звеном. Так он узнал адрес и написал записку в Вильно. Председатель настойчиво допрашивает его, почему за разъяснением телеграммы из Вильно относительно отъезда Говорухина он обратился к Ульянову. «Понятно, что к вам, как к происходящему из одного города Вильно, Пилсудский мог обратиться за разъяснением телеграммы, но почему вы-то обратились к Ульянову?»

Лукашевич говорит, что он знал, что Ульянов принимает участие в этом деле и что он в довольно близких отношениях с Говорухиным. На вопрос о том, кто сообщил ему, что покушение должно быть произведено метательными снарядами, он говорит, что Говорухин. Затем, что Ульянов обратился за помощью для набивки снарядов. Об отъезде Говорухина за границу были разговоры не только с ним, но и с Ульяновым. Ульянов попросил подыскать квартиру для печатания программы.

Опуская показания остальных обвиняемых, как выясняющие их личную вину или малосущественные детали, перейдем к бег-

лому рассмотрению более характерного или важного в допросах свидетелей.

Эксперт по взрывным снарядам, генерал-майор Федоров, предъявляет чертежи снарядов и описывает их устройство. По его словам, радиус взрыва цилиндрических снарядов должен был быть до двух сажен, с разлетом пуль на 20 сажен в диаметре, а радиус взрыва снаряда-книги на $1^1/_2$ сажени, с таким же разлетом пуль. Он находит, что веревки, за которые нужно было дернуть, были очень плохие.[1]

Лукашевич пробует на основании этого доказать, что если снаряды были негодны, то налицо имеется не злоумышление, не покушение, а только замысел (квалифицируемый, очевидно, мягче в тогдашнем кодексе законов).

Председатель пытается поймать его: «Ведь вы сами не пробовали дергать за веревки готовые снаряды? Ведь вы только набивали их динамитом?».

На вопросы о степени опасности замерзшего нитроглицерина, о том, какой силы сотрясение нужно, чтобы произошел взрыв, Федоров отвечает довольно неопределенно. Ульянов оспаривает его по вопросу о способе приготовления нитроглицерина.

«Вы говорите», — заявляет он, — «что приготовление нитроглицерина сопровождается сильным удушливым запахом. Но это относится лишь к некоторым способам, а не ко всем; при том способе, каким я приготовлял, запаха вовсе не было».

Это же самое утверждает и Лукашевич в своих воспоминаниях, говоря, что свидетельства экспертизы были часто неверны, а во многих случаях ее можно назвать даже недобросовестной (стр. 40).

---

[1] Лукашевич говорит в своих воспоминаниях: «Хотя брошенный Осипановым снаряд не взорвался, и благодаря этому в некоторых кругах революционеров составилось невыгодное мнение об устройстве наших бомб (см., напр., отзыв о них в «Свободной России» за 1889 г.), но полиция и экспертиза были другого мнения.

«Эксперт на суде сказал, что бомбы вполне годны к употреблению». «Когда человека крепко держат за руки, как это было с Осипановым, то трудно действовать»... «На суде я узнал от него, что, когда его вели по лестнице в охранное отделение, он сделал попытку высвободить правую руку, чтобы потянуть за шнурок, открывающий клапан. Сыщики же, думая, что он хочет вырваться, еще крепче его схватили, так что, повидимому, ему не удалось потянуть за шнурок, по которому только скользнула его рука» (стр. 32).

*

В докладе директора департамента полиции министру от 16 апреля говорится: «Подсудимый Ульянов, не имеющий защитника, предлагал эксперту вопросы, свидетельствующие о его солидных познаниях в химии, при чем все вопросы Ульянова клонились к желанию доказать, что Новорусский и Ананьина не могли «по запаху» обратить внимание на его работы по приготовлению нитроглицерина; эксперт утверждал, что приготовление нитроглицерина сопровождается запахом, которого нельзя не заметить; наоборот, Ульянов старался убедить генерала Федорова, что избранный им особый способ приготовления нитроглицерина почти совсем не вызывает запаха».

Мы видим, что доклад неточен: Ульянов сказал определенно, что совсем не было запаха. Федоров, отступая понемногу, в конце признал, что «незначительный» запах все же будет.

Свидетелю Чеботареву, который жил с ним вместе с сентября по январь, Ульянов задал вопрос, видал ли он у него когда-нибудь Новорусского и Ананьину, чтобы доказать, что близкого знакомства у него с ними не было. «Нет, положительно», —отвечал тот.

Свидетельница Прокофьева, хозяйка Говорухина и Шмидовой, которая еще в феврале ходила в полицию с доносом на своих жильцов, в результате чего у них был обыск, показывала на суде, что в квартиру приходил после отъезда Говорухина молодой человек, принесший бутыль. После ухода этого молодого человека она обнаружила под кроватью Говорухина в корзине бутылки с жидкостью и несколько бумажных пакетиков, перевязанных веревками. Она направилась к дворнику, чтобы тот заявил в полицию, но последняя явилась только на другой день, а в тот же день молодой человек опять приходил, сидел долго, и в 2 часа ночи они ушли и унесли все вещи.

На вопрос председателя, нет ли этого молодого человека среди подсудимых, она указывает на Андреюшкина, — «вот этот, кажется». На вопрос, тот ли самый молодой человек приходил вечером, что и утром, она затрудняется ответить определенно.

Тогда Ульянов спрашивает ее: «Вы хорошо помните, что это было 23—24 февраля? Не могло ли это быть 20-го?»

Свидетельница, ссылаясь на свой возраст, говорит, что «как следует помнить» не может.

— Может быть, это был не Андреюшкин, а я—во второй раз?

— Может быть, я не утверждаю.

Вопросы эти имели целью ослабить улики против Шмидовой: одно дело, если приходил Ульянов, знакомство которого с ней и Говорухиным было установлено, и другое — если она имела дело непосредственно с метальщиком.

Ульянов расспрашивал еще свидетельницу относительно формы и величины бутылок, просил председателя показать ей найденные при обыске банки, чтобы спросить ее, не было ли там (очевидно, в корзине, о которой она говорила. *А. Е.*) таких банок. Просьба его не была удовлетворена, и мы не знаем, что именно он хотел доказать этим, — несомненно лишь, что все вопросы к Прокофьевой имели целью выгородить Шмидову. Прокофьева путала: то говорила, что корзина Говорухина была до прихода молодого человека совсем пустая, то, утверждая, на вопрос прис. пов. Шнеура—защитника Шмидовой, что корзина была очень большая, на следующий вопрос его: «Где же один человек мог принести столько, чтобы наполнить эту корзину?» заявила: «Совершенно свободно. В корзине еще лежали книги Говорухина».

Характерно, что дворник этого дома, повествуя о своем путешествии в участок, вследствие сообщения Прокофьевой, упомянул, что околоточный сказал ему: «Может быть, жильцы не платят Прокофьевой денег за комнату, так она хочет выжить их?». Это показывает, что участковая полиция была совсем не в курсе дела почти накануне покушения. Ульянов и дворнику задал вопрос: «Какого это было числа?» — «Не помню», — ответил тот.

Таким образом показания этой, одной из главных, свидетельниц обвинения были так опорочены, что никакой сколько-нибудь беспристрастный суд не мог бы пользоваться ими.

На заседании 17 апреля присяжный поверенный Герке — защитник Шевырева — сделал заявление, что на основании закона, если председатель суда найдет нужным на время снятия с кого-нибудь допроса удалить подсудимого из присутствия, он о б я з а н сообщить ему с точностью все, что происходило в его отсутствие. Герке говорит, что его подзащитный уличается главным образом на основании оговора других подсудимых, показания которых на суде разнятся кое в чем от обвинительного акта. Поэтому, вследствие того, что стенограммы, очевидно, не готовы, он просит разрешить ему ознакомить Шевырева по

своим записям с тем, что говорилось о нем в его отсутствие и с чем он незнаком по обвинительному акту; ознакомить в присутствии, чтобы председатель мог подтвердить, что сообщается действительно происходившее в заседании. Не надеясь, очевидно, добиться от первоприсутствующего в суде сословных представителей исполнения несомненного закона, Герке кончает свое заявление словами, что он сделал выборки не только такие, которые говорят в пользу Шевырева, но и те, которые говорят против него и относительно которых он не дал разъяснений.

Но первоприсутствующий заявляет, что сообщит в свое время, по окончании следствия, то, что каждый прибавил или убавил в отсутствие другого против того, что изложено в обвинительном акте, но, «разумеется, только то, что будет признано мною существенным».

Свидетель Гамолецкий сказал, что дал ложные показания на предварительном следствии относительно Лукашевича вследствие того, что его полковник Страхов и товарищ прокурора Янкулио уверили честным словом честных людей, что Лукашевич сознался, что принимал участие в покушении.

Гамолецкий после приговора подавал прошение о том, чтобы ему наказание было увеличено, что он ложными показаниями запутал своих товарищей, Лукашевича и Пилсудского. Прошение это было оставлено без последствий.

В то время менее оформленных отношений между классами, или между революционерами и обществом, малоопытную молодежь ловили иногда на честное слово.

Свидетеля Пилсудского, младшего брата подсудимого, Ульянов спрашивает о телеграмме, долженствовавшей известить о благополучном отъезде за границу Говорухина: «По какому адресу велел вам Гнатовский послать телеграмму?»

— По адресу брата.

— Он так вам сказал? Это было в присутствии Говорухина?

— Да.

— И просил послать тотчас же?

— Просил послать на следующий день.

Этими расспросами Ульянов хотел, очевидно, убедиться в том, что Говорухин проехал благополучно, ему хотелось узнать, что свидетель видел самого Говорухина.

Дворник Новорусского Гурьянов показал, что, когда он вез арестованную Ананьину из Парголова, она грозила ему: «Помни

же, если будешь доказывать, мы тебя будем помнить: не от нас, так другие попомнят». Ананьина опровергает это. На допытывания суда: «Знал ли свидетель что-нибудь, о чем следовало доказать?» дворник Гурьянов отвечает отрицательно.

Защитник Ананьиной Соколов выясняет вопросами, что везли Ананьину в деревенских санях, что тут же сидел жандарм, который должен был слышать, как она угрожала.

Ульянов ловит также после некоторых вопросов дворника на лжи и, обращаясь к суду, говорит:

— Дело было так: я спросил свидетеля, где живет Новорусский, и он сказал, что в Парголове, на даче Кекина. Когда я спросил, нет ли городского адреса, то он сказал и городской. А насчет узелка и чемодана я не спрашивал и не входил в квартиру, а был у ворот.

Свидетеля Сакса, пристава, производившего обыск на даче Кекина, в Парголове, у Новорусского и Ананьиной, Ульянов расспрашивал, видел ли он маленькие полоски лакмусовой бумаги, синие и красные, в большой комнате, или там был только чугунок? И на ответ свидетеля, что в большой комнате он бумажек не заметил, заявил: «Они были в той комнате, где была вся лаборатория». Очевидно, Ульянов хотел подчеркнуть этим, что Ананьины были в стороне от лабораторных работ, что они производились исключительно в одной, занимаемой им комнате. Но его вопросам не давали ходу; допрос Сакса был тотчас же прекращен.

Парголовский урядник Беланов заявил на суде, что будто Ананьина сказала ему, что какой-то учитель дает ее сыну уроки химии, и назвала затем и фамилию: Ульянов.

Беланов был подвергнут перекрестному допросу, ему доказывали, что мальчик был небольшой, что в этом возрасте не изучают химию, напоминали его показание на предварительном следствии, где он говорил просто: уроки, но он стоял все на одном: уроки химии.

Тогда Ульянов два раза настойчиво предложил свидетелю припомнить истинное выражение: «не употребила ли она выражение, что он «занимается» химией?

— Вот это могло быть, что «занимается», но я понял, что он занимается с сыном.

— Вы не утверждаете, было ли сказано «занимается» или «дает уроки»?

— Этого не могу сказать.

Таким образом, Ульянов положил конец этой путанице в показаниях.

Вмешался он также и в допрос эксперта Кожевича (содержателя писчебумажного магазина). Кожевич объяснил, что на предварительном следствии ему был предъявлен маленький кусочек зелено-мраморной бумаги для сличения ее с той бумагой, которой был оклеен снаряд в виде книги, и он нашел, что эта бумага одного сорта. Обер-прокурор напоминает, что на предварительном следствии он находил даже, что от одного листа. Но, не желая, очевидно, повторять такую вещь под присягой, Кожевич отвергает это, говоря, что если и тысячу листов взять, то они будут одинаковы. И на дальнейшие вопросы утверждает, что достать эту бумагу легко, и она продается стопами.

«Бумага эта настолько обычна в переплетном деле и настолько однообразна», — сказал тогда Ульянов, — «что я не знаю, на каком основании утверждается в обвинительном акте, что та и другая бумага с одного и того же листа. Свидетель этого не утверждает». И хотя было зачитано соответствующее место из обвинительного акта и эксперту был задан еще целый ряд вопросов, но подтвердить предположение об одном листе не удалось. Кожевич подтвердил, что эта бумага идет преимущественно для переплетов. Второй эксперт, переплетчик Копошевский, сказал также, что хотя бумага по сорту, цвету и рисунку одинакова, но наверное сказать, что это из одного листа, — нельзя.

Так как кусочек зелено-мраморной бумаги был найден в книге Новорусского, то опровержение того, что он от одного листа со снарядом, отводило от Новорусского улику, что он принимал непосредственное участие в подготовке покушения.

После допроса свидетелей прокурор Неклюдов ходатайствует о прочтении показаний двух мальчиков, — сына Ананьиной, 14 лет, и брата Новорусского, 10 лет, — данных ими на предварительном следствии и включенных в обвинительный акт. Эти мальчики, по праву, предоставленному им законом, отказались на суде от показаний по делу близких родственников, и присяжный поверенный Соколов 1-й возражал против прочтения их показаний, говоря, что закон не разделяет своего взгляда по поводу показаний на предварительном и судебном следствии. Но председатель все-таки заявил, что удовлетворяет требование прокурора, и показания были прочитаны.

Затем прокурор просит огласить «справку о движении дел по обвинению разных лиц в государственных преступлениях, начиная с 1881 г.» «в подтверждение принадлежности многих лиц к террористической фракции партии «Народной Воли», в совершении этой партией преступлений и, следовательно, в подтверждение того, что эта партия не прекращает своих преступных действий и после злодеяния, совершенного членами ее 1 марта 1881 года».

Справка оглашается.

Тогда председатель приступает к сообщению подсудимым того, что говорилось некоторыми в отсутствие других, — о чем ходатайствовал защитник Шевырева; вернее, впрочем, будет сказать, приступает к попыткам поймать некоторых подсудимых на эти добавочные объяснения. Главным образом, эти усилия направлены против Шевырева, отрицавшего свое участие. Опровергая показания Канчера против него,—между прочим, то, что стращал его высылкой Рудевича, Шевырев говорит, что Рудевич просил сам о высылке, и добавляет: «Может быть, кто-нибудь из подсудимых подтвердит мои слова?»

Тогда Ульянов заявляет: «Рудевич просил достать ему денег. Я обратился к другому лицу, которое достало ему деньги, — так что это была жертва,[1] и показание Канчера, во всяком случае, неверно».

Затем слова Шевырева подтверждает и Андреюшкин.

Председатель пробует поймать Ульянова, спрашивая его:

— Вы показывали, что Шевырев говорил, что нужно три снаряда?

— Я сказал «одно лицо», не называя фамилии Шевырева.

Прокурор говорит: «он сказал, что три лица будут метальщиками».

— Говорили это? — спросил председатель.

— Может быть, говорил, — сказал Ульянов.

Генералова спрашивают:

— Вы говорили, что деньги на террористические действия получались от Шевырева?

---

[1] В стенографическом отчете мысли переданы часто неточно. Вероятно, слово «жертва» надо понимать так, что фракция пожертвовала средства, пойдя навстречу желанию Рудевича.

Когда он подтверждает это, а Шевырев пытается оправдаться, Ульянов заявляет:

— Я бы хотел спросить, не получал ли Генералов также и от меня денег и не передавал ли Шевыреву, что получил деньги от меня? Деньги все передавал я, и если когда передавал Шевырев, то делал это по поручению от меня.

Но Генералов, соглашаясь, что получал от Ульянова, говорит, что получал и через других, между прочим, и через Шевырева.

Зато Андреюшкин подтверждает, что получал все деньги от Ульянова, а от Шевырева никогда.

Речь обвинителя обер-прокурора Неклюдова занимает 80 страниц стенографического отчета.

Указав на смущение и слезы всей России, на тяжесть настоящего злодеяния, этого второго 1 марта, он размечает вкратце роль каждого из подсудимых. Шевырев — душа злодеяния, его зачинщик и руководитель. Ульянов — приготовитель динамита и один из зачинщиков преступления. «Не все из подсудимых достигли гражданского развития, но все они находились в таком возрасте и обладали таким развитием, что могли вполне отчетливо понимать: одни — то, что они затеяли; другие — то, что они приводили в исполнение». Такими словами представитель власти обходит с большой легкостью закон, говоривший и тогда, при царском режиме, о смягченных требованиях к несовершеннолетним.

Логику, которой прокурор объясняет действия подсудимых, он изображает так: «Каждый человек имеет свои убеждения; он может их пропагандировать и осуществлять; если же ему не внемлют или противодействуют, то он в праве прибегать к насилию. Например, если ему не нравится, что Петербург построен на берегу Финского залива, и если его пропаганду о перенесе столицы в иную местность не слушают, — он в праве прибегнуть к динамиту, разрушить город и затем предоставить обществу высказать свободно мнение о том, следует ли перенести столицу или воздвигнуть ее на том же месте.

Затем он говорит о смертоносности снарядов для отдельных лиц и для массы, а также о смертоносности мотивов преступления для всего общественного и государственного строя. Отмечая, что при аресте Осипанова у него была взята программа Исполнительного Комитета «Народной Воли», а Ульяновым печаталась программа террористической фракции, он говорит, что для исполнения пре-

ступления слились не менее двух революционных партий, причисляя к первой Осипанова, а ко второй — всех остальных. Первая — это партия «Народной Воли». «Сущность ее программы весьма проста» — говорит прокурор, но излагает ее весьма путанно, называет, например, одним из средств пропаганду социально-демократических (!!) идей.

Затихнув после покушения 1 марта 1881 г., революционное сообщество возрождается в Польше под названием «Пролетариат». «Цель сообщества — приготовление рабочих к борьбе с правительством и привилегированными классами для дезорганизации существующего государственного организма». Она вступает в соглашение с Исполкомом «Народной Воли». Затем в Петербурге образуется кружок под названием «Молодой партии Народной Воли». Его главным отличием от старой «Народной Воли» прокурор считал, что «союз молодой партии «Народной Воли», подобно «Пролетариату», решил сосредоточить свою революционную деятельность главным образом на рабочем классе, дополнив программу Исполнительного Комитета введением в деятельность народовольческого сообщества социальной пропаганды среди рабочего народа, а также фабричного и аграрного террора, т.-е. возбуждения рабочих к стачкам и насильственным действиям над нанимателями на ряду с подрывом в народе доверия к власти и убеждением его перестать верить в царя, как благодетеля».

Программу, печатавшуюся в квартире Пилсудского (составленную Ульяновым и помещенную в приложении), прокурор называет сколком с программы «Молодой партии Народной Воли», считает, что злоумышление было учинено несколькими фракциями все той же «Народной Воли», — партии, избравшей своим орудием террор и стремящейся, будучи лишь ничтожной кучкой, навязать насильно обществу чуждые ему форму, правила и законы общежития и разрушающей словом и делом общественный и государственный строй». Отказываясь критиковать социализм или руководящие программы, прокурор делает по поводу них только три замечания:

Во-первых, что флаг партии «Народной Воли» самозванный, ибо она чужда народу. Во-вторых, что средство ее — запугивание правительства — не может повести ни к каким результатам, ибо и монарх русский чужд личного страха, да и никакое уважающее себя правительство не позволит делать над собой разные опыты. В-третьих, она вредна не тем, что может поколебать веру в царя

и его обаяние в народе, вредна не политически, а общественно, ибо может довести русского человека до отчаяния, может заставить народ видеть в каждом синем воротнике, в каждом учащемся злейшего врага своего спокойствия и благополучия, может вызвать на антитеррористическую борьбу разнузданные стихийные силы народа.

Начало злоумышления — первую, проявившуюся внешним образом попытку возбудить умы молодежи — прокурор относит к 17 ноября 1886 г. Он указывает на сходку через несколько дней после манифестации, которой управляет, видимо, Шевырев; на рассылку прокламаций, в которых говорится, что «грубой силе, на которую опирается правительство, они противопоставят тоже силу, но объединенную и организованную». Это подтверждается, говорит дальше прокурор, показанием Ульянова, утверждающего, что в половине ноября было решено организовать террористическую группу, долженствующую оправдать свое появление особою программой, заключающей в себе ее политическое «credo».

«Во второй половине декабря начинает уже ходить составленная при участии Ульянова программа террористической фракции партии «Народной Воли». С конца декабря, по указанию свидетелей, число посетителей Ульянова и Новорусского сокращается». (Из этих слов видно, что Новорусскому обвинитель продолжал приписывать инициативную роль.) «В конце января Шевырев прямо уже предлагает Лукашевичу... принять участие»... (а Лукашевичу отводится роль второстепенная.)

Затем прокурор прослеживает ход событий по обвинительному акту и заканчивает первую часть своей речи указанием на то, что закон карает одинаково за всякий умысел против личности царя и за всякое ему содействие. Показывая, насколько далеки были от политической жизни представители тогдашнего общества, он говорит, что «принадлежать к партии можно двояким образом: или прямо состоять в числе ее членов, или просто оказывать ей содействие».

По этой удивительной логике нет даже необходимости разбирать большую или меньшую степень участия: «оказывал хотя самое небольшое содействие, — значит, виноват так же, как активный участник».

Подсудимых прокурор делит на две части: на тех, кто сознался в своей вине и относительно которых достаточен про-

стой перечень преступных действий; и на не сознавшихся, относительно которых будут представлены изобличающие их улики.

Он начинает с Осипанова, принадлежность которого к террористической фракции партии «Народной Воли» доказывается как его собственным сознанием, так и отобранной у него программой Исполнительного Комитета. Перечисляя действия, в которых Осипанов принимал участие, прокурор подчеркивает его сознательность, то, что и в Петербург он перевелся с целью цареубийства, и, указывая, что по возрасту он старше всех подсудимых мужчин, говорит, что его нельзя извинить ни увлечением, ни дурным примером.

Принадлежность к фракции Андреюшкина доказывается также его собственным сознанием, письмом к Сердюковой о поступлении в партию «Народной Воли», словами из записной книжки, что «всякая жертва полезна, ибо вредит не делу, а личности, личность же ничтожна в сравнении с торжеством великого дела». Отмечая, в чем состояли преступные действия Андреюшкина, Неклюдов указывает на его сознательность, на то, что он решился на дело «после продолжительного размышления», а также на его настойчивость в преследовании злоумышления, ибо он написал в письме к Сердюковой: «если не удастся до 3 марта, то или отложим, или поедем за ним».

Приблизительно то же говорится и о Генералове, принадлежность которого к террористической фракции доказывается предложением себя, по его собственному сознанию, в распоряжение партии на какой угодно террористический факт. Сознательность его видна из того, что, по его словам, он целых три дня обдумывал, принять ли на себя роль метальщика.

Переходя к сигнальщикам, прокурор Неклюдов говорит, что хотя принадлежность их к террористической фракции всеми троими отрицается, но она явствует из того, что все они, по их собственному признанию, знали, для чего предназначаются исполняемые ими поручения. Особенно долго останавливается прокурор на Канчере, говоря, что деятельность его, по количеству содеянного, превышает даже деятельность некоторых главных виновников, напр., Осипанова, что он явился подстрекателем относительно Горкуна и Волохова.

«Правда», — продолжает прокурор, — «Канчер приводит в свое оправдание, что действовал под угрозой Шевырева, грозившего поступить с ним так же, как с Рудевичем, т.-е. выслать его за

границу. Но, не говоря уже о том, что подобная угроза не могла вызвать решимости на столь тяжкое злодеяние, если бы в самом Канчере не было готового для него материала, не могу не заметить, что во всем, что касается до Рудевича, я даю полную веру показаниям Ульянова, сознание которого если и грешит, то разве только в том отношении, что он принимает на себя даже то, чего он не делал в действительности».

Обращаясь к Ульянову, прокурор говорит, что принадлежность его к террористической фракции доказывается как его полным в этом отношении сознанием, так и тем, что он производил 28 февраля и 1 марта набор программы фракции, долженствовавшей, по его же словам, служить оправданием образованию самой террористической фракции.

Перечисляя те действия, в которых выразилась деятельность Ульянова, — к ним присоединяется и содействие побегу Говорухина за границу, — обвинитель признает его необходимым пособником выполнения задуманного злоумышления и одним из зачинщиков. Он указывает, что Ульянов был как на первой сходке после 17 ноября с гектографированными им воззваниями, так и на последней, 25 февраля, что он принимал участие в обсуждении самого плана злодеяния.

«Если припомнить, что в это время не было уже в Петербурге ни Шевырева, ни Говорухина, то невольно приходишь к заключению, что Ульянов заменял собою на сходке обоих этих подсудимых,—зачинщиков-руководителей. И действительно, мы видим, что на этом сборище Ульянов объяснял Осипанову устройство метательного снаряда-книги и читал ему программу террористической фракции партии «Народная Воля»... «Под ближайшим руководством Ульянова Андреюшкин и Генералов выделывали азотную кислоту»... В руках Ульянова находилась и часть кассы злоумышленников, получавших деньги на расходы или от Ульянова, или от Шевырева. Наконец, Ульянов принимал деятельное участие в составлении программы террористической фракции и признал сам, что его террористическая пропаганда ускорила решимость других на злоумышление,[1] и что он вложил в него все свои силы и всю свою душу».

Принадлежность к террористической фракции Лукашевича прокурор обосновывает тем, что, отказавшись быть метальщиком,

[1] В показании от 4 марта Ульянов сказал: «может быть ускорила».

он, по его словам, обещал всякое иное содействие и помощь в задуманном деле; что указал квартиру Пилсудского для печатания программы; что содействовал поездке Канчера в Вильно; получал деньги, зная, что они предназначаются на покушение; набивал вместе с Ульяновым трубки динамитом и содействовал бегству Говорухина.

«О роли Лукашевича», — заканчивает обвинитель — «я должен сказать, что роль его есть роль пособника, хотя и значительно менее деятельного, чем подсудимый Ульянов, но, тем не менее, все-таки пособника необходимого».

Переходя к Шевыреву, прокурор говорит, что хотя он не только отвергает свою принадлежность к фракции, но и заявляет себя врагом террора, принадлежность его доказывается самым фактом участия его на сходке после 17 ноября, тем, что был руководителем этой сходки и принес на нее террористическое воззвание. Прокурор говорит, что первоначально Шевырев отвергал всякое участие свое в злоумышлении, заявляя, что все показания против него Канчера и других — явная ложь. «Но по прочтении обвинительного акта, когда он увидел, что почти все подсудимые указывают на него пальцем, он прибегнул к новому извороту: от полного отрицания прибег к полному признанию всех фактов, но придал им такую окраску, которая направлена к тому, чтобы доказать, что в действиях его не было не только злой воли, но что он чуть ли не думал предотвратить ими и самое злоумышление. Эта система защиты напоминает весьма близко способ самозащиты Канчера и Горкуна — «рабочих» и учеников Шевырева. И, действительно, Канчер, например, утверждает, что принимал и исполнял террористические поручения Шевырева потому, что думал, что ничего из этого не выйдет: поговорят и бросят. Буквально то же самое говорит и Шевырев: он говорит, что знал Говорухина за человека легкомысленного и скептически думал, что ничего не выйдет. «Иными словами, скептицизма ради, Шевырев дает Говорухину денежные средства на устройство квартиры для хранения взрывчатых веществ; скептицизма ради посылает Канчера в Вильно и направляет затем привезенный материал к Новорусскому; из скептицизма приискивает метальщиков и разведчиков. А когда все было готово, он, зная легкомысленность Говорухина, скептически посылает участников на Невский, а сам уезжает из Петербурга... По моему крайнему убеждению,—заканчивает Неклюдов,—Шевы-

рев не только зачинщик, но он — душа и руководитель этого преступления. Я не хочу этим сказать, что Шевырев — единственный и высший представитель злоумышления. Нет сомнения, что за ним и вместе с ним были и другие зачинщики-руководители.[1] Я хочу лишь высказать то мое глубокое убеждение, что из числа сидящих на скамье обвиняемых Шевырев есть именно то лицо, на которое должна пасть ответственность, как на зачинщика-руководителя».

«Деятельность Шевырева проходит красною ниткою через все злоумышление»... «Он предложил Лукашевичу быть метальщиком». Правда, Лукашевич приписывает это Говорухину, но если принять во внимание, что Лукашевич показал на дознании, что означенное предложение было сделано ему одним из предъявленных ему обвиняемых, в числе которых был Шевырев, но, конечно, не было Говорухина, как уже скрывшегося за границу, то будет ясно, что предложение исходило от Шевырева.

«...Шевырев считал злоумышление своим делом, вел его от начала до конца и, когда нашел выполнение его достаточно обеспеченным, уехал в Крым, все равно для лечения или по другим соображениям. Ему большинство из подсудимых обязано тем, что сидит на скамье обвиняемых. Тяжелый грех принял он на свою душу, — он и должен понести за него главную ответственность».

---

[1] У властей было в то время глубокое убеждение, что за студентами, посаженными на скамью подсудимых, были более серьезные инициаторы, члены страшной партии «Народной Воли». Между прочим, министр внутренних дел Д. Толстой, сообщая директору д-та полиции Дурново о том, что царем разрешено Ульяновой свидание с сыном, писал конспиративно:

— Нельзя ли воспользоваться разрешенным Государем Ульяновой свиданием с сыном, чтобы она уговорила его дать откровенное показание, в особенности о том, к т о, к р о м е с т у д е н т о в, устроил все это дело. Мне кажется, это могло бы удаться, еслиб подействовать поискуснее на мать.

30 марта 1887 г.

(Записка без подписи, но по почерку видно, что принадлежит Толстому).

На письме надпись рукой Дурново: «Вызвать ко мне г-жу Ульянову завтра к 12 час.

30/III».

Вот, следовательно, каким махинациям обязана мать, подавшая первое прошение о свидании с сыном еще 14/III, разрешению свидания с ним.

А. Е.

Затем Неклюдов доказывает, что Новорусский и Ананьина действовали сознательно, оспаривая заявления на суде Ульянова, направленные к защите Ананьиной.

Речи защитников, в большинстве по назначению, чрезвычайно бледны и трусливы. Иначе и не могло, конечно, быть при самодержавном строе, пред судом сословных представителей, со стороны лиц, являвшихся плотью от плоти этого общества. Каждый из них, конечно, вкладывал свою речь в такие рамки, чтобы она не могла скомпрометировать его; каждый знал, что, в сущности, приговор уже предрешен и что он выполняет до большой степени формальность.

Присяжный поверенный Турчанинов, защищавший Осипанова, указал только два момента: во-первых, что если прокурор назвал террор слепым, подсудимый действовал как бы в ослеплении, принося в жертву и свою жизнь; во-вторых, что снаряд в его руках не взорвался, и это может служить смягчающим обстоятельством. Осипанов в своем последнем слове заявил, что не признает за собой никакого права на снисхождение и отказывается от него. Он хотел коснуться принципиальной стороны, «по крайней мере, в тех пределах, в каких касался ее Ульянов», но председатель указал ему, что Ульянов говорил об этом в защитительной речи, а у него был свой защитник.

Защитник Шевырева упирал главным образом на его болезненность; защитник Канчера и Горкуна—на их бесхарактерность, подчиненность старшим, на то, что они принадлежат к людям, которые играют роль политических фигляров, на их чистосердечное раскаяние.

Выгодно выделяется из других речь защитника Ананьиной, Соколова, как отсутствием заискивающих выражений, так и обстоятельностью, с которой разбирается все, что может быть приведено в ее оправдание.

Подсудимые Генералов, Андреюшкин, Ульянов и Новорусский не имели защитников и защищали себя сами. Из них только речь Новорусского была, собственно, защитительной, т.-е. разбиравшей улики прокурора, приводившей возражения на них. Речи трех остальных были принципиальными, и мы приводим их целиком.

Генералов. — Выслушав обвинительную речь и находя фактическую сторону дела совершенно верною, я желаю обратить внимание суда на мой взгляд на террор. Каким его представил

г. прокурор? В обвинительной речи он воспользовался цитатой из обвинительного акта и только первою частью того, что я говорил на следствии о моем взгляде на террор. Я сказал, что предоставил себя в распоряжение партии «Народной Воли» на всякий террористический факт, но г. прокурор упустил вторую часть предложения, где говорится о том, что я считал в этих целях полезным. Но и в обвинительном акте не совсем верно выражено то, что я объяснил, и что я старался подробно выяснить в моих показаниях при дознании. Там я говорил, что террор считаю только необходимым, в виду существующей у нас реакции, для достижения ближайшей цели партии,—свободы слова, сходок и некоторого участия общественных сил в управлении. Свободы сходок и слова для того, чтобы иметь возможность мирно проводить идеи, конечно, при этом получая возражения и критику противной стороны. Мирно проводить идеи в народ и в среду тех, которые пожелают нас слушать. Иметь некоторое участие общественных сил в управлении, дабы иметь администрацию, которая бы, при свободе слова, могла сочувствовать нашим идеям и исполнять их. Затем в свое оправдание я могу только привести то, что всегда, как и в данном случае, я поступал вполне так, как был убежден и согласно со своей совестью.

Андреюшкин.—В обвинительном акте приведена выписка из моей памятной книжки. Г. прокурор воспользовался этой выпиской, но не всею, а только первою частью, хотя и в обвинительном акте она взята сама по себе, отдельно, без связи с тем, что потом было сказано. Я имею сделать несколько объяснений по поводу этой выписки. На основании этой выписки можно подумать, что социал-демократы и члены партии «Народной Воли» находятся между собой в разладе, но этого вовсе нет. Если я и выразился об антагонизме к социал-демократам, то относил этот антагонизм не к существующему направлению, а только к нескольким известным лицам. В свое оправдание я ничего не могу сказать, потому что факты ясно говорят сами за себя. В качестве члена партии «Народной Воли», делу которой я служил, я должен сказать, что я заранее отказываюсь от всяких просьб о снисхождении, потому что такую просьбу считаю позором тому знамени, которому я служил.

Ульянов.—Относительно своей защиты я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне правильно и не отрицается мною.

Поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, т.-е. рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это преступление. Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно. Каждая страна развивается стихийно по определенным законам, проходит через строго определенные фазы и неизбежно должна притти к общественной организации. Это есть неизбежный результат существующего строя и тех противоречий, которые в нем заключаются. Но если развитие народной жизни совершается стихийно, то, следовательно, отдельные личности ничего не могут изменить в ней, и только умственными силами они могут служить идеалу, внося свет в сознание того общества, которому суждено иметь влияние на изменение общественной жизни. Есть только один правильный путь развития — это путь слова и печати, научной печатной пропаганды, потому что всякое изменение общественного строя является как результат изменения сознания в обществе. Это положение вполне ясно формулировано в программе террористической фракции партии «Народной Воли», как раз совершенно обратно тому, что говорил г. обвинитель. Объясняя перед судом тот ход мыслей, которыми приводятся люди к необходимости действовать террором, он говорит, что умозаключение это следующее: всякий имеет право высказывать свои убеждения, следовательно, и имеет право добиваться осуществления их насильственно. Между этими двумя посылками нет никакой связи и силлогизм этот так нелогичен, что едва ли можно на нем основываться. Из того, что я имею право высказывать свои убеждения, следует только то, что я имею право доказывать правильность их, т.-е. сделать истинами для других то, что истина для меня. Если эти истины воплотятся в них через силу, то это будет тогда, когда на стороне ее будет стоять большинство, и в таком случае это не будет навязывание, а будет тот

обычный процесс, которым идеи обращаются в право. Отдельные личности не только не могут насильственным образом добиваться изменения в общественном и политическом строе государства, но даже такое естественное право, как право свободы слова и мысли, может быть приобретено только тогда, когда существует известная определенная группа, в лице которой может вестись эта борьба. В таком случае это опять-таки не будет навязывание обществу, а будет приобретено по праву, потому что всякая общественная группа имеет право на удовлетворение потребностей постольку, поскольку это не противоречит праву. Таким образом, я убедился, что единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но по мере того, как теоретические размышления приводили меня все к этому выводу, жизнь показывала самым наглядным образом, что при существующих условиях таким путем идти невозможно. При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна. Правительство настолько могущественно, а интеллигенция настолько слаба и сгруппирована только в некоторых центрах, что правительство может отнять у нее единственную возможность, последний остаток свободного слова. Те попытки, которые я видел вокруг себя, идти по этому пути еще более убедили меня в том, что жертвы совершенно не окупят достигнутого результата. Убедившись в необходимости свободы мысли и слова с субъективной точки зрения, нужно было обсудить объективную возможность, т.-е. рассмотреть, существуют ли в русском обществе такие элементы, на которые могла бы опереться борьба. Русское общество отличается от Западной Европы двумя существенными чертами. Оно уступает в интеллектуальном отношении, и у нас нет сильно сплоченных классов, которые могли бы сдерживать правительство, но есть слабая интеллигенция, весьма слабо проникнутая массовыми интересами; у нее нет определенных экономических требований, кроме требований, защитницей которых она является. Но ее ближайшее политическое требование — это есть требование свободы мысли, свободы слова. Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, которые ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность...

Председатель. — Потрудитесь объяснять, насколько это действовало на вас и касалось вас, а общих теорий нам не излагайте, потому что они более или менее нам уже известны.

Подсудимый Ульянов. — Я не личные мотивы говорю, а основания общественного положения. На меня все это не действовало лично, так что с этой точки зрения я не могу приводить субъективных мотивов.

Председатель. — А если не можете приводить субъективных мотивов, тогда нечего и возражать против обвинительной речи.

Подсудимый Ульянов. — Я имел целью возразить против той части речи г. прокурора, где он, объясняя происхождение террора, говорил, что это отдельная кучка лиц, которая хочет навязать что-то обществу; я же хочу доказать, что это не отдельные кружки, а вполне естественная группа, созданная историей, которая предъявляет требования на свои естественные и насущные права...

Председатель. — Под влиянием этих мыслей вы и приняли участие в злоумышлении?

Подсудимый Ульянов. — Я хотел бы это пояснить...

Председатель. — Будьте по возможности кратки в этом случае.

Подсудимый Ульянов. — Хорошо. Я говорю, что эта потребность делиться мыслями с лицами, которые ниже по развитию, настолько насущна, что он[1] не может отказаться. Поэтому борьба, существенным требованием которой является свободное обсуждение общественных идеалов, т.-е. предоставление обществу права свободно обсуждать свою судьбу коллективно, — такая борьба не может быть ведена отдельными лицами, а всегда будет борьбой правительства со всею интеллигенцией. Если обратиться к другим отдельным классам, или, иначе, подразделениям общества, то во всяком случае мы не можем найти той группы, которая могла бы противостать этим требованиям. Напротив того, везде, где есть сколько-нибудь сознательная жизнь, эти требования находят сочувствие. Поэтому правительство, игнорируя эти требования, не поддерживает интересов какого-либо другого класса, а совершенно произвольно отклоняется от той потребности, которой оно должно следовать для сохранения

[1] Очевидно, — интеллигентный человек. *А. Е.*

устойчивого равновесия общественной жизни. Нарушение же равновесия влечет разлад и столкновение. Вопрос может быть только в том, какую форму примет это столкновение, и этот вопрос разрешается.[1] Наша интеллигенция настолько слаба физически и неорганизована, что в настоящее время не может вступать в открытую борьбу, и только в террористической форме может защищать свое право на мысль и на интеллектуальное участие в общественной жизни. Террор есть та форма борьбы, которая создана XIX столетием, есть та единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное только духовной силой и сознанием своей правоты против сознания физической силы большинства. Русское общество как раз в таких условиях, что только в таких поединках с правительством оно может защищать свои права. Я много думал над тем возражением, что русское общество не проявляет, повидимому, сочувствия к террору и отчасти даже враждебно относится. Но это есть недоразумение, потому что форма борьбы смешивается с ее содержанием. Общество может относиться несочувственно, но пока требование борьбы будет оставаться требованием всего русского образованного общества, его насущною потребностию, до тех пор эта борьба будет борьбою всей интеллигенции с правительством. Конечно, террор не есть организованное орудие борьбы интеллигенции. Это есть лишь стихийная форма, происходящая от того, что недовольство в отдельных личностях доходит до крайнего проявления. С этой точки зрения, это есть выражение народной борьбы, пока потребность не получила нравственного удовлетворения. Таким образом, эта борьба не только возможна, но она и не будет чем-нибудь новым, приносимым обществу извне; она будет выражать собою только тот разлад, который дает сама жизнь, реализируя ее в террористический факт. Те средства, которыми правительство борется, действуют не против него, а за него.[2] Сражаясь не с причиной, а с последствиями, правительство не только упускает из вида причину этого явления, но даже усиливает... Правда, реакция действует угнетающим образом на большинство, но меньшинству интеллигенции, отнимая у него последнюю возмож-

---

[1] Вероятно, фраза не окончена: «в данное время форму террора». *А. Е.*

[2] Очевидно, не против террора, а за него. *А. Е.*

ность правильной деятельности, правительство указывает на тот единственный путь, который остается революционерам, и действует при этом не только на ум, но и на чувство. Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь. Поэтому реакция ложится на самое общество. Но ни озлобление правительства, ни недовольство общества не могут возрастать беспредельно. Если мне удалось доказать, что террор есть естественный продукт существующего строя, то он будет продолжаться, а следовательно, правительство будет вынуждено отнестись к нему более спокойно и более внимательно. Тогда оно поймет легко...

Председатель. — Вы говорите о том, что было, а не о том, что будет.

Подсудимый Ульянов. — Я не могу приступить к этому. Чтобы мое убеждение о необходимости террора было видно более полно, я должен сказать, может ли это привести к чему-нибудь или нет. Так, что это составляет такую необходимую часть моих объяснений, что я прошу сказать несколько слов...

Председатель. — Нет, этого достаточно, так как вы уже сказали о том, что привело вас к настоящему злоумышлению. Значит, под влиянием этих мыслей вы признали возможным принять в нем участие?

Подсудимый Ульянов. — Да, под влиянием их. Я убедился, что террор может достигнуть цели, так как это не есть дело только личности. Все это я говорил не с целью оправдать свой поступок с нравственной точки зрения и доказать политическую его целесообразность. Я хотел доказать, что это неизбежный результат существующих условий, существующих противоречий в жизни. Известно, что у нас дается возможность развивать умственные силы, но не дается возможности употреблять их на служение родине. Такое объективно-научное рассмотрение причин, как оно ни кажется странным г. прокурору, будет гораздо полезнее, даже при отрицательном отношении к террору, чем одно только негодование. Вот все, что я хотел сказать.[1]

---

[1] В донесении д-ра департамента полиции министру внутр. дел от 18 апреля сказано: «Ульянов, который сам защищал себя, был дважды остановлен председателем за теоретические рассуждения о пользе террора».

От последнего слова отказались все подсудимые, кроме Шевырева, Лукашевича, Новорусского, Канчера, Пилсудского и Пашковского.[1] Председатель объявляет прения прекращенными и читает предполагаемые к постановке вопросы. На запрос его, нет ли каких-нибудь возражений, адвокат Турчанинов заявляет, что первый вопрос: «Виновен ли подсудимый, сын купца Петр Яковлев Шевырев, 23 лет, в том, что вступил в тайное сообщество, члены которого, с целью ниспровержения существующего в империи государственного и общественного строя, проявили в предшествовавшие настоящему времени годы свою преступную деятельность в словесной и печатной в народных массах пропаганде, в вооруженном сопротивлении властям, в убийствах и покушениях на убийства должностных лиц и в ряде посягательств на жизнь в бозе почившего императора Александра II, а в настоящее время продолжают свою преступную деятельность в том же преступном направлении и такими же преступными средствами? — не соответствует заключительному пункту обвинительного акта, в котором такого точного определения и ссылки на прежние существовавшие преступные сообщества, на цели их и задачи, сделано не было. Поэтому первый вопрос подлежит исключению».

К этому мнению присоединяются защитники Принтц, Леонтьев 1-й, Герке, Соколов 1-й и Михайлов.

Председатель после совещания с судьями заявляет, что решено оставить замечания защиты без уважения.

Следующие вопросы говорят: виновен ли в том же преступлении Ульянов, затем Осипанов и т. д. относительно всех. Потом, в частности, виновен ли Осипанов в намерении бросить бомбу, затем Генералов и др. Виновен ли Ульянов в изготовлении взрывчатых веществ? Шевырев в том, что был зачинщиком и руководителем злоумышления? И т. д. Всех вопросов было 29.

На заседании следующего дня, 19 апреля, председатель провозгласил вопросы и ответы на них. На все вопросы, относительно всех подсудимых, последовал один ответ: «Да, виновен».

---

[1] В вышеупомянутом донесении д-ра департамента полиции говорится: «В последнем слове подсудимые Канчер, Горкун, Волохов, Пилсудский и Лукашевич просили о снисхождении; прочие же подсудимые ограничились заявлением, что ничего сказать не имеют».

На основании этого ответа прокурор требует для всех подсудимых смертной казни.

Суд удаляется для постановления приговора и в 4 часа выносит его.

Приговор гласит: смертная казнь для всех подсудимых, но постановляет ходатайствовать о смягчении: замене ее каторгой на разные сроки для Канчера, Горкуна, Волохова, Ананьиной, Пилсудского, Пашковского, ссылкой на поселение для Шмидовой и тюремным заключением на два года для Сердюковой. Александр III удовлетворяет это ходатайство.

После приговора 11 осужденных подали всеподданнейшее ходатайство о помиловании,[1] при чем лишь ходатайства Лукашевича, Канчера, Горкуна и Волохова признаны были особым присутствием заслуживающими внимания царя.

Не подавшими прошения из числа обвиняемых было четверо: Ульянов, Генералов, Осипанов и Андреюшкин. Об этом, кроме правительственного сообщения, гласит «служебная записка» какого-то чиновника департамента полиции от 23 апреля 1887 г. (66а): «просьбы подали все, кроме Ульянова, Генералова, Осипанова и Андреюшкина» (Дополнит. производства, т. II). 23 апреля было днем окончательного объявления приговора. Срок кассации был объявлен до субботы, 25 апреля.

В результате всеподданнических прошений Александр III заменяет смертную казнь вечной каторгой для Лукашевича и Новорусского.

Но среди прошений осужденных по этому процессу в сенатских делах имеется и прошение А. И. Ульянова или, вернее, письменное обращение к царю, так как форма его совершенно необычна для прошений такого рода. В нем нет раскаяния, униженной просьбы, обещаний, ничего верноподданнического — даже в подписи, никакой лжи.

---

[1] См. правительственное сообщение из газеты «Правительственный Вестник», № 98, от 9/24 мая 1887 г., в приложении. Среди них и Шевырев (см. донесение деп-та полиции министру внутр. дел в приложении). Канчер и Горкун были сосланы на Сахалин на 10 лет каждый. По пути в этапе и на месте ссылки они встретили со стороны товарищей определенно отрицательное отношение к себе за факт выдачи. В результате Канчер покончил с собой самоубийством. Горкун умер. М. А. Ананьина вышла замуж за Л. Г. Дейча, умерла на каторге. Р. А. Шмидова, по мужу Клюге, была сослана в Восточную Сибирь, жила последнее время в Красноярске. *А. Е.*

Обращаясь к Александру III, он писал:

«Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить ваше величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием.

«Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи».

Александр Ульянов.

Как из текста, так и из подписи,— просто именем и фамилией, — видно, что документ этот менее всего может быть назван обычным прошением. Так расценивали его, очевидно, и царские слуги, которые не доложили его даже Александру III, как было сказано в департаменте полиции родственнику Песковскому. Во всяком случае на нем или по поводу него не было положено никакой резолюции, и оно не упомянуто в правительственном сообщении на другой день после казни,[1] где говорится о прошениях о помиловании со стороны 11 осужденных из 15-ти.

Чем, однако, объяснить такое обращение?

Как мы видели из материала следствия и судопроизводства линия Александра Ильича со дня ареста была одна — неуклонно прямая. Он не только признавал полностью свое участие, но стремился всячески выгородить других, взять на себя какую только было возможно часть вины другого. Так он брал на себя часть вины Шевырева, заявив, что все деньги на расходы по покушению выдавал он, Ульянов, а если Шевырев давал их когда-либо, то по его поручению. Он выгораживал всячески Новорусского, Ананьину, Шмидову.

[1] См. приложение.

То же видим мы из воспоминаний Лукашевича, из его переданных мне еще из Шлиссельбурга слов, что Александр Ильич взял на себя большую часть вины одного товарища и тем спас ему жизнь. Это же впечатление сохранила Мария Ананьина, передававшая позднее своей дочери, Лидии, что стремление Александра Ильича взять все на себя одного ощущалось даже тягостно другими. Такую же характеристику всех выступлений его на суде давал мне в личных беседах М. В. Новорусский. Даже прокурор отметил, что Ульянов «берет на себя и то, чего не делал».

Та «бесповоротная решимость умереть», которую прочел в его глазах Лукашевич, была принята им, как видно из его показаний с начала дознания,— во всяком случае с момента выдачи всех Канчером.

Его «защитительная» речь была не защитой, а выяснением принципиальной позиции. Мы видели из воспоминания Никонова, что он был озабочен принципиальной постановкой еще в начале подготовления к покушению, когда убеждал этого последнего взять на себя выступление на суде от имени террористической фракции в случае ареста после покушения,— считая, очевидно, по свойственной ему скромности, себя не на достаточной высоте для этого. Убедившись, очевидно, по составу привлеченных к процессу и выяснившемуся на следствии, что он должен взять это выступление на себя, он отказался от защитника и произнес свою речь, чтобы обосновать принципиально и предать по возможности гласности и этот негласный процесс. [1]

Александр Ильич и начал свою речь словами, что «относительно своей защиты он находится в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона дела установлена вполне правильно и не отрицается мною». Раньше, в показании от 21 марта, он говорил:

«Нравственное и интеллектуальное мое участие было полное, т.-е. все то, которое дозволяли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений».

Нельзя было более открыто и логически, неумолимо последовательно признать как самый факт своего участия, так и свое отношение к этому факту.

---

[1] «Свободная Россия», в № от февраля 1889 г., говорит: «Речь Ульянова произвела очень сильное впечатление; ее сравнивают с речью Желябова»

Наконец, и матери, горячо любимой матери, вину перед которой он так глубоко чувствовал, что, по ее словам, обнимая ее колени, умолял ее простить ему причиняемое ей горе, он указывал, что у него есть обязанности не только перед семьей, а и перед родиной, что на основании их он поступал тем способом, который довел его до скамьи подсудимых, и что теперь, признав все, что он признал на суде, он не может подать прошение о помиловании по ее просьбе, ибо это будет неискренно. И потом, как он говорил дальше — «казнь может быть заменена только Шлиссельбургом на всю жизнь. Ведь там и книги дают только духовные. Ведь эдак до полного идиотизма дойдешь. Неужели ты этого желала бы для меня, мама?»

Все идет логически и последовательно вплоть до полной спокойствия смерти на эшафоте.

Александр Ильич, очевидно, чуть ли не с самого начала процесса не видел для себя иного исхода, кроме смерти. Да и, кроме того, что он не видел другого исхода, он, как видно из вышеприведенных его слов матери, не видел и облегчения для себя в единственно возможной замене смертной казни Шлиссельбургом.

Чем же было вызвано это обращение к царю? (На нем нет даты, но ею следует считать 24 апреля, потому что 23 было днем окончательного объявления приговора, а срок кассации истекал 25 в 12 часов дня).

Оно возникло при следующих обстоятельствах. Муж двоюродной сестры, Матвей Леонтьевич Песковский, видя отчаяние моей матери и боясь за ее силы и рассудок, решил, во что бы то ни стало, побудить брата подать прошение о помиловании. Добившись разрешения на свидание с братом, он не пустил в этот день на свидание мать, заявив ей, что этим она ему все дело испортит, и отправился один.

Мать просила его все же не говорить брату чего-нибудь очень сильного, не расстраивать его, на что Песковский с досадой сказал: «Что же вы не хотите, чтобы ваш сын был спасен?».

Он сообщил брату, как рассказал мне потом, о болезни матери, вследствие которой она не могла притти и на свидание, о том, что она так потрясена, что он боится либо за ее жизнь, либо за рассудок. Он сказал, что долг брата, как старшего, подумать, в каком положении останутся при этом новом несчастьи лишь за год назад потерявшие отца четверо меньших братьев

и сестер; что долг его, как виновника всех вновь обрушившихся на его семью несчастий, сделать все от него зависящее,— даже с точки зрения личной и тягостное,— чтобы отвратить от семьи хотя бы это худшее несчастье.

Песковский был литератором с бойким пером, умевшим, где нужно, прикрашивать (помню некоторые его рассказы). Можно себе представить поэтому, что он не пожалел красок для того, чтобы изобразить состояние матери, мотивировать свое убеждение, что казни она не перенесет.

Александр Ильич, как неоднократно отмечается в этом сборнике, был человеком, с исключительной строгостью и честностью относящимся к своему слову, бравшим на себя полную ответственность за каждое из них. В бо́льшей или меньшей степени все мы, особенно смолоду, когда жизнь не научила еще нас взвешивать недоверчивее каждое слово другого, склонны принимать их так, как мы считаем естественным, чтобы были приняты наши слова.

И это особенно в решительные минуты жизни.

Представляя брату, что это новое несчастье нависло над его семьей почти неотвратимо, усиленно налегая на самую слабую его струну — на то, что он должен сделать нечто,— хотя бы и очень трудное для себя,— для других, Песковский убедил его подать прошение.

Но и при решимости сделать все зависящее от него для того, чтобы спасти мать, облегчить участь меньших, при его обостренном чувстве виновности перед семьей (см. его письмо к сестре двумя днями спустя), Александр Ильич мог говорить только языком вполне честного, ни от чего не отрекающегося, сознающего свое достоинство человека. А это был не тот язык, который требовался раболепствующим клевретам самодержавия. Понятно, это прошение в кавычках не удовлетворило никого.

«Ничего не вышло, потому что он написал совсем не так, как я говорил ему», — передавал потом Песковский мне. — «Никакого раскаяния и подпись даже не «верноподда́нный», а просто «Александр Ульянов». Александру III пишет Александр Ульянов! «Конечно, на это прошение и внимания не обратили, и оно не было даже показано царю».

И тут же, вспоминая проявленную братом железную волю и преданность идее, Песковский прибавил: «Но надо сказать, что умер он как герой».

Да, несомненно,— умер он, как герой, которому желавшим спасти его человеком обывательского склада была причинена еще последняя, может быть, горшая из всех нравственная пытка. Его заставили поднять еще одно бремя на свои плечи, убедив, что он должен сделать это для других. И он поднял и его. Ему было предоставлено решить, что он предпочитает: ни слова о снисхождении и спасение своей гордости, или эти, чуждые его духу, тягостные для него слова, но могущие спасти его мать для меньших братьев. И он избрал последнее. Это было новой черточкой, дорисовавшей его нравственный облик.

5 мая семеро осужденных — Шевырев, Ульянов, Генералов, Осипанов, Андреюшкин, Лукашевич и Новорусский — были отвезены из Петропавловской крепости в Шлиссельбург. Первые пятеро были в кандалах (Новорусский подробно описывает это последнее путешествие; см. статью его в этом сборнике). Он и Лукашевич были заточены в крепости на вечную каторгу, а три метальщика, Шевырев и Ульянов были казнены 8 мая, на рассвете, во дворе крепости.

Заканчиваем донесением министра внутренних дел царю о совершении казни.[1]

«Сегодня в Шлиссельбургской тюрьме, согласно приговору Особого Присутствия Правительствующего Сената, 15/19 минувшего Апреля состоявшемуся, подвергнуты смертной казни государственные преступники: Шевырев, Ульянов, Осипанов, Андреюшкин и Генералов.

По сведениям, сообщенным приводившим приговор Сената в исполнение, Товарищем Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда Щегловитовым, осужденные, в виду перевода их в Шлиссельбургскую тюрьму, предполагали, что им даровано помилование. Тем не менее, при объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в $3^1/_2$ часа утра о предстоящем приведении приговора в исполнение, все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди и принятия Св. Таин.

В виду того, что местность Шлиссельбургской тюрьмы не представляла возможности казнить всех пятерых одновременно, эшафот был устроен на три человека, и первоначально выведены для совершения казни Генералов, Андреюшкин и Осипанов, которые, выслушав приговор, простились друг с другом, при-

[1] АОР., перемен. фонд. 2911, л. 286—287.

ложились ко кресту и бодро вошли на эшафот, после чего Генералов и Андреюшкин громким голосом произнесли: «да здравствует Народная Воля!» То же самое намеревался сделать и Осипанов, но не успел, так как на него был накинут мешок. По снятии трупов вышеозначенных казненных преступников, были выведены Шевырев и Ульянов, которые так же бодро и спокойно вошли на эшафот, при чем Ульянов приложился к кресту, а Шевырев оттолкнул руку священника.

Об изложенном всеподданнейшим долгом поставляю себе доложить Вашему Императорскому Величеству».

Граф Дмитрий Толстой.

8 мая 1887 г.



Вход в Шлиссельбургскую крепость, так называемые «Государевы ворота».

III

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОКЛАМАЦИЯ, НАПИСАННАЯ И ГЕКТОГРАФИРОВАННАЯ АЛЕКСАНДРОМ ИЛЬИЧЕМ УЛЬЯНОВЫМ ПО ПОВОДУ РАЗГОНА ДОБРОЛЮБОВСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ.[1]

17 ноября в Петербурге.[2]

17 ноября 86 г. исполнилась 25-летняя годовщина смерти Добролюбова. Русскому обществу понятно значение Добролюбова. Темное царство, с которым он боролся, не потеряло своей силы и живучести до настоящего времени. Деятельность Добролюбова была чисто культурная; он указывал обществу на мрак, невежество и деспотизм, которые царили, да и теперь царят в русской жизни. Он не только заставил русский народ обратить внимание на свои язвы; в то же время он указал и средства, которыми они могут быть излечены. Как ни была неприглядна окружавшая Добролюбова действительность, как ни мало было в ней отрадного, он не потерял веры в русский народ, в его будущность. Только невежество порождало темное царство, оно составляло его силу, давало ему возможность подчинить своему гнету лучшие элементы русского народа. И это темное царство гнетет нас и теперь, но мы уже не сомневаемся, что дни его сочтены: распространение просвещения должно быть той путеводной звездой, которая выведет народ на его истинную дорогу. Чтобы почтить память Добролюбова, петербургская молодежь, к которой присоединились несколько литераторов и профессоров, решили отслужить 17 ноября панихиду по Добролюбове на Волковом кладбище. Ничего преступного или противозаконного мы не затевали. Мы хотели только воспользоваться своим правом — служить панихиду по тем лицам, которых мы признавали своими учителями, которые завещали нам бороться с неправдой и со злом русской жизни. Нас собралось тысячи полторы. Было принесено много венков для возложения их на могилу Добролюбова. Чтобы не давать полиции предлога запретить панихиду, было решено не говорить речей, не придавать панихиде характера противо-

---

[1] Она была разослана в конвертах более известным и авторитетным лицам из общества. *Е. А.*

[2] Дознание о замысле на жизнь священной особы Государя Императора, обнаруженном 1 марта 1887 года.

*

правительственной демонстрации. Но правительство усмотрело в панихиде что-то опасное для себя; ворота на кладбище были заперты и целый взвод городовых был приставлен для их охраны. На все наши аргументы о незаконности такого поступка представители полиции ограничивались ссылкой на полученные от градоначальника предписания, запрещавшие служение в этот день панихиды. Мы послали депутатов к г. Грессеру, обещая соблюдать во время панихиды строгий порядок и по окончании ее разойтись мирно по домам. Г. Грессер решительно не позволил. Мы вступили с полицией в переговоры, чтобы нам позволили, по крайней мере, положить венки на могилу. Полиция позволила отправить лишь депутацию с венками и открыла ворота, чтобы пропустить депутатов. Хотя мы и могли бы войти тогда на кладбище, мы не вошли, так как мы не хотели давать правительству хоть какой-нибудь предлог запретить подобные мирные манифестации на будущее время. Так как нам запретили отслужить панихиду по Добролюбове на В. кладбище, мы пропели ему перед воротами кладбища «Вечную память». Когда мы пошли обратно с кладбища, чтобы отслужить панихиду в какой-нибудь церкви, к нам подъехал г. Грессер и приказал нам разойтись. Мы не делали ничего противозаконного и потому не могли подчиниться требованиям градоначальника. Когда мы спросили Г. Грессера, можно ли нам молиться и исполнять христианские обряды без разрешения полиции, г. Грессер отвечал нам: «нельзя». Когда мы стали приближаться к Невскому пр., перед нами неожиданно выстроился взвод казаков; в то же время нас окружили казаки и с другой стороны. Нам, вовсе не желавшим никакой свалки, оставалось только покориться. Чтобы наказать нас за наше преступное желание отслужить панихиду, г. Грессер продержал нас на улице несколько часов; большинство из нас было с самого утра на В. кладбище; погода была мокрая и дождливая. Мы стояли в лужах воды, но полиция не торопилась выпускать нас; по другой стороне канавы, где нас остановили, собралась масса народа, которая выражала нам сочувствие и явно недоумевала при виде грозного войска, выставленного против безоружной толпы совершенно мирных людей. Наконец, продержавши нас достаточно долго, г. Грессер стал нас выпускать по нескольку человек. Кто не особенно торопился покидать своих товарищей, тех г. Грессер приказал задержать и переписать их фамилии и их адреса. Всего было переписано 39 человек. Какое наказание г. Грессеру заблагорассудится назначить переписанным, покамест неизвестно.[1] В этой манифестации, предпринятой с совершенно мирными целями и которая могла окончиться немирно, характерен грубый деспотизм нашего правительства, которое не стесняется соблюдением хотя бы внешней формы законности для подавления всякого открытого проявления общественных симпатий и антипатий. Запрещая панихиду, правительство не могло делать этого из опасения беспорядков: оно слишком

[1] Известно уже, что несколько из переписанных арестованы и сидят теперь в тюрьме.

сильно для этого и к тому же оно было гарантировано в этом обещанием наших депутатов. Оно не могло также найти что-либо противозаконное в служении панихиды. Очевидно, оно было против самой панихиды, против самого факта чествования Добролюбова. У нас на памяти немало других таких же фактов, где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлениям общества. Вспомним похороны Тургенева, на которых в качестве представителей правительства присутствовали казаки с нагайками и городовые. Вспомним похороны других наших писателей, наконец, запрещение носить за гробом венки.

Итак, всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и гордость нашей родины, всего этого не существует для русского правительства. Но тем-то важны и дороги такие факты, как 17 ноября, что они показывают всю оторванность правительства от общества и указывают ту почву, на которой должны сойтись все слои общества, а не только его революционные элементы. Такие манифестации поднимают дух и бодрость общества, указывая ему на его силу и солидарность, они вносят в его серую обывательскую жизнь проблески общественного самосознания и предостерегают правительство от слишком неумеренных шагов по пути реакции. А когда общество сознает необходимость выражать свою солидарность (хотя бы на самой общей почве), тогда такие манифестации не будут делом одной только учащейся молодежи и такое грубо-деспотическое подавление их сделается невозможным.

Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности.

ДОНЕСЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ III МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Д. ТОЛСТОГО ОТ 1 МАРТА 1887 г.

Въ концѣ минувшаго января мѣсяца негласнымъ путемъ была получена копія письма, отправленнаго неизвѣстнымъ лицомъ изъ Петербурга въ Харьковъ на имя студента Никитина. Между прочимъ въ письмѣ авторъ говоритъ, что преобладающее нынѣ «соціально-демократическое» направленіе его «не удовлетворяетъ», и единственно пригодное средство для борьбы есть «терроръ», «кажущееся же затишье» въ партіи — временное.

Опрошенный по сему поводу въ Харьковѣ студентъ Никитинъ, по предъявленіи ему копіи письма, заявилъ, что оно получено имъ отъ знакомаго его студента Петербургскаго Университета Андреюшкина. По полученіи этихъ свѣдѣній 27 минувшаго февраля, въ Петербургѣ за

Андреюшкинымъ (который уже ранѣе былъ замѣченъ въ сношеніяхъ съ лицами политически неблагонадежными) было учреждено неустанное наблюденіе, и вчера установлено, что Андреюшкинъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими лицами, ходилъ по Невскому проспекту, съ двѣнадцатаго до пятаго часу дня, при чемъ Андреюшкинъ и другой неизвѣстный несли подъ верхнимъ платьемъ повидимому какія-то тяжести, а третій несъ толстую книгу въ переплетѣ. Сегодня утромъ тѣ же лица (въ числѣ шести) вновь замѣчены на Невскомъ проспектѣ, при тѣхъ же условіяхъ. Въ виду имѣвшихся за послѣднее время тревожныхъ свѣдѣній, Начальникъ Петербургскаго Секретнаго Отдѣленія распорядился немедленно арестовать и обыскать этихъ лицъ. — Задержанные оказались: 1. Студентъ Петербургскаго Университета, сынъ казака Медвѣдицкой станицы, Кубанской области, Пахомъ Андреюшкинъ, 20 лѣтъ, задержанъ на углу Невскаго и Адмиралтейской площади, при обыскѣ у Андреюшкина оказался заряженный револьверъ и висѣвшій чрезъ плечо на шнуркѣ съ крючкомъ овально-цилиндрическій метательный снарядъ, 6-ти вершковъ вышины, вполнѣ снаряженный. 2. Студентъ Петербургскаго Университета сынъ казака Потемкинской станицы, области Земли Войска Донского, Василій Генераловъ, 22-хъ лѣтъ, задержанъ вблизи Казанскаго Собора, по обыску у Генералова въ рукахъ оказался такой же снарядъ, какъ у Андреюшкина. 3. Студентъ Петербургскаго Университета, Томскій мѣщанинъ Василій Осипановъ, 26-ти лѣтъ, взятъ также вблизи Казанскаго Собора: при немъ отобрана вышеупомянутая толстая книга, листы которой снаружи оказались заклеенными, а внутренность наполнена динамитомъ.

Кромѣ того, арестованы еще три человѣка, которые вчера и сегодня гуляли вмѣстѣ съ названными лицами, а именно: студенты Петербургскаго Университета, сынъ Надворнаго Совѣтника Канчеръ и дворянинъ Полтавской губерніи Гаркунъ и Лубенскій мѣщанинъ Волоховъ, прибывшій, по его словамъ, недавно въ Петербургъ для поступленія въ гимназію Гуревича. По обыску при этихъ лицахъ ничего преступнаго не оказалось. На предварительномъ допросѣ Генераловъ заявилъ, что онъ находился на Невскомъ съ метательнымъ снарядомъ съ цѣлью «бросить его подъ карету Государя Императора».

Прочіе арестованные отказываются пока отъ какихъ-либо объясненій.

Кромѣ изложеннаго, по дѣлу этому имѣлись слѣдующія указанія: нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ замѣчено, что студентъ Харьковскаго Университета Василій Бражниковъ началъ разъѣзжать по разнымъ городамъ: былъ въ Одессѣ, въ Екатеринославѣ, гдѣ видѣлся съ арестованнымъ впослѣдствіи Макаревскимъ, и, наконецъ, въ февралѣ изъ Харькова получена телеграмма, что Бражниковъ по очень важному революціонному дѣлу выѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ будто бы долженъ быть съѣздъ радикаловъ. По справкамъ оказалось, что Бражниковъ въ Петербургъ не прибывалъ, вслѣдствіе чего, имѣя въ виду, что за послѣднее время всѣ дѣятели революціонной партіи неизмѣнно останавливались проѣздомъ въ Москвѣ, затребованы были свѣдѣнія о Бражниковѣ изъ Москвы, при чемъ оказалось, что Бражниковъ, въ сопровожденіи студента Харьковскаго Университета Попова, прибылъ въ Москву 9 февраля и вмѣстѣ съ Поповымъ 14 февраля уѣхалъ, по полицейской отмѣткѣ, въ Харьковъ. Пред-

полагая, что Бражниковъ и Поповъ дали ложную отмѣтку, были наведены вновь справки по Петербургу, путемъ коихъ выяснено, что Поповъ дѣйствительно проживалъ въ Петербургѣ и видался съ какимъ-то неизвѣстнымъ человѣкомъ, дней пять тому назадъ, Поповъ былъ арестованъ на Варшавскомъ вокзалѣ. Между тѣмъ изъ Харькова получено донесеніе, что Бражниковъ третьяго дня арестованъ, а сегодня Начальникъ Харьковскаго Жандармскаго Управленія телеграфировалъ, что Бражниковъ, по его свѣдѣніямъ, пробылъ нѣсколько дней въ Петербургѣ, проживая, вѣроятно, безъ прописки. — Вчера же Начальникомъ Петербургскаго Секретнаго Отдѣленія получены агентурнымъ путемъ свѣдѣнія, что кружокъ злоумышленниковъ намѣренъ произвести, въ ближайшемъ будущемъ, террористическій фактъ, и что для этого въ распоряженіи этихъ лицъ имѣются метательные снаряды, привезенные въ Петербургъ готовыми «пріѣзжимъ» изъ Харькова. Сопоставляя свѣдѣнія эти съ харьковскими и секретнымъ пребываніемъ Бражникова въ Петербургѣ, можно предположить, что если снаряды изготовлены не въ Петербургѣ, то они привезены изъ Харькова, вѣроятно, Бражниковымъ.

Дознаніе начато подъ личнымъ наблюденіемъ Министра Юстиціи.

Сейчасъ только доставлены взятые при обыскѣ въ квартирѣ Андреюшкина разные химическіе препараты, склянки, съ жидкостями и реторты, и взятые въ квартирѣ Генералова два большихъ пакета съ массой для приготовленія динамита, что допускаетъ возможность изготовленія снарядовъ и въ Петербургѣ. — Для осмотра означенныхъ химическихъ аппаратовъ и снарядовъ приглашенъ и приступилъ къ дѣйствію Профессоръ Михайловской Артиллерійской Академіи Генералъ-Лейтенантъ Федоровъ.

Объ изложенномъ долгомъ считаю всеподданнѣйше доложить Вашему Императорскому Величеству.

Графъ *Дмитрій Толстой.*

1 марта 1887 г.

По осмотрѣ экспертомъ Генералъ-Лейтенантомъ Федоровымъ отобранныхъ у Андреюшкина и Генералова метательныхъ снарядовъ, оказалось, что снаряды 6-ти вершковъ вышины, овально-цилиндрической формы, наружная оболочка состоитъ изъ толстаго картона, оклееннаго кожей, внутри вставлена желѣзная банка, наполненная динамитомъ, съ капсюлемъ для его воспламененія, между внѣшней оболочкой и жестяной банкой пространство, въ полтора пальца ширины, заполнено свинцовыми разными пулями, пересыпанными просомъ. Всѣ пули оказались снаряженными внутри сильнымъ ядомъ — стрихниномъ, такъ что рана, причиненная этой пулей, безусловно смертельна. Самъ Генералъ Федоровъ, при разряженіи едва не сдѣлался жертвой яда, такъ какъ, полагая, что пули начинены также взрывчатымъ веществомъ, онъ попробовалъ содержимое ихъ на языкъ и черезъ нѣсколько минутъ почувствовалъ себя дурно; [1] прибывшій однако тотчасъ же врачъ подалъ медицинскую помощь и здоровье генерала въ настоящую минуту не внушаетъ никакихъ опасеній. Въ толстой книгѣ, взятой у студента Осипанова, также оказался снарядъ, въ формѣ четырехугольнаго жестяного ящика, вставленный въ вырѣзанное внутри

книги углубленіе и окруженный такими же пулями съ стрихниномъ. Внутреннее снаряженіе этого снаряда оказалось одинаковымъ съ двумя прочими.

По заключенію эксперта, снаряды сдѣланы недостаточно умѣло, и ихъ дѣлалъ, повидимому, не техникъ, а химикъ, тѣмъ не менѣе, при взрывѣ діаметръ разрушенія долженъ былъ быть около двухъ саженъ.

Всеподданнѣйше докладывая объ изложенномъ Вашему Императорскому Величеству, долгомъ считаю представить копіи показаній, данныхъ на допросѣ студентами Андреюшкинымъ и Осипановымъ.

Графъ *Дмитрій Толстой.*

1 марта 1887 года.

Во избѣжаніе преувеличенныхъ толковъ въ городѣ по поводу ареста на Невскомъ проспектѣ трехъ студентовъ съ метательными снарядами, я полагалъ бы необходимымъ напечатать въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» краткое сообщеніе объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ ихъ задержаніе, и на приведеніе сего предположенія въ исполненіе долгомъ поставляю себѣ всеподданнѣйше испрашивать Высочайшее Вашего Императорскаго Величества соизволеніе.

Графъ *Дмитрій Толстой.*

1 марта 1887 г.

Собственною Его Величества рукою написано: «Совершенно одобряю и вообще желательно не придавать слишкомъ большого значенія этимъ арестамъ. По моему лучше было бы узнавать отъ нихъ все, что только возможно, не предавать ихъ суду и просто безъ всякаго шума отправить въ Шлиссельбургскую крѣпость. Это самое сильное и непріятное наказаніе».

ДОНЕСЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ III МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Д. ТОЛСТОГО ОТ 5 МАРТА 1887 ГОДА.

Разсмотрѣно
Его Величествомъ
7 марта.
Гр. *Толстой.*

Дальнѣйшимъ разслѣдованіемъ обстоятельствъ дѣла, о разрывныхъ снарядахъ, задержанныхъ 1-го сего Марта, выясняется, что еще 3-го Января было предложено Генералову принять участіе въ покушеніи на жизнь Государя Императора и приготовить квартиру, въ которой можно устроить складъ для выдѣлки разрывныхъ снарядовъ. Въ концѣ Января, Генераловъ, по порученію тѣхъ же лицъ, склонилъ Андреюшкина, уже раньше принимавшаго участіе въ приготовленіяхъ, взять на себя роль метальщика, и только въ 20-хъ числахъ Февраля состоялось знакомство Генералова и Андреюшкина съ третьимъ метальщикомъ Осипановымъ.

По словамъ Генералова, упорно отказывающагося называть имена, онъ имѣлъ сношенія по этому дѣлу съ тремя лицами, которые представляли изъ себя такъ называемую «террористическую фракцію» и въ дѣйствительности руководили приготовленіями къ преступленію. Лица эти потому не приняли на себя роли исполнителей, говоритъ Генераловъ, что неудобно ходить по Невскому со снарядами людямъ, находящимся подъ наблюденіемъ полиціи.

Сопоставляя изложенныя свѣдѣнія съ прочими данными, надлежитъ придти къ заключенію, что во главѣ преступнаго предпріятія стояли студенты: Шевыревъ, Говорухинъ и Ульяновъ, изъ которыхъ послѣдние двое въ дѣйствительности находились подъ наблюденіемъ полиціи. Образъ дѣйствій названныхъ трехъ лицъ приводитъ къ тому же заключенію: Шевыревъ выѣхалъ изъ Петербурга въ половинѣ Февраля, Говорухинъ скрылся, оставивъ письмо о самоубійствѣ, а Ульяновъ, въ первыхъ числахъ Февраля, нанялся учителемъ къ земской акушеркѣ Ананьевой, проживающей во 2-мъ Парголовѣ. Проживъ у Ананьевой два дня, Ульяновъ вернулся въ Петербургъ, а между тѣмъ разные химическіе препараты, служащіе для выдѣлки взрывчатыхъ веществъ, направлялись на его имя во 2-е Парголово, черезъ посредство Новорусскаго — жениха дочери акушерки Ананьевой.

Студентъ Пилсудскій, который въ г. Вильно свелъ прибывшаго за азотной кислотой Канчера съ «Антономъ», показалъ, что «Антонъ» есть бывшій ученикъ желѣзнодорожнаго училища Антонъ Гнатовскій. Для задержанія его и разслѣдованія по г. Вильно, вчера выѣхали туда товарищъ Прокурора и Жандармскій офицеръ.

Участіе въ набивкѣ снарядовъ динамитомъ студента Лукашевича подтверждаетъ и мѣщанинъ Волоховъ, приходившій вмѣстѣ съ Канчеромъ въ квартиру Ульянова.

О вышеизложенномъ всеподданнѣйшимъ долгомъ поставляю себѣ доложить Вашему Императорскому Величеству.

Графъ *Дмитрій Толстой.*

5 марта 1887 г

ДОНЕСЕНИЕ ЖАНДАРМСКОГО ГЕНЕРАЛА ОРЖЕВСКОГО ОТ 9 МАРТА 1887 ГОДА.

Копія.

Разсмотрѣно Его Величествомъ
въ Гатчинѣ 10 Марта 1887 года.
Генералъ-Лейтенантъ *Оржевскій.*

Дальнѣйшимъ разслѣдованіемъ по дѣлу о разрывныхъ снарядахъ, обнаруженныхъ 1-го сего марта, выясняется, что кромѣ Канчера, Волохова и Гаркуна, былъ еще одинъ человѣкъ, черезъ посредство котораго велись сношенія участниковъ преступленія другъ съ другомъ: такъ, согласно показанію Лукашевича, онъ получалъ пачки съ разными разрывными веществами отъ личности, съ которою встрѣчался на Невскомъ про-

спектѣ близъ магазина Даціаро. Хотя Лукашевичъ и отказался записать примѣты этого человѣка въ протоколъ, но на словахъ далъ нѣсколько указаній, путемъ коихъ, въ связи съ другими данными, быть можетъ, удастся обнаружить упомянутаго передатчика. Вообще все дѣло велось злоумышленниками чрезвычайно конспиративно и привлеченіе многихъ лицъ къ передачѣ мелкихъ принадлежностей къ изготовленію снарядовъ составляетъ весьма тонкій пріемъ, въ значительной степени затрудняющій разслѣдованіе.

Эпизодъ въ г. Вильно до настоящаго времени еще не выясненъ: слѣдуетъ предполагать, что Лукашевичъ, воспитывавшійся въ Виленской гимназіи и мѣстный уроженецъ, составлялъ связующее звено между зачинщиками въ Петербургѣ и пособниками въ Вильно. Съ цѣлью получить потребное для изготовленія динамита количество азотной кислоты вѣроятно Лукашевичъ обратился къ содѣйствію проживавшаго въ Вильнѣ Антона Гнатовскаго (скрылся), который въ свою очередь досталъ кислоту отъ коммиссіонера аптекарскихъ товаровъ Тита Пашковскаго и передалъ ее прибывшему изъ Петербурга Канчеру. Въ Вильно, кромѣ Тита Пашковскаго, задержаны: сестра его Марья Пашковская, уже привлекавшаяся къ дѣламъ политическаго свойства, и Елена Гордонъ, которая должна была указать Канчеру адресъ Антона Гнатовскаго. Какимъ образомъ распредѣлялись роли при предварительныхъ сношеніяхъ и въ дѣлѣ самой передачи азотной кислоты,— не извѣстно, ибо командированные въ Вильно Товарищъ Прокурора и жандармскій офицеръ еще не вернулись. Достойно вниманія, что и Елена Гордонъ принадлежитъ къ еврейскому семейству, давно извѣстному по своей политической неблагонадежности.

Доставленная изъ Харькова фотографическая карточка Бражникова была предъявлена обвиняемымъ Гаркуну и Волохову, и они отозвались полнымъ незнаніемъ личности Бражникова.

О вышеизложенномъ всеподданнѣйшимъ долгомъ поставляю себѣ довести до свѣдѣнія Вашего Императорскаго Величества.

Генералъ-Лейтенантъ *Оржевскій.*

9 марта 1887 г.

ДОНЕСЕНИЕ ДИРЕКТОРА ДЕП-ТА ПОЛИЦИИ МИН. ТОЛСТОМУ О «БЕСПОРЯДКАХ» В УНИВЕРСИТЕТЕ.[1]

Директоръ

Департамента Полиціи.

Представляя Вашему Сіятельству составленную мною краткую записку по вопросу о дальнейшем направленіи дела 1 марта сего года, имею честь присовокупить:

[1] Ректор Андреевский произнес 6 марта в университете холопскую речь, в которой обливал грязью студентов — участников покушения.

1) Студенты СПБургского Университета до сих пор еще не успокоились: вчера, например, в VII аудитории был побит вольнослушатель Чудинов, один из сочувствующих аресту. Чудинов будет завтра у меня для объяснений о лицах, его побивших. По секретным сведениям, предполагают побить окна у ректора. Видимый порядок в университете не нарушается. Предположено выслать 5 человек (2 русских и 3 еврея), участие коих во враждебных действиях более или менее установлено.

2) Шевырев еще не доставлен — ожидается завтра.

и 3) Дознание продолжается без дальнейших открытий.

Директор Департамента (подпись).

13 марта 1887 г.

Дело Департамента Полиции 4-го делопроизводства № 47, т. I, 1887 г., стр. 6.

Директоръ
Департамента Полиціи.

Имѣю честь представить Вашему Сіятельству копію гектографированной прокламаціи по поводу произнесенной 6 сего марта Ректоромъ С.-Петербургскаго Университета, Профессоромъ Андреевскимъ рѣчи. Прокламаціи эти разсылаются изъ Петербурга по почтѣ въ разные города Имперіи.

Директоръ Департамента (подпись).

12 марта 1887 г.

№ 47 т. I
1887 г.
4-ое Д-ство.

ПРОКЛАМАЦИЯ, ВЫПУЩЕННАЯ СТУДЕНТАМИ В ОТВЕТ НА АДРЕС РЕКТОРА.

Вчера, 6 марта, СПетербургский университет был опозорен... Он холопски пополз вслед за своим ректором к стопам деспотизма и сложил у его ног свои лучшие знамена. Он забрызгал несмываемою грязью свои

В ответ на это в университете произошли «беспорядки», был побит шпион, и была выпущена прилагаемая ниже прокламация. *А. Е.*

лучшие традиции, которые были его украшением, его силою. Он, носитель высших общественных идеалов, безупречный борец за них, вчера неистово аплодировал гнусным глумлениям и кощунствам своего ректора над святым служением правде и свободе...

Думали ли те, которые вчера так неистово издевались над погибшими прекрасными жизнями, что на каждого из них легло несмываемое на всю жизнь пятно позора? Думали ли они, против чего они протестуют? Чему делают овацию? Там борьба и протест против гнетущего самодержавия и наглого своеволия торжествующей клики временщиков, самоотверженное служение счастью родины и свободе личности; здесь — гимн квиетизму и холопству под маской служения истине и стремления к труду, размышлению и объективности, идеализация насилия и деспотизма под видом уважения порядка и власти... и за кем же пошли те, которые — соль земли нашей, в которых вся надежда будущего...

Много прощается человеку, но ренегатство и кощунство над самым святым, что носит в своем сердце человечество, что оно веками выстрадало, мертвыми возлелеяло, к чему оно непреклонно стремится, поливая свой жизненный путь кровью своих честных детей, — ренегатство от этого и кощунство над этим никогда, никому и нигде не простится...

Мы знаем, как тяжело было, узнав этот печальный факт, нашим товарищам, студентам других университетов, и лучшей части нашего общества... Но то, что они узнали из уличных газет, не отвечает действительности.

Как жила, так и живет и вечно будет жить в петербургском студенчестве лучшая его часть, исповедующая искание правды и свободы в общественной жизни, искреннее служение своим чистейшим убеждениям, умение страдать и умереть за них. И если вчера мало был слышен ее протест против вакханалии безнравственности и скотского самоунижения, то этому были иные причины.

Во-1-х, университетская инспекция заранее сгруппировала своих клакеров, наполовину из студентов, наполовину из переодетых шпионов, тогда как оппозиционная группа, не предвидя, в чем будет состоять речь ректора, не сорганизовалась для дружного протеста.

Во-2-х, значительная часть, не выработавшая в себе твердого нравственного критериума и привыкшая жить постоянною ложью и беспрестанными компромиссами между нравственным сознанием и практическими соображениями (это у нас называется «тактом» и поощряется), аплодировала словам ректора на этом последнем основании, а не из-за искреннего чувства, в чем потом признавалась она сама и за что заслужила на другой день благодарность от самого ректора.

В-3-х, еще большая часть людей беспринципных в минуту сильно действующего аффекта поддается инстинкту стадности и примыкает к тем стремлениям толпы, которые оказываются сильнее в данный момент. Эти скоро поняли весь тот позор, которым каждый из них запятнал себя.

В-4-х, лучшая часть студенчества протестовала; протест ее был всеми слышан, а поэтому не было единодушного согласия студентов на адрес царю.

В-5-х, ректор до последних дней пользовался популярностью в студенчестве и первые овации относились лично к нему; затем университетское начальство, перед произнесением речи, терроризировало студентов возможностью закрытия университета и удаления ректора, что угнетающе подействовало на пассивную массу.

Мы же, со своей стороны, спешим всем нашим товарищам заявить и всему русскому обществу, что мы не выражали своего согласия на поднесение адреса, что мы не отступались и не отступимся от наших традиций, освященных тысячами жертв, что всегда стремились и будем стремиться к воплощению правды в общественные формы, как мы ее понимаем, и всегда будем учиться находить, понимать и любить ее; что никогда мы не порицали и не будем порицать и оплевывать погибших борцов, наших товарищей по делу и братьев по сердцу, но преклонимся перед их нравственной высотой и будем учиться, как нужно любить и бороться.

Союз соединенного СПБ-го студенчества.

7 марта 1887 года.

Дело Департамента полиции 4-го делопроизводства, № 47, т. I, 1887 г., стр. 1, 2 и 3.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МИНИСТРУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЫТЬ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.

А. Т. 2 экз.
Министр
Вн. дел.

Конфиденц.

М. Г.
Иван Давыдович.

При расследовании дела 1 марта сего года между прочим замечено, что все главные участники этого преступления состояли членами студенческого научно-литературного общества, а один из самых деятельных руководителей заговорщик Ульянов исполнял обязанности секретаря общества.

Участие в составе общества столь вредных элементов при условии избрания членов путем баллотировки дает основание предполагать, что и в будущем в члены общества будут проникать неблагонадежные лица, которые под видом предварительных совещаний по делам общества могут беспрепятственно устраивать на частных квартирах сходки с преступными целями.

В виду вышеизложенного, я имею честь уведомить Ваше Пр-во, что, по моему мнению, деятельность общества подлежит закрытию.

Примите, М. Г., уверение в сов. почт. и преданности

подп. граф *Д. Толстой.*

Верно: тит. совет. (подпись).

Дело 3-го делопроизводства Департамента полиции № 647—1886 г., стр. 26.

РАПОРТ ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПРИЛОЖЕННЫЙ К СООБЩЕНИЮ МИН. ВН. ДЕЛ Д. ТОЛСТОГО.

А. Т. 2 экз.

С.-Петербургского
Градоначальника

Отделение по охране порядка
и общественной безопасности
в С.-Петербурге.

31 Декабря 1886 г.
№ 12915.

Секретно.

В Департамент Полиции.

Вследствие отношения от 31 октября сего года за № 2655/604, имею честь препроводить при сем в департамент полиции добытый негласным путем печатный устав студенческого научно-литературного общества, заседания коего бывают исключительно в здании университета и с разрешения университетского начальства.

По собранным сведениям оказалось, что совет этого общества состоит из следующих лиц:

1. Председатель — профессор университета действительный статский советник Орест Федорович Миллер, 54 лет, холост, проживает по 3 линии д. 18, кв. 16, при нем живут его родственники: студент С.-Петербургского университета Фридрих Фридрихович Майдель, 20 лет, и воспитанник 2 Кадетского корпуса Сергей Владимирович Бурмейстер 17 лет.

2. Товарищ председателя — профессор университета действительный статский советник Николай Львович Дювернуа, 46 лет, проживает по 4 линии д. № 7 кв. 30 с своей женой, урожденной австрийской подданной Анною Иосифовною Кроль и незаконнорожденным сыном от нее Николаем 8 лет.

3 и 4. Секретари общества: студенты университета Иван Васильевич Аничков 25 лет и Александр Ильин Ульянов 20 лет. Первый живет вместе с родным братом, так-же студентом университета Евгением Васильевичем Аничковым по Гагаринской улице в д. № 14 кв. № 20; занимают они отдельную квартиру с платою по 45 руб. в месяц, средства к жизни имеют хорошие, в поведении и образе жизни братьев Аничковых ничего предосудительного не замечалось и дел о них не

производилось. Второй студент Ульянов проживает по Александровскому проспекту в д. № 21 кв. 2, вместе с кандидатом университета, причисленным ныне к департаменту Земледелия и сельской промышленности министерства государственных имуществ Иваном Николаевым Чеботаревым 25 лет. Ульянов имеет мать, двух сестер и двух братьев, проживающих в г. Симбирске, и сестру Анну 23 лет, состоящую слушательницею Высших Женских курсов.

Из знакомых Ульянова можно указать на студентов Военно-Медицинской академии Василия Михайлова Бурлакова, известного департаменту полиции, университета Сергея Семенова Мельникова и Сергея Павлова Феокритова, братьев Семена и Арсения Алларионовых Хлебниковых, акушерку Ревveку Абрамовну Шмидову и дочь священника Раису Иванову Калайтан. Политическая благонадежность знакомых Ульянова, равно и его самого, весьма сомнительна, так как все они принадлежат к кружку «Кубанцев и Донцов».

[5 и 6 ничем не выделяются.]

7. Вторым библиотекарем состоит студент С.-Петербургского университета Сергей Николаев Сыромятников, 23 лет, происходит из мещан Новгородской губ. первоначальное образование получил в гимназии Филологического института, имеет отца, брата и двух сестер, проживающих в г. Либаве.

Сыромятников живет с 8 ноября 1883 г. по Николаевской ул. в д. № 47 в квартире состоящего под негласным надзором полиции действительного статского советника Геннадия Васильевича Лермонтова, 55 лет, у которого есть сын Геннадий 22 лет, студент Спетербургского университета и с коим Сыромытников вместе занимается наукою. По имеющимся сведениям Сыромятников в политическом отношении представляет личность подозрительную.

. . . .

Затем перечисляются все остальные члены общества с политической стороны ничем не отмеченные. Очевидно, что из всех членов только Ульянов и Сыромятников занимались революционной работой. Кончается документ словами:

Из поименованных выше лиц один Ульянов и отчасти Сыромятников являются личностями в политическом отношении неблагонадежными.

Хотя на основании § 15 устава все заседания общества, его совета и научного отдела и происходят в зданиях университета, по тем не менее предварительные совещания членов общества могут происходить и на частных квартирах, особенно если принять во внимание, что такая личность, как Ульянов, играет в том обществе выдающуюся роль Секретаря.

Генерал-Лейтенант: (подпись).

Начальник отделения подполковник: (подпись).

Дело 3-го делопроизводства Департамента полиции № 647 — 1886 г., стр. 3 — 8.

ПРОТОКОЛЫ ПОКАЗАНИЙ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА НА СЛЕДСТВИИ И ПРОГРАММА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ».

Протокол № 32-й.

1887 года, марта 3 дня, я, Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Лютов, на основании закона 19 мая 1871 года в присутствии Товарища Прокурора С.-Петербургской судебной палаты М. М. Котляревского расспрашивал нижепоименованного, который показал:

Зовут меня Александр Ильич Ульянов, от роду имею 20 л. 11 м., вероисповедания православного. Происхождение и народность: сын действительного статского советника; русский.

Звание: дворянин; студент С.-Петербургского университета естественного факультета, IV курса.

Место рождения и место постоянного жительства: родился 31 марта 1866 г. в Нижнем-Новгороде; в Петербурге проживал по Александро-Невскому проспекту, в доме № 21, кв. 2.

Занятие: слушал лекции в университете.

Средства к жизни: получал от матери.

Семейное положение: холост; отец мой умер; мать моя Мария Александровна Ульянова проживает в г. Симбирске; имею двух братьев: Владимира, ученика Симбирской классической гимназии VIII класса, Дмитрия, ученика той же гимназии; старшую сестру зовут Анной,— живет в Петербурге, где слушает лекции на Высших Женских Курсах; Ольга и Мария живут при матери.

Экономическое положение родителей: мать имеет в г. Симбирске дом; сколько приносит дохода,— я не знаю.

Воспитание в учебных заведениях (низших, средних и высших) с подробным указанием возраста, вступления в каждое из них, а также года выхода и возраста обвиняемого при выходе: восьми лет от роду поступил в Симбирскую классическую гимназию, где окончил курс в 1883 году, после чего поступил в С.-Петербургский университет.

На чей счет воспитывался в каждом из учебных заведений и причина неокончания курса в каждом из них: воспитывался на счет родителей.

Был ли за границею, где и когда именно: не был.

Привлекался ли ранее к дознаниям, каким и чем они окончены: не привлекался.

На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь Государя Императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня.

Александр Ульянов.

Ротмистр *Лютов.*

Тов. Прок. Палаты *Котляревский.*

Понятыми были: Писарь *Дмитрий Хмелинский.*

Писарь *Дмитрий Иванов.*

Перем. фонд
АОР. ин. № 2911, т. I, л. 77.

Показаніе студента С.-Петербургскаго университета Александра Ульянова отъ 4-го Марта 1887 года.

Я признаю свою виновность въ томъ, что, принадлежа къ террористической фракціи партіи «Народной Воли», принималъ участіе въ замыслѣ лишить жизни Государя Императора. Участіе мое выразилось въ слѣдующемъ: въ Февралѣ этого года, въ точности времени опредѣлить не желаю, я приготовлялъ нѣкоторыя части разрывныхъ метательныхъ снарядовъ, предназначавшихся для выполненія этого замысла, а именно: часть азотной кислоты для приготовленія динамита и часть бѣлаго динамита, количество котораго опредѣлить отказываюсь; затѣмъ я приготовлялъ часть свинцовыхъ пуль, предназначавшихся для зарядкенія снарядовъ, для чего я рѣзалъ свинецъ и сгибалъ изъ него пули, но стрихниномъ пуль не начинялъ. Потомъ мнѣ были доставлены два жестяные цилиндра для метательныхъ снарядовъ, которые я набилъ динамитомъ и отравленными стрихниномъ пулями, также мнѣ доставленными; передъ этимъ я приготовилъ два картонныхъ футляра для снарядовъ и оклеилъ ихъ коленкоровыми чехлами.—Въ какомъ состояніи были въ это время запалы снарядовъ, я не припомню. По набивке этихъ снарядовъ, я ихъ возвратилъ. Собственно фактическое мое участіе въ выполненіи замысла на жизнь Государя Императора этимъ и ограничивалось, но я зналъ, какія лица должны были совершить покушеніе, т.-е. бросать снаряды. Но сколько лицъ должны были это сдѣлать, кто эти лица, кто доставлялъ ко мнѣ и кому я возвратилъ снаряды, кто вмѣстѣ со мной набивалъ снаряды динамитомъ, я назвать и объяснить не желаю; въ приготовленіи третьяго снаряда я не участвовалъ и его у себя не хранилъ; мнѣ извѣстно, что всѣхъ снарядовъ было три, по крайней мѣрѣ, я не слышалъ, чтобы было больше снарядовъ. Ни о какихъ лицахъ, а равно ни о называемыхъ мнѣ теперь Андреюшкинѣ, Генераловѣ, Осипановѣ и Лукашевичѣ никакихъ объясненій въ настоящее время давать не желаю. Точно времени, назначеннаго для выполненія покушенія, я опредѣлить не могу, а сдѣлать это приблизительно въ настоящее время отказываюсь.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Директоръ Департамента *П. Дурново.*

Показаніе студента С.-Петербургскаго университета Александра Ульянова отъ 5-го Марта 1887 года.

Относительно роли моей въ этомъ дѣлѣ, какъ руководителя, я долженъ объяснить слѣдующее: Я не былъ ни иниціаторомъ, ни организаторомъ замысла на жизнь Государя Императора. Мое интеллектуальное участіе въ этомъ дѣлѣ ограничивалось слѣдующимъ: В теченіе этого учебнаго года, приблизительно не ранѣе второй половины Ноября, я раза два или три имѣл разговоры съ некоторыми из лиц, принявшими впослѣдствіи участіе въ томъ дѣлѣ, по которому я въ настоящее время обвиняюсь. Разговоры эти касались ненормальности существующаго общественнаго строя и тѣхъ возможныхъ путей, которыми онъ можетъ быть измѣненъ

къ лучшему. Мое личное мнѣніе, котораго я держался въ этихъ разговорахъ, было таково, что для того, чтобы достигнуть нашихъ конечныхъ экономическихъ идеаловъ, что возможно только при достаточной зрѣлости общества, послѣ продолжительной пропаганды и культурной работы, необходимо достичь предварительно извѣстнаго minimum'а политической свободы, безъ котораго невозможна сколько-нибудь продуктивная пропагаторская и просвѣтительная дѣятельность. Единственное средство къ этому я видѣлъ въ террористической борьбѣ, которая, какъ я надѣялся, вынудитъ правительство къ нѣкоторымъ уступкамъ въ пользу наиболѣе ясно выраженныхъ требованій Общества. Я могу сдѣлать предположеніе, что разговоры эти могли имѣть нѣкоторое, хотя во всякомъ случаѣ очень незначительное, вліяніе на упомянутыхъ лицъ въ томъ смыслѣ, что ускорили, быть можетъ, ихъ рѣшеніе — посвятить себя террористической дѣятельности. Но если это вліяніе и было, то оно было очень ничтожно, такъ какъ, насколько мнѣ извѣстно, всѣ лица, принимавшіе близкое участіе въ этомъ дѣлѣ, дѣйствовали вполнѣ сознательно и убѣжденно, пришедши къ этому убѣжденію самостоятельнымъ путемъ зрѣлаго и продолжительнаго размышленія. — Относительно техническихъ работъ по приготовленію снарядовъ я могу прибавить къ прежнимъ моимъ показаніямъ слѣдующее. Вся азотная кислота, при помощи которой былъ приготовленъ динамитъ, была произведена въ Петербургѣ, въ квартирѣ Андреюшкина, по моимъ указаніямъ и отчасти подъ моимъ руководствомъ. Въ концѣ января или въ началѣ февраля этого года изъ Вильно было привезено нѣсколько бутылей азотной кислоты; она была доставлена на мою квартиру (по Александровскому просп., домъ № 21), но оказалась слишкомъ слабою для приготовленія нитроглицерина. Послѣ неудачныхъ попытокъ сгустить ее, произведенныхъ въ квартирѣ Андреюшкина, она была уничтожена (вся, или большая часть ее). Кромѣ этого азотная кислота ниоткуда не привозилась. Бѣлый динамитъ приготовлялся мной въ первой половинѣ февраля, в Парголовѣ, в квартирѣ г-жи Ананьиной (Маріи Александровны). Вслѣдствіе неудобства городскихъ квартиръ для приготовленія динамита, я еще въ концѣ января сталъ искать случая уѣхать на урок куда-нибудь за городъ, съ цѣлью приготовить тамъ, подъ предлогомъ химическихъ опытовъ, небольшое, недостававшее количество динамита. Поэтому я съ удовольствіемъ воспользовался приглашеніемъ моего знакомаго Новорусскаго — отправиться въ Парголово, къ его тещѣ Ананьиной, для занятій съ братомъ его жены. Я выговорилъ себѣ у Новорусскаго позволеніе продолжать въ Парголовѣ свои химическія занятія и попросилъ его отправить въ Парголово вмѣстѣ съ вещами его тещи и мою химическую лабораторію, на что онъ и согласился. Въ Парголовѣ я пробылъ всего нѣсколько дней (я пріѣхалъ туда въ дни отъ 10 — 12 Февраля, а уѣхалъ оттуда числа 14-го или 15-го того же мѣсяца), такъ какъ Ананьина вскорѣ обнаружила недовольство мной, такъ какъ ей непріятны были мои усиленныя химическія занятія и происходящая отсюда небрежность въ учебныхъ занятіяхъ, а быть можетъ, у нея возбудилось также подозрѣніе относительно законности этихъ опытовъ. Я уѣхалъ изъ Парголова послѣ первыхъ же заявленій со стороны Ананьиной, тѣмъ охотнѣе, что настоящая цѣль моей поѣздки къ ней была для меня достигнута. Ни

сущность этихъ опытовъ, ни ихъ цѣль не были извѣстны ни Новорусскому, ни акушеркѣ Маріи Ананьиной. Что же касается дочери Ананьиной, Лидіи, то хотя я съ нею знакомъ, но по этому дѣлу я никакихъ съ нею сношеній не имѣлъ. Въ Парголово я бралъ съ собою только небольшой узелокъ, въ которомъ были нѣкоторыя химическія принадлежности и кое-что изъ бѣлья; кажется, только рубаха. Постельнаго бѣлья и одѣяла, матраца и подушки я съ собою не перевозилъ, а пользовался вещами Ананьиной.

Въ квартирѣ Ананьиной мною были оставлены слѣдующіе химическіе приборы и реактивы: нѣсколько банок, употребляемыхъ для варенья; 2-ва стеклянныхъ градуированныхъ цилиндра; 2-ва термометра; 2-вѣ или 3-ри фарфоровыхъ чашки; 2-ва или 4-ре стеклянныхъ колпака и къ нимъ двѣ фарфоровыя чашки; сѣрной кислоты одна бутыль, или одна съ небольшимъ; часть магнезіи; 1-нъ ареометръ; 2-вѣ лампочки; хлористый кальцій, желѣзные треножники и нѣкоторые мелкіе приборы, въ родѣ трубокъ, стклянокъ съ притертыми пробками, стеклянныхъ стакановъ и т. п. Переписки никакой мною не было тамъ оставлено.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Директоръ Департамента *П. Дурново.*

Показаніе студента С.-Петербургскаго университета Александра Ульянова отъ 11 Марта 1887 года.

Собственною Его Величества рукою начертано: «От него, я думаю, больше ничего не добьешься».—Въ Гатчинѣ, 13 Марта 1887 года.

Ген.-Лейт. *Оржевскій.*

Уѣзжая изъ Парголова, 14-го или 15-го Февраля, я дѣйствительно оставил тамъ, кромѣ перечисленныхъ мною при допросѣ 5-го сего Марта вещей, еще и небольшое количество нитроглицерина. Этотъ нитроглицеринъ я оставилъ за оконною рамой въ той комнатѣ, которая расположена противъ комнаты, гдѣ я занимался, въ стклянкѣ со слабымъ растворомъ соды для безопасности; я разсчитывалъ въ скоромъ времени возвратиться и перевезти этотъ нитроглицеринъ въ городъ. О томъ, что я оставилъ нитроглицеринъ, я не сообщалъ ни Ананьинымъ, ни Новорусскому. Соглашенія мои на занятія съ сыномъ Ананьиной, Николаемъ, я имѣлъ съ Новорусскимъ; въ подробныя соглашенія относительно моихъ занятій и вознагражденія за нихъ я не вступалъ ни съ Новорусскимъ, ни съ Ананьиной. Во все время моего пребыванія въ Парголовѣ я только разъ занялся съ сыномъ Ананьиной, Николаем, по предмету Закона Божія. Кромѣ Маріи Александровны Ананьиной и сына ея Николая, я никого въ ихъ квартирѣ не видѣлъ. Дворника и служанки также не видѣлъ. Во время моего пребыванія въ Парголовѣ я обѣдалъ вмѣстѣ съ Маріей Александровной Ананьиной и ея сыномъ, за исключеніемъ — сколько помнится — одного дня, когда она съ сыномъ уходила куда-то и оставляла мнѣ обѣдъ. Съ Орестомъ Говорухинымъ и Раисою Шмидовой я знакомъ и бывалъ у нихъ

*

на квартирѣ. Въ послѣдній разъ я видѣлъ Ореста Говорухина дней за 10 (приблизительно) до моего ареста, но гдѣ я его видѣлъ, у себя или у него на квартирѣ, я этого не помню. Въ послѣднихъ числахъ Февраля, но не помню точно, въ какой именно день, я получилъ по загородной почтѣ письмо со вложеніем письма, адресованнаго на имя Раисы Шмидовой, и съ запиской, въ которой заключалась просьба переслать это письмо по городской почтѣ, по адресу. Записка была безъ подписи, но, по почерку, я догадывался, что ее писалъ Говорухинъ. Штемпель на конвертѣ былъ иногородній и, сколько помнится, Московскій. Я это письмо не успѣлъ переслать Раисѣ Шмидовой, и оно взято у меня при обыскѣ. Раису Шмидову я въ послѣдній разъ видѣлъ у себя на квартирѣ, утромъ 1-го Марта. По предъявленіи мнѣ моей записной книжки я объясняю, что числовыя замѣтки на 53 стр. составляют вычисленія, относящіяся до приготовленія разрывныхъ снарядовъ; что же касается плана на страницѣ 54, рисунка и замѣток на стр. 55, счета денегъ на послѣднемъ листкѣ книги и другихъ замѣток и адресовъ, — то я отказываюсь отъ всякихъ показаній относительно нихъ. — Найденный въ моей квартирѣ ѣдкій натръ, въ видѣ палочекъ, предназначался для отмыванія слѣдовъ динамита. Въ двухъ же большихъ стклянкахъ, вѣроятно, находился растворъ того же ѣдкаго натра. Найденная у меня коробка съ инфузорной землей предназначалась для смѣшиванія ее съ нитроглицериномъ. Двѣ записки, за подписью «Валентинъ», писаны ко мнѣ Валентиномъ Умовымъ, пріѣзжавшимъ, судя по послѣдней его запискѣ, въ Петербургъ въ концѣ Февраля, но я съ нимъ въ этотъ его пріѣздъ не видѣлся. Открытое письмо на мое имя, со штемпелемъ городской почты отъ «Января 1887 года», съ приглашеніемъ придти къ автору письма за книгой, писано студентомъ Василіемъ Водовозовым; два открытыя письма на имя Чеботарева принадлежатъ кандидату Университета Ивану Николаевичу Чеботареву, который жилъ со мной на одной квартирѣ до Января мѣсяца сего года. Пять листковъ. съ выписками изъ журнальныхъ статей о крестьянскихъ безпорядкахъ, взяты мною для прочтенія отъ лица, назвать которое я отказываюсь. Найденныя у сестры моей Анны Ульяновой, какъ мнѣ о томъ заявляютъ, соли, краски, порошки и стекла съ наклеенными на нихъ препаратами принадлежатъ мнѣ. Они служили мнѣ для зоологическихъ занятій и были оставлены мной въ квартирѣ сестры на лѣто. Найденная у моей сестры земля принадлежитъ также мнѣ и взята мной изъ деревни для химическаго анализа ея.

Раиса Шмидова не знала ничего о приготовленіи разрывныхъ снарядов и о замыслѣ на жизнь Государя Императора и вообще не принимала в этомъ дѣлѣ никакого участія. Хотя она передала мнѣ в разное время двѣ записки, относившіяся до этого дѣла, но ни содержанія этихъ записокъ, ни авторовъ ихъ она не знала. Кѣмъ были писаны эти записки, я сообщить отказываюсь. Съ Петромъ Шевыревымъ я знакомъ, и он у меня бывалъ; я же у него бывалъ очень рѣдко.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Директоръ Департамента *П. Дурново.*

Показаніе студента С.-Петербургскаго университета Александра Ульянова отъ 19-го Марта 1887 года.

Разсмотрѣно Его Величествомъ
въ Гатчинѣ 21 Марта 1887 года.
Ген.-Лейт. *Оржевскій.*

При отъѣздѣ Канчера въ Вильно, я далъ Шевыреву адресъ моей сестры, Анны, для того, чтобы Канчеръ могъ дать по этому адресу условную телеграмму о своемъ возвращеніи въ Петербургъ съ азотной кислотой, стрихниномъ и пистолетомъ. Сестру свою я предупредилъ, что ожидаю телеграмму на ея адресъ, прося ее, по полученіи этой телеграммы, передать ее мнѣ. Я не объяснялъ сестрѣ дѣйствительнаго значенія этой телеграммы и вообще не сообщалъ ей ничего о нашемъ дѣлѣ. Я не знаю, какъ сестра объяснила себѣ значеніе этой телеграммы, но я замѣтилъ, что она встревожилась нѣсколько таинственностью этого обстоятельства. Я сказалъ сестрѣ, что телеграмма будетъ за подписью «Петрова», но содержанія ея я ей, сколько помнится, не сообщалъ. По предъявленіи мнѣ оригинала телеграммы, посланной изъ Вильно 3-го Февраля слѣдующего содержанія: «Петербургъ, Петербургская сторона, Съѣзжинская улица, домъ № 12, кв. 12, Аннѣ Ильиничнѣ Ульяновой. Сестра опасно больна. Петровъ» — я признаю ее за такую самую телеграмму, какъ передала мнѣ сестра. По этой телеграммѣ я встрѣтилъ Канчера на вокзалѣ Варшавской желѣзной дороги, принялъ отъ него чемоданчикъ и ящикъ съ азотной кислотой, стрихнином, а также двухствольный пистолетъ и отвезъ къ себѣ на квартиру. Я не помню точно, кто взялъ отъ меня эти вещи, но, сколько помнится, часть этихъ вещей была взята Андреюшкинымъ. Предъявленный мнѣ пистолетъ, который, какъ объясняютъ, найденъ в квартирѣ Генералова, я признаю похожимъ на привезенный Канчеромъ. Предъявленный мнѣ ручной чемоданчикъ, оклеенный парусиной, взятый, какъ мнѣ о томъ заявляютъ, при обыскѣ на дачѣ Кекина, тотъ самый, въ которомъ Канчеръ привезъ азотную кислоту. Въ немъ впоследствіи была отправлена въ Парголово часть моей химической лабораторіи. Канчеръ привезъ изъ Вильно азотной кислоты около пуда, стрихнина — не помню сколько и не помню, привезъ ли онъ атропинъ. Кто передалъ мнѣ Виленскій адресъ Пилсудскаго, Шевыревъ или Лукашевичъ — я не помню. Перефразировка этого адреса и самая запись его в моей записной книжкѣ сдѣланы мной. Замѣтки на той же страницѣ моей книжки: «Elene G. collin m. cheval causer, l, Isaac place, P — енская» относятся также къ Вильно; изъ нихъ первая «Elene G.» означаетъ Елену Гордонъ, а другія я объяснять не желаю. Лица, помогавшія въ Вильно достать азотную кислоту, были мнѣ извѣстны, но я отказываюсь ихъ назвать. Какое участіе принималъ Шевыревъ въ выпискѣ азотной кислоты изъ Вильно, я объяснить отказываюсь. Мнѣ известно, что изъ Вильно было получено для нашего дѣла 150 руб., но кто принялъ и расходовалъ эти деньги — я не знаю.

Въ Февралѣ этого года была составлена, при моемъ участіи, программа террористической фракціи партіи «Народной Воли». Программа

эта состоитъ изъ общей части и собственно программы террористической фракціи. Программу эту я изложу дословно позже. Печатаніе первой части этой программы, которую я выдавалъ за опытъ новой программы, объединяющей партіи «Народной Воли» и «соціал-демократовъ», было начато мною после 15-го Февраля въ квартирѣ Бронислава Пилсудскаго, указанной мнѣ для этого Іосифомъ Лукашевичемъ. Сколько лицъ и кто именно помогали мнѣ печатать программу, я объяснить отказываюсь. Печатаніе этой части не было доведено нами до конца; печатаніе же второй части только предполагалось. Въ составленіи этой программы участвовало нѣсколько лицъ, которыхъ я назвать отказываюсь. Между 22-мъ Февраля и 1-мъ Марта сего года, въ Парголово была послана бутыль съ азотной кислотой, при чемъ мною была написана записка къ Маріи Александровнѣ Ананьиной съ просьбой принять и сохранить эту бутыль до моего пріѣзда. Лицо, взявшее отъ меня эту записку, а также то лицо, которое должно было отправиться съ этой бутылью въ Парголово, я назвать отказываюсь. Кислота эта была изъ той, которую приготовляли Андреюшкинъ и Генераловъ, а отослалъ я ее въ Парголово, предполагая, что придется приготовить еще гремучей ртути, но я больше въ Парголово не ѣздилъ. Марія Александровна Ананьина ни разу у меня на квартирѣ въ Петербургѣ не была, а Лидия Ивановна была, сколько помнится, одинъ разъ вмѣстѣ съ мужемъ еще до поѣздки моей въ Парголово. Писемъ и телеграммъ отъ нихъ я не получалъ, за исключеніемъ одного письма отъ Новорусскаго, полученнаго мною после 20-го Февраля, въ которомъ онъ извѣщалъ меня о перемѣнѣ его адреса — на Моховую улицу, домъ № 11.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Директоръ Департамента *П. Дурново.*

Показание студента С.-Петербургскаго университета Александра Ульянова отъ 20 — 21-го Марта 1887 года.

Разсмотрѣно Его Величествомъ
въ Гатчинѣ, 22-го Марта 1887 года.
Ген.-Лейт. *Оржевскій.*

Мысль о составленіи программы террористической фракціи явилась вскорѣ вслѣдъ за рѣшеніемъ организовать террористическую группу, т.-е. приблизительно во 2-й половинѣ Декабря 1886 года. Всѣ были согласны съ тѣмъ, что ни въ одной изъ существующихъ программъ не выставляется достаточно рельефно главное значеніе террора, какъ способа вынужденія у правительства уступокъ и не дается удовлетворительнаго объективно-научнаго объясненія террора, какъ столкновенія правительства съ интеллигенціей — неизбѣжнаго, такъ какъ оно выражаетъ собой разладъ, существующій въ самой жизни и неминуемо переходящій, при извѣстной степени обостренія, въ открытую борьбу. Поэтому и было рѣшено формулировать нашъ взглядъ на терроръ въ особой специально-террористической программѣ. Были предположены также нѣкоторыя организаціон-

ныя измѣненія въ постановкѣ террористическаго дѣла, но о нихъ я не считаю удобнымъ говорить, какъ о нихъ не говорится ничего и въ программѣ.

Вскорѣ къ этому присоединилась мысль составить опытъ обще-партійной программы, которая могла бы объединить революціонныя партіи. Прежняя программа «Народной Воли» по недостатку научной обстановки и нѣкоторой неопредѣленности своихъ положеній не вполнѣ удовлетворяетъ революціонные кружки, и мы думали, что, исправляя эти ея недостатки и сдѣлавъ въ ней нѣкоторыя измѣненія, можно устранить всѣ существенныя причины разногласій и послужить дѣлу объединенія революціонныхъ силъ тѣмъ вѣрнѣе, что предполагавшійся террористическій фактъ долженъ былъ вызвать оживленіе и подъемъ духа въ революціонной средѣ. Кромѣ того, мы думали, что наша обязанность, — приступая къ такому серьезному дѣлу, изложить передъ обществомъ не только ближайшіе мотивы нашего поступка, но и весь нашъ политическій «credo». Подъ такими-то побужденіями была составлена общая часть программы, образовавшая вмѣстѣ со спеціальною ту «Программу террористической фракціи партіи «Народной Воли», которую я прилагаю при этомъ показаніи. Лично я принималъ самое близкое участіе въ ея составленіи и вполнѣ солидаренъ со всѣми выставленными въ ней положеніями и съ тѣмъ объясненіемъ, которое дается въ ней террору.

Въ заключеніе я хочу болѣе точно определить мое участіе во всемъ настоящемъ дѣлѣ.

Если въ одномъ изъ прежнихъ показаній я выразился, что я не былъ иниціаторомъ и организаторомъ этого дѣла, то только потому, что въ этомъ дѣлѣ не было одного определеннаго иниціатора и руководителя; по мнѣ, одному изъ первыхъ, принадлежитъ мысль образовать террористическую группу, и я принималъ самое дѣятельное участіе въ ея организаціи, въ смыслѣ доставленія денегъ, подысканія людей, квартиръ и проч.

Что же касается до моего нравственнаго и интеллектуальнаго участія въ этомъ дѣлѣ, то оно было полное, т.-е. все то, которое доставляли мнѣ мои способности и сила моихъ знаній и убѣжденій.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Директоръ Департамента *П. Дурново.*

Программа террористической фракціи партіи «Народная Воля». [1]

По основнымъ своим убеждениям, мы — социалисты. Мы убеждены, что материальное благосостояние личности и ее полное всестороннее развитие возможны лишь при таком социальном строе, где общественная органи-

[1] Была восстановлена Александром Ильичем по памяти в Петропавловской крепости. *А. Е.*

зация труда дает возможность рабочему пользоваться всем своим продуктом и где экономическая независимость личности обеспечивает ее свободу во всех отошениях. Только тогда государство выполнит свою задачу — доставит человеку возможно больше средств к развитию и только в таком обществе, при отсутствии конкуренции и борьбы интересов, будет возможно беспредельное нравственное развитие личности.

К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития, он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства. Этот закон не выражает собой, конечно, единственно-возможного пути, он не исключает возможности более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства, если для этого существуют особенно-благоприятные условия в привычках народа, в характере интеллигенции и правительства. Он выражает собой лишь ту историческую неизбежность, с которой каждая страна приходит к социалистическому строю, если ее развитие совершается стихийно, без сознательного участия в нем какой-нибудь общественной группы. Только на известной ступени экономического развития общества, при достаточной зрелости его, возможно осуществление социалистического идеала, и не только полное осуществление его, но и каждый шаг к нему возможен только как результат изменения в отношении общественных сил в стране, как результат количественного или качественного увеличения силы и сознательности в рабочем классе. Только через сознание и волю самого народа могут воплотиться в его жизнь какие-либо принципы и только известные экономические условия жизни обусловливают прочную подготовку народного сознания к восприятию социалистических идей.

Параллельно с экономическим развитием страны идет ее политическая жизнь. Рост общественных идеалов требует для себя соответственного изменения форм жизни. Там, где правительство не идет наравне с обществом, растущие общественные силы, по мере своего созревания, оказывают давление на правительство и приобретают известное участие в управлении. Политическая борьба является, таким образом, необходимым средством для достижения дальнейших экономических преобразований, но она возможна только от лица определенной общественной группы и будет тем успешнее, чем шире та поддержка, которую находят себе ее требования в обществе.

Чтобы видеть, как применяются эти принципы к условиям русской жизни и определить вероятный ход ее политических и социальных изменений, посмотрим на отношения общественных сил в современной России.

Наиболее значительную общественную группу составляет в России крестьянство. Оно сильно не только своей численностью, но и сравнительной определенностью своих общественных идеалов. В нем еще живы его старые, традиционные принципы: право народа на землю, общинное и местное самоуправление, свобода совести и слова. Несмотря на значительное развитие в его среде мелкой буржуазии, крестьянство еще прочно

держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической. Таким образом, главное значение крестьянства относится к социальной борьбе будущего; при своей неорганизованности и отсутствии ясного сознания своих политических нужд, оно может оказывать современной политической борьбе лишь бессознательную поддержку своим общим недовольством.

Вслед за крестьянством, по общественному значению, должно поставить класс рабочих. Он составляет значительную часть городского населения и имеет огромное значение для социалистической партии. По своему экономическому положению он является естественным носителем социалистических идей, он может служить хорошим проводником этих идей в крестьянстве, так как сохраняет с ним обыкновенно тесную связь; наконец, представляя из себя самую подвижную и сплоченную часть городского населения, рабочие будут оказывать сильное влияние на исход всякого революционного движения. Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменение общественного строя, борясь за свои экономические нужды, но и политической борьбе настоящего он может оказывать самую серьезную поддержку, являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой. Он должен поэтому составить ядро социалистической партии, ее наиболее деятельную часть, и пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии.

Из других общественных групп дворянство, духовенство и бюрократия, как не выделенные органическими условиями русской жизни, а вызванные лишь потребностями правительства и сильные лишь его поддержкой, — классы эти не имеют почти никакого значения, и роль их пассивна.

Наша буржуазия находится лишь в начале своего формирования. Обусловленная слабой дифференциацией русского общества, она не могла еще выработать классового самосознания и не обладает стройными идеалами. Это отсутствие под буржуазией прочной почвы не позволяет признать ее за серьезную общественную силу.

При слабой дифференцировке нашего общества на классы мы находим возможным считать интеллигенцию за самостоятельную общественную группу. Не имея классового характера, она не может, конечно, играть самостоятельной роли в социально-революционной борьбе, но она может явиться передовым отрядом в политической борьбе, в борьбе за свободу мысли и слова.

Русское правительство также принято считать за самостоятельную общественную силу. Оно действительно является таковой, так как не выражает собой ни одной из существующих общественных сил, а держится милитаризмом и отрицательными свойствами нашего общества: его неорганизованностью, пассивностью и недостатком политического воспитания. Механическую силу правительства в армии мы считаем необходимым иметь в виду, но, не считая армию особым классом, мы полагаем иметь на нее воздействие наравне с другими общественными группами. Такое

положение правительства не может быть прочным и устойчивым, оно принуждено считаться с движением народной жизни и, следуя за ним, уступать рано или поздно требованиям общества. В виду такой группировки общественных сил в современной России, задачи русской социалистической партии сводятся, по нашему мнению, к следующему.

Главные свои силы партия должна посвящать организации и воспитанию рабочего класса, его подготовке к предстоящей ему общественной роли. Сильная знаниями и сознательностью, партия будет стремиться к возвышению общего умственного уровня общества, наконец, употреблять все возможные усилия к непосредственному улучшению народного хозяйства, к тому, чтобы направить его на путь, соответствующий своим идеалам.

Но при существующем политическом режиме в России почти невозможна никакая часть этой деятельности. Без свободы слова невозможна сколько-нибудь продуктивная пропаганда, точно так же, как невозможно улучшение народного хозяйства без участия народных представителей в управлении страной. Таким образом борьба за свободные учреждения является для русского социалиста необходимым средством для достижения своих конечных целей. Инициативу этой борьбы может взять на себя интеллигенция, опираясь как на поддержку рабочего класса, по мере его организации и политического воспитания, так и на все те слои населения, где сколько-нибудь пробудилось сознание своих прав и потребность ограждения от административного произвола. Возможность ведения этой борьбы без предварительной классовой организации, а лишь параллельно ей, мы видим в том, что русское правительство не выражает собой действительного отношения общественных сил в стране, не находит себе активной поддержки ни в одном общественном слое и не обладает поэтому устойчивостью, при всяком серьезном внешнем или внутреннем потрясении оно протягивает руку обществу и уступает тем его требованиям, которые оказываются в данное время наиболее назревшими.

Таким образом, будучи по существу социалистической, партия лишь временно посвящает часть своих сил политической борьбе, так как видит в этом необходимое средство, чтобы сделать более правильной и продуктивной свою деятельность во имя конечных экономических идеалов.

Наши окончательные требования, т.-е. то, что мы считаем необходимым для обеспечения политической и экономической независимости народа и его свободного развития, мы можем формулировать в следующей программе:

1. Постоянное народное представительство, выбранное свободно, прямой и всеобщей подачей голосов, без различия пола, вероисповедания и национальности и имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни.

2. Широкое местное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей.

3. Самостоятельность мира, как экономической и административной единицы.

4. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений.

5. Национализация земли.

6. Национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства.
7. Замена постоянной армии земским ополчением.
8. Даровое начальное обучение.

Нам остается только сказать несколько слов о нашем отношении к другим русским партиям. В политической борьбе, т.-е. в борьбе за тот минимум свободы, который необходим нам для пропагитаторской и просветительной деятельности, мы надеемся действовать заодно с либералами, так как мы не можем расходиться с ними, требуя ограничения самодержавия и гарантии личных прав. — Только в дальнейшем будущем нас разведут с ними наши социалистические и демократические убеждения.

Что касается до социал-демократов, то наши разногласия с ними кажутся нам очень несущественными и лишь теоретическими. Они сводятся к тому, что мы возлагаем больше надежды на непосредственный переход народного хозяйства в высшую форму и, придавая большое самостоятельное значение интеллигенции, считаем необходимым и полезным немедленное ведение политической борьбы с правительством.

На практике же, действуя во имя одних и тех же идеалов, одними и теми же средствами, мы убеждены, что всегда будем оставаться их ближайшими товарищами.

Примечание. Мы не претендуем как на безгрешность выставленных в этой программе положений, так и на безукоризненность ее внешней, литературной обработки, но мы убеждены, что при широкой, внепартийной критике она послужит связующим звеном для всех революционных сил, направит эти силы к достижению заветного идеала в дружной и братской работе.

Являясь террористической фракцией партии, т.-е. принимая на себя дело террористической борьбы с правительством, мы считаем нужным подробнее обосновать наше убеждение в необходимости и продуктивности такой борьбы.

Историческое развитие русского общества приводит его передовую часть все к более и более усиливающемуся разладу с правительством. Разлад этот происходит от несоответствия политического строя русского государства с прогрессивными, народническими стремлениями лучшей части русского общества. Эта передовая часть растет, совершенствуется и развивает свои идеалы нормального общественного строя, но вместе с этим усиливается и правительственное противодействие, выразившееся в целом ряде мер, имевших целью искоренение прогрессивного движения и завершившееся правительственным террором.

Но жизненное движение не может быть уничтожено, и когда у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, т.-е. к террору.

Террор есть, таким образом, столкновение правительства с интеллигенцией, у которой отнимается возможность мирного, культурного воздействия на общественную жизнь. Правительство игнорирует потребности общественной мысли, но они вполне законны, и интеллигенцию, как реальную общественную силу, имеющую свое основание во всей истории

своего народа, не может задавить никакой правительственный гнет. Реакция может усиливаться, а с ней и угнетенность большей части общества, но тем сильнее будет проявляться разлад правительства с лучшей и наиболее энергичной частью общества, все неизбежнее будут становиться террористические акты, а правительство будет оказываться в этой борьбе все более и более изолированным. Успех такой борьбы несомненен. Правительство вынуждено будет искать поддержки у общества и уступить его наиболее ясно выраженным требованиям. Такими требованиями мы считаем — свободу мысли, свободу слова и участие народного представительства в управлении страной. Убежденные, что террор всецело вытекает из отсутствия даже такого минимума свободы, мы можем с полной уверенностью утверждать, что он прекратится, если правительство гарантирует выполнение следующих условий:

1. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений.

2. Созыв представителей от всего народа, выбранных свободно прямой и всеобщей подачей голосов, для пересмотра всех общественных и государственных форм жизни.

3. Полная амнистия по всем государственным преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, а исполнение гражданского долга.

Признавая главное значение террора, как средства вынуждения у правительства уступок путем систематической его дезорганизации, мы нисколько не умаляем и других его полезных сторон. Он поднимает революционный дух народа, дает непрерывное доказательство возможности борьбы, подрывая обаяние правительственной силы, он действует сильно пропагандаторским образом на массы. Поэтому мы считаем полезной не только террористическую борьбу с центральным правительством, но и местные террористические протесты против административного гнета. В виду этого строгая централизация террористического дела нам кажется излишней и трудно осуществимой. Сама жизнь будет управлять его ходом и ускорять или замедлять его по мере надобности. Сталкиваясь со стихийной силой народного протеста, правительство тем легче поймет всю неизбежность и законность этого явления, чем скорее сознает оно свое бессилие и необходимость уступок.

С подлинным верно.

Директор Департамента *Дурново.*

ЗАЯВЛЕНИЕ ОСИПАНОВА, ПОДАННОЕ ИМ ЛИЦАМ, ВЕДУЩИМ СЛЕДСТВИЕ.[1]

По своимъ основымъ убѣжденіямъ я соціалистъ. Я отношусь отрицательно къ существующему общественному строю и стремлюсь къ осуществленію иного, болѣе справедливаго, при которомъ каждый труд-

---

[1] Подавая приводимое заявление, Осипанов указал, что считал бы правильным высказать эти свои взгляды на суде, но не уверен, будет ли предоставлена ему возможность сделать это. *А. Е.*

щійся членъ общества имѣлъ бы полное право на продукты своего труда и тѣмъ самымъ былъ бы обезпеченъ матеріально, на одинаковое съ прочими образованіе и участіе въ управленіи, словомъ, каждый имѣлъ бы возможность и средства для своего умственнаго, нравственнаго и физическаго развитія. Земля и орудія производства, при такомъ общественномъ устройствѣ, должны считаться собственностью общества и быть въ пользованіи только тѣхъ, кто будетъ непосредственно прилагать къ нимъ свой трудъ, самая же организація труда должна быть основана на началахъ ассоціаціи. Желающій производить отдѣльно долженъ дѣлать это безъ помощи наемнаго труда, который при такой общественной организаціи не допускается. Относительно этихъ принциповъ общественнаго строя солидарны между собою соціалисты всѣхъ оттѣнковъ, расходясь по другимъ пунктамъ, напр., относительно политической организаціи, религіи, отношенія половъ между собою. Относительно политической организаціи большинство русскихъ соціалистов придерживается началъ федерализма; относительно религіи всѣ признаютъ полную вѣротерпимость и религіозныя убѣжденія считаютъ личнымъ дѣломъ каждаго, такъ что ходячія обвиненія, обращаемыя къ намъ, будто мы желаемъ, въ своемъ будущемъ обществѣ, водворить обязательный для всѣхъ атеизмъ, идемъ противъ Бога и т. п., не имѣютъ за собой никакого основанія. Что касается до устройства семейныхъ отношений, то относительно этого пункта существуютъ различные взгляды; нѣкоторые, въ томъ числѣ и я, раздѣляютъ то мнѣніе, что характер будущих семейныхъ отношеній нельзя предначертать заранѣе въ деталяхъ, да къ этому и не представляется надобности. Могу сказать только, что я не встрѣчалъ ни одного изъ русскихъ соціалистовъ, который бы стоялъ за «общность женъ», неограниченный просторъ животныхъ инстинктовъ и т. п. вещи, составляющія содержаніе направляемыхъ противъ насъ обвиненій. Таковъ, въ общихъ чертахъ, мой идеалъ общественнаго устройства, наиболѣе удовлетворяющій требованіямъ истины и справедливости. Всматриваясь въ существующій общественный строй, я замѣчаю полное противорѣчіе между нимъ и моимъ идеаломъ. Я вижу, что большинство членовъ его, будучи наиболѣе обременено трудомъ, часто непосильнымъ, разрушающимъ здоровье, получаетъ наименѣе благъ, какъ духовныхъ, такъ и матеріальныхъ; оно лишено возможности дать порядочное образованіе и воспитаніе своимъ дѣтямъ, обречено весьма часто на нищету, отъ которой развращается нравственно и вырождается физически. Другая же часть, меньшинство, живя на готовомъ, не трудясь, заражается всѣми пороками, происходящими отъ праздности. Средній между этими типъ будутъ трудящіеся, пользующіеся относительнымъ достаткомъ, но трудъ ихъ, большею частью, направляется на эксплуатацію, въ той или другой формѣ, темнаго, невѣжественнаго и бѣднаго люда. Такимъ образомъ даже самый трудъ, при существующихъ формахъ общественной жизни, не облагораживаетъ, а развращаетъ личность, делаетъ ее глухой и безчувственной къ страданіямъ ближнихъ. Словомъ, условія современной жизни благопріятствуют развитію въ человѣкѣ личнаго расчета, эгоизма, лицемѣрія, приниженности — съ одной стороны, и наклонности къ личному произволу — съ другой. Доискиваясь причинъ этихъ явленій, я нахожу, что причины эти заключаются въ томъ, что

современная жизнь основана не на вышеизложенныхъ принципах соціализма, а на противоположныхъ имъ. Разъ я созналъ это, я долженъ стремиться ввести соціалистическія начала въ современную жизнь; перестроить ее сообразно этимъ началамъ. Стремленіе это, переходя въ страстное желаніе, становится для меня нравственнымъ долгомъ, главною задачею моей жизни. Съ этого момента я уже выхожу изъ области чистой теоріи и вступаю въ область практики. Я изыскиваю средства, помощью которыхъ я могу содѣйствовать осуществленію своихъ идеаловъ. Могучимъ средствомъ для достиженія этой цѣли является пропаганда соціалистическихъ принциповъ въ обществѣ и главнымъ образомъ среди рабочихъ массъ, какъ наиболѣе терпящихъ отъ существующихъ формъ жизни. Я объясняю рабочему, что ему жить тяжело, потому что таковы основанія современной общественной жизни, такія-то и такія-то; что если измѣнить жизнь сообразно началамъ соціализма, то ему жить станетъ лучше. Я гласно и открыто критикую при этомъ основанія современного общественного строя и признаю за собою неотъемлемое нравственное право на подобную критику. Во имя чего я долженъ поступиться этимъ правомъ? Во имя писаннаго закона? Но законъ не можетъ служить верховнымъ критеріумомъ въ рѣшеніи вопросовъ нравственного порядка. Законы измѣняются, и измѣняются именно подъ вліяніемъ критической мысли. Рабство съ незапамятныхъ временъ считалось священнымъ, неприкосновеннымъ институтомъ общественной жизни. Явилась критика, подорвала нравственныя основанія этого института, вошла въ сознаніе людей, и институтъ палъ, хотя былъ освященъ закономъ. Слѣдовательно, общественное благо требуетъ, чтобы не критическая мысль регулировалась закономъ, а, наоборотъ, законъ долженъ сообразоваться съ требованіями критики, поскольку она выражаетъ начала справедливости. Можетъ быть, я долженъ отказаться отъ своего права критики общественныхъ установленій въ виду того, что установленія эти традиціонны, — за нихъ мнѣніе народа? Но мнѣнія и традиціи народа, будучи принимаемы въ расчетъ, тоже не могутъ служить критеріумомъ справедливости общественныхъ учрежденій и сами не могутъ быть изъяты отъ критики. Традиціи и мнѣнія народа могутъ быть почтенны и истинны, и нелѣпы; для того, чтобы отличать одни от другихъ, уже требуется критическое къ нимъ отношеніе. Можетъ быть, я могу касаться второстепенныхъ установленій, но не имѣю права критиковать основныхъ началъ общества. Но рабство тоже считалось основнымъ институтомъ, и притомъ — кто судья въ вопросѣ, основной ли такой-то институтъ, или нѣтъ? Правительство, какъ выразитель преимущественно интересовъ высшихъ классовъ, должно иметь тенденцію придавать важное значеніе вообще всемъ институтамъ, согласнымъ съ интересами этихъ классовъ. Итакъ, и писанные законы, и традиціи, и основныя начала общественнаго устройства могутъ быть несогласными съ началами разума и нравственности и не удовлетворять требованіямъ времени, — устарѣть. Прогрессировать и совершенствоваться они могутъ только подъ вліяніемъ критической мысли, которая является такимъ образомъ самымъ мощнымъ двигателемъ прогресса; стало быть, стѣснять ея проявленіе — значитъ ставить человѣчеству преграды на пути къ своему счастью. Поэтому я при-

знаю за собой неотъемлемое право относиться критически ко всякимъ вѣрованіямъ и учрежденіямъ общественнымъ. Если я нахожу ихъ несогласными съ требованіями справедливости, я имѣю право открыто заявлять свое несогласіе путемъ устной или печатной пропаганды. Препятствующій мнѣ осуществлять это мое неотъемлемое право поступаетъ относительно меня несправедливо. Пока я борюсь за свой идеалъ только словомъ и убѣжденіемъ, несогласные со мною имѣютъ право, для противодѣйствія мнѣ, прибѣгать тоже къ слову и убѣжденію, но не болѣе. Если идеалъ общественнаго строя, который я пропагандирую, несправедливъ, неудобоисполнимъ или не окупаетъ тѣхъ жертвъ, которыя требуются для его осуществленія; — если при осуществленіи его общество будетъ представлять болѣе неудобствъ для своихъ членовъ, — доказывайте это, опровергайте меня публично, даже презирайте меня, но не препятствуйте мнѣ высказывать то, что я считаю истиной. Если я высказываю рабочему или крестьянину свое мнѣніе о причинахъ ихъ бѣдственнаго положенія, указываю причины эти въ основахъ современнаго общества, рисую имъ идеалъ иного общества, болѣе, по моему убѣжденію, согласнаго с законами правды, убѣждаю ихъ проникнуться моими стремленіями, сплотиться воедино и осуществить эти стремленія, — доказывайте имъ противное, что я ошибаюсь, что предлагаемый мною идеалъ общества несправедливъ, невозможенъ, не выгоденъ для нихъ, что стремленія мои безнравственны, нелѣпы, словом, доказывайте все, что угодно и какъ угодно, но не препятствуйте мнѣ высказывать свое мнѣніе, если я не прибѣгаю къ какимъ-либо насильственнымъ дѣйствіямъ, а ограничиваюсь только словомъ и убѣжденіемъ. Другимъ средствомъ для насъ служитъ организація рабочихъ союзовъ и забастовокъ, которые пріучаютъ рабочія массы с солидарному, единодушному содѣйствію, сплачиваютъ и организуютъ ихъ. Какое бы мы, соціалисты-революціонеры, ни придавали значеніе этимъ явленіямъ, съ какими бы цѣлями ни устраивали мы стачки рабочихъ и союзы ихъ, пока эти союзы и стачки преслѣдуютъ только свои чисто экономическія цѣли, пока они не сопряжены съ какимъ-либо насиліемъ, они должны имѣть право на существованіе. Почему, въ самомъ дѣлѣ, наниматели могутъ входить между собою въ соглашеніе для установленія цѣнъ на рабочій трудъ, на товаръ, могутъ стремиться къ повышенію цѣнъ на товары, тогда какъ рабочіе, отказывающіеся работать за низкую плату и требующіе болѣе высокой, рассматриваются закономъ, какъ правонарушители? Изъ всего сказаннаго будутъ понятны основанія и другихъ нашихъ требованій: свобода сходокъ, съѣздовъ, прессы, общественныхъ библіотекъ и пр. Я и мои товарищи, разумѣется, желали бы осуществить свой идеалъ общественнаго устройства безъ кровавыхъ мѣръ; но такъ какъ этому осуществленію будутъ препятствовать тѣ общественныя группы, которымъ существующій порядокъ выгоденъ, и при этомъ къ нимъ, вѣроятно, присоединятся многіе изъ другихъ общественныхъ слоевъ по недостаточному пониманію своихъ интересовъ, то мы на мирный способъ рѣшенія соціальнаго вопроса не надѣемся и разсчитываемъ доставить окончательное торжество нашему дѣлу путемъ революціи. Мы не просто соціалисты, но соціалисты-революціонеры. Мы нисколько не думаем скрывать, что требуемыя нами свободныя учрежденія, какъ ихъ принято

называть, нужны намъ главнымъ образомъ для болѣе скораго и успѣшнаго совершенія революціи. Революція сама по себѣ есть зло, но зло это должно окупиться безчисленными благами будущихъ поколѣній, освобожденныхъ отъ тяготѣющаго на нихъ в настоящее время гнета, поэтому мы желаемъ революціи, стремимся вызвать ее и, между прочимъ, съ этой точки зрѣнія смотримъ на свободныя учрежденія. Но свободныя учрежденія имѣютъ и другія основанія на свое существованіе, приведенныя, в общихъ чертахъ, мною выше, — основанія, вытекающія изъ общихъ началъ истины и справедливости. Что мы прилагаем къ этимъ учрежденіямъ свою спеціальную точку зрѣнія, сущность дѣла не мѣняется — и грамотность, и науку мы можемъ оцѣнивать, между прочим, с точки зрѣнія спеціально нашей, революціонной, тѣмъ не менѣе из этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы грамотность и наука подлежали упраздненію, ибо они основываются на другихъ, болѣе общихъ принципах. Итакъ, соціалисты-революціонеры, какъ и всѣ другіе люди, какихъ бы убѣжденій они ни были, имѣютъ, или должны имѣть, право безпрепятственно пропагандировать свое ученіе, и пока они ограничиваются только пропагандой, не примѣшивая къ этому какихъ-либо насильственныхъ дѣйствій, они должны быть неприкосновенны; противъ нихъ противники ихъ имѣютъ право бороться только путемъ теоріи, убѣжденія, ибо они, революціонеры, основываютъ свое право пропаганды на великомъ и всеобщемъ принципѣ — свободѣ критической мысли. Разъ имъ препятствуютъ пользоваться этимъ неотъемлемымъ правомъ человѣческой личности, разъ посягают на это высшее благо человѣка — свободное проявленіе разума, они въ правѣ принять всѣ мѣры, испытать всѣ средства, даже самыя крайнія, для защиты своей нравственной личности. Первыми нападаютъ не они, они — сторона защищающаяся, а при защитѣ, и особенно при защитѣ столь важнаго предмета, как нравственное бытіе человѣка, позволительны даже и крайнія средства, если другія, болѣе мягкія, не достигаютъ цѣли. Вотъ изъ такихъ соображеній исхожу я при апологіи террористическихъ дѣйствій. Однако апологія эта теряетъ значительную долю своей силы вслѣдствіе того, что я разсуждаю слишкомъ обще и теоретично. Я выразился, например: намъ препятствуютъ пользоваться правомъ на свободное выраженіе своихъ мнѣній. Этими словами я не даю даже приблизительнаго понятія о томъ, что намъ приходится пережить и перечувствовать в дѣйствительности, въ какихъ чудовищныхъ формахъ является это стѣсненіе свободы слова на практикѣ. Я могъ бы представить великое множество самыхъ характерныхъ иллюстрацій на эту тему изъ русской дѣйствительности; но не сдѣлаю этого, такъ какъ боюсь увлечься и никогда не кончить. Обращаю вниманіе только на одно обстоятельство. Когда въ высшихъ правительственныхъ сферахъ вводится въ практику какая-нибудь мѣра, — напр., поставленіе въ обязанность сельскимъ властямъ слѣдить за благонадежностью обывателей, — авторы подобнаго распоряженія, безъ сомнѣнія, достаточно отличаютъ благонадежное отъ неблагонадежнаго. Но различаютъ ли это сельскія власти? Какъ они понимаютъ слова: неблагонадежный, пропаганда, соціализмъ и проч., и какой видъ приметъ изданное распоряженіе послѣ того, какъ оно пройдетъ сквозь призму пониманія урядника, станового и будетъ примѣняться на прак-

тикѣ къ живымъ людямъ? Люди, вращающіеся только въ отдаленныхъ отъ дѣйствительной жизни сферахъ, никогда не поймутъ этого во всей реальности и полнотѣ; для такого пониманія необходимо жить въ той дѣйствительности, тѣхъ слояхъ общества, въ которыхъ задуманныя мѣропріятія прилагаются на дѣлѣ. Итакъ, на репрессіи правительства мы отвѣчаемъ терроромъ. Мы надѣемся, что правительство уступитъ, если терроръ будетъ примѣняться нами систематически. Какія основанія для подобныхъ надеждъ можетъ имѣть партія «Народной Воли», представляющая изъ себя, по общепринятому въ правительственныхъ кругахъ мнѣнію, не болѣе какъ горсть злоумышленниковъ? Повторяя систематически покушенія на жизнь Государя, какъ высшаго выразителя и носителя правительственной идеи, мы этимъ самымъ выводимъ недовольные элементы общества изъ апатіи, побуждаемъ ихъ къ активности, на дѣлѣ доказываемъ, что какъ бы ни были суровы условія жизни современнаго политическаго режима, борьба противъ него все же возможна. Съ другой стороны, покушенія эти не могутъ такъ или иначе не дѣйствовать на народныя массы, возбуждать въ этихъ массахъ интересъ къ событіямъ внутренней жизни, выводить ихъ изъ инертнаго состоянія. Одновременно съ террористическими фактами ведется пропаганда въ народѣ, уясняющая ему смыслъ этихъ фактовъ, побуждающая его самого принять участіе въ активной борьбѣ съ правительствомъ за дѣло своего освобожденія. Разъ человѣкъ изъ народа уяснитъ себѣ смыслъ и значеніе борьбы революціонной партіи съ правительствомъ, партія эта пріобрѣтаетъ въ его глазахъ тѣмъ большій вѣсъ, чѣмъ энергичнѣе она проявляетъ себя въ борьбѣ. Пропаганда не ограничивается однимъ уясненіемъ значенія террористическихъ фактовъ въ глазахъ народа; она рекомендуетъ взять эти факты за образецъ, побуждаетъ его составлять въ своей средѣ организованныя группы, боевыя дружины для борьбы съ эксплуатирующими его и ненавистными ему лицами. Эти боевыя группы, проникнутыя духомъ и стремленіями соціализма, по мѣрѣ своего размноженія и развитія могутъ представить изъ себя весьма важнаго союзника для партіи «Народной Воли» въ ея борьбѣ съ правительствомъ, дадутъ ей возможность все болѣе и болѣе расширять кругъ своихъ наступательныхъ дѣйствій, пока, наконецъ, она не сочтетъ возможнымъ взять на себя иниціативу всеобщаго, массоваго, открытаго возстанія. Если результатомъ этого возстанія будетъ побѣда партіи, она приступитъ къ приведенію въ исполненіе своей программы, стараясь, чтобъ было какъ можно менѣе жертвъ и проявленій насилія, насколько этого возможно избѣжать, имѣя дѣло съ разбушевавшимися стихіями. Подобный ходъ дѣла возможенъ, конечно, при одномъ условіи: если мы успѣемъ внести въ сознаніе народа соціалистическія и революціонныя стремленія и подорвать въ немъ вѣру въ царя. На такой успѣхъ уже и теперь располагаютъ надѣяться нѣкоторыя данныя, какъ несомнѣнное броженіе, замѣчаемое въ народѣ, выражающееся, напр.: во всеобщемъ стремленіи переселяться; большая отзывчивость къ пропагандѣ, замѣчаемая вездѣ почти, гдѣ таковая ведется, — волненія, стачки и т. п. Разумѣется, всѣ эти симптомы доказываютъ только, несомнѣнно, тотъ фактъ, что народъ настоящаго времени гораздо менѣе инертенъ, чѣмъ, напр., въ началѣ 70-хъ годовъ, во времена пресловутаго хожденія въ народъ,

но отнюдь не доказываютъ, чтобы онъ проникся соціально-революціонными стремленіями и утерялъ свои монархическія чувства (хотя и они уже не такъ сильны, какъ прежде). Въ этомъ послѣднемъ направленіи намъ предстоитъ еще немало работы. Наши противники думаютъ даже, что монархическія чувства такъ сильны и глубоки въ народѣ, вѣра его въ царя такъ безпредѣльна, что всѣ усилія революціонеровъ ослабить эту вѣру и чувства останутся тщетными. Они должны думать, что наши заговоры и покушенія опасны только сами по себѣ, могутъ вызвать временное затрудненіе, противъ котораго достаточно однихъ полицейскихъ мѣръ, но не вызовутъ массоваго возстанія. Я полагаю, что наши противники въ этомъ случаѣ ошибаются. Въ томъ и заключаются, по моему мнѣнію, достоинства нашей программы, что она даже въ этомъ, худшемъ изъ двухъ возможныхъ случаевъ, не терпитъ окончательнаго крушенія. Допустимъ, что вѣра и упованія народныя относительно царя не ослабнутъ. Но народъ страстно желаетъ земли и облегченія тягостей; онъ всѣ бывшія покушенія объясняетъ себѣ такъ, что царь-де желаетъ надѣлить народъ землей и даровать ему разныя блага, но этому мѣшаютъ «господа», которые ни за что не соглашаются подѣлиться землей и даже не прочь «воротить на старое», т.-е. возстановить что-нибудь въ родѣ бывшаго крѣпостнаго права, когда «на собакъ мѣняли». Вотъ, чтобы не допустить царя до исполненія своего желанія, они и устраиваютъ заговоры, для чего подущаютъ студентовъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, объяснялись покушенія на жизнь покойнаго Государя. Послѣ того, разумѣется, были сказаны извѣстныя слова волостнымъ старшинамъ въ Маѣ 1883 года; но что если подобныя мнѣнія еще продолжаютъ держаться,—какое дѣйствіе, въ этомъ случаѣ, произведутъ на народъ послѣдующія покушенія? Не заставятъ ли они его подняться во имя царя, особенно если принять въ соображеніе несомнѣнный фактъ броженія въ народѣ? Если такое возстаніе способно будетъ принять широкіе размѣры, революціонерамъ, какъ я думаю, останется только одинъ путь: смириться съ фактомъ и постараться воспользоваться имъ въ духѣ своей программы, внести въ это возстаніе соціалистическія тенденціи,— словомъ, насколько возможно, взять его въ свои руки. Но взять въ руки такой, чисто стихійный и внезапный взрывъ весьма трудно; возставшій народъ будетъ руководствоваться болѣе всего своими собственными инстинктами, — уничтожать, рѣзать и жечь, что попало. Будетъ масса совершенно безплодныхъ убійствъ и разрушеній, будутъ уничтожены многія блага цивилизаціи и науки. Мы никогда не хотѣли и не хотимъ уничтоженія этихъ благъ, мы стремимся, напротивъ, къ такому порядку вещей, чтобы блага эти сдѣлались достояніемъ всѣхъ рабочихъ массъ, а не исключительно одного привилегированнаго меньшинства. Мы, равнымъ образомъ, не жаждемъ безполезныхъ убійствъ и пролитія крови, а допускаемъ ихъ, только будучи поставлены въ невозможное положеніе и притомъ платя за одну чужую голову десятками своихъ собственныхъ. Поэтому мы не симпатизировали и не можемъ симпатизировать подобному типу революціи. Если бы было иначе, если бы мы ему сочувствовали, мы, вѣроятно, давно бы успѣли вызвать подобную революцію. Чигиринскій заговоръ не встрѣтилъ сочувствія среди революціонеровъ, но онъ весьма поучителенъ. Онъ ясно показываетъ, что 10 — 15 человѣкъ этимъ

путемъ могутъ втянуть въ заговоръ чуть не полъ-уѣзда, съ соблюденіемъ при этомъ тайны. Что же было бы, если бы цѣлая организація повела такое дѣло въ болѣе широкихъ размѣрахъ? Что если бы партія разослала прокламаціи съ тѣмъ же содержаніемъ, какое имѣли прокламаціи 1881 г. Марта 3-го, но не отъ имени Исполнительнаго Комитета, а отъ имени царя, въ видѣ «золотыхъ грамотъ» съ обращеніемъ отъ царя къ народу такого рода, что я-де желаю даровать вамъ то-то и то-то, но мнѣ мѣшаютъ землевладѣльцы, купцы, фабриканты, — съ приглашеніемъ составлять боевыя дружины подъ руководствомъ посланныхъ отъ него людей и т. п.? Борьба съ нами, при такомъ веденіи дѣла, была бы несравненно труднѣе, ибо мы въ самое короткое время пріобрѣли бы приверженцевъ среди всѣхъ разновидностей простого народа, крестьянъ, рабочихъ, солдатъ, дворниковъ, низшихъ полицейскихъ агентовъ и проч. Революція, при такомъ веденіи дѣла, могла бы быть вызвана, какъ я думаю, въ сравнительно короткое время, но потому-то она и не желательна: въ короткій срокъ партія не въ состояніи пріобрѣсти настолько вліянія въ народѣ, чтобы руководить имъ и сдерживать его разбушевавшіеся инстинкты. Хотя многія, и притомъ довольно важныя, задачи партіи (напр., экспропріація земельной собственности) были бы достигнуты и при такомъ типѣ революціи, тѣмъ болѣе, что параллельно съ подобными пріемами могутъ дѣйствовать и старые, т.-е. пріемы настоящаго времени. Каковъ бы ни былъ типъ революціи, но заговоры будутъ повторяться. Изъ стомилліоннаго населенія, во всякомъ случаѣ, найдется группа людей, могущая взять на себя совершеніе подобнаго дѣла, и чѣмъ дальше, тѣмъ съ бо́льшею легкостью, принимая въ соображеніе совершенствованіе техники разрывныхъ снарядовъ и увеличивающуюся, послѣ каждаго предпріятія, опытность революціонеровъ. На бдительность полицейскаго надзора вполнѣ разсчитывать нельзя. Наша неудача ничего не доказываетъ, ибо она обусловливалась отчасти случайными причинами. Нашъ планъ первоначально былъ не таковъ, какой былъ дѣйствительно принятъ впослѣдствіи, благодаря полученному нами извѣстію, что Государь 3-го Марта намѣренъ выѣхать въ Гатчину и оттуда, быть можетъ, отправится путешествовать. Это извѣстіе заставило насъ спѣшить приведеніемъ въ исполненіе заговора и ходить изо дня въ день по нѣсколько часовъ сряду по Невскому проспекту, что легко могло броситься въ глаза полицейскимъ агентамъ, какъ мы и сами сознавали. Нельзя разсчитывать, чтобы подобныя случайныя препятствія всегда представлялись на пути заговора. Пока будетъ продолжаться настоящая система внутренней политики, въ людяхъ, способныхъ на цареубійство, недостатка не будетъ. Система эта и порождаетъ такихъ людей. Я, по крайней мѣрѣ, по своимъ природнымъ наклонностямъ, всегда чувствовалъ влеченіе къ пропагаторской дѣятельности. Пропагандировать свои идеи, видѣть, какъ подъ ихъ вліяніемъ человѣкъ начинаетъ перерождаться, освобождаться отъ узкополитическихъ вожделеній и проникаться высшими, альтруистическими стремленіями, — для меня всегда было великимъ удовольствіемъ. И я, безъ сомнѣнія, и остался бы пропагандистомъ, если бы не внѣшнія, невозможно стѣснительныя условія пропаганды, какъ и вообще всякой дѣятельности, несогласной съ видами правительства, хотя бы она не заключала въ себѣ ничего прямо

*

революціоннаго, напр., устройство рабочихъ библіотекъ изъ дозволенныхъ цензурою книгъ и т. п. Преслѣдованія всѣхъ, сколько-нибудь свободомыслящихъ, людей, закрытія газетъ и журналовъ, политическіе процессы, въ которыхъ люди присуждаются къ тяжкимъ наказаніямъ и отчеты о которыхъ не даютъ сколько-нибудь обстоятельнаго понятія, за что осуждены эти люди, изъятія изъ библіотекъ чуть не всѣхъ порядочныхъ книгъ, даже чисто научныхъ, какъ геологія Ляйэля, Агассица; стѣсненія, какимъ подвергается учащаяся молодежь, — все это не могло не озлобить меня, такъ что я, наконецъ, пришелъ къ мысли самому совершить цареубійство. Лѣтомъ 1886 года рѣшеніе это настолько созрѣло, что я подалъ прошеніе въ С.-Петербургскій Университетъ, куда и перевелся осенью. Я разсчитывалъ стрѣлять изъ пистолета съ отравленными мелкими пулями (или дробью) или изъ револьвера. Для этого я считалъ необходимымъ имѣть помощниковъ, которые бы слѣдили за выѣздами Государя и дали мнѣ возможность выбрать удобный для произведенія покушенія моментъ. Съ цѣлью разыскать такихъ помощниковъ, я сталъ заводить знакомства. Считаю нужнымъ замѣтить, что я ровно никому не говорилъ о своемъ намѣреніи совершить цареубійство, и изъ моихъ знакомыхъ никто не мог даже подозрѣвать объ этомъ. Нѣкоторымъ я высказывалъ желаніе заняться пропагандой среди рабочихъ или типографскими работами и просилъ ихъ свести меня съ лицами, которыя могли бы помочь мнѣ в этомъ. Среди этихъ лицъ я и разсчитывалъ найти подходящихъ людей, которымъ только однимъ намѣренъ былъ открыть свой замыселъ. Поиски мои нѣкоторое время оставались тщетными, отчасти потому, что я потерялъ тѣ связи, на которыя надѣялся, отправляясь въ Петербургъ, но, наконецъ, уже въ исходѣ осени, я узналъ, что два человѣка имѣют намѣреніе предпринять что-нибудь въ «террористическомъ родѣ». Съ этими людьми я познакомился, и мы рѣшили сперва так, что я буду стрѣлять и мнѣ будут даны помощники для слеженія за выѣздомъ Государя, и если удастся найти другое лицо, согласное стрѣлять, то стрѣлять вдвоемъ. Сколько припоминаю, чуть ли не тутъ впервые и зашла рѣчь о пистолетѣ съ отравленной дробью, раньше же, кажется, я разсчитывалъ только на револьверъ. Впрочемъ не помню. Рѣшили искать подходящих людей, но вскоре этотъ первый планъ нашъ былъ измѣненъ, разросся въ болѣе обширный заговоръ, въ которомъ принялъ участіе, между прочимъ, и я. Этимъ я могу закончить свое заявленіе. Я хорошо сознаю, что далъ въ немъ слишкомъ много мѣста разсужденіямъ чисто теоретическаго свойства, которыя, можетъ быть, было бы болѣе у мѣста высказать въ изустныхъ объясненіях на судѣ, но я не имѣю твердой увѣренности, что там мнѣ дана будетъ возможность высказаться хоть сколько-нибудь обстоятельно. Между тѣм идеи и соображенія, которыя я привелъ въ этомъ заявленіи, руководили моими поступками, составляли завѣтную часть моего нравственнаго бытія и слишкомъ для меня дороги, чтобы я отказался высказать ихъ, если представляется к этому какая-либо возможность. Этимъ, я полагаю, достаточно объясняется характеръ моего настоящаго заявленія. Считаю нужным возстановить слѣдующее обстоятельство, упущенное при составленіи протокола о моемъ арестѣ: когда я был приведенъ въ Жандармское Управленіе въ комнату,

гдѣ меня подвергли раздѣванью, я бросилъ находившійся въ моихъ рукахъ снарядъ съ цѣлью произвести взрывъ. Такъ какъ это событіе случилось уже довольно давно, то я постараюсь подробно возстановить ходъ дѣла. При задержаніи меня на Невском проспектѣ, полицейскіе агенты, Тимофеевъ и Варламовъ, обыскали только мои карманы съ цѣлью, какъ они говорили, узнать, нѣтъ ли тамъ револьвера, но не обратили никакого вниманія на книги. Изъ этого я заключилъ, что меня не должны подозрѣвать въ намѣреніи бросить снарядъ, и что о нашемъ замыслѣ полиціи, вѣроятно, ничего не извѣстно, а также, можетъ быть, неизвѣстно пока и о моихъ сотоварищахъ, тѣмъ болѣе, что я не видѣлъ, чтобы кого-либо изъ нихъ арестовали, а сѣвши на извозчика, даже замѣтилъ проходившаго мимо меня Канчера. Когда меня привезли въ Управленіе, мы стали подниматься по какой-то узкой и глухой лѣстницѣ, делавшей завороты. Тутъ мнѣ пришла мысль, что если я произведу взрывъ, то могу этимъ оттянуть на нѣкоторое время раскрытіе заговора и дать этимъ возможность Андреюшкину и Генералову привести его къ концу и, кромѣ того, убить двух агентовъ, которые, какъ я думалъ, могли заподозрить не только меня, но и моихъ товарищей и впоследствіи арестовать ихъ. Вообще, я полагалъ, что взрывомъ могу замести хотя первые слѣды, повредить же дѣлу не могу. Съ этой цѣлью, будучи еще на лѣстницѣ, я потянулъ за бичевку, отчего должна была порваться бумажная перегородка, но потянулъ так сильно, что веревка порвалась, произведши нѣкоторый звук. Тимофеевъ и Варламовъ, ведшіе меня въ это время подъ руки, как видно, услышали этотъ звукъ, но не поняли, въ чемъ дѣло, и только сильнѣе стали держать меня подъ руки, вслѣдствіе чего я не имѣлъ возможности бросить снарядъ такъ, какъ это требовалось его устройствомъ. Но когда меня привели, черезъ какой-то коридор, въ комнату, гдѣ за столомъ сидѣлъ полицейскій офицеръ, и отпустили мнѣ руки, я бросилъ снарядъ шагахъ въ трехъ отъ себя на полъ, подбросивши его, сколько помню, нѣсколько выше уровня моего роста. Снарядъ падалъ корешком кверху и наискось, т.-е. въ положеніи, благопріятномъ для произведенія взыва, но взрыва не последовало. Полицейскій офицеръ вздрогнулъ, но не обратилъ на это вниманія, и только спустя минуту или двѣ послѣ паденія снаряда одинъ изъ агентовъ поднялъ его, поднесъ зачемъ-то къ уху и, понявши, повидимому, въ чемъ дѣло, передалъ его, кажется, тому же офицеру. Кромѣ насъ троихъ въ этой комнатѣ, въ моментъ бросанія снаряда, кажется, никого не было. Во время составленія протокола капитаномъ Ивановымъ я напомнилъ ему объ этомъ происшествіи, онъ мнѣ что-то ответилъ, чего я не разслышалъ или не помню, и я не сталъ настаивать далѣе, такъ какъ не придавалъ въ то время этому обстоятельству значенія, какое придаю теперь, даже и упомянулъ-то Иванову о фактѣ бросанія какъ-то машинально. Упомянулъ я Иванову объ этомъ обстоятельствѣ уже послѣ того, какъ онъ составилъ протоколъ и прочелъ его мнѣ, и упомянулъ въ такомъ смыслѣ, что я-де бросилъ снарядъ, не прибавляя к этому о цѣли этого бросанія. Полицейскій же офицеръ, къ которому привели меня Тимофеевъ и Варламовъ, такъ и понялъ мой поступокъ, какъ онъ долженъ быть понимаемъ, т.-е. что я имѣлъ намѣреніе произвести взрывъ. Во всемъ этомъ дѣлѣ важно констатировать одно обстоятель-

ство: была ли порвана бумажная, пропитанная парафиномъ, перегородка, когда я тянулъ за бичевку, или же порвалась только бичевка. Если перегородка была порвана, то условія взрыва были налицо, такъ какъ я снарядъ бросилъ правильно. Если же, несмотря на это, взрыва не произошло, является вопросъ, насколько мой снарядъ вообще способенъ былъ взорваться. Я навѣрное знаю, что снаряды Андреюшкина и Генералова, по системѣ устройства и тщательности исполненія, ничѣмъ не превосходили мой. Андреюшкинъ, Генераловъ и я, конечно, были уверены, что снаряды должны произвести взрывъ; притомъ мы слишкомъ непосредственные участники предполагавшагося цареубійства, чтобы по отношенію къ намъ имѣлъ значеніе вопросъ о дѣйствительной опасности, представляемой снарядами. Но для другихъ участниковъ заговора, можетъ быть, имѣетъ значеніе и объективная сторона дѣла. Брошенная мною на лѣстницѣ бичевка состоитъ изъ двухъ связанныхъ между собою бичевокъ. Одна, входившая из трубки, — потоньше, къ ней же привязана другая, потолще; обѣ бичевки того рода, какой обыкновенно употребляется въ суровскихъ лавкахъ для завязыванья матерій. Толстая бичевка была закручена въ видѣ кольца, которое было скрѣплено ниточкой, чтобы не раскручивалось. Для того, чтобы порвать перегородку, нужно было потянуть за это кольцо. Въ какомъ мѣстѣ лѣстницы я бросилъ бичевку, хорошо не помню, — помню только, что это было сдѣлано не въ началѣ и не в концѣ ея, въ глухой и темной ея части.

С подлиннымъ вѣрно.

Директоръ Департамента *П. Дурново.*

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПО ДЕЛУ 1 МАРТА 1887 г.[1]

коим предается суду особого присутствия правительствующего сената для суждения дел о государственных преступлениях: 1) мещанин г. Томска, бывший студент С.-Петербургского университета Василий Степанов Осипанов, 26 лет; 2) государственный крестьянин станицы Медведовской, Кубанской области, бывший студент того же университета Пахомий Иванов Андреюшкин, 21 года, 3) казак Потемкинской станицы, Области Войска Донского, бывший студент С.-Петербургского университета Василий Денисьев Генералов, 20 лет; 4) сын надворного советника, бывший студент С.-Петербургского университета Михаил Никитин Канчер 21 года, 4) лохвицкий мещанин Степан Александров Волохов, 21 года; 6) дворянин Полтавской губернии, бывший студент С.-Петербургского университета Петр Степанов Горкун, 20 лет, 7) купеческий сын, бывший студент С.-Петербургского университета Петр Яковлев Шевырев, 23 лет; 8) сын действительного статского советника, бывший студент С.-Петербургского

---

[1] А.О.Р. Переменный фонд, инвентарный № 2911. Дело № 47, т. I, правительствующего сената особого присутствия для суждения дел о государственных преступлениях.

университета Александр Ильин Ульянов, 20 лет; 9) дворянин Виленской губернии, бывший студент С.-Петербургского университета Иосиф Дементьев Лукашевич, 23 лет; 10) дворянин Виленской губернии, бывший студент С.-Петербургского университета Бронислав Иосифов Пилсудский, 20 лет; 11) аптекарский ученик Тит Ильин Пашковский, 27 лет; 12) сын псаломщика, кандидат С.-Петербургской духовной академии Михаил Васильев Новорусский, 25 лет; 13) крестьянка, акушерка Мария Александровна Ананьина, 38 лет; 14) херсонская мещанка, акушерка Ревекка (Раиса) Абрамовна Шмидова, 22 лет, и 15) екатеринодарская мещанка, народная учительница Анна Адриановна Сердюкова, 27 лет.

---

1 марта 1887 года, около полудня, в С.-Петербурге, на Невском проспекте, полицейскими чинами, состоящими при отделении по охранению порядка и общественной безопасности в столице, были задержаны вследствие установленного за ними наблюдения шесть человек, из которых трое, назвавшиеся при задержании ложными именами и давшие ложные указания относительно своих квартир, имели при себе каждый по разрывному метательному снаряду, а у одного из них, кроме того, в левом кармане шинели оказался револьвер-бульдог центрального боя, заряженный шестью боевыми патронами. По доставлении в Канцелярию С.-Петербургского Градоначальника, один из арестованных, назвавшийся воронежским мещанином Василием Грановским и оказавшийся в действительности студентом С.-Петербургского университета Василием Генераловым, заявил, что имел при себе разрывной снаряд с целью бросить его под экипаж Государя Императора во время проезда Его Величества из дворца. Двое других арестованных из числа имевших при себе снаряды, оказались: назвавшийся Андреем Ивановым, имевший при себе, кроме того, револьвер, — студентом С.-Петербургского университета Пахомием Ивановым Андреюшкиным; задержанный же со снарядом, имевшим вид книги, назвавшийся тифлисским мещанином Иваном Ивановым — студентом С.-Петербургского университета Василием Степановым Осипановым. По обыске при названных лицах были, сверх того, найдены: при Осипанове печатная программа Исполнительного Комитета, стальная отвертка с деревянною рукояткою, а при Андреюшкине — письмо на имя Пахома Ивановича преступного содержания.

Остальные задержанные лица оказались студентами С.-Петербургского университета Михаилом Никитиным Канчером и Петром Степановым Горкуном и лохвицким мещанином Степаном Александровым Волоховым. При этом последнем был найден кусок стеклянной ваты (т. I, л. 4—7, 9, 29).

По осмотру означенных снарядов оказалось:

1) Что два из них, отобранные у Генералова и Андреюшкина, имеют вид цилиндров с эллиптическим основанием. Наружная оболочка обоих снарядов состоит из папки, оклеенной черным коленкором. В эти картонные футляры вставлено по одному железному цилиндру; к одному из этих двух снарядов, отобранному у Андреюшкина, прикреплена проволочная скоба, а к последней — черная шерстяная лента, около двух аршин длины, с проволочным крючком. Третий снаряд, с которым задержан Осипанов, имеет наружный вид книги, шириною около 4 верш., длиною около

6 верш. и толщиною $1\frac{1}{2}$ вершка, с выбитыми на корешке словами: «Терминолог. медицинский словарь Гринберга».

Книга эта в крепком переплете из толстой папки, оклеенной обыкновенною переплетною бумагою зелено-мраморного цвета; внутренность книги оказалась вырезанною, а оставленные края листов склеены между собой и свинчены 6 винтами с трех сторон: в образовавшееся, таким образом, пустое пространство внутри книги вставлена папковая коробочка, в которую помещена жестяная коробка, имеющая вид плоского продолговатого четырехугольника;

2) что промежутки между папками и жестяными цилиндрами и коробкою во всех трех снарядах наполнены свинцовыми жеребейками кубической формы, имеющими вид коробочек, в количестве 251 в одном, 204 — в другом и 85—в третьем снаряде, имеющем вид книги: эти жеребейки наполнены беловатого цвета веществом.

По исследовании затем составных частей этих снарядов, эксперт, профессор Михайловской артиллерийской академии, генерал-майор Федоров заключил:

1) что все эти снаряды одинакового устройства; находящиеся внутри этих снарядов жестяные цилиндры и жестяная коробка (в снаряде в виде книги) представляют собою вполне приготовленные метательные разрывные снаряды;

2) что по разряжении и взвешивании этих снарядов в них оказалось: в одном — 5 фунтов серого кремнистого динамита, в другом — 4 фунта белого магнезиального динамита и в третьем снаряде в виде книги — 3 фунта белого магнезиального динамита;

3) что находящееся внутри жеребеек белое вещество есть азотнокислый стрихнин;

4) что все эти снаряды годны к действию и динамит в них неиспорчен, и

5) что сфера безусловно смертельного действия, не считая разлета жеребеек, цилиндрических снарядов, была бы не менее двух сажен в диаметре, а снаряда в виде книги — не менее $1\frac{1}{2}$ сажен; разлет жеребеек мог быть саженей на 10 во все стороны, при чем самое незначительное поранение, нанесенное означенными отравленными жеребейками, повлекло бы за собою смерть (т. I, л. 29, 52, 153 — 156).

По обыскам, произведенным в квартирах вышеназванных шести лиц вслед за их задержанием, в квартирах Василия Генералова и Пахомия Андреюшкина были найдены, в значительном количестве, такого рода предметы и вещества, которые, по заключению эксперта, генерал-майора Федорова, представляют собой или составные части вышеозначенных разрывных метательных снарядов, или материалы, необходимые для изготовления составных частей тех же снарядов. Так, у Генералова в числе других вещей оказались: две жестяные трубки и папковый цилиндрик, предназначенный служить запалом при снаряде; на трубках усмотрены следы копоти, указывавшей на то, что они были в употреблении; 106 литых свинцовых коробочек такого же, приблизительно, формата, как и жеребейки, найденные в разрывных снарядах; около 4-х фунтов серого порошка, в виде земли, служащего для приготовления серого динамита;

26 медных винтиков, тождественных с теми, посредством которых привинчены крышки в цилиндрических разрывных снарядах; коробка с свинцовыми призмочками, внутренность коих, а отчасти и поверхность, оказались покрытыми атропином (т. I, л. 33, 53, 100—162). У Андрюшкина при обыске найдены две бутылки с серной кислотой, 8 бутылей с азотной кислотой, служащими для приготовления нитроглицерина, необходимого, в свою очередь, для изготовления динамита; баночка с белым порохом, тождественным с порохом, найденным в означенных разрывных снарядах; две унции азотнокислого стрихнина, найденного в свинцовых жеребейках, оказавшихся в разрывных снарядах, около 6 фунтов калиевой селитры, употребляемой для приготовления азотной кислоты, при посредстве которой изготовляется нитроглицерин; около 4 аршин стопина, употребляемого для дачи огня, при чем совершенно такой же стопин, как оказалось по осмотру, был употреблен во всех трех снарядах для передачи огня гремучей ртути (т. I, л. 32, 157—160).

Независимо от сего, при обыске у Генералова найдено около 5 фунтов типографского шрифта, двухствольный пистонный пистолет, назначавшийся, по объяснению обвиняемого, также для посягательства на священную особу Государя Императора в случае безуспешного действия разрывных снарядов, несколько брошюр революционного содержания и такого же содержания рукописи, из которых обращает на себя внимание рукопись, озаглавленная «Революционная интеллигенция в провинции. Юго-восток» (т. I л. 52—55, 125), в которой сообщается о положении революционных групп в трех городах, означенных буквами А, В и С, при чем в сведениях, относящихся к городу В, между прочим, говорится: «направление молодежи преимущественно террористическое; многие спрашивают, отчего замолкла Н. В.; кое-кто высказывает желание скорейшего устранения А. — III. Даже военные в массе недовольны реакцией, но они ограничиваются желанием посадить на престол кого-нибудь другого»...

При обыске у Андреюшкина также взята разная переписка, из которой обращает на себя внимание: 1) Его записная книжка. В одном месте этой книжки Андреюшкин, между прочим, пишет: «у них (повидимому речь идет о так наз. русских социал-демократах) слово расходится с делом». Видя причину разлада в «страхе бесплодных жертв», Андреюшкин добавляет: «каждая жертва полезна; если вредит, то не делу, а личности; между тем как личность ничтожна по сравнению с торжеством великого дела». 2) Письмо, начинающееся словами: «Значит такова уж моя судьба», подписано «П. Ив.». На обороте сего письма оказался писанный химическими чернилами текст, заключающий следующие выражения: Разобрали ли мое последнее письмо. О его содержании никому ни слова. Даже Рансе и Женьке: не их ума дело. Если дело не удастся в течение этих трех дней (до 3 марта), то или отложим, или поедем за ним» (т. I, л. 137).

По сличении почерка этого письма с несомненным почерком Андреюшкина эксперт признал, что как самое письмо, так и часть его, писанная химическими чернилами, писаны рукою Андреюшкина (т. I, л. 168).

При обыске в квартире Василия Осипанова были найдены: 1) три кусочка переплетной зелено-мраморного цвета бумаги со следами клея на оборотной стороне и 2) пузырек с густою бесцветною жидкостью (т. I, л. 300).

При сличении означенных кусочков бумаги с бумагой, которой оклеен переплет футляра разрывного снаряда, оказавшегося у Осипанова, экспертизою признано, что бумаги эти тождественны (т. II, л. 76); исследованием же через эксперта вещества, находившегося в пузырьке, установлено, что это серная кислота, весом около 2 унций (т. II, л. 171).

Наконец, осмотром через экспорта найденной у Степана Волохова стеклянной ваты установлено, что такая же вата была употреблена для приготовления запалов во всех трех метательных снарядах (т. I, л. 162).

Привлеченные к настоящему дознанию в качестве обвиняемых Пахомий Андреюшкин и Василий Генералов на допросе при дознании показали, что, принадлежа к террористической фракции партии Народной Воли, они 1 марта сего 1887 года вышли на Невский проспект, имея при себе метательные разрывные снаряды, с целью цареубийства. К этому обвиняемые объяснили: Андреюшкин (т. I, л. 13), что решился на это преступление после продолжительного размышления и что на его квартире приготовлялись некоторые составные части разрывных снарядов, конструкция которых ему знакома только теоретически. Генералов показал (т. I, л. 16), что, придя к заключению, что только одним террором можно достигнуть осуществления целей, к которым стремится партия Народной Воли, он предоставил себя в распоряжение означенной партии на всякий террористический факт, который бы он считал в этих целях полезным; что после того, как его единомышленниками было решено посягнуть на жизнь Государя Императора при помощи разрывных метательных снарядов, ему было предложено принять на себя выполнение этого замысла, на что он изъявил согласие и затем участвовал в изготовлении снарядов, а с 26 февраля вместе с Осипановым и Андреюшкиным выходил на Невский, выжидая случая бросить снаряд под экипаж Государя Императора, но ни разу не видал проезда Его Величества.

От дальнейших объяснений по обстоятельствам сего дела Андреюшкин и Генералов отказались.

Обвиняемый Василий Осипанов, привлекавшийся в 1882 г. в гор. Казани к дознанию о красном кресте партии Народной Воли, объяснил, что принадлежит к террористической фракции Народной Воли (т. I, л. 10, 41. 187; т. II, л. 200); что снаряд, с которым он был задержан, он имел намерение бросить под экипаж Государя Императора и что он перешел из Казанского университета в С. Петербургский, побуждаемый революционными целями. Относительно найденных у него при обыске предметов Осипанов объяснил, что отмычка служила для отвинчивания винтов, которыми прикреплялась крышка книги, составлявшей футляр для снаряда, а клочки темно-зеленой бумаги для заклеивания шляпок винтов. От всяких дальнейших объяснений по делу Осипанов отказался (т. I, л. 187).

Обвиняемый Степан Волохов, утверждая, что о готовившемся покушении на жизнь священной особы Государя Императора он вовсе не знал и что с Генераловым, Осипановым и Андреюшкиным знаком не был, объяснил, что отобранная у него стеклянная вата найдена случайно со склянкой и блюдечком в отхожем месте в Александровском парке (т. I, л. 22).

На допросе 2 и 3 марта обвиняемый Петр Горкун (т. I, л. 57—59), признав себя виновным в том, что, узнав случайно о готовившемся поку-

шении на жизнь Государя Императора, он принял участие в этом злоумышлении, и, выразив глубокое раскаяние во всем им содеянном, по обстоятельствам сего дела дал нижеследующее объяснение: Со времени прибытия своего в Петербург для поступления в университет в августе 1886 г. он поселился и жил на одной квартире с своим земляком, студентом Михаилом Канчером, которого с конца января сего 1887 года стал часто посещать студент Петр Шевырев. Однажды после посещения Шевырева, о чем-то беседовавшего с Канчером, последний объявил ему, Горкуну, что едет в Вильно, о чем просил никому не говорить. Вслед за отъездом Канчера, явился студент университета Ульянов осведомиться, уехал ли он. Горкун не помнит, сказал ли ему Канчер перед отъездом или по возвращении из Вильно о цели поездки своей в Вильно, но он знает от него, что Канчер ездил туда за азотной кислотой и деньгами. Через два дня по отъезде Канчера приехал Волохов, который целые дни проводил у них в квартире, ночевал же у разных знакомых. Дня через четыре Канчер возвратился и сообщил, что передал привезенное из Вильно Ульянову, встретившему его для этой цели на вокзале. После этого Шевырев стал давать Канчеру и ему, Горкуну, разные поручения, имевшие преступное значение. Так, однажды он поручил им купить полпуда серной кислоты, несколько банок и стеклянных колпаков и дал им на эти покупки деньги. Купив все эти предметы, он и Канчер отвезли их по адресу, данному Шевыревым, к проживавшему тогда на Малой Итальянской улице, в д. № 51, некоему Новорусскому. Последний, видимо, собиравшийся переезжать на другую квартиру, так как все вещи его были уложены в чемоданы, нисколько не удивился их приходу и, не вступая ни в какие с ними объяснения, взял от них все ими доставленное. После этого он, Горкун, еще раз отвозил к нему стеклянные колпаки, а Канчер—банки. Через несколько дней, он, Горкун, возвратясь домой, нашел у Канчера под кроватью бутыль с серной кислотой. В тот же день к ним пришел Шевырев и прямо отправился в спальню. За ним пошли Канчер и находившийся у них Волохов, и втроем вынесли из квартиры какой-то чемодан. Когда они вышли, он посмотрел под кровать Канчера и убедился, что бутыли уже там не было. Вскоре после этого к Канчеру зашел опять Шевырев и, переговорив с ним о чем-то наедине, при чем он слышал слово «покушение», ушел и более у них уже не был. В тот же или на другой день, Канчер сообщил ему, что готовится покушение на жизнь Государя Императора и что орудием для совершения преступления избраны метательные снаряды, предложил ему принять на себя «самую легкую — как выразился Канчер — роль разведчика». Не считая возможным отказаться, из боязни навлечь на себя подозрение в шпионстве, он, обвиняемый, согласился, и вскоре Канчер сообщил ему, что и Волохов принял на себя так же, как и он, участие в готовящемся злодеянии. Как кажется ему, 25 февраля вечером в квартире у них состоялась сходка с целью взаимного ознакомления участников преступления и установления плана действий. На сходку эту явились Андреюшкин, Осипанов и Генералов, с которыми он тут же впервые познакомился, Ульянов и Волохов. На этой сходке Осипанов, носивший кличку «Кот», предложил, между прочим, ему, Горкуну надеть на себя

пальто и шапку для того, чтобы он мог узнать его, Горкуна, в таком костюме на улице. Предполагалось выходить из дома в 11 час. утра на Невский проспект, по которому ходить в следующем порядке: по правой стороне Невского, считая от Адмиралтейской площади, должны были итти: он, Горкун, за ним Канчер, а за Канчером Осипанов, со снарядом в виде книги; по левой стороне Волохов, Андреюшкин и Генералов; последние двое с снарядами. Дойдя до Публичной библиотеки, они должны были поворотить назад, возвращаться в следующем порядке: Осипанов со снарядом, за ним Канчер, за Канчером он, Горкун, за ним Волохов, Андреюшкин и Генералов должны были итти по левой стороне со снарядами. Тогда же Ульянов сообщил, что снаряд, имевший вид книги, по силе действия слабее употребленных 1 марта 1881 года, но все-таки может разбросить на сажень. Затем, удаляясь с Осипановым в другую комнату, Ульянов разъяснил ему устройство этого снаряда. Когда сходка окончилась и Волохов, Андреюшкин и Генералов ушли, Ульянов заперся с Осипановым в спальне и читал ему программу партии «Народной Воли» с целью, как сообщал ему Канчер, дать Осипанову возможность подготовиться к объяснениям на суде. В тот же день Канчер сообщил ему, Горкуну, что решено выйти на Невский проспект для приведения в исполнение преступного замысла 26 февраля. В условленное время, в 12-м часу, он действительно видел на Невском Осипанова, со снарядом-книгой, а также Андреюшкина, Канчера и Волохова. Государя Императора они тогда не встретили, и к 2-м часам он, Горкун, был уже дома. 27 февраля они на Невский с целью выжидать проезда Его Величества, не выходили, а вечером в этот день Канчер сообщил ему, что решено выйти на Невский 28 февраля. В этот день они ходили все в условленном порядке, но он потерял из вида Осипанова и Канчера, а потому, переговорив с Андреюшкиным, они разошлись. В тот же день вечером Осипанов заходил к Канчеру, как он полагает, для того, чтобы сообщить о распоряжениях на 1 марта. 1 марта, по поручению Канчера, он отправился на Гороховую улицу следить, не проедет ли Государь Император в Исаакиевский собор, как говорил ему Канчер, а Волохов ходил с тою же целью по Большой Садовой, и каждый из них, в случае проезда Его Величества, должен был известить Канчера, ходившего на Невском. Пройдя до Семеновского моста, он возвратился на Невский, чтобы известить Канчера, что Государь Император не проезжал, но Канчера не нашел, и когда уже возвращался домой, то на Невском, около Малой Садовой, был задержан (т. I, л. 91).

Обвиняемый Михаил Канчер также признал себя виновным в том, что, зная о готовившемся покушении на жизнь Государя Императора, способствовал выполнению этого замысла тем, что передавал участникам злодеяния материалы для приготовления разрывных снарядов и следил за проездом Его Величества. При этом, отрицая принадлежность свою к революционному обществу и подтверждая все обстоятельства, изложенные в показании обвиняемого Петра Горкуна, до него относящиеся, Канчер разновременно объяснил, что однажды, в конце января 1887 года, по возвращении его с рождественских каникул в Петербург, Петр Шевырев, с которым он познакомился в октябре 1886 года в университете, ничего не говоря ему об умышленном злодеянии, просил его от-

правиться в Вильно за какими-то вещами и при этом сообщил, что ему, Канчеру, передадут также 100 р. денег. При этом Шевырев дал ему два адреса: один — Виленская улица, дом Апатова, в трактире спросить Елену, а у нее спросить Антона, а другой — дровяной рынок, дом Янковского, спросить студента Пилсудского, а у последнего спросить того же Антона. Хотя Шевырев на сделанном им чертеже объяснил ему, как найти Елену, но он адресом этим не воспользовался и, по прибытии в Вильно, обратился прямо к Брониславу Пилсудскому, которого знал по университету, тем более, что Шевырев вместе с адресом дал ему, Канчеру, к тому же Пилсудскому запечатанные записки. Пилсудский предложил ему свою квартиру и свел его на улице с Антоном, а сам на другой день уехал в Петербург. На 3-й день пребывания его, Канчера, в Вильно, брат Пилсудского, Иосиф, с которым он, Канчер, никаких разговоров о целях поездки своей не вел, сообщил ему, что его желает видеть Антон. В означенном месте, на Завальной улице, он встретился с Антоном, который просил ожидать его на той улице около 10 часов вечера. Придя в условленное время, он встретил Антона, который, познакомив его с каким-то человеком «с рыжей бородой», сам удалился, а он с этим «рыжим», по предложению последнего, поехал на Трокскую улицу. Около какого-то дома они остановились; «рыжий» вошел в ворота одного из домов по этой улице и через несколько минут, вынеся чемодан и ящик, уложил эти вещи на дрожки, на которых сидел он, Канчер, и вместе с ним отправился на вокзал. С поездом, отходившим из Вильны в 11 час. 18 мин. вечера, он, Канчер, в тот же день уехал в Петербург, поручив «рыжему», согласно просьбе Шевырева, отправить в Петербург условленную телеграмму по данному им, Канчером, адресу на имя Анны Ульяновой. Вместе с означенными выше вещами помянутый рыжий незнакомец вручил ему двухствольный пистолет, а затем на платформе он видел, как «рыжий», видимо, следил за его отъездом. По прибытии в Петербург он передал все привезенные вещи Александру Ульянову, который встретил его на вокзале, и об исполнении этого поручения подробно рассказал Шевыреву. Впоследствии он узнал, что в привезенных им чемодане и ящике находились азотная кислота и стрихнин. После этого, в начале февраля, Шевырев сообщил ему, что готовится покушение на жизнь Государя Императора, просил его содействия в приготовлениях к этому злодеянию, которое должно было заключаться в покупке и продаже некоторых материалов по указаниям его, Шевырева, а затем — в наблюдении за проездом Государя Императора. На сделанное им, Канчером, возражение, что он злоумышлению этому не сочувствует, Шевырев стал его убеждать, объясняя, что роль его в этом деле будет пассивная. Поддавшись этим убеждениям, он, обвиняемый, согласился, предполагая, что приведение в исполнение этого преступного замысла не состоится. В тот же или на другой день к нему явился студент Орест Говорухин, который сообщил ему, что знает о разговоре его с Шевыревым, дал пакет с каким-то сыпучим веществом и поручил отнести его на Съезжинскую улицу Пахому Ивановичу. Отправившись по указанному адресу, он застал в этой квартире Пахомия Андреюшкина и Василия Генералова, которые в это время работали что-то при посредстве стеклян-

ной реторты; как впоследствии они сами объяснили ему, они выделывали тогда азотную кислоту, необходимую для приготовления снарядов. Затем, по поручению Шевырева или Говорухина, он заходил в квартиру последнего за каким-то свертком, который и взял на указанном им месте из шкафа в присутствии Ревекки Шмидовой. В свертке находились какие-то баночки с сыпучим веществом. После этого ему стал давать разные поручения уже сам Шевырев. Так, по его поручению и указаниям, он покупал два раза серную кислоту 20 и 10 фунт. и разную стеклянную посуду, как аптечные банки и колпаки. Все эти покупки он делал на деньги, которые получал от Шевырева, в течение времени приблизительно с 9 по 17 февраля 1887 года, и сам он вместе с Горкуном и Волоховым доставлял их по адресу, данному Шевыревым, на Малую Итальянскую, в д. № 51, к Михаилу Новорусскому, которого, однажды, помнит, спросил, останется ли привезенное им на квартире у него. На это Новорусский ответил: «нет, я это отвезу». Делая все эти покупки, он, обвиняемый, и Горкун знали уже, что серная кислота и посуда предназначаются для изготовления разрывных снарядов. Наконец, около 15 февраля, по поручению того же Шевырева, он, обвиняемый, предложил Горкуну, а затем и Волохову, следить за выездами Государя Императора. 17 февраля Шевырев уехал в Крым, при чем просил его не отказывать студенту Лукашевичу в случае, если последний обратится к нему, обвиняемому, с каким-либо поручением. После отъезда Шевырева Генералов, встретив его, Канчера, и сообщая, что имеет стрихнин и свинцовые пули, предложил заняться наполнением пуль стрихнином в квартире его, Канчера. Но он, обвиняемый, направил для этого к Степану Волохову. По дороге, по просьбе Генералова, он, Канчер, купил фарфоровое блюдечко для растирания в нем в порошок стрихнина. Придя к Волохову, Генералов передал ему баночку с стрихнином и пули и поручил Волохову наполнить пули стрихнином, указав при при этом ему, как это следует делать. После чего он, Канчер, и Волохов занялись этим, а впоследствии он узнал, что Волохов отнес эти пули к Андреюшкину. 20 февраля Лукашевич принес к нему сверток с неизвестным ему веществом и велел отнести его к Андреюшкину, что и было им исполнено; а 21 февраля Лукашевич велел ему зайти за вещами на квартиру Александра Ульянова. Отправившись туда вместе с Волоховым, они застали там Ульянова и Лукашевича, которые наполняли динамитом два цилиндрических метательных снаряда. Когда работа эта ими была закончена, то он и Волохов помогли Лукашевичу и Ульянову вымыть и убрать посуду, а затем вместе с Волоховым отнесли эти снаряды к Андреюшкину, которому и передали их лично. 23 или 24 февраля он узнал от Андреюшкина или Генералова, что оба они взяли на себя бросить снаряды под экипаж Государя Императора и что вечером к нему, Канчеру, явится третий «метальщик». Вечером в тот же день, действительно, к нему явился Осипанов, которого он знает лично под кличкою «Кот»; пришли также Андреюшкин, Генералов, Волохов и Ульянов, которым Осипанов давал указания, как они должны будут ходить по Невскому, сопровождая метальщиков. 1 марта, вследствие состоявшегося соглашения, он в третий раз вышел на Невский, чтобы следить за проездом

Государя Императора, при чем и был арестован (т. I, л. 42, 43, 46; т. II, л. 13, 14, 15, 105, 152, 189). К этому Канчер добавил, что, когда он, тяготясь принятым на себя участием в злодеянии, намекнул как-то Шевыреву, что желал бы от дальнейшего участия отказаться, то Шевырев высказал ему, что Рудевич, которого он, Канчер, встретил также однажды у Андреюшкина в то время, как последний приготовлял азотную кислоту, намеревался было отступиться от участия в этом преступлении, но они заставили Рудевича выехать за границу, снабдив его подложным паспортом.

Будучи передопрошен, обвиняемый Степан Волохов признал себя виновным в том, что знал о готовившемся посягательстве на жизнь Государя Императора и, подтверждая показания Канчера и Горкуна по обстоятельствам, до него относящимся, объяснил, что решился принять участие в этом злодеянии по убеждению Канчера, который, предлагая ему следить за проездом Государя Императора, высказал, что он должен будет продолжать в этих пределах участие свое до тех пор, пока задуманное покушение не осуществится. По указаниям Канчера, он, Волохов, заметив появление экипажа Государя Императора, должен был подать сигнал, высморкав платком нос. Волохов признал при этом, что по просьбе Генералова он набивал пули стрихнином, присутствовал при том, как Ульянов и Лукашевич наполняли динамитом два цилиндрических метательных снаряда, зная, что таковые предназначаются для посягательства на жизнь Государя Императора; вместе с Канчером отнес означенные снаряды к Андреюшкину, и, наконец, отвез, вместе с Канчером, к кому-то на квартиру (как видно из дознания, к Новорусскому) чемодан и бутыль (т. I, л. 48, 122)

В виду изложенных, обнаруженных дознанием, данных к настоящему делу, сверх лиц вышепоименованных, привлечены еще в качестве обвиняемых: Бронислав Пилсудский, Иосиф Лукашевич, Михаил Новорусский, Мария Ананьина, Раиса Шмидова, Петр Шевырев и Александр Ульянов.

Бронислав Пилсудский, при обыске у которого оказалась переписка революционного характера (т. I, л. 61), на допросах при дознании объяснил (т. I, л. 65; т. II, л. 84, 154, 165, 242), что во время пребывания его в течение декабря 1886 г. и января 1887 г. в г. Вильно, куда ездил на праздники из Петербурга, к нему иногда заходил Исаак Дембо, который недели за полторы до отъезда его, Пилсудского, в Петербург просил его достать несколько драхм стрихнина и атропина, и на вопрос, для чего эти яды нужны, отвечал, что и сам не знает этого, и при этом уверял его, что никаких опасных последствий от этого произойти не может. Вследствие этой просьбы Пилсудский достал названные яды от знакомого своего аптекаря, никакого, по его словам, отношения к революционной деятельности не имеющего, которого он поэтому и отказывается назвать. Дембо просил его отвезти названные яды в Петербург и вручить их лицу, к которому он даст ему, Пилсудскому, письмо и адрес. Вслед за тем, в конце же января, к нему явился студент С.-Петербургского университета Михаил Канчер и вручил ему две записки: в одной из них, подписанной «Костек» (Kostek), товарищ его по университету Константин Гамолецкий просил оказать содействие подателю записки; другая же записка была без подписи и заключала в себе просьбу достать азотной кислоты, какого-то яда,

кажется, стрихнина, и пистолеты, без объяснения, для какой именно надобности были нужны эти предметы. Во время прихода Канчера у него находился Исаак Дембо, а потому, когда Канчер попросил его, обвиняемого, познакомить его с Антоном, то, догадавшись, что речь идет об Антоне Гнатовском, так как другого Антона он не знал (хотя, быть может, Канчер назвал ему и фамилию), он просил Дембо указать квартиру Гнатовского, вследствие чего они все втроем и отправились из дома. Дембо вызвал Гнатовского на улицу, где Канчер переговорил с ним; он же и Дембо стояли в это время в стороне. Вслед за тем Гнатовский обратился к нему с просьбой достать пистолеты. Догадавшись в это время, что готовится какой-то террористический акт, он отдал Дембо бывшие у него яды, а в доставлении пистолетов отказал Гнатовскому и дал ему вследствие его просьбы взаймы 40 руб. На следующий день он, Пилсудский, выехал в Петербург, оставив Канчера в Вильне, о чем и сообщил Лукашевичу, когда последний зашел к нему, узнав об его приезде. Через несколько дней возвратился в Петербург Канчер и сообщил ему, что привез азотную кислоту, но денег не достал, хотя ему и было поручено привезти 150 р.; при этом Канчер передал ему, что, как он узнал, деньги привезет какая-то акушерка и передаст их ему, Пилсудскому, он же должен будет вручить их Лукашевичу. Вскоре после этого он узнал от своего знакомого студента-технолога Ноткина что деньги получила мещанка Мария Беркович. Тогда он отправился к этой последней, которая и выдала ему под расписку 150 руб., а он, Пилсудский, передал эти деньги Лукашевичу, получив от него 40 руб., данные взаймы Гнатовскому. Независимо от сего, Пилсудский объяснил, что по просьбе того же Лукашевича он разрешил печатание у себя, как оказалось, какой-то программы, для чего к нему 28 февраля 1887 г. явился по указанию Лукашевича Ульянов с двумя неизвестными ему, обвиняемому, лицами, которые 28 февраля и часть дня 1 марта занимались приведением в порядок набора; в производстве же у себя дальнейших работ он им отказал, увидев, что работа эта слишком затягивается. В заключение Пилсудский объяснил, что он мог только догадываться, что замышляется совершение какого-то террористического акта, но об умысле на жизнь Государя Императора ему ничего известно не было, и виновным в участии в этом преступлении он себя не признает.

Объяснения обвиняемого Пилсудского относительно получения 150 руб., а равно приезда к нему из Петербурга Канчера, при дальнейшем дознании вполне подтвердились по отношению к первому обстоятельству осмотром кассовых книг петербургской банкирской конторы МейераАроновского и показанием спрошенной по сему делу в качестве свидетельницы Марии Беркович, которая удостоверила, что в феврале, получив от Исаака Дембо деньги, в количестве 175 руб., она согласно желанию последнего передала 150 руб. Пилсудскому (т. II, л. 210 и 294). Относительно же двух записок, доставленных ему Канчером, студент Константин Гамолецкий (т. II, л. 182) показал, что в конце января к нему обратился Иосиф Лукашевич сначала с просьбой добыть азотной кислоты и стрихнина, не объясняя, для чего именно вещества эти ему нужны, а когда он в этом ему отказал, просил дать записку одному лицу, отправляющемуся

по делам в Вильно. Вследствие этой просьбы Гамолецкий дал Лукашевичу записку на имя Бронислава Пилсудского за подписью «Костек», в которой просил его лишь об оказании содействия подателю таковой.

В виду изложенных данных, выясненных из показаний обвиняемых Канчера и Пилсудского, было произведено расследование в г. Вильно, при чем 6 марта 1887 г. по сходству примет с разыскиваемым лицом, указанным обвиняемым Михаилом Канчером, был произведен обыск у проживавшего в г. Вильно аптекарского ученика Тита Пашковского. По обыску этому были найдены, между прочим (т. II, л. 101, 146), списки сочинений, между которыми оказались и социально-революционные: Кропоткина — «К молодежи» и «Коммунистический манифест».

При предъявлении обвиняемому Канчеру Тита Пашковского Канчер заявил, что признает в нем ту личность, которую называл «рыжим».

Привлеченный в виду этого к настоящему дознанию в качестве обвиняемого, Тит Пашковский, отрицая свою виновность в участии в замысле на жизнь священной особы Государя Императора и в принадлежности к революционному сообществу, признал, что им были тайно приобретены один пуд азотной кислоты и один унц стрихнина и переданы в чемодане и ящике неизвестному лицу. В оправдание свое Пашковский объяснил, что весною 1886 г. он опубликовал в фармацевтической газете об открытии им комиссионерской конторы по продаже и аренде аптек и предоставлению в аптеках должностей. В начале сего года к нему явился неизвестный ему по имени и месту жительства еврей, назвавшийся Иоселем, и, объясняя, что имеет возможность получать из тайного аптечного склада контрабандные материалы, предложил вступить с ним в сделку для продажи аптекарских товаров в провинции. Нуждаясь в средствах, он, Пашковский, на это согласился, вследствие чего Иосель обещал к нему наведываться. В конце января 1887 г. к нему, обвиняемому, явился Антон Гнатовский и заявил, что ему необходимо приобрести пуд азотной кислоты и унц стрихнина. На вопрос, для чего ему нужны эти вещества, Гнатовский заметил, что это не его, Пашковского, дело, так как за это он получит вознаграждение. Несколько дней спустя к нему явился Иосель, которому он и поручил достать пуд азотной кислоты и унц стрихнина (Strichninum nitricum). В тот же день Иосель принес к нему совершенно уложенные в ручной саквояж означенные выше предметы, при чем в саквояже, в бумажном пакете, был стрихнин и несколько завернутых в солому бутылей, которые он, обвиняемый, уложил в ящик. Получив эти предметы, он отправился к Гнатовскому, которого встретил на улице; при этом Гнатовский обещал устроить ему свидание с лицом, приехавшим за этими товарами, для передачи их ему лично. С этой целью Гнатовский предложил ему, Пашковскому, ожидать вечером на Завальной улице. Придя в назначенное время, он встретил Гнатовского и незнакомого ему до того человека, которого признал в фотографической карточке Михаила Канчера. С последним он отправился к себе, взял означенные выше саквояж и ящик, которые передал Канчеру, и вместе с ним поехал на вокзал. Дождавшись, пока Канчер уехал, так как в случае опоздания на поезд он должен был вещи взять обратно, согласно просьбе Гнатовского, он, Пашковский, отправился на свидание с последним, ожидавшим

его на Большой улице. Гнатовский поручил ему при этом послать телеграмму в Петербург, для чего дал адрес и указал самый текст телеграммы, объяснив, что сам не хочет заходить на телеграфную станцию во избежание встречи со знакомыми. Вследствие этого, он, Пашковский, и отправил указанную ему Гнатовским на счет последнего телеграмму. По предъявлении подлинной телеграммы на имя Анны Ульяновой за подписью Петрова следующего содержания: «Сестра опасно больна» (т. II, л. 204), обвиняемый признал таковую за названную выше, посланную им по просьбе Гнатовского. Пистолета же он, Пашковский, по объяснению его, Канчеру не передавал.

Дальнейшим дознанием выяснено, что 21 февраля 1887 г. к брату Бронислава Пилсудского, Иосифу Пилсудскому, явился обвиняемый по сему делу, скрывшийся еще до приступа к дознанию, Орест Говорухин, с просьбой устроить для него ночлег и свести его с Антоном Гнатовским. Иосиф Пилсудский, не имея возможности принять его у себя, проводил его к Титу Пашковскому, у которого вследствие согласия последнего и оставил Говорухина. В тот же день вечером в Ботаническом саду Иосиф Пилсудский встретил Говорухина уже с Гнатовским, с которым, как следует заключить, его свел Тит Пашковский (т. II, л. 261).

Спрошенный по поводу этого обстоятельства, обвиняемый Пашковский объяснил, что Говорухин, которого он совершенно не знает, никогда к нему ни сам, ни с Иосифом Пилсудским не заходил (т. II, л. 102, 103, 122, 269, 274, 276).

Обвиняемый Иосиф Лукашевич, отрицавший первоначально изобличавшие его по делу данные, впоследствии признал себя виновным в участии в замысле на жизнь Государя Императора и объяснил, что один из названных ему по сему делу обвиняемых (Лукашевичу при этом были названы фамилии обвиняемых Шевырева, Говорухина, Ульянова, Андреюшкина, Генералова, Осипанова, Канчера, Горкуна и Волохова) предложил ему участвовать в посягательстве на жизнь Государя Императора. От участия в злодеянии этом в качестве метальщика или разведчика о проездах Его Величества он, Лукашевич, отказался, но обещал иное какое-либо в этом деле содействие, которое могло бы потребоваться. Таким образом, когда в конце января Шевырев, сообщив ему, что приготовление азотной кислоты идет медленно и что он имеет возможность получить азотную кислоту и стрихнин для отравления пуль из Вильно, просил его, Лукашевича, указать личность, у которой лицо, имеющее отправиться для указанной цели в Вильно, могло безопасно остановиться и отыскать при ее посредстве лицо, от которого должно получить указанные предметы, то он, обвиняемый, остановился на Брониславе Пилсудском, но так как адреса Пилсудского, бывшего тогда в Вильно, он не знал, то обратился к Гамолецкому с просьбой написать к Брониславу Пилсудскому записку, прося его содействия лицу, отправляющемуся в Вильну; при этом, однако, он не объяснил Гамолецкому, кто и зачем туда едет. Гамолецкий дал ему просимую записку, а он, Лукашевич, в свою очередь, написал другую записку на польском языке следующего содержания: «Товарищ, будьте добры подателю сего дать квартиру, дабы он мог исполнить данное ему поручение. Нужно азотной кислоты, стрихнина

$1^1/_2$ унции или более и пару двухствольных пистолетов. Как видеться с этими личностями, которые помогут ему в доставлении этих предметов, посылаемый знает». Обе записки эти он передал Шевыреву, при чем о пистолетах написал вследствие просьбы Шевырева. В первой половине февраля он дважды передал обвиняемому Канчеру два небольших пакета с материалами для изготовления разрывных снарядов; в первом пакете находилась гремучая ртуть, а во втором — бертолетовая соль с сахаром, предназначавшиеся для запалов к снарядам. Получил он эти предметы по паролю на улице у магазина Даццаро от незнакомого ему лица, похожего, по предъявленной ему фотогрифической карточке, на Рудевича; кем же был дан пароль, — он сказать не желает. По возвращении из Вильно Пилсудский передал ему 150 руб., относительно которых Шевырев предварил его, что деньги эти будут присланы из Вильно на расходы по приготовлению к посягательству на жизнь Государя Императора. По требованию Пилсудского он возвратил ему 40 рублей, а 110 руб. отдал Шевыреву. Приблизительно 18 февраля он с Ульяновым наполнял динамитом два снаряда цилиндрической формы; о существовании же третьего снаряда, в форме книги, ничего не знает. Во время этой их работы явились Канчер с другим лицом, похожим по фотографической карточке на Волохова. Когда Ульянов сообщил ему, что Говорухин намерен скрыться из Петербурга, и просил достать ему рекомендацию в Вильно, то он действительно обратился к Пилсудскому и послал Говорухина к нему, так как Шевырев говорил ему, что в Вильно можно достать паспорты для нелегальных и квартиры для временного укрывательства. Когда затем Пилсудский получил из Вильно от брата Иосифа телеграмму: «Сестра выехала, встречай» (т. II, л. 208), то со слов Ульянова он понял, что телеграмма эта извещала об отъезде Говорухина из Вильно. Наконец, когда Ульянов, торопясь печатанием составленной в последнее время программы террористической фракции партии «Народной Воли», просил указать ему для этого квартиру, то он, Лукашевич, указал квартиру Бронислава Пилсудского, не спросив согласия последнего, и не знает, печаталась ли эта программа у Пилсудского или нет; программу эту он, обвиняемый, читал в рукописном виде во второй половине февраля. К этому Лукашевич присовокупил, что об азотной кислоте он не писал в Вильно, что найденный у него при обыске прейс-курант аптекарского склада Гружевского в Вильно принадлежит ему и что в нем сделаны карандашем отметки веществ, употребляемых для домашнего фейерверка, к приготовлению динамита отношения не имеют (т. I, л. 84, 129, 191; т. II, л. 161, 172, 243, 277).

Между тем, при осмотре через эксперта генерал-майора Федорова означенного прейс-куранта с целью определения значения (т. I, л. 81) этих отметок, эксперт признал, что из этих материалов глицерин употребляется, между прочим, для приготовления нитроглицерина, металлическая ртуть — для гремучей ртути, а записи на 5 стран. прейс-куранта составляют смесь, называемую белый порох Ожандра, воспламеняющийся при соединении с серною кислотою (т. II, л. 169).

3 марта 1887 г., вследствие изложенных выше показаний обвиняемых Михаила Канчера и Петра Горкуна, был произведен обыск на даче Кекина, в 3-м Парголове, где проживали кандидат духовной академии

Михаил Новорусский и земская акушерка Мария Ананьина с дочерью Лидиею. При обыске этом были найдены, как установлено экспертизою генерал-майора Федорова: 1) разные принадлежности и приборы химической лаборатории, необходимые для приготовления нитроглицерина; 2) самые материалы, из которых приготовляется нитроглицерин: а) три банки с глицерином весом около 7 фунт., б) одна бутыль, наполненная дымящеюся азотною кислотою, весом около 10 фунт., в) около 30 фунт. чистой серной кислоты, г) наконец, около двери, ведущей на крытый балкон, в фунтовой склянке, помещенной в чугуне, наполненном водою, оказались две унции нитроглицерина; 4) синяя лакмусовая бумага для определения кислот, разрезанная на ленточки, числом около 50 штук, из которых многие были уже в употреблении (т. I, л. 102, 103).

По заключению эксперта: 1) при наличности найденных в означенной квартире приборов и материалов вполне возможно приготовить нитроглицерин, т.-е. взрывчатое масло, из которого получается динамит; 2) нитроглицерин, особенно плохо очищенный от кислот, подвержен саморазложению, вследствие чего может произойти взрыв; 3) он также воспламеняется при самых легких ударах, вследствие чего перевозка его сопряжена с большою опасностью; 4) для предохранения от самовзрыва нитроглицерин необходимо держать в холоде, а также покрывать водою, которую время от времени необходимо испытывать синею лакмусовою бумагою для определения присутствия кислот, появляющихся при саморазложении нитроглицерина и 5) приготовление нитроглицерина и особенно азотной кислоты сопровождается сильным удушливым запахом, который должен распространяться за пределы комнаты, в которой приготовляются эти вещества (т. I, л. 272 — 274).

Допрошенные в качестве обвиняемых Михаил Новорусский и Мария Ананьина, не признавая себя виновными в участии в замысле на жизнь священной особы Государя Императора и противореча по обстоятельствам дела друг другу, объяснили: Новорусский (т. I, л. 104), что оказавшиеся при обыске в квартире Марии Ананьиной, у которой он проживал, бутыли с кислотами и разные химические приборы принадлежат студенту Ульянову и доставлены при следующих обстоятельствах: познакомившись с Александром Ульяновым на каком-то вечере около рождества в 1886 г. и желая сойтись с ним ближе, он пригласил его к себе. Когда однажды, в начале февраля, Ульянов зашел к нему, Новорусскому, он в разговоре с ним, между прочим, упомянул, что Мария Ананьина, проживающая в Парголове, ищет учителя для сына. Ульянов заметил, что он не прочь принять такое место, о чем Новорусский и сообщил Марии Ананьиной, от которой через несколько дней узнал, что Ульянов согласился принять у нее место учителя и что для этой цели он переезжает в Парголово, где будет также заниматься химическими опытами; при этом она же сообщила, что в квартиру его, Новорусского, будут доставлены разные предметы, необходимые Ульянову для химических занятий. Такие предметы действительно были доставлены ему на квартиру и затем, вместе с вещами его, Новорусского, отправлены в Парголово 10 февраля, после чего к нему привезли еще 12 февраля бутыль и чемодан с какими-то кислотами и вещами, которые он отослал в Парголово через сына Ананьиной. Переехав

в Парголово 20 февраля, он, Новорусский, Ульянова там уже не застал и узнал от Ананьиной, что Ульянов, пробыв у нее несколько дней и не поладив с нею, уехал в Петербург. Проживая в Парголове, он ничего подозрительного в доме у них не замечал, видел только две бутыли с жидкостями, несколько стеклянных трубочек, аптекарские весы и спиртовую лампочку. Все эти предметы, как ему сказала Ананьина, Ульянов обещал взять. Во время обыска он заметил в своей комнате под драпировкою чугунок, в котором находилась небольшая бутылка и о нахождении которого ему Ананьина ничего не говорила. В Парголово он, Новорусский, переехал вследствие того, что там ему было удобнее писать магистерскую диссертацию и к тому же дешевле обходилась квартира.

Мария Ананьина (т. I, л. 114 и 127) объяснила, что, озабочиваясь воспитанием сына своего Николая, она искала учителя. В первых числах февраля 1887 г. Новорусский сообщил ей, что учитель приискан и к ней приедет, и определил даже, с каким поездом. Действительно 10 или 11 февраля в Парголово приехал Ульянов, где она его увидела в первый раз. Поселившись у нее на даче, Ульянов прожил только 2 — 3 дня, дал два урока сыну ее и уехал по неизвестной для нее причине. Живя у нее, он занимался химическими опытами, цель и значение которых ей известны не были. Уезжая, он обещал скоро возвратиться и просил присмотреть за его вещами, особенно же за одной бутылкой, которую просил держать в холоде. Вследствие этого, после его отъезда, она поставила эту бутылку в ватерклозет, а затем перенесла в комнату, где поставила в котелок, в который через каждые два дня клала снег. Перед самым переездом дочери ее в Парголово она посылала к ней, прося повидаться с Ульяновым и узнать относительно его вещей.

При дальнейшем дознании свидетель пристав надворный советник Сакс (т. I, л. 226) показал, что, прибыв для производства обыска в квартиру Новорусского и Ананьиных, он заметил, что Мария и Лидия Ананьины стараются заслонить своими платьями какой-то предмет, стоявший на полу у наружной стены. По осмотру оказалось, что предмет этот была корзина, поставленная вверх дном на два полена и прикрытая до пола материей; по устранении корзины, под нею оказался котелок с водой, в котором помещалась аптечная бутылка с какою-то жидкостью. В этой комнате стояли две кровати. В следующей комнате стол и оконный косяк были завалены химическими приборами, а на полу лежали банки с жидкостями.

Спрошенный в качестве свидетеля Николай Ананьин, 14 лет (т. I, л. 235), показал, что с осени 1886 г. до рождества жил у Новорусского, а затем в Парголове, при чем как до рождества, так и впоследствии до 4 марта 1887 г. он имел одного лишь учителя Василия Михайловича (Данчича), живущего в студенческом общежитии, возле университета, называемом коллегиею императора Александра II, и другого учителя в Парголове у него не было. На даче он видел бутыли, трубки, но кому принадлежали они, и жил ли кто-либо у них на даче, он не знает, так как проводил все дни на улице, и мать постоянно посылала его гулять.

Свидетель Владимир Новорусский (т. II, л. 52) объяснил, что на масленице 1887 г. Мария Ананьина отправила его в город к Новорусскому. Уехал он с дачи в день перевозки к ним на дачу вещей Новорусского и

возвратился только во вторник на первой неделе великого поста; 20 февраля переехал на дачу и Новорусский; 20 или 21 февраля к ним на дачу приезжал какой-то студент с рыжеватой бородой, в пенснэ, и привез с собой большую бутыль в плетеной из лучины корзине, которую от него приняла Мария Ананьина. Кроме этой бутыли, он видел в последней комнате еще несколько бутылей с серной кислотой и графинчик с какой-то жидкостью, стоявший на балконе в чугунном котелке, наполненном водою.

Наконец, свидетель Василий Данчич удостоверил (т. II, л. 8), что он с лета 1886 г. и до последнего времени давал уроки Николаю Ананьину, и о том, что Ананьина приискивает другого учителя (вместо него, свидетеля), ему известно не было.

Независимо от сего, по предъявлении обвиняемому Генералову двух штативов, отобранных при обыске в квартире Ананьиной и Новорусского, Генералов показал, что штативы эти тождественны с теми, которые он употреблял, приготовляя с Андреюшкиным азотную кислоту (т. II, л. 48, 49).

По осмотру и экспертизе отрезка бумаги зелено-мраморного цвета, оказавшейся в одной из книг («Физиологии обыденной жизни» Льюиса) при обыске в квартире Ананьиной и Новорусского, с тремя отрезками такого же цвета бумаги и бумагой, которою оклеена крышка, служившая футляром для снаряда, отобранного у Осипанова, эксперты заключили, что как отрезки, так и бумага на переплете снаряда-книги тождественны при чем высказались, что, по мнению их, все эти бумаги отрезаны от одного и того же листа (т. II, л. 76).

Передопрошенные, в виду этих данных, обвиняемые Новорусский и Ананьина объяснили:

Новорусский (т. II, л. 96), что между 20 февраля и 1 марта к ним на дачу действительно приезжал неизвестный ему мужчина с рыжей бородой, который спросил Марию Ананьину, передал ей какую-то вещь в полторы или две четверти вышины, при чем сказал, что эта посылка для нее и, кажется, прибавил: «от Ульянова». Что именно привез этот человек, — он, Новорусский, не знает и Марию Ананьину не спрашивал; повидимому, с лицом этим не была знакома и Мария Ананьина. О нахождении у них нитроглицерина он не знал; с Петром Шевыревым не знаком, и что последний утверждает противное, объясняя, что брал у него, обвиняемого, книги издания общества «Посредник», то это показание его ложно (т. II, л. 196).

Мария Ананьина объяснила (т. II, л. 200, 201), что со времени переезда на дачу ее дочери и Новорусского к ним на дачу никто не приезжал.

Но и эти объяснения обвиняемой Марии Ананьиной опровергаются как изложенными выше данными, так и показанием дочери ее Лидии Ананьиной (т. II, л. 198), которая удостоверила, что в конце февраля к ним на дачу приезжал неизвестный ей молодой человек с рыжей бородой, который привез бутыль четверти в $1^1/_2$ вышиной и передал ее вместе с письмом ее матери Марии Ананьиной, которая впоследствии сказала ей, что бутыль прислал Ульянов; на вопрос же, что пишет Ульянов, Мария Ананьина ответила: «не тебе писано». Она, Лидия Ананьина, откупорила эту бутыль, желая узнать, что в ней находится, но заключавшаяся в ней жидкость стала дымиться, вследствие чего она поспешила закрыть ее.

По обыску, произведенному у упомянутого уже выше бывшего студента Александра Ульянова, были найдены, как установлено осмотром и экспертизою (т. I, л. 71, 72, 161, об. 162): 1) Инфузорная земля, служащая для приготовления динамита; 2) три 3-фунтовые банки со стеклянными пробками, из которых в одной заключался едкий натр, употребляемый, между прочим, и для промывания нитроглицерина; 3) разные заметки с условными записями; 4) письмо на имя Раисы Шмидовой от 25 февраля, в котором неизвестная личность, подписавшаяся «О. М. Г. угадаете», извещает о намерении лишить себя жизни; наконец, 5) записная книжка с чертежами и разными условными записями, изложенными в особом порядке с видимою целью скрыть их содержание, а также чертежами. Из числа этих записей некоторые, видимо, относятся к Вильно; так, запись: «marq platz bois de Ianquo'вский пила кв. Lipman Соцкий А. в» означает виленский адрес обвиняемого Пилсудского.

Допрошенный в качестве обвиняемого Александр Ульянов признал себя виновным в том, что, принадлежа к террористической фракции партии «Народной Воли», принимал участие в замышлявшемся посягательстве на жизнь Государя Императора. Затем, по предъявлении имевшихся против него данных, он объяснил, что, не считая себя ни инициатором, ни организатором вышеозначенного замысла, он, тем не менее, может предполагать, что высказываемое им мнение о необходимости террористической борьбы могло иметь влияние в том смысле, что ускорило решимость некоторых лиц посвятить себя террористической деятельности. Относительно технических работ по приготовлению снарядов Ульянов объяснил, что вся азотная кислота, при помощи которой был изготовлен динамит, была приготовлена в Петербурге, в квартире Андреюшкина, по его, обвиняемого, указаниям и отчасти под его руководством, а белый динамит он приготовил в первой половине февраля в Парголове в квартире Марии Ананьиной. Еще в конце января он искал случая уехать куда-нибудь на урок, с целью заняться там приготовлением, под предлогом химических занятий, недостававшего количества динамита. Поэтому приглашение Новорусского отправиться в Парголово для занятий с братом Лидии Ананьиной он принял с удовольствием. Прибыл он в Парголово между 10—12 февраля и уехал 14—15 февраля, так как, с одной стороны, Мария Ананьина была недовольна усиленными занятиями его химиею и, вследствие того, небрежностью в занятиях с сыном, а с другой — цель поездки его в Парголово была достигнута. Переговоры о поступлении репетитором к сыну Ананьиной он вел с Новорусским и с сыном Ананьиной, Николаем, занимался лишь один раз по закону божию. Об оставлении у Ананьиной нитроглицерина он ни Ананьиной, ни Новорусскому не говорил; оставил же у них нитроглицерин, надеясь в скором времени перевезти его в город. При отъезде Канчера в Вильно, он дал Шевыреву адрес сестры Анны для того, чтобы Канчер мог условно телеграфировать о возвращении своем в Петербург. По этой телеграмме он встретил Канчера и принял от него ящик, чемодан и двухствольный пистолет. Между 22 февраля и 1 марта 1887 г. в Парголово была послана бутылка с азотной кислотой, при чем вместе с тем он, обвиняемый, послал записку к Марии Ананьиной с просьбой принять и сохранить

бутыль до его приезда. Лицо, доставившее эту бутыль, он назвать отказывается. С Орестом Говорухиным и Ревеккой Шмидовой он знаком, и записка, найденная у него при обыске за подписью «О. М. Г. угадаете», судя по почерку, писана Говорухиным к Шмидовой, которой он передать ее не успел. К этому обвиняемый Ульянов присовокупил, что в феврале 1887 г. при его участии была составлена программа террористической фракции партии «Народной Воли», приобщенная к его показанию 20 — 21 марта 1887 г. (т. II, л. 283), и в феврале в квартире Бронислава Пилсудского было приступлено к ее печатанию; но работа эта доведена до конца не была (т. I, л. 93, 120; т. II, л. 1, 223).

Задержанный 7 марта 1887 г. в гор. Ялте Петр Шевырев, при обыске у которого оказалась лишь склянка с цианистым калием (т. II, л. 66, 268), на допросе в качестве обвиняемого все изложенные выше изобличающие его данные (т. II, л. 71, 192) отрицал.

Допрошенная в качестве обвиняемой Ревекка Шмидова равным образом не признала себя виновною в участии в замысле на жизнь Государя Императора, отрицая как все изложенное выше, относящееся до нее в показании Канчера, так и знакомство с Андреюшкиным (т. I, л. 146, 295; т. II, л. 262).

При дальнейшем производстве настоящего дознания: 1) Обвиняемый Канчер показал, что, посетив квартиру Говорухина два раза, он ни разу не застал последнего дома, и каждый раз к нему выходила Шмидова, при чем, хотя он и не знает, видела ли Шмидова, как он приносил однажды пакет с каким-то сыпучим веществом и положил таковой под подушку Говорухина, но ему было известно, насколько помнит, от Шевырева, что Шмидовой остерегаться нечего (т. II, л. 13). 2) Обвиняемый Александр Ульянов показал (т. II, л. 1 об.), что Раиса Шмидова два раза передавала записки, относившиеся к замыслу на жизнь Государя Императора, хотя, по словам его, о замысле этом ничего не знала. 3) Свидетельница Татьяна Прокофьева (т. I, л. 279) удостоверила, что Александр Ульянов бывал у Говорухина и Шмидовой очень часто и иногда по нескольку раз в день; что 23 и 24 февраля утром, когда она, свидетельница, убирала комнату Говорухина, туда вошел какой-то неизвестный ей человек с большим узлом. Увидев ее, он смутился, но в это время вышла Шмидова и пригласила его к себе. Человек этот, пробыв у нее около получаса, ушел, при чем она не [заметила, чтобы унес бывший при нем узел. Поэтому, когда в этот же день вечером Шмидова вышла из дома, она, свидетельница, вошла к ней в комнату, по осмотре которой узла в ней не нашла; в смежной же с комнатой Шмидовой комнате Говорухина, под кроватью в корзине, в которой до того ничего не было, оказалось несколько маленьких свертков, больших бутылей с какой-то жидкостью и небольших склянок. Вечером к Шмидовой явился тот же человек, в котором она, по предъявлении, признала Андреюшкина, и просидел у Шмидовой до 2—3 часов ночи; когда же после этого, вследствие ее заявления, сделанного через дворника Бутылкина, подтвердившего это обстоятельство (т. I, л. 282), на следующий день прибыл для осмотра означенной квартиры околоточный надзиратель, то в корзине под кроватью Говорухина уже ничего не оказалось. 4) Обвиняемый Андреюшкин объяснил, что у Шми-

довой бывал в течение второй половины 1886 г., но был ли у него после этого, — не помнит, и бутылей к ней не приносил (т. I, л. 291).

7 марта 1887 г. на имя арестованного Пахома Андреюшкина была получена телеграмма из Екатеринодара следующего содержания: «Вы просили ничего не отвечать. С получения письма я прожила целую вечность. Да отвечайте. Комахина» (т. I, л. 182, т. II, л. 247.)

Принятыми розыскными мерами, а затем и экспертизою установлено, что телеграмма эта была отправлена народною учительницею Анною Сердюковой (т. II, л. 254, 255).

Привлеченная к настоящему дознанию в качестве обвиняемой, Анна Сердюкова объяснила, что, познакомившись с Андреюшкиным (т. II, л. 250, 256) в 1884 г. в Екатеринодаре, где он учился в гимназии, она затем в 1886 г., когда он приехал в Петербург, вела с ним переписку. В одном из писем, полученных ею в декабре 1886 г., он писал ей, чтобы письма его она согревала на лампе, если в видимом тексте не будет обозначено числа, города или подписи его. В январе 1887 г. в одном из таких писем Андреюшкин сообщил ей, что вступил в партию «Народной Воли». 14 февраля он опять прислал ей письмо, в видимом тексте которого просил ее руки и требовал немедленного ответа даже телеграммою, а химическими чернилами сообщал ей в этом письме следующее: «Должно быть покушение на жизнь Государя. Я в числе участников, которые будут бросать бомбы: смотрите, не влопайтесь, не пишите даже о своем согласии на предложение». Письмо это привело ее в ужас и, думая, что если она пошлет Андреюшкину согласие быть его женою, то отвлечет его от участия в покушении, она решилась послать ему означенную телеграмму, которую подписала вымышленною фамилиею для того, чтобы скрыть свои к нему отношения. Почему она не объявила властям о содержании письма Андреюшкина, она не может дать себе отчета. Таким образом, она признает себя виновной в том, что, имея возможность довести до сведения властей о грозившей священной особе Государя Императора опасности, не исполнила этой обязанности, хотя не сделала этого лишь по малодушию, так как к революционной партии не принадлежит.

Спрошенный по этому поводу обвиняемый Андреюшкин, подтверждая справедливость объяснений Сердюковой относительно письма ее к ней от 14 февраля, показал, что и письмо, писанное частью химическими чернилами и начинающееся словами: «Значит такова уже моя судьба», отобранное у него при обыске, он предполагал послать той же Сердюковой, но не успел этого исполнить (т. II, л. 280).

Наконец, по предъявлении обвиняемым Василию Генералову, Пахомию Андреюшкину и Василию Осипанову обнаруженных дознанием данных, Осипанов вновь заявил, что никаких объяснений по делу, по которому обвиняется, давать не желает. Генералов и Андреюшкин признали, что все отобранные у них при обысках предметы и вещества служили для приготовления метательных снарядов, при чем объяснили: Генералов (т. I, л. 124, и т. II, л. 48), что 3 января 1887 г., по предложению одного из членов террористической фракции, он устроил квартиру по Большой Белозерской улице с целью хранения материалов для приготовления разрывных снарядов, а в квартире Андреюшкина, вместе с послед-

ним, приготовлял азотную кислоту и что, по мере изготовления, в квартиру к нему приносили для хранения динамит, металлические футляры для снарядов и другие принадлежности к ним, гнутые свинцовые пули, стрихнин в количестве около фунта и атропин для насыщения маленьких литых пуль. В конце января ему было предложено принять участие в покушении на жизнь Государя Императора, в качестве метальщика, на что он выразил согласие, а вслед за тем, по его предложению, сделанному по поручению другого лица, согласился и Андреюшкин; с Осипановым же они познакомились лишь 21 и 22 февраля в кондитерской на Михайловской улице по особому условному паролю и затем втроем обсуждали план действий и окончательно решили выполнить замысел в течение следующих дней. Снаряды, для которых он и Андреюшкин начиняли гнутые свинцовые пули стрихнином, были окончательно готовы 20 — 25 февраля, и в этот последний день у них состоялось совещание, на котором присутствовали также и те лица, которые обязались следить за проездами Государя Императора. Ранее этого, в среду 11 февраля, он и Андреюшкин наполнили отравленными пулями снаряд, имевший форму книги, который в это время уже был заряжен динамитом. Сверх того, Генералов объяснил, что с Петром Шевыревым познакомился в январе 1887 г. собственно по поводу замысла на жизнь Государя Императора и получил от него поручения по приготовлению снарядов. Наконец Генералов удостоверил, что в последнее время динамит приготовлялся за городом, для чего Ульянов на масленой неделе выезжал куда-то из Петербурга, взяв у него, обвиняемого, и у Андреюшкина 6 фунтов азотной кислоты.

Андреюшкин (т. I, л. 169, т. II, л. 81), подтверждая все изложенное выше в показании Генералова, вместе с тем объяснил, что три или четыре раза выходил в течение последней недели до 1 марта 1887 г. на Невский с Осипановым и Генераловым с целью посягательства на жизнь Государя.

На основании изложенных обстоятельств, установленных дознанием, обвиняются: поименованные выше: 1) Василий Осипанов, Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Михаил Канчер, Петр Горкун, Степан Волохов, Петр Шевырев, Александр Ульянов, Иосиф Лукашевич, Михаил Новорусский, Мария Ананьина, Раиса Шмидова, Бронислав Пилсудский и Тит Пашковский — в том, что, принадлежа к преступному сообществу, именующемуся террористической фракцией «партии Народной Воли» и действуя для достижения ее целей, согласились между собой посягнуть на жизнь священной особы Государя Императора и для приведения сего злоумышления в исполнение изготовили разрывные метательные снаряды, вооружившись которыми, некоторые из соучастников, с целью бросить означенные снаряды под экипаж Государя Императора, неоднократно выходили на Невский проспект, где, не успев привести злодеяния в исполнение, были задержаны 1 марта сего 1887 г., и 2) Анна Сердюкова в том, что, узнав о задуманном посягательстве на жизнь священной особы Государя Императора от одного из участников злоумышления и имея возможность заблаговременно довести о сем до сведения власти, не исполнила этой обязанности.

Означенные преступления предусмотрены 241 и 243 ст. Уложения о наказаниях.

Посему, согласно Высочайшему повелению, последовавшему 28 марта сего года и на основании 2 п. 1030 ст. уст. угол. суд., изд. 1883 г., поименованные выше лица предаются суду Особого Присутствия Правительствующего Сената с участием сословных представителей.

Составлен 31 марта 1887 г. в С. Петербурге.

Исполняющий обязанности Прокурора при Особом Присутствии Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступлениях *Н. Неклюдов.*

ДОНЕСЕНИЕ ДИРЕКТОРА ДЕП-ТА ПОЛИЦИИ О ШЕВЫРЕВЕ.

Директор
Департамента полиции.

Представляя Вашему Сиятельству только-что вышедший из типографии приговор Сената, обязываюсь присовокупить:

1) Что на подачу кассационных жалоб Сенат, вместо 2 недель, назначил подсудимым только 2 дня сроку, и приговор, следовательно, вступит в законную силу в субботу, в 12 часов дня.

2) Что Шевырев подал просьбу о помиловании. В просьбе своей он сознается в своем преступлении и просит даровать ему жизнь. Завтра же, после объявления приговора, я вызову Шевырева к себе и постараюсь получить от него все возможное. То же я сделаю и с другими подсудимыми, которые подадут просьбы о помиловании.

3) Обер-прокурор Неклюдов опасно заболел, и боятся нервного удара.

Директор Департамента (подпись).

22 апреля.

Из донесения от 24 апреля:

«Шевырева завтра рано утром повезут на Петербургскую сторону для указания квартиры, про которую он говорил. Все меры предосторожности приняты».[1]

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О ДЕЛЕ 1 МАРТА 1887 г.[2]

По Высочайшему повелению, последовавшему 28 марта 1887 года, дело об обнаруженном 1 того же марта злоумышлении на жизнь Священной Особы Государя Императора отнесено было к ведению Особого

---

[1] № 47, т. II, 4-ое д-ство о Генералове и других по делу 1 марта 1887 г. А. Вейнберг. 27/VI — 1922 г.

Как видно, от подавших прошение о помиловании, с выражением раскаяния и верноподданнических чувств, вытягивали все, что можно.

А. Е.

[2] «Правит. Вестник», № 98, от 9/24 мая.

Присутствия Правительствующего Сената, которое рассмотрело означенное дело в судебном заседании с 15 по 19 апреля текущего года, с участием сословных представителей.

При производстве по сему делу дознания и на судебном следствии выяснено: 1) что бывшие студенты с.-петербургского университета: казак Потемкинской станицы, области войска Донского, Василий Денисьев Генералов, государственный крестьянин станицы Медведовской, Кубанской области, Пахомий Иванов Андреюшкин, мещ. гор. Томска Василий Степанов Осипанов, сын надворного советника Михаил Никитин Канчер, дворянин Петр Степанов Горкун, купеческий сын Петр Яковлев Шевырев, сын действительного статского советника Александр Ильин Ульянов, дворянин Бронислав Иосифов Пилсудский, дворянин Иосиф Дементьев Лукашевич, а также мещанин Степан Александров Волохов, дворянин аптекарский ученик Тит Ильин Пашковский, сын псаломщика, кандидат с.-петербургской духовной академии Михаил Васильев Новорусский, крестьянка, акушерка Марья Александрова Ананьина и херсонская мещанка акушерка Ревекка (Раиса) Абрамова Шмидова, — принадлежа к преступному сообществу, стремящемуся ниспровергнуть, путем насильственного переворота, существующий государственный и общественный строй, образовали во второй половине 1886 года тайный кружок для террористической деятельности, а в декабре того же года согласились между собой посягнуть на жизнь Священной Особы Государя Императора, для каковой цели Генералов, Андреюшкин и Осипанов, вооружившись разрывными, метательными снарядами, в сопровождении Канчера, Горкуна и Волохова, принявших на себя обязанность известить метальщиков особым условным сигналом о проезде Его Величества, вышли 1-го марта 1887 года на Невский проспект с намерением бросить означенные снаряды под экипаж Государя Императора, но были около полудня задержаны чинами полиции, не успев привести своего намерения в исполнение, и 2) что мещанка Анна Адрианова Сердюкова, узнав о сем злоумышлении от одного из участников оного и имея возможность заблаговременно довести о том до сведения властей, не исполнила этой обязанности.

Приговором Особого Присутствия Правительствующего Сената, состоявшимся 15/19 апреля 1887 года, все поименованные подсудимые, кроме Сердюковой, обвинены в преступлениях, предусмотренных 241 и 243 ст. Улож. о нак., Сердюкова же — в преступлении предусмотренном 243 ст. Улож. о нак., при чем признаны: Шевырев — зачинщиком и руководителем преступления, Осипанов, Генералов, Андреюшкин, Ульянов, Канчер, Горкун и Волохов — сообщниками, из числа коих Ульянов принимал самое деятельное участие, как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению; остальные же подсудимые: Лукашевич, Новорусский, Ананьина, Пилсудский, Пашковский и Шмидова — пособниками, содействие которых было более или менее необходимо для совершения преступления, и приговорены к лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение.

Определив следующее по закону подсудимым наказание, Особое Присутствие, приняв во внимание обнаруженные на суде обстоятельства, служащие к смягчению вины Канчера, Горкуна, Волохова, Ананьиной,

Пилсудского, Пашковского, Шмидовой и Сердюковой, постановило повергнуть участь сих осужденных на Высочайшее усмотрение, ходатайствуя перед Его Императорским Величеством о Всемилостивом соизволении на замену определенной им смертной казни следующими наказаниями: Горкуну, Канчеру, Волохову и Ананьиной — каторжными работами на двадцать лет, Пилсудскому — каторжными работами на пятнадцать лет, Пашковскому — каторжными работами на десять лет, Шмидовой — ссылкою на поселение в отдаленнейших местах Сибири, с лишением всех их всех прав состояния и с последствиями по 25 и 26 ст. Улож. о нак., и Сердюковой — заключением в тюрьме на два года, с лишением некоторых, указанных в 50 ст. улож. о нак., лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, и с последствиями по 51 ст. Улож. о нак.

По воспоследовании сего приговора поступили от одиннадцати осужденных всеподданнейшие просьбы о помиловании или облегчении их участи, при чем лишь ходатайства Лукашевича, Канчера, Горкуна и Волохова признаны были Особым Присутствием Правительствующего Сената заслуживающими Высочайшего внимания.

30 апреля сего года Министр Юстиции, согласно 1 и 2 п. 945, 1060 и 1061[9] ст. уст. угол. судопр., повергал на Высочайшее Его Императорского Величества воззрение приговор Особого Присутствия на предмет лишения семи осужденных: дворян — Ульянова, Горкуна, Пилсудского, Пашковского, Лукашевича, Канчера и кандидата духовной академии Новорусского — всех прав состояния и по поводу ходатайства Особого Присутствия Правительственного Сената — о смягчении наказания осужденным Канчеру, Горкуну, Волохову, Ананьиной, Пилсудскому, Пашковскому, Шмидовой и Сердюковой. В то же время Министр Юстиции всеподданнейше представил на Всемилостивейшее воззрение Его Величества поданные осужденными просьбы о помиловании или облегчении их участи, с заключением по оным Особого Присутствия Правительствующего Сената.

По означенному всеподданнейшему докладу 30 апреля сего 1887 г. последовало Высочайше Его Императорского Величества соизволение на лишение всех прав состояния вышепоименованных семи осужденных и на смягчение участи Марьи Ананьиной, Бронислава Пилсудского, Тита Пашковского, Ревекки (Раисы) Шмидовой и Анны Сердюковой в пределах указанных в приговоре Особого Присутствия Правительствующего Сената 15/19 апреля 1887 года.

Вместе с тем Государю Императору благоугодно было Всемилостивейше повелеть: заменить осужденным Иосифу Лукашевичу, Михаилу Новорусскому, Михаилу Канчеру, Петру Горкуну и Степану Волохову смертную казнь ссылкою их в каторжные работы: первых двух — без срока, Канчера же, Горкуна и Волохова на десять лет каждого, с лишением всех прав состояния и с последствиями по 25 и 26 ст. Улож. о нак.

Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение 8 сего мая 1887 года.

СОДЕРЖАНИЕ.

II.

ДЕЛО 1-ГО МАРТА 1887 Г.

III.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

